НИКОЛАЙ

ИВАНОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В настоящее двухтомное издание я включил часть произведений разных лет, которые, как мне кажется, отображают мой путь в советской литературе.

В первый том входят повести «Партизаны» и «Бронепоезд 14–69», три цикла рассказов: о гражданской войне, о недавних днях и о далеком прошлом; книга «Встречи с Максимом Горьким» и пьеса «Ломоносов».

Второй том составляет роман «Пархоменко» о легендарном герое гражданской войны.

- Всеволод Иванов
  -
  - От автора
  - Повести
    -
    - Бронепоезд 14-69
      - Партизаны у рельсов
      - Человек чужих земель
      - В городе
      - Китаец Син Бин-У
      - Прапорщик Обаб
      - Рельсы
      - Смерть капитана Незеласова
      - Пена
    - Партизаны
  - Рассказы
    -
    - О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
      - Подкова
      - Литера «Т»
      - Про двух аргамаков
      - Встреча
    - О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ
      - При Бородине
      - Близ старой Смоленской дороги
      - Сокол
    - О НЕДАВНИХ ДНЯХ
      - Горе
      - Мрамор
      - В горах Бух-Тайрона
      - Джунгарский цветок

- Отчет Петра Бондаренко
- Утро

- Ломоносов
  -
  - Первое действие
  - Второе действие
  - Третье действие
    -
    - Поворот театрального круга
  - Четвертое действие
    -
    - Поворот театрального круга
- Встречи с Максимом Горьким
  -
  - В детстве
  - В 1916 году
  - Три письма М. Горького
  - В Петрограде
  - Письмо после прочтения «Партизан»
  - Весна в 1921 году
  - Из нескольких писем Горького
  - «Много любопытного на Руси»
  - Разговор с каменотесом
  - В италии, в гостях у Горького
  - Праздник и будни
  - Случай с индийскими часами
  - «Что такое речь вообще?»
  - Немного, но сильно о романтизме
  - «Исполнители преступной воли капиталистов»
  - Адрес мечты
  - Мастер времени

Всеволод Иванов
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В двух томах
Том первый

От автора

В настоящее двухтомное издание я включил часть произведений разных лет, которые, как мне кажется, отображают мой путь в советской литературе.

В первый том входят повести «Партизаны» и «Бронепоезд 14–69», три цикла рассказов: о гражданской войне, о недавних днях и о далеком прошлом; книга «Встречи с Максимом Горьким» и пьеса «Ломоносов».

Второй том составляет роман «Пархоменко» о легендарном герое гражданской войны.

ПОВЕСТИ

Бронепоезд 14-69

Партизаны у рельсов

I

Цифры блестели перед глазами: на дверях купе, на рамах окна, на ремне, на кобуре револьвера. Везде! Точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные плечи, отдыхает прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.

Даже на сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугунного китайского божка, тоже цифры и английские — поджарые, словно галеты, — буквы.

— Цифр много, а толку мало! Стекаем, как гной из раны… Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правительства… Но-но! Я спрашиваю вас, прапорщик? А дальше куда?.. В море?

Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Ответил:

— Вам лечиться. Надо.

Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезня».

— Без леченья плохо. Вам.

Незеласов торопливо выдернул сигаретку:

— Заклепаны вы наглухо, Обаб… ничего до вас не дойдет!..

И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:

— Как вам стронуться хоть немного… Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас… вышвырнула! Думали всё: нужны, очень нужны, дозарезу нужны, а вдруг — ра-а-с-чет получайте… И не расчет даже, а в шею… в шею!.. в шею!!

И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвысил голос:

— О рабы нерадивые и глупые!

Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:

— Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая глупее — пороть.

— Нельзя так, Обаб, нельзя…

— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Бьет.

— Внутри высохло… Водка не идет… От табаку — слякоть, вонь… В голове — нехорошо… Преодолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу…

— Женщину вам надо. Давно женщину имели? — Обаб тупо посмотрел на капитана. — Непременно женщину. В такой работе — каждый месяц. Я, здоровый, — каждые две недели. Лучше хины.

— Может быть, может быть… попробую… Почему мне не попробовать…

— Можно быстро, здесь беженок много… Цветки!

Незеласов поднял окно.

Запахло каменным углем и горячей землей. Потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.

На людях клеймо бегства.

Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой.

«Портятся люди, — подумал Обаб. — Хорошо бы жениться. В семью бы хорошо…»

Он сплюнул в платок и сказал:

— Ерунда! Мысли!

Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба:

— Опять?

— Что опять?.. В чем дело?

Обаб и Незеласов опять взглянули в окно.

Беженцы смущенно рассматривали стальную броню вагонов, орудия на платформах, и, казалось, рассматривают его, голого, а голый Незеласов костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов — углы и серая гладкая кожа.

Он едко сказал в плечо Обабу:

— За спасителей нас считают… Ерусланы! В телеграмме пишут: у рельсов вершининский отряд показался… в городе…

Обаб грузно отодвинулся от окна.

— Жиды, капитан. И в городе — жиды, и у Вершинина — жиды. Дайте сигарету.

— Придут японцы помогать, а надо до них показать… Прикажите воду набирать… непременно… сейчас.

— Партизаны в появлении? Опять! Неймется.

Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками.

— Люблю.

Заметив на себе усталый взгляд Незеласова, прапорщик сказал:

— Не насчет смерти. А чтоб двигалось.

Обаб степенно вздохнул — вздохом медленным, крестьянским.

— У нас сейчас в Барнаульском… уезде уборка. Рука по вожже зудится…

Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:

— Прапорщик… Как наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?

— Генерал Смирнов.

— Ага? А где он?..

— Партизаны повесили.

— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?

— Следующий?

— Вас спрашивают.

— Генерал-лейтенант Сахаров.

— Ага?.. Он где, где?

— Не могу знать.

— А… где командующий армией?

— Не могу знать.

Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну и не рассуждать, исполняйте приказания!» — а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:

— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага?.. Кого мы с вами по телеграмме… Постойте.

Обаб шлепнул ладонью по животу чугунного кумирчика, словно пытаясь поймать в мозгу какую-то мысль… соскользнул.

— Не знаю… Стрелять — будем стрелять, очень просто. И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе,

Обаб шел по коридору вагона и бормотал:

— Не моя обязанность… думать… Я что?.. Лента, а обойма… Очень нужно… думать…

II

Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.

Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуируемыми беженцами.

«Ненужная Россия, — подумал он со стыдом и покраснел,

вспомнив: — И ты в этой России».

Нарумяненная женщина напомнила предложение Обаба. Капитан сказал громко:

— Дурак!

Женщина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.

Незеласов отвернулся.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверями — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.

Пахло из теплушек потом, пеленками. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь желтые зубы выл:

— О-о-о-ё-ё-ё…

«Дизентерия, — подумал, закуривая, капитан. — Значит, капут».

Ощущение стыда и неуловимой злости не остывало.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полусгнившую шпалу.

— Издалека? — спросил Незеласов.

Старик ответил:

— А из Сызрани.

— Куда едешь?

Он опустил колун и, шаркая босой ногою с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

— Куда повезут.

Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые, белые полоски кожи.

«Редко, видно… говорить-то приходится», — подумал Незеласов.

— У меня в Сызрани-то земля, — любовно проговорил старик, — отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля — чекань монету… А вот, поди ж ты, бросил!

— Жалко?

— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.

— Обратно идти далеко… очень…

Старик, не опуская колуна, чуть-чуть покачал головой. Остро и со свистом вздохнул:

— Далеко… Говорят, на путях-то, вашблаго, Вершинин явился.

— Неправда. Никого нет.

— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуном. — А говорят, едет и режет. Беспощадно. Даже скот. Одна, говорят, надежда на бронипоезду. Ишь ты… Значит, нету?

— Никого нет…

— Совсем, вашблаго, прекрасно. Може, и до Владивостоку доберешься… Проживем. Куды я обрать попрусь, окажи-ка ты мне?..

— Не выдержишь… Ты не беспокойся… Да.

— И то говорю — умрешь еще дорогой.

— Не нравится здесь?

— Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Зачервивеешь тут. А коли лучше обратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?

— Не знаю, — ответил капитан.

III

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.

Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка, китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..

И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная беженка с землистым лицом, в каштановом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахарные головы, мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила:

— Партизаны… партизаны… тайгу подожгли… и расстреливают… Вершинин подходит…

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Комендант станции — солдаты звали его «четырехэтажным», — большеголовый, с седыми, прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:

— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь,

— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!

— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса

разыскивали.

И с непочтительным смешком четко говорил:

— Няньку английский генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт подери, — и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует.

Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли на землю.

Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.

Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим звоном шумели мокрые гаоляны.

Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп фельдфебеля. Лоб был разбит, и на носу и на рыжеватых усах со свернувшимися темнокрасными сгустками крови тряслось похожее на густой студень серое вещество мозга.

— Партизаны его… — зашептала беженка в манто, подпоясанная бечевкой. — Вершинин… Они…

В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:

— Партизаны… Партизаны…

Капитан Незеласов вернулся к своему поезду.

У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом манто и поспешно спрашивала у солдат:

— Ваш поезд нас не бросит?

— Не мешайте! — сказал ей Незеласов, вдруг возненавидев эту тонконосую женщину. — Нельзя разговаривать!

— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..

Капитан Незеласов, хлопнув дверью, закричал:

— Убирайтесь вы к черту!

Опять принесли телеграмму. Кто-то, неразборчиво и непременно припутывая цифры, приказывал разогнать банды Вершинина, собирающиеся по линии железной дороги. И в конце говорилось о каких-то японцах, итальянцах…

Телеграмма номер двенадцать тысяч пятьсот сорок один, видите!.. Приказ, прапорщик, приказ, говорю… А кто там, кто смеет приказывать? Кто есть?

Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на желтоголовых

птичек, порхали по перрону.

Капитана Незеласова нашел японский офицер в паровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, японец мягко говорил по-русски, стараясь ясно выговаривать букву «р»:

— Я есть пол-рр-лючик Танако Муццо… Тя. Я есть ко-ман-н-тил-л-рр-лован вместе.

И, внезапно повышая голос, выкрикнул очевидно твердо заученное:

— Уничтожит!.. Уничтожит!..

Рядом с ним стоял американский корреспондент во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:

— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..

Обаб и еще какой-то офицер, потея и кашляя, объясняли.

— Хорошо, — сказал Незеласов. — Прикажите, Обаб, прицепить вагоны… с японцами.

Он захлопнул тяжелую стальную дверь.

— Пошел, пошел!.. — визгливо кричал, матерной руганью обвертывая приказания. И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14–69.

Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил револьвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов…

Грязные солдаты вытягивались. Ненужные тряпки одежд стесняли движения. Около стальных орудий хотелось их видеть голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе душ.

Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.

Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

IV

А в это время китаец Син Бин-у лежал в траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как Красный Дракон напал на девушку Чен Хуа.

Лицо у девушки было цвета корня женьшеня, и пища ее была у-вейцзы — петушьи гребешки, ма-жу — грибы величиною со зрачок, чжен-цзай-цай. Весьма было много всего этого, и весьма это было вкусно.

Но Красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота жизни, и тогда родился бунтующий русский.

Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов радостно кричал налитые незыблемою верою слова:

— Бегут, братцы мои, бегут! В недуг души ударило, оземь бьются, трепыхаются. А наше дело — не уснуть, а город-то — он у-ух!.. силен. Все возьмет!

Пахло камнем, морем.

Человек чужих земель

V

«Объединенным русско-японским отрядом, при поддержке бронепоезда № 14–69, партизанские шайки Вершинина рассеяны.

С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка союзников выше всяких похвал. Преследование противника в сопках продолжается.

Нач. бронепоезда № 14–69 капитан Незеласов.

№ 8701-19».

VI

И вот:

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер.

И тело партизан было как граниты сопок, как деревья, как травы: катилось, горячее, сухое, по узко выкопанным горным тропам.

От ружей, давивших плечи, болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике, — пустота, бессочье. Шестой день партизаны уходили в сопки.

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади, по линии железной дороги, и глубже, в полях и лесах, — атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель

жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

VII

Китаец Син Бин-у, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

— Японса била надо… у-у-ух, как била!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.

Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:

— Японец для нас хуже барсу. Барс-то, допрежь чем манзу жрать, лопотину с него сдерет: дескать, пусть проветрится, — а японец-то разбираться не будет — вместе с усями слопает.

Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом.

Никита Вершинин, председатель партизанского революционного штаба, шел с казначеем Васькой Окороком позади отряда. Широкие, с мучной куль, синие плисовые шаровары плотно обтягивали большие, как конское копыто, колени, а лицо его, в пятнах морского ветра, хмурилось.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

— В Расеи-то, Никита Егорыч, беспременно вавилонскую башню строить будут. И разгоняют нас, как ястреб цыплят, беспременно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: «Никита Егорыч, самогонки хошь?» А ты — талабала, по-японски мне! А Син Бин-у-то, разъязви его в нос, на русском языке запоет. А?

Работал раньше Васька в приисках и говорит всегда так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая, лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом, усталом ветре, дующем с моря, в жарких, наполненных тоской запахах земли и деревьев.

Вершинин перебросил винтовку на правое плечо и ответил:

— Охота тебе, Васька! И так мало рази страдали?

Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, захохотал.

— Не нравится?

— Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать придется.

— Японца, Никита Егорыч, тронуть здорово надо.

— Надо. Чужим добром хотят жить? Не дадим.

В леса и сопки, клокоча, с тихими, усталыми храпами, вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. Наверху, в скалах, сумрачно темнели кедры. Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда, готовясь отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

— Нонче в обоз ездил. Потеха-а!..

— Ну?

— Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им баю: жрите, мол, а то все равно бросите, — а им жалко. От японца, грит, увезли — зачем жрать!..

— Нельзя. Без животины человеку никак нельзя. Всю тяжесть он потеряет без животины. С души-то тяжесть…

Син Бин-у сказал громко:

— Казаки цхау-жа! Нипонса куна, мадам бери мала-мала. Нехао! Казаки нехао! Кырасна русска…

Он, скосив губы, швырнул слюной сквозь зубы, и лицо его цвета песка золотых россыпей, с узенькими, как семечки дыни, разрезами глаз радостно заулыбалось.

— Шанго!..

Син Бин-у в знак одобрения поднял кверху большой палец руки. Но, не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец уныло сказал:

— Пылыоха-о! Здесь. Дома хорошо.

И тоскливо оглянулся.

Партизаны в злобе рвались в горы.

А родная земля сладостно прижимала своих сынов, — идти было тяжело. В обозах лошади оглядывались назад и тонко, с плачем, ржали. Молчаливо бежали собаки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест.

Направо, в падях, темнел дуб, белел ясень.

Налево — от него никак не могли уйти — спокойное, темнозеленое, пахнущее песками и водорослями море.

Лес был — как море и море — как лес, только лес чуть темнее, почти синий.

Партизаны упорно глядели на запад, а на западе отсвечивали золотом розоватые граниты сопок. Мужики вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.

А китайцу Син Бин-у казалось, что мужики за розовыми гранитами на западе уже видят иное, ожидаемое.

Китайцу хотелось петь.

Никита Вершинин был рыбак больших поколений.

Тосковал он без моря, и жизнь для него была — вода, а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да и попадет.

Баба попалась жирная и мягкая, как налим. Детей она принесла пятерых — из года в год, пять осеней, — когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли светловолосые — среброчешуйники. Срубил избу, сутунки сам таскал из тайги. Детей берег от сырости и лихоманок. А вот сожгли японцы избу, детей — все счастье…

На весь округ обошел послух о его, вершининском «счастье», и когда волость решила идти на японцев и атамановцев, председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.

От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы — неизвестно, удастся ли, — заново, как тесали прадеды, приехавшие сюда из пермских земель на дикую землю.

Многое было непонятно, и жена, как в молодости, желала иметь ребенка.

Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.

У подножья яра камни прервали дорогу, и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матера рвалась на камни, а ниже билась, как в падучей, белая пена потока.

— Перейдя подвесной мост, Вершинин спросил:

— Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

Привала решили не делать. Пройти Давью деревню, а там в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины Давьей деревни босоногий мужик с головой, перевязанной тряпицей, подогнал игренюю лошадь и сказал:

— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

— С кем битва-то?

— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а чаем — придет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем да и сопки с вами думаем.

— Кто наши-то?

— Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Хрисьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строгат. Из сопок тоже.

— Увидимся!

На широкой поселковой улице валялись телеги, трупы людей и скота.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые краги были тщательно начищены, точно японцы сбирались гулять по владивостокским улицам.

— Зарыть бы их, — сказал Окорок. — Срамота!

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда, — спокойно-деловитые.

Только от двора ко двору, среди трупов, кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.

— Воюете? — спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

— Приходится, дедушка.

— И то смотрю — тошнота с народом. Никоды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь — на, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

— Все равно, что ехали-ехали, дедушка, а телега-то — трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится делать.

— А?

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторил:

— Не пойму я… А?

— Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел, бормоча:

— Ну, ну… каки нонче телеги! Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся.

Собачонка не переставала визжать. Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

Старик беспокойно почесался.

— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит.

— Терпит, Егорыч. Бранепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожит все и опять-таки пожгет.

— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.

Старик злобно сплюнул.

— Без рельсы пойдет. Раз они с японцем связались. Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет… А капитан-то этот с бранепояса из царских родов будет?..

— Будет тебе зря-то…

— Зол уж, и росту, бают, выше сажени, а бородища-то…

VIII

Мужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь.

Тело его влипало в плоскую лошадиную спину, лицо танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался Вершинин.

— Он старшой-то, он! — закричал Окорок. — Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай: как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать:

— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-то наш за японцем пошел далеко-о!

— А деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино-село слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочи! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки.

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Одну муку принимаем! Понятно!

Седой мужик продолжал:

— Ехали они, двое мериканцев-то! На трашпанке в жестянках

молоко везли! Дурной народ: воевать приехали, и молоко жрут с шиколадом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая армия!..

Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца пахнуло табаком и крепким мужицким хлебом. От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота.

Мужики загалдели:

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь, забрались!

— Просили их!

Кто-то пронзительно завизжал:

— Бе-ей!

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждать!.. — И добавил: — Товарищи!

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и замолчали.

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело убить. Вон их сколь на улице-то наваляли! А по-моему, товарищи, распропагандировать его и пустить. Пущай большевицкую правду понюхает. Во-о как я полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

— Хо-хо-хо!..

— Хе-кче!.. Хо-о!..

— Прореху-то застегни, черт!

— Валяй, Пентя, запузыривай!..

— Втемяшь ему!

— Чать, тоже человек…

— На камне — и то выдолбить можно.

— Лупи!!

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые, краснобронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая глазами, точно от дыма, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни! Подробно! Нехорошо, мол!

— Зачем нам мешать!

— Против своего брата заставляют идти!

Вершинин степенно сказал:

— Люди все хорошие, должны понять. Такие ж крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец — он что, рис жрет, для него по-другому говорить надо!

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас, поди, этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли…

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— I don't understand!

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!

Мужики отошли от американца.

Вершинин почувствовал смущение.

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться, — сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя:

— Он поймет!.. Тут только надо… Он поймет!..

Знобов думал. Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Син Бин-у лег на землю подле американца, закрыв ладонью глаза, тянул пронзительную китайскую песню.

— Мука мученическая, — сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?

Найденные книжки были все церковные.

— Только на раскурку и годны, — сказал Знобов. — Кабы с картинками.

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрепанный, с оборванными углами учебник закона божия для сельских школ.

— Може, по закону? — спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

— Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать, не попы.

— А ты попробуй, — предложил Васька.

— Как его? Не поймет, поди!

— Может, поймет. Валяй!

Знобов подозвал американца:

— Эй, товарищ, иди-ка сюда!

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин, — сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— There's a chap!

Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, прокричал:

— Советская республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали, и он возбужденно закричал:

— What is pretty indeed!

Мужики радостно захохотали:

— Понимает!

— Вот черт, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху, на облаках, висел бог, стал разъяснять:

— Этот, с ножом-то — буржуй. Ишь брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, понял? Про-ле-та-ри-ат!

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-ри-а-ат!.. We!

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок схватил его за голову и, заглядывая в глаза,

восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам! За морями-то…

— Будет тебе, ветрень, — говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он, пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то японец, американка, англичанка — вся эта сволочь империализма самая сидит.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Империализм!

Знобов с ожесточением швырнул фуражку оземь.

— Империализм с буржуями — к чертям!

Син Бин-у подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а! Кытайси ресыпубылика-а! Мерикансы ресыпубылика-а — пухао. Нипонсы — пухао, нада, нада ресыпубылика-а. Кы-ра-а-сна ресыпубылика нада, нада…

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец кверху, проговорил:

— Шанго.

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо. Не выдаст.

IX

Партизаны с хохотом, свистом вскинули ружья на плечи.

Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тонким, как паутина, голоском затянул:

Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку.
Уродись, моя тоска, мелкой травкой-муравой.
Ты не сохни, ты не блекни, цветами расцвети…

И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой:

Я, рассеявши, пошел, во зеленый сад вошел, —
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.

И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер

мужицких голосов подняла и понесла в тропы, в лес, в горы:

Я, рассеявши, пошел.
Во зеленый сад вошел.
Э-э-эх…
Сью-ю-ю…

Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопки.

Шестой день увядал.

Томительно и радостно пахли вечерние деревья.

В городе

X

На широких, плетенных из гаоляна цыновках лежали кучи камбалы, угрей, похожих на мокрые веревки, толстые пласты сазана и зубатки. В чешуе рыб отражалось небо. Плавники хранили еще нежные цвета моря — сапфирно-золотистые, яркожелтые и густооранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:

— Тле-епанга-а!.. Капитана луска! Кла-аба!.. Тле-пан-га-а!.. Покупайло еси?.. А-а?..

Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнущий илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:

— Орет китай, а всего только рыбу предлагает.

— Предлагай, парень, ты!..

— Наше дело — рушить все! Рушь да рушь. Надоело. Когда строить-то будем?.. Эх, кабы японца грамотного найти!

Матрос спустил ноги к воде; играя подошвами у бороды волны, спросил:

— На что тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки, — рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережная, город…

«Веселый человек», — подумал Знобов.

— Японца я могу. Найду. Японца здесь много!

Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя

поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и голубовато-желтые короткие кофты — курмы — китайцев, проговорил шепотом:

— Японца надо особенно, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Получай! Можно по войскам ихним.

Он представил себе желтый листок бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся:

— Они поймут! Мы, парень, одного американца до слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул… плачет…

— Может, и со страху плакал?

— Не крутись. Главное — разъяснить жизнь надо человеку. Без разъяснения что с него спросишь?

— Трудно такого японца найти.

— Я и то говорю. Не иначе, как только наткнешься.

Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу:

— Ишь, сколь народу! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь?

Знобов вздохнул:

— Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не нижу. Заботы много… Пелена в глазах.

— Таких теперь много.

— Иначе нельзя. По тропке идешь — в одну точку смотри, а то закружится голова — ухнешь в падь! Суши там кости.

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигурки. Пели шпорами сереброгалунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тканные на ситце, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шкуны, лодки рыбаков.

— Кабак, а не Расея!

Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:

— Подожди, мы им холку натрем!

— Пошли? — спросил Знобов.

— Айда, посуда!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом. Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутые ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.

Знобов сказал:

— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строят. Да и ухнул он взял! Дал бы нормально по носу, суки!..

Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.

— Кому как!

Похоже было — огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафе затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них устало искривлены…

Худые, как осиновый хворост, изможденные отступлением лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.

Глаза с болью смотрели на дома, полуразрушенные во время восстания.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.

И по-иному из-за далекой овиди, тонкой и звенящей, как стальная проволока, задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.

— Не боишься шпиков-то? — спросил он Знобова.

Знобов думал о японцах и ответил немного торопливо:

— А нет. У меня другое на сердце. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые-то потому и не выдают.

Он ухмыльнулся:

— Сколько мы страху человекам нагнали! В десять лет не изживут.

— И сами тоже хватили!

— Да-а!.. У вас арестов нету?!

— Троих взяли.

— Да-а… Иди к нам в сопки.

— Камень, лес. Не люблю… скучно.

— Это верно. Домов из такого камня хороших можно набухать. А то валяется он без толку: ни жрать, ни под голову. Мужику ничего, а мне тоже скучно. Придется нам, однако, в город наступать.

— Валяйте. Вершинин как мыслит?

— Вершинин — туча, куда ветер — там и он с дождем. Куда мужики — значит, и Вершинин…

XI

Председатель подпольного революционного комитета товарищ Пеклеванов, маленький веснушчатый человек в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце и будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.

— Вы часто приходите, товарищ Знобов, — сказал Пеклеванов.

Знобов положил потрескавшиеся от ветра и воды пальцы на стол и туго проговорил:

— Народ робить хочет.

— Ну?

— А робить не дают. Объяростели. Гонют. Мне и то неловко, будто невесту богатую уговариваю.

— Мы вас известим.

— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жги, казаков бей… Бронепоезд тут. Японец чисто огонь — не разбират: все жгет.

— Японцы уйдут. Угоним…

— Знаем. Кабы не угнать, за что умирать. Мост взорвать хочут.

— Прекрасно. Инициативу нужно, нужно. Чудесно!

— Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Динамитного человека надо.

— Пошлем. И человека и динамит. Действуйте.

Помолчали. Пеклеванов жарко, истощенно дышал.

— Дисциплины в вас нет.

— Промеж себя?

— Нет, внутри.

— Ну-у, такой дисциплины теперь ни у кого нету…

Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость, и толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянят щеки.

Матрос протянул руку, пожал, будто сок выжимая. Вышел.

Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:

— Мужики все насчет восстанья. Ка-ак?.. Случай чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?

Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал:

— А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце-то насквозь прожечь… Мы тут американца одного — до слезы…

У Пеклеванова впалая грудь, говорит слабым голосом, глаз тихий, в очках.

— Как же, думаем… Меры принимаем.

Знобову вдруг стало его жалко.

«Хороший ты человек, а начальник… того», — подумал он, и ему захотелось увидеть начальником здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову.

На столе валялась большая газета, а на ней черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахару.

«Птичья еда», — подумал с неудовольствием Знобов.

Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу вверх, говорил:

— В назначенный час восстания на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают провода и захватывают учреждения.

Пеклеванов говорил, точно читал телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопил:

— Ну-у!.. А не сорвется опять? Вы верите уже…

— Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.

Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и спросил:

— Все?

— Пока — да.

— А мало этого, товарищ… Ей-богу, мало… Ну, возьми…

Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака, веснушчатое лицо покрывалось пятнами. Он словно обиделся.

Знобов бормотал:

— Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как куры на испорченных яйцах. Нас, товарищ, много… тысячи…

— Японцев сорок. Сорок тысяч.

— Это верно, как вшей, могут сдавить. А только пойдет.

— Кто?

— Мир. Общество. Да… Мужик хочет воевать.

— За русскую землю?

— За землю! — ответил Знобов. — И размечет он и японцев, и американцев, и всех, кто на Дальний Восток явился. Но, конечно, Илья Герасимыч, город должен деревню поддержать.

— Партия поддержит. А партия опирается на весь город.

— Ну, и хорошо!

Знобов засиял.

Пеклеванов, улыбаясь, ласково взглянул на него и сказал:

— Водкой попотчую, хотите? Только, чур, долго не сидеть и белогвардейцев громко не ругать. Следят.

— Мы втихомолку.

Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо

полотенцем, сказал, хмельно икая:

— Ты, парень, не сердись. А сначала не понравился ты мне, что хошь.

— Прошло?

— Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.

— Где?

Знобов распустил руки:

— По линии… ходит. «Четырнадцать» там и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, мильён народу срезал. Так мы ево… тово…

— В воду?

— Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.

— Орудия на нем.

— Опять ничего не значит. Постольку, поскольку выходит, и никакого черта…

Знобов вяло качнул головой:

— Водка у тебя крепкая. Тело у меня как земля, не слухат человечьего говору. Свое прет.

Он поднял ногу на порог и сказал:

— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу. Хороший.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

— Да-а… предыдущий…

Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, сильно скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям.

XII

На улице Знобов увидал у палисадника японского солдата.

Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи крылышки, усики.

— Обожди-ка! — сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго крикнул:

— Ню! Сиво лезишь?

Знобов скривил лицо и передразнил:

— Хрю! Чушка ты! К тебе с добром, а ты с «хрю-ю»! В бога веруешь?

Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц оглядел поперек Знобова — от плеча к плечу,

потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

— Лусика сюполочь. Ню…

И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.

Знобов поглядел вслед на задорно блестевшие бляшки пояса. Сказал с сожалением:

— Дурак ты, я тебе скажу!..

Китаец Син Бин-У

XIII

Через три дня в отряд Вершинина, разламывая телом плетенную из тростника тележку, примчался матрос Анисимов.

Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в ссадине, а на груди болтался красный бант.

Матрос кричал с таратайки:

— В городе, товариш-ши, восстанье!.. Крой… Броневик капитану Незеласову приказано туда в два счета пригнать… Чтоб немедленно! Рабочие бастуют, одним словом — крой и никаких гвоздей!.. А броневик вам, значит, вручай… А я милицию организую.

И ускакал в сопки веселый матрос.

Облако над сопками — словно красная лента…

XIV

Эта история длинная, как Син Бин-у возненавидел японцев. У Син Бин-у была жена из фамилии Е, крепкая манза, в манзе крашеный теплый кан и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы.

А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.

Только щека осталась проколотой штыком.

Син Бин-у читал «Ши-цзинь», плел цыновки в город, но бросил «Ши-цзинь» в колодец, забыл цыновки и ушел с русскими по дороге Восстаний.

Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.

Ноги плещутся в море, и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у задирает ноги и ругается:

— Цхау-неа!..

Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высоконосый русский. Син Бин-у убил трех японцев, — и пока китайцу ничего не надо, он доволен.

От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики землей и травами.

У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки, пулеметные ленты, винтовки.

На телеге с низким передком, прикрытой рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:

— А ты не стони, пройдет!

Потная толпа плотно набилась между телег. И телеги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующими людьми.

— О-о-о-у-у-у!..

Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушая себя нутряным криком, орал:

— Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!

И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили.

— Не да-ва-й!..

Толпа тянула за ним:

— А-а-а!..

И вот на мгновенье стихла. Вздохнула.

Ветер нес запах пота.

Партизаны митинговали.

Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы шептали:

— На-роду-то… Народу-то мильёны, товарищи!..

Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь,

Никита Вершинин орал с пня:

— Главна — не давай-й!.. Придет суда скора армия… советска, а ты не давай… старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

— Не-е да-а-а-вай!!

И казалось — вот-вот обрушится слово, переломится и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужичонка в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голоском подтвердил:

— А верю, ведь верна!..

— Потому — за нас Питер… Бояться нечего… Японец-что,

японец легок… кисея!..

— Верна, парень, верна! — визжал мужичонка.

Густая, потная тысячная толпа топтала его визг:

— Верна-а…

— Не да-а-ай!..

— На-а!..

— О-о-о-у-у-у!!

— О-о!!!

XV

После митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:

— Подбери ноги — штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?

— Нисиво, — проговорил китаец, — мне ни нада… Мне так зынаю, зынаю псе… шанго.

— Ноги-то подбери!

— Нисиво. Солнышко тепыло еси. Нисиво-а!..

Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстановкой сказал:

— Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман… У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили… да-а… Мост вот взорвем — строить придется.

Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубашкой, как ивняк под засохшим илом, и, наклонившись к китайцу, с потемневшим лицом испытующе спросил:

— А ты… как думаешь… А? Пошто эта, а?..

Син Бин-у, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.

— Ни зынаю. Гори-гори!.. Ни зынаю!..

Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:

— Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..

Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:

— Нисиво!.. Нисиво не зынаю!..

Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.

— Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат… Разбудили, побежали, а дале что?..

И, осев плотно на камне, как леший, устало сказал подходившему Окороку:

— Не то народ умом оскудел, не то я…

— Чего? — спросил тот.

— На смерть лезет народ.

— Куда?

— Броневик-то брать. Миру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей.

Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.

— Жалко тебе?

Подошел Знобов; подмышкой у него была прижата папка с бумагами.

— Подписать приказы!

Вершинин густо начертал на бумаге букву «В», а подле нее длинную жирную черту.

— Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо догадь взяла, поставил одну букву с палкой — и ладно… знают.

Окорок повторил:

— Жалко тебе?

— Чего? — спросил Знобов.

— Люди мрут.

Знобов сунул бумажку в пачку и сказал:

— Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.

Вершинин сипло ответил:

— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключами двери-то открыть надо?

— Зачем идешь?

— Землю жалко, японец отымет.

Окорок беспутно захохотал.

— Эх вы, землехранители, ядрена зелена! И-их!..

— Чего ржешь? — с тугой злостью проговорил Вершинин. — Кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду…

— Ну, пророк?

— Рыбалку брошу теперь.

— Пошто?

— Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой займусь. Город-то обманыват, пузырь мыльнай, в карман не сунешь.

Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани — людей, трамвай, дома — и сказал с неудовольствием:

— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отымем и трудящимся массам — расписывайся!..

Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:

— Японскова микадо колды расстреливать будут, вот завизжит! Патеха-а!.. Не ждет поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?

— Им виднее, — нехотя ответил Вершинин, — японцам-то.

Над песками — берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница. Высоко на скале человек в желтом, — как кусочек смолы на стволе сосны, часовой.

Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.

Син Бин-у сказал:

— Серысе похудел-похудел немынога… а?

— Пройдет, — успокоил Окорок, закуривая папироску.

Син Бин-у согласился:

— Нисиво.

XVI

Корявый мужичонка в малиновой рубахе поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Самое главное — в человека поверить…

— Человек бывает разный, — сказал Вершинин, — а правда одна…

— Советская? — подхватил корявый мужичонка.

— Другой не ищем.

— А я какую ищу?.. Ту же самую! Чтоб той правде человек вровень был. Я тебя считаю ей вровень, Никита Егорыч! Я считаю, ты им, мужикам-то, правду во всей красе разъяснить можешь.

— Хочу, да трудно, — сказал Вершинин. — Неученой я. Мало в городе я жил… Встречался я там с настоящим человеком — Пеклеванов, Илья Герасимыч, председатель ревкома… да мало… учиться нам надо, ох, как еще учиться…

— Обучимся!

И мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина в плечо:

— Обучимся, Никита Егорыч.

— Знаю.

Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.

Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомойника согревшейся водой и пошел сбирать молодых парней:

— На ученье айда. Жива-а!..

Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами сбирались

послушно.

Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:

— Смирна-а!.. — И от крика этого почувствовал себя солдатом. — Равнение на-право-о!..

Вершинин до позднего вечера учил парней. Парни потели, злобно проделывая упражнения, посматривали на солнце.

— Полуоборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!

Один из парней жалостно улыбнулся.

— Чего ты?

Парень, моргая выцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:

— Где к японсу? Свово б не упустить. У японса-то, бают, моря… А вода их горячая, хрисьянину пить нельзя.

— Таки же люди, колдобина!

— А пошто они желты? С воды горячей, бают?

Парни захохотали.

Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:

— Рота-а, пли-и!..

Парни щелкнули затворами.

Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:

— Учит. Обстоятельный мужик Вершинин-то… Другой ответил ему полусонно:

— Камень, скаля… Большим комиссаром будет.

— Он-то? Обязательна.

Прапорщик Обаб

XVII

Казак изнеможенно ответил:

— Так точно… с документами…

Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.

Казак, подавая конверт, сказал:

— За голяшками нашли!

Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана:

— Ты… какой банды?.. Вершининской?..

Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнувшую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал.

«Может… приказ… может…»

Комендант, передвигая тускло блестевшие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:

— Какое количество?.. Что?.. Где?..

Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.

«Угодить хочет… бронепоезд… дескать, наши…»

А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с вмороженной спиралью китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности — сначала одну кишку, потом другую…

Мужик говорил закоснелым, смертным говором и только при словах: «Город-то, бают, узяли наши» — строго огляделся, но опять спрятал глаза.

Румяное женское лицо показалось в окошечке:

— Господин комендант, из города не отвечают.

Комендант сказал:

— Говорят, не расстреливают — палками…

— Что? — спросило румяное лицо.

— Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?

— Может… все может… Но ведь я думаю…

— Как?

— Партизаны перерезали провода. Да, перерезали, только…

— Нет, не думаю. Хотя!..

Когда капитан вышел на платформу, комендант, изнуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:

— Капитан, арестованного прихватите!

Рыжебородый мужик сидел в бронепоезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина.

Один солдат приказал до расстрела:

— А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись.

Обвыклым движением мужик сдернул сапоги.

Противно было видеть потом, как из раны туго ударила кровь.

Обаб принес в купе щенка — маленький сверточек слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.

— Зачем вам? — спросил Незеласов.

Обаб как-то не по-своему ухмыльнулся:

— Живность. В деревне у нас скотина. Я — уезда Барнаульского.

— Зря… да, напрасно, прапорщик.

— Чего?

— Кому здесь нужен ваш уезд? Вы… вот… прапорщик Обаб,

да золотопогонник и… враг революции. Никаких.

— Ну? — жестоко проговорил Обаб.

И, отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:

— Как таковой… враг революции… выходит, подлежит уничтожению. Уничтожению!

Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

— Ерунда! Мы их в лапшу искрошим!

На ходу в бронепоезде было изнурительно душно. Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый, больной ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных, немощных листьев с кленов.

Тоскливо пищал щенок.

Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо, по-женски ругался. У солдат были вялые длинные лица, и капитан брызгал словами:

— Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!..

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана казалось, что кто-то не признававший дисциплины тихо скулит у пулеметов, у орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам к востоку, к городу, к морю.

XVIII

Син Бин-у направили разведчиком.

В плетенную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.

Офицер в черных галифе с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его глазам и торопливо спросил:

— Кокаин есть?

Син Бин-у плотно сжал колпачки тонких, как шелк, век и, точно сожалея, ответил:

— Нетю!

Офицер строго выпрямился:

— А что есть?

— Семечки еси.

— Жидам продались, — сказал офицер, отходя. — Вешать вас!

Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:

— У нас в Семипалатинской губернии, брат китаеза, арбуз совсем особенный, китайскому арбузу далеко.

— Шанго, — согласился китаец.

— Домой охота, а меня к морю везут, видишь?

— Сытупай.

— Куда?

— Домой.

— Устал я. Повезут — поеду, а самому идти — сил нету.

— Семичика мынога.

— Чево?

Китаец встряхнул корзинку. Семечки сухо зашуршали, запахло золой от них.

— Семечики мынога у русика башку. У-ух… Шибиршиты…

— Что шебуршит?

— Семичика, зелена-а…

— А тебе, что же, камень надо, чтоб в голове-то лежал?

Китаец одобрительно повел губами и, указывая на серый френч проходившего плоского офицера, спросил:

— Кто?

— Капитан Незеласов это, китаеза, начальник бронепоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут нас партизаны-то, а?

— Шанго… Пу шанго…

— Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!

— Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:

— Наторговал?

Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.

Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы с перрона жадно и тоскливо посмотрели на него, зашептались испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой длиннобородый старик рыдал возле кипяточного крана, и когда он вытирал слезы, видно было — руки у него маленькие и чистенькие.

Солдатик прошел мимо, с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь водой.

— Житьишко! — сказал он любовно.

Китаец в гаолянах говорил что-то шепотом русоглазому парню.

XIX

Ночью стало совсем душно. Духота густыми, непреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугунно-темных полей, с лесов, и, как теплую воду, ее ощущали губы, и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глина, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно, жалко ревет.

А сзади наскакивают горы, лес. Наскочат и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри попрежнему был жар и голод.

Солдат-денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, смущенно докладывая:

— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзину, и узловатыми пальцами вырывал хлеб и, если не мог больше его съесть, сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Спустив щенка на пол и следя за ним мутным, медленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала на теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь, точно заклепывали…

У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

— Прорвемся… к черту!.. Нам никаких командований… Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников, и так же, забитый полями, ветром и морем, жил на том конце рельсов непонятный и страшный в молчании город.

— Прорвемся! — выхаркивал капитан и бежал к машинисту.

Машинист, лицом черный, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:

— Уходите!.. Уходите!..

Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:

— Вы не беспокойтесь… партизан здесь нет… А мы прорвемся, да, обязательно… А вы скорей… А… Мы все-таки…

Машинист был доброволец из Уфы, и ему было стыдно своей трусости.

Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:

— У красной черты… Видите?

Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.

Нехорошо пахло углем и маслом.

Вспоминались бунтующие рабочие.

Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам, крича:

— Стреляй!..

Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились у пулемета и выпускали в тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.

Явился Обаб. Губы жирные, лоб потно блестел. Он спрашивал одно и то же:

— Обстреливают? Обстреливают?

Капитан приказывал:

— Отставь!

— Усните, капитан!

Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И серый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.

Капитан торопился закурить сигаретку.

— Уйдите… к черту!.. Жрите… все, что хотите… Без нас обойдемся. — И визгливо тянул: — Пра-а-порщик!..

— Слушаю, — сказал прапорщик. — Вы что ищете?

— Прорвемся… Я говорю — прорвемся!..

— Ясно. Всего хватает.

Капитан пошел в свое купе, бормоча на ходу:

— А… Земля здесь вот… за окнами… она нас… проклинает, а?..

— Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче!

— Мы, прапорщик, трупы… завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде — прах… Сегодня мы закопали челоовека, а завтра… для нас лопата… да.

— Лечиться надо.

Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

— Сталь не лечат, переливать надо… Это ту… движется если… работает… А если заржавела?.. Я всю жизнь, на всю жизнь

убежден был в чем-то, а?.. Ошибся, оказывается… Ошибку хорошо при смерти… А мне тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня невеста Варенька… И ногти у нее розовые, Обаб…

Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут, не куря еще, начал плевать — сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло, и когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый, живой сверточек, пищавший на полу.

— Глиста!..

XX

На рассвете капитан вбежал в купе Обаба.

Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.

— Послушайте, — нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.

Обаб повернулся, поспешно убирая спину.

— Стреляют? Партизаны?

— Да нет… Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и мутно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

— Но нет мне разве места… в людях, Обаб?.. Поймите… я письмо хочу… получить. Из дому, ну!..

Обаб сипло сказал:

— Спать надо, отстаньте!

— Я хочу… получить из дому… А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его, прапорщик!.. — Капитан стыдливо хихикнул. — А… Незаметно этак, бывает… а…

Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

— Вы мне по службе — да! А так мне говорить не смей! У меня у самого… в Барнаульском уезде…

Прапорщик вытянулся, как на параде.

— Орудия, может, не чищены? Может, приказать? Солдаты пьяны, а тут ты… Не имеешь права!

Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:

— Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

— Тоска, прапорщик… А вы… все-таки человек!

— Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый… Онанизмом в детстве-то, а… ишь, ласки захотел…

— Вы поймите… Обаб…

— Не по службе это.

— Я прошу…

Прапорщик закричал:

— Не хо-очу-у!..

И он повторил несколько раз это слово, и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:

— О-о-а-е-ггты!..

Они, не слушая друг друга, исступленно кричали до хрипоты, до того, пока не высох голос.

Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:

— Я думал… камень… про вас-то… А тут — леденец… в жару распустился!

Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко схватил щенка за гривку.

Капитан повис у него на руке и закричал:

— Не сметь!.. Не сметь бросать!

Щенок завизжал.

— Ну-у!.. — густо и жалобно протянул Обаб. — Пу-у-сти-и…

— Не пущу, я тебе говорю!..

— Пу-усти-и!

— Бро-ось!.. Я!..

Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.

Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирал серыми лапками на полу, по серому одеялу. Похож на мокрое, ползущее пятно.

— Вот бедный! — проговорил Незеласов, и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость: он заплакал.

XXI

В купе звенел звонок: машинист бронепоезда требовал к себе.

Незеласов устало позвал:

— Обаб!

Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажками капитана.

Обаб сказал:

— Мостов здесь порванных нету. Что у них? Шпалы разобрали… Партизаны… А из города ничего. Ерунда!

Незеласов виновато сказал:

— Чудесно… мы живем, да-да?.. А до сего момента… не знаю,

как имя… отчество ваше, а?.. Обаб и Обаб… Извините, прямо… как собачья кличка…

— Имя мое — Семен Авдеич. Хозяйственное имя.

Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жилистый, с модными усами и словно закоптелыми глазами.

Указывая вперед, он проговорил:

— Человек лежит.

Незеласов не понял. Машинист повторил:

— Человек на пути!

Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул какие-то рычаги. Ветер рванул волосы Обаба.

— На рельсах, господин капитан, человек!

Незеласова раздражал спокойный голос прапорщика, и он резко сказал:

— Остановите поезд!

— Не могу, — сказал машинист.

— Я приказываю! Я…

— Нельзя, — повторил машинист. — Поздно вы пришли. Перережем — тогда остановимся.

— Человек ведь! Что?

— По инструкции не могу остановить. Крушение иначе будет.

Обаб расхохотался.

— Совсем останавливаться не к чему. Мало мы людей перебили! Если из-за каждого стоять, мы бы дальше Ново-Николаевска не ушли!

Капитан раздраженно сказал:

— Прошу не указывать! Остановить после перереза! Прошу…

— Слушаюсь, господин капитан, — ответил Обаб.

Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил капитана, и он сказал:

— А вы, прапорщик Обаб, идите немедленно, и чтобы мне рапорт, что за труп на пути!

— Слушаю, — ответил Обаб.

Машинист еще увеличил ход.

Вагоны напряженно вздрогнули. Пронзительно залился гудок.

Человек на рельсах лежал неподвижно. Виднелось на желтых шпалах синее пятно его рубахи.

Вагоны передернуло железными лопатками площадок.

— Кончено, — оказал машинист. — Сейчас остановлю, и посмотрим.

Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потное тело опахнуло ветром, соскочил с верхней площадки прямо на землю. Машинист спрыгнул за ним.

Солдаты показались в дверях. Незеласов надел фуражку и

тоже пошел к выходу.

Но в это время лес толкнул бронепоезд гулким ружейным залпом. И немного спустя еще один заблудившийся выстрел.

Прапорщик Обаб вытянул вперед руки, как будто приготовляясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело покатился по откосу насыпи.

Машинист дернулся и, как мешок с воза, грузно упал у колес вагона. На шее выступила кровь, и его медные усы точно сразу побелели.

— Назад!.. Назад!.. — пронзительно закричал Незеласов.

Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвертого вагона его убило.

Застучали пулеметы.

Рельсы

XXII

Похоже — не мог найти сапог по ноге и потому бегал босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лыжи, а тело, как у овцы, — маленькое и слабое.

Бегал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе под ноги, словно сгоняя цыплят:

— Шавялись! Шавялись! Ждут…

И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходившие отряды:

— Сколько народу?

Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему на холме Вершинину:

— Гришатински, Никита Егорыч!

У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый камень. За камнем, на восток, на полверсты реденький кустарник, за кустарником — желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную могилу без крестов.

— Мутьевка, Никита Егорыч! — кричал лисолицый.

Темный, в желтеющих, измятых травах, стоял Вершинин. Было у него истощенное лицо, искушенный долгими переходами взгляд, изнуренные руки. Привыкший к долгой и тяжелой работе Пентефлий Знобов спокойно и весело стоял близ него. Знобов сказал:

— Народу идет много.

И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг исправной

и готовой к ходу машины.

— Анисимовски, сосновски!

Васька Окорок, рыжеголовый, на золотошерстом коротконогом иноходце, подскакал к холму и, щекоча сапогами шею у лошади, заорал:

— Иду-ут! Тыщ, поди, пять будет!

— Боле, — отозвался уверенно лисолицый с россыпи. — Кабы я грамотной, я бы тебе усю риестру разложил. Мильён!

Он яростно закричал проходившим:

— А ты каких волостей?!

У низкорослых монгольских лошадок и людей были приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями. В гривах лошадей, в волосах у людей торчали спелые осенние травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у перелетных осенних птиц.

— Открывать, что ля? — закричал лисолицый. — Жду-ут…

И хотя знали все: в городе восстание, на помощь белым идет бронепоезд № 14–69, если не задержать, восстание подавят японцы, — все же нужно было собраться, и чтоб один сказал и все подтвердили:

— Идти… Сказать — всем, всем — слышать…

— Японец больше воевать не хочет, — добавил Вершинин, слезая с ходка.

Син Бин-у влез на ходок и долго, будто выпуская изо рта цветную и непонятно шебуршащую бумажную ленту, говорил, почему нужно сегодня задержать бронепоезд.

Между окрашенных под золото и красную медь осенних деревьев — тысячи плотно стоящих и тяжело дышащих людей. И было непонятно — не то сердито, не то радостно гудят они от слов тех, кто говорит с телеги.

— Голосовать, что ли? — спросил толстый секретарь штаба.

Вершинин ответил:

— Обожди. Не орали еще. Народу поорать надо.

Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его животу хотели прикладываться, шипел исступленно Вершинину:

— А ты от бога куда идешь, а?

— Окстись ты, дед!

— Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола-угодник являлся: больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст. А ты пошто народ бунтуешь? Мне избу надо ладить, а ты у меня всех работников забрал.

— Сожгет японец избу-то!

— Японца я знаю, — торопливо, обливая слюной бороду,

бормотал старик, — японец хочет, чтоб в его веру перешли. Ну, а народ-то — пень: не понимает. А нам от греха дальше, взять да согласиться, черт с ним, — втишь-то можно… свому богу… Никола-то свому не простит, а японца завсегда надуть можно.

Старик тряс головой, будто пробивая какую-то темную стену, и слова, которые он говорил, видно было, тяжело рождены им, а Вершинину они были не нужны.

И старик, выливая через слабые губы, как через проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать свое.

— Уйди! — сказал грубо Вершинин. — Чего лезешь в ноздрю с богами своими? Подумаешь… Абы жизнь была — богов выдумают.

— Ты не хулись, ирод, не хулись!..

Окорок сказал со злобою:

— Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатеры тиковые!

Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая слова:

— Ну, так вы как, товарищи!.. Голосовать, что ли?

— Голосуй! — отвечал кто-то робко из толпы.

Мужики загудели:

— Валяй!..

— Чаво ждать-то?!

— Жарь, Васька!

Когда проголосовали уже, решив идти на броневик, влево, далеко над лесом, послышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым громадным веником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по-протокольному сказал мужикам:

— Это штаб постановил — через Мукленку мост наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит к городу. Наши-то сгибли, поди, — пятеро…

Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи — окапываться.

Вершинин пошел по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив ноги между шпал на землю, долго глядел вдаль блестящих стальных полос, на запад.

— Чего ты? — спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

— Будут же после нас люди хорошо жить?

— Ну?

— Вот и все.

Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольствием:

— Это — их дело. Я думаю: обязаны!

XXIII

Бритый коротконогий человек лег грудью на стол — похоже, что ноги его не держат, — и хрипло говорил:

— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком совершенно не считается с мнением Совета союзов. Выступление преждевременно.

Один из сидевших в углу на стуле рабочий сказал желчно:

— Японцы объявили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся. Власть должна быть в наших руках, — тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

— Совет союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать…

— Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.

— Пойдут опять усмирять мужиков?

— Ждали достаточно!

Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успокаивал:

— А вы тише, товарищи.

Коротконогий представитель Совета союзов протестовал:

— Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатично, но… Вы уже послали агитаторов по уезду, крестьяне не идут на город, японцы нейтралитетствуют… Правда!.. Вершинин пусть даже бронепоезд задержит, и все же восстания у нас не будет.

— Это демагогия!..

— Прошу слова!

— Товарищи!

Пеклеванов поднялся, вытащил из портфеля бумажку и, краснея, прочитал:

— Разрешите огласить следующее: «По постановлению Совета народных комиссаров Сибири восстание назначено на двенадцать часов дня шестнадцатого сентября девятнадцатого года. Начальный пункт восстания — казармы артиллерийского дивизиона… По сигналу… Совет народных…»

Уходя, коротконогий человек сказал Пеклеванову:

— За нами следят! Вы осторожнее… И матроса напрасно в уезд командировали.

— А что?

— Взболтанный человек, бог знает чего может наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выбирать.

— Мужиков он знает хорошо, — сказал Пеклеванов.

— Мужиков никто не знает… На митинг поедете?

— Куда?

— Судостроительный завод. Рабочие хотят вас видеть.

Пеклеванов покраснел.

Коротконогий подошел к нему вплотную и тихо, в лицо, сказал:

— Мне вас жалко. А без вас они выступать не хотят. Не верят они словам, в человека уверить хотят. Следят… контрразведка… Расстреляют при поимке, — а видеть хотят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете.

Пеклеванов вытер потный веснушчатый лоб, сунул маленькие руки в карманы короткополого пиджака и прошелся по комнате. Коротконогий следил за ним из-под выпуклых очков.

— Сентиментальность, — сказал Пеклеванов, — ничего не будет!

Коротконогий вздохнул.

— Как хотите. Значит, заехать за вами?

— Когда?

Пеклеванов покраснел сильнее и подумал:

«А он за себя трусит».

И от этой мысли совсем растерялся, даже руки задрожали:

— А хотя мне все равно. Когда хотите!

Вечером коротконогий подъехал к палисаднику и ждал. Через кустарник видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку. Фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У нее были острые зубы и очень румяное лицо, — слезы на нем были не нужны, неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

— Измотал ты меня. Каждый день жду: арестуют… Бог знает… потом… Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватилась за ручку, просила:

— Не пущу… Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Ревком? Наплевать мне на них всех, идиотов!

— Маня! Ждет же Семенов.

— Мерзавец он и больше никто. Не пущу, тебе говорят, не хочу! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как тесина под ветром; на согнутой руке под мокрой кожей натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну:

— Не понимаю я вас!..

— Не любишь ты никого… ни меня, ни себя, Илья. Не ходи!

Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:

— Илья Герасимович, скоро? А то стемнеет, магазины

запрут…

Пеклеванов тихо сказал:

— Позор, Маня! Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться: струсил, скажут.

— На смерть ведь! Не пущу.

Пеклеванов пригладил низенькие, жидкие волосенки.

— Придется…

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

— Ерунда какая… Нельзя же так…

Жена закрыла лицо руками и, громко, будто нарочно, плача, выбежала из комнаты.

— Поехали? — спросил коротконогий. Вздохнул.

Пеклеванов подумал, что он слышал плач в домишке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказалось. Возвращаться же было стыдно.

— Папирос у вас нету? — спросил он.

XXIV

Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнатошерстой, как меделянская собака, лошади объезжал кустарники у железнодорожной насыпи.

Мужики лежали в кустах, курили, приготовлялись ждать долго. Пестрые пятна десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи, между разъездами — почти на десять верст.

Лошадь ленивая, вместо седла мешок. Ноги Вершинина болтались, и через плохо обернутую портянку сапог больно тер пятку.

— Баб чтоб не было, — говорил он.

Начальники отрядов вытягивались и бойко, точно успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:

— Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?

— Восстание там.

— А успехи-то как? Военны?

Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную усталость, отъезжал.

— Успехи, парень, хорошие. Главно — нам не подгадить!

Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи. Ждали.

Непонятно-незнакомо пустела насыпь. Последние дни один за другим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами — японскими, американскими и русскими. Где-то перервалась нить, и людей отбросило в другую сторону. Бронепоезд № 14–69

носился один между станциями и не давал солдатам бросить все и бежать.

Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:

— Бронепоезд скоро?

Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером и глядел в рот стрелочнику.

Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:

— Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь! — И, указывая на телефон, сказал: — С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?

— Ничо не поделаешь, коли правда.

Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.

— Правда-то — она и на звезды влезет.

Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к насыпи на длинных российских телегах принесли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал пилились лома — разобрать рельсы.

Знобов сказал недовольно:

— Все правда да правда! А к чему — и сами не знаем. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить?

— А все-таки чудно! Может, захочем на луне-то мужика построить.

Мужики захохотали:

— Ботало!

— Окурок!

— Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут — про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?

— Возьмем!

— Это тебе не белка — с сосны снять!

В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову:

— Скоро ль?

Стрелочник сказал у телефона:

— Не отвечают.

Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома в городе.

— Этот белобрысый-то? — спросил мужик, рассказывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклеванова: что у него лицо белее крупчатки и что бабы за ним — как лягушки за болотом, и что американский министр предлагал семьсот миллиардов за то, чтобы Пеклеванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою даром не возьмем».

— Вот стерва! — восторгались мужики.

Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рассказать самому. Вершинин вдруг робко спросил в трубку:

— Во сколько? Пять двадцать?

Обернувшись к мужикам, сказал:

— Идет!

И словно поезд был уже подле будки — все выбежали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на восток, к взорванному мосту.

— Успеем! — говорил Окорок.

Вперед послали нарочного.

Глядели на рельсы, тускло блестевшие среди деревьев.

— Разобрать бы — и только.

С соседней телеги отвечали:

— Нельзя. А кто собирать будет?

— Мы, брат, прямо на поезде!

— В город вкатим!

— А тут собирай.

Окорок крикнул:

— Братцы, а ведь у них люди-то есть!

— Где?

— У Незеласовых-то? Которые рельсы ремонтируют — есть-те люди?

— Дурной, Васька, а как мы их перебьем? Всех?

И, разохотившись на работу, согласились:

— Это можна… Перебьем!..

— Нет, шпалы некому собирать.

Все время оглядывались назад: не идет ли бронепоезд? Прятались в лес, — потому — люди теперь по линии необычны, — бронепоезд несется и обстреливает.

Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали, точно у моста их ждало прикрытие.

Верстах в двух от домика стрелочника, на насыпи, увидали верхового человека.

— Свой! — закричал Знобов.

Васька взял на прицел.

— Снять его. Свой?

— Какой черт свой! Кабы свой — не цеплялся б!

Син Бин-у, сидевший рядом с Васькой, удержал:

— Пасытой, Васика-а!..

— Обождь! — закричал Знобов.

Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик с перевязанной щекой, приведший американца.

— Никита Егорыч здеся?

— Ну?

Мужик, радуясь, закричал:

— Пришли мы туда, а там — казаки! Около мосту-то! Постреляли мы их — да и обратно.

— Откуда?

Вершинин подъехал к мужику и, оглядывая его, спросил:

— Всех убили?

— Усех, Никита Егорыч. Пятеро, царство небесное!

— А казаки откуда?

Мужик хлопнул лошадь по гриве:

— Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли. Цел он.

Мужики заорали:

— Чего там?

— Провокатер!

— Дай ему в харю!

Мужичонка торопливо закрестился.

— Вот те крест — не подняли. У камня, саженях в триста, сами себя взорвали. Должно, динамит пробовать удумали. Только штанину одну с мясом нашли, а все остальное… Пропали…

Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остановились. Васька с перекосившимся лицом закричал:

— Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город! Братцы!

Из лесу ввалилась посланная вперед толпа мужиков. Один из них сказал:

— Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены, на насыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их не много.

— Туда, к мосту, идти? — спросил Знобов.

Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок.

— Идет! — сказал Окорок.

Знобов повторил, ударяя яростно лошадь кнутом:

— Идет!..

— Товарищи!.. — звенел Окорок. — Остановить надо!..

Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на насыпь. Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками, щипали.

Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стонали рельсы — шел бронепоезд.

Знобов тихо сказал:

— Перережет — и все. Стрелять не будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обнажив насыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.

— Идет!.. Идет!.. — с криком бежали к Вершинину мужики.

Вершинин и весь штаб лежали в кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.

Знобов торопливо, испуганно сказал:

— Кабы мертвой!

— Для чего?

— А, вишь, по закону: как мертвого перережут, поезд-то останавливается, чтоб протокол составить… свидетельство и все там!..

— Ну?

— Вот кабы труп. Положили бы ево. Перережут и остановятся, а тут машиниста, когда он выйдет, пристрелить. Можно взять тогда.

Дым густел. Раздался гудок.

Вершинин вскочил и закричал:

— Кто хочет, товарищи… на рельсы чтоб — и перережет!.. Все равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут, мы тут машиниста с поезда снимем! А только вернее, что остановится, не дойдет до человека.

Мужики подняли головы, взглянули на насыпь, похожую на могильный холм.

— Товарищи! — закричал Вершинин.

Мужики молчали.

Васька отбросил ружье и полез на насыпь.

— Куда? — крикнул Знобов.

Васька злобно огрызнулся:

— А ну вас к…! Стервы…

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельсов.

Уже дышали, гукая, деревья, и, как пена, над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песку и лег на него щекой. Песок был теплый и крупный.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудели в лесу рельсы…

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

— Самогонки нету?.. Горит!..

Палевобородый мужик на четвереньках приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щек песок, посмотрел: голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы.

Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза — как две алые слезы…

Мужики молчали.

Китаец откинул винтовку и пополз вверх по насыпи.

— Куда? — спросил Знобов.

Син Бин-у, не оборачиваясь, сказал:

— Сыкуучна-а!.. Васика!

И лег с Васькой рядом.

— Нет, ты обожди, китай-человек! — сказал быстро Вершинин. — Васька лег и лежать будет обязательно. Он за свою землю лежит. За свою!..

Син Бин-у приподнялся. Не покидая насыпи, убедительно, горячо и страстно говорил он оттуда Вершинину:

— О ты… ты есть настоясий силовеке!.. Я ваш народ хочу показать!.. Сердце — мой народ показать!..

Волнуясь, стараясь вникнуть в смысл слов китайца, Вершинин поспешно допытывался:

— Уваженье, что ли, хочешь показать?

Китаец обрадовался, что Вершинин его понимает. Син Бин-у быстро говорил:

— Да-да! Уваженье китайски народа русски народа!

Тогда Вершинин сказал Ваське:

— Китаец уваженье Расее хочет показать. Понял, Василий? Не мешай ему. Он великую свою душу хочет показать!

И, помолчав немного, подумав, строго приказал:

— Иди сюда, Васька.

— Не могу! Не пойду я отсюда, Никита Егорыч!

— Иди сюда, Василий! — еще строже проговорил Вершинин. — Я тебе другое, тоже сильное дело найду. Твоя жизнь потребуется. Иди.

— Да что же это, братцы? — стоная, оглядываясь в негодовании вокруг, сполз нехотя с насыпи Васька.

Син Бин-у был один.

Голова его пощупала шпалы. Оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами… Оглянулась.

Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими, голодными глазами.

Син Бин-у лег.

И еще потянулась голова — вверх, и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец лег опять.

Корявый мужичонко крикнул ему:

— Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куды тебе его?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син Бин-у вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.

Тело китайца тесно прижалось к рельсам.

Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадратный, и злобно-багрово блестели зрачки паровоза. Серой плесенью подернулось небо.

И труп китайца Син Бин-у, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельсов…

Смерть капитана Незеласова

XXV

Прапорщик Обаб остался лежать у насыпи, в травах, мертвый.

Капитан Незеласов был в купе, побежал на паровоз, обошел вагоны. И всем казалось, что он не торопится, хоть и говорил, проглатывая слова:

— Пошел!.. Пошел!..

На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:

— Сейчас… нельзя так… смотреть!..

Закипели водопроводные краны.

Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узкогорлый артиллерист зашиб голову и вдруг от боли закричал.

Незеласов, пригибаясь, побежал прочь:

— Ну вас к черту… к черту!..

Поезд торопился к мосту, но там, на рельсах, за три версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост почему-то казался взорванным.

Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где убили Обаба, были разобраны шпалы…

И на прямом пути стремительно взад и вперед — от моста до будки стрелочника было шесть верст, — как огромный маятник, метался взад и вперед капитан Незеласов.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы были горячие, как кровь…

Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху тяжело раненные партизаны. Они теперь не боялись показаться лицом.

Но тех, кто был жив, не было видно; так же гнулся золотисто-серый кустарник и в глубине темнел кедр. Временами казалось, что бьет только один бронепоезд.

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фитилей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воздухе.

Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал:

«Сами знают!»

И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали издали, и будто костры были широкие, величиной с крестьянские избы. Бронепоезд бежал среди этих костров и на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий. Так по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев. Капитану казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, а он бежал на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам, а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты вагоны на ходу.

Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:

— Патронов… того… не жалеть!..

И, утешая самого себя, кричал машинисту:

— Я говорю… не слышите, вам говорят!.. Не жалеть патронов!

И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой.

— Главное, капитан… стереотипные фразы… «Патронов не жалеть!..»

Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо:

«А на что я нужен?»

Но тут:

«Хорошо бы капитану влюбиться… бороду завести в пол-аршина!.. Генеральская дочь… карьера… Не смей!..»

Капитан побежал на середину поезда.

— Не смей без приказания!

Бронепоезд без приказания капитана метался от моста — маленького деревянного мостика через речонку, которого почему-то не могли взорвать партизаны, — и за будку стрелочника, но уже все ближе навстречу, как плоскости двух винтов, ползли бревна по рельсам, а за бревнами мужики.

В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.

Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью на пули, а за стенками из стали уже перебегали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов, вытирая потные груди, и говорили:

— Прости ты, господи! Пропали…

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И, как за стальными стенками, перебегали с места на место мысли, и когда нужно было приказать что-нибудь нужное, капитан бранился:

— Сволочи!..

И, однако, нужного слова не находилось. Казалось, оно дрожит в мускулах ног, в локтях рук, покрытых гусиной кожей… и нет!

Капитан прибежал в свое купе. Коричневый щенок спал клубком на кровати.

Капитан замахал рукой:

— Говорил… ни снарядов, ни жалости!.. А тут сволочи… сволочи…

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо. Капитан наклонился к нему и послушал.

— И-и-и!.. — пищал щенок.

Капитан схватил его, сунул подмышку и с ним побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая широкая, но плоская фигура, казавшаяся сейчас какой-то прозрачной, пробегала с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капитан.

Но визжал щенок, слабо царапая мягкими лапами френч капитана.

Так же, не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражавшиеся у костра камни, и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.

Капитан чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.

Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом, — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз:

— А-у-о-е-е-и…

XXVI

Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и окапывались.

Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их домой. Раненые, которые посильнее, ругали баб, а тяжело раненные,

подпрыгивая на тряских телегах, раскрывали воздуху и опадавшему листу свои сухие, потрескавшиеся губы. Листы присыхали к колесам телег, вымазанных кровью.

Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они ползли, сворачивали к ней и проползали тихо, похожие на стадо сытых, возвращающихся с поля овец.

Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые читал ему толстый секретарь.

Васька Окорок шепнул боязливо:

— Страшно, Никита Егорыч!

— Чего? — хрипло спросил Вершинин.

— Народу-то темень!

— Тебе что, ты не конокрад. Известно — мир!..

Васька после смерти китайца ходил съежившись и глядел всем в лицо с вялой, виноватой улыбочкой.

— Тихо идут-то, Никита Егорыч: у меня внутри неладно.

— А ты молчи — и пройдет!

Знобов сказал:

— Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжие-то, парень, счастья не приносят. Примета!

Васька тихо вздохнул:

— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я царю-то, почесть, семь лет служил — четыре года на действительной да три на германской.

— Хорошо мост-то не подняли… — сказал Знобов.

— Чего? — спросил Васька.

— Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотели разбирать, а тут тебе мост. Омраченье!..

Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял воротник.

— Жалко мне, Знобов, китайца-то! А думаю — в рай он уйдет: за крестьянскую веру пострадал.

— А дурак ты, Васька.

— Чего?

— В бога веруешь.

— А ты нет?

— Никаких!..

— Стерва ты, Знобов. А впрочем, дела твои, братан. Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мне без меры нельзя: у меня вся семья из веку кержацкая, раскольной веры.

— Вери-ители!.. — Знобов рассмеялся.

Васька тоскливо вздохнул.

— Пусти ты меня, Никита Егорыч, — постреляю хоть!

— Нельзя. Раз ты штаб, значит и сиди в штабной квартире.

— Телеги-то!

Задребезжало и с мягким звоном упало стекло в стрелочной. Снаряд упал рядом.

Вершинин вдруг озлился и стукнул секретаря.

— Сиди тут. А ночь как придет — пушшай костер палят. А не то слезут с поезда-то и в лес удерут либо черт их знает, что им в голову придет.

Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги, вслед убегающему бронепоезду.

— Не уйдешь.

Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи.

— Ну-у!..

Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и понесла. Знобов, подскакивая грузным телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая Вершинина:

— А ты не гони — не догонишь. А убить-то тебя за дешеву монету убьют.

— Никуда он не убежит. Но-о, пошел!

Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.

Васька закричал:

— Гони! Весь штаб делает смотр войскам! А на капитана етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!

Телеги бежали мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали проносящийся мимо поезд, чтобы стрелять.

Бронепоезд с грохотом, выстрелами несся навстречу.

Васька зажмурился.

— Высоко берет, — сказал Знобов, — вишь, не хватат. Они там, должно, очумели, ни черта не видят!

— Ни лешева! — яростно заорал Васька и, схватив прут, начал стегать лошадь.

Вершинин — огромный, брови рвались по мокрому лицу:

— Не выдавай, товарищи!

— Крой! — орал Васька.

Телега дребезжала, о колеса билась бадейка с дегтем, из-под сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

— Ничего!..

И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вскочил на колени и, махая винтовкой, закричал:

— А дуй, паря! Пропадать так пропадать!

Опять навстречу мчался уже не страшный бронепоезд, а Васька грозил кулаком:

— Доберемся!

Среди огней молчаливых костров стремительно в темноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и вперед.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна на насыпи и медленно подталкивали их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил в упор.

Бревна были как трупы, и трупы как бревна, — хрустели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревело сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков — потом.

Пихты были как пики и хрупко ломались о броню подходившего поезда.

Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:

— Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали!

Знобов высчитывал:

— Завтра у них вода выйдет. Возьмем. Это обязательно.

Вершинин сказал:

— Надо в город-то на подмогу идти.

Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным, последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше: земля жалела. Сначала падали десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке, бабы. Потом сотни — и выше, и выше подымался вой. Носить их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневик продолжал жевать, не уставая, и, точно теряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелочника до деревянного мостика через речонку. Потом остановился.

Тогда-то, далеко еще до крика Вершинина: «Пашел!.. Та-ва-ри-щи!..» — мужики повели наступление.

Падали, отскакивая от стальных стенок, кусочки свинца и меди в тела. Осколки снарядов рвали грудь, пробивая насквозь, застегивая ее навсегда со смертью в одну петлю. Мужики ревели:

— О-а-а-а-о!!

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды. Кричали:

— О-а-а-а-о-о!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, и не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, отдаваясь у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти на четвереньках, осторожно и почему-то обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел на Вершинина и кричал:

— А ты, Никита Егорыч, Еруслан!

Лицо у Васьки было веселое, и только на глазах блестели слезы. Броневик гудел.

— Заткни ему глотку-то! — закричал пронзительно Окорок. И вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети: — Господи… и меня!

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой, желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, как всегда торопясь куда-то. Умер.

Партизаны отступили.

На рассвете приехал Пеклеванов. В портфеле у него лежали прокламации, и одно стекло очков было сломано наполовину.

XXVII

Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаждали у бойниц пулеметы. Были у них робко-торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд трясся сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темнобагровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову капитана Незеласова. От висков колючим треугольником — тупым концом вниз — шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

— Мерзавцы! — кричал капитан.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский

карабин, и затвор его был удивительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал по вагонам.

— Мерзавцы! — кричал он визгливо. — Мерзавцы!..

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было бы похоже на приказание, и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели наступление на поезд.

Через просветы бойниц, среди далеких кустарников, похожих на свалявшуюся желтую шерсть, видно было, как перебегали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки. За кустарниками — леса и всегда неожиданно толстые темнозеленые сопки. Но страшнее огромных сопок были эти торопливо перебегающие по кустарникам спины. И солдаты чувствовали этот страх и, чтобы не слышно было хриплого рева из кустарников, заглушали его пулеметами. Неустанно, несравнимо ни с чем, ни с кем бил по кустарникам пулемет. Капитан Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купе. Зайти туда было почему-то страшно; через дверку виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу. Капитан чувствовал, что, попав в купе, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот где-то визжащий щенок.

Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить было нельзя у солдат, — такой злобой были наполнены их глаза. Их не подымали с затворов винтовок и пулеметных лент, и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно — убьют. Капитан бегал среди них, и карабин, бивший его по голенищу сапога, был легок, как камышовая трость. Уже уходил бронепоезд в ночь, и тьма неохотно пускала тяжелые стальные коробки. Обрывками капитану думалось, что он слышит шум ветра в лесу… Солдаты угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело. Какой-то бледноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

— Щенка надо… напоить!.. — сказал Незеласов торопливо.

Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

— Н’ах… н’ах… н’ах!!

Другой, с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно капитану:

— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт…

… Их было много, много… И всем почему-то нужно было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарниках, похожих на желтую, свалявшуюся шерсть.

Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть вздрагивая, и не видно было, кто подбрасывал дрова. Горели сопки.

— Камень не горит!

— Горит!..

— Горит!..

Опять наступление.

Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и опять бежит.

— Это наступление?

— Ерунда!

Они полежат, эти, в кустарниках, встанут, отбегут — и опять.

… Побежали!..

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев:

— О-о-у-о-е!..

И тонко-тонко:

— Ой… Ой!..

Солдат со впавшими щеками сказал:

— Причитают… там, в тайге, бабы по ним!..

И осел на скамью.

Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы прорвала дыру в кулак.

— Почему видно все во тьме? — сказал Незеласов. — Там костры, а тут должно быть темно. И дым: они выкуривают нас дымом, чувствуете?

Костры во тьме, за ними рев баб. А может быть, сопки ревут?

— Ерунда!.. Сопки горят!..

— Нет, тоже ерунда, это горят костры!..

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.

Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.

Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки. А у капитана в городе есть невеста… она теперь…

Карабин становился тяжелее, но надо для чего-то таскать его с собой.

У капитана Незеласова белая, мягкая кожа, и на ней, как цветок на шелку, — глаза.

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки женщины влажны от

сна…

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а другой стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

— Туды!.. Туды!..

И какую книгу можно читать в эту ночь?

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов около своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями.

Потом забыл об этом. Многое забыл в эту ночь… Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести… тяжело…

И вдруг тишина…

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер. Не нужно помнить все дни…

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачкавшиеся в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза — тьма. Ослеп капитан.

Это от тишины…

И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.

Но тут все почувствовали — сначала слегка, а потом точно обжигаясь, — тишину терпеть нельзя.

Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к дверям.

Тьма! В тьме не видно его поднятых рук.

И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи вагонов бросились к дверям люди. На песке легче держаться. И можно куда-то убежать!.. Люди задыхались от дыма в стальных коробках… Им душно!

На мгновение стошнило. Под ногой капитан вдруг почувствовал траву, и колени скосились.

Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса…

…Его, капитана Незеласова, мясо…

«Котлеты из свиного мяса… Ресторан „Олимпия“… Мексиканский негр дирижирует румынским… Осина… Осень…

Благодарю тебя, Россия… мир… все славянство… за тишину… Тишина по всей земле…»

— Кро-ой, бей, круши!..

Крутится, кружится, все крошится.

Поезда на насыпи нет. Значит — ночь. Пощупал под рукой — волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка, прореха, гвоздем разорвало…

Через плечо карабин. Значит, из поезда ушел?

Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился

пояс с патронами поверх френча.

Чему-то поверил.

Рассмеялся.

Вязко пахнул кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул ветвями, длинными и мокрыми. Может быть, мокрые, в крови…

Дальше прополз Обаб со щенком подмышкой. Его галифе было похоже на колеса телеги.

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:

— Прикажете выезжать?

— Пошел к черту!

Беженка в коричневом манто зашептала в ухо:

— Идут!.. Идут!..

Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял карабин и выстрелил.

Но одной руки, оказывается, не хватает. Одной рукой неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не видать… Почему не стрелял в поезде, а здесь?..

Здесь один, а ползет, ишь, их сколько, — бородатые, сволочь, в землю попадают, а то бы…

Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму, до тех пор, пока не расстрелял все патроны.

Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, умер.

Пена

XXVIII

В жирных темных полях сытно шумят гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, грохочут квадратные серые коробки.

На желтой чешуе дракона — дым, пепел, искры…

Сталь по стали звенит, кует!..

Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.

Может быть, дракон китайский из сопок, может быть, леса… Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.

Гаоляны!.. Поля!..

У дверцы купе лысый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричит, смеясь:

— Вот так мужик: штаны широки, чисто юбка, а коленко-то голым-голо — огурец!

Пепел на столике. В окна врывается дым.

Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.

Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмыляется жалобно. Смешной чудачок!

За насыпью — другой бог ползет из сопок, желтый, литыми кольцами звенит…

Жирные гаоляны, черные!

Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.

— О-хо-хо!..

— Конец чертям!..

— Буде-е!..

На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими, хмельными телами.

Один, в красной рубахе, кулаком грозит:

— Мы тебе покажем!

Кому? Кто?

Грозить врагу всегда надо! Надо!

Красная рубаха, красный бант на серой шинели.

Бант!

О-о-о-о!..

— Тяни, Гаврила-а!..

— А-а-а!.. Ура-а!..

Бронепоезд за номером 14–69 под красным флагом.

На рыжем драконе из сопок, на рыжем — алый бант!.. На рыжем!

Здесь было колесо — через минуту за две версты, за две. Молчат рельсы, не гудят, напуганы… Молчат.

Ага!

Тщедушный солдатик в голубых французских обмотках, с бебутом — большим ножом.

— Дыня на Иртыше плохо родится… больше подсолнух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковый… Не знаю, какой народ.

— Про народ кто знат?

— Сам бог рукой махнул…

«О-о!..»

— «Ну вас!» — грит!..

«О-о!..»

Литографированный Колчак в клозете, на полу. Принты на полу, газеты на полу…

Люди пола не замечают, ходят — не чувствуют…

— А-а-а!..

«Полярный» под красным флагом…

Ага!

Огромный, важный, по ветру плывет поезд — лоскут красной материи. Кровяной, живой, орущий: «О-о-о!..»

У Пеклеванова очки на нос пытаются прыгнуть — и не удается; сам куда-то пытается прыгнуть и телом и словами:

— В Америке — со дня на день!

Орет Знобов:

— Знаю… Сам с американцем пропаганду вел!..

— В Англии, товарищи!

Вставай, проклятьем заклейменный…

«О-о-о!!»

Очки на нос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак, пулеметы на полу, винтовки, патроны — как зерна, мужицкий волос, глаза жирные, хмельные.

— Ревком, товарищи, имея задачей…

— Знаем!..

— Буде… Сам орать хочу!..

На кровати Вершинин: дышит глубоко и мерно, лишь внутри горит, — от дыхания его тяжело в купе, хоть двери и настежь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий.

Рядом — баба. Откуда пришла — подалась, грудями вперед вся, трепыхает. Настасьюшка. Жена!

Орет Знобов:

— Нашла? Он парень добрай!..

Эх, шарабан мой, американка…
……..
Табак скурился,
Правитель скрылся…

За дверями кто-то плачет пьяно:

— Ваську-то… сволочи, Ваську убили… Я им за Ваську пятерым брюхо спорю — за Ваську и за китайца… Сволочи…

— Ну их к… Собаки…

— Я их… за Ваську-то!..

XXIX

Опять пришла жена: соскучилась, бедная!..

Говорила слова прежние, детские, и было в ней детское, а в руках сила не своя, чужая — земляная.

И в ногах тоже…

«А-та-та-та!.. Ах!.. Ах!..»

Это бронепоезд — к городу, к морю.

Люди тоже идут.

Может быть — туда же, может быть — еще дальше…

Им надо идти дальше, на то они и люди…

Я говорю, я:

Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!

Знаю — и радуюсь… Верю…

Пахнет земля — из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются: он — господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит, — он тоже лист на дереве, огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он — небо и земля,

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная.

Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить.

Все так надо и так будет — всегда и в каждом сердце!

— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

— Ну-у!..

Рев жирный у этих людей, — они в стальных одеждах; радуются им, что ли, гнутся стальные листья; содрогается огромный паровоз, и тьма масленым гулом расползается:

«У-о-уа… у-у-у!..»

Бронепоезд «Полярный»…

Вся линия знает, город знает, вся Россия… На Байкале небось и на Оби…

Ага!..

Станция.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила, и потому, должно быть, было весело, холодновато и страшновато.

Навстречу шел Знобов.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-русски, нарочно коверкая слова:

— Мий — нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука. И сказал Знобов:

— Нитралитет — это ладно, а только много вас?..

— Двасась тысись… — сказал японец и, повернувшись по-

военному, какой-то ненужный и опять весь чужой, ушел.

Постоял Знобов, тоже повернулся и сказал про себя шепотом:

— А нас — мильён, сволочь ты!..

А партизанам объяснил:

— Трусют. Нитралитеты, грит, и желам на острова ехать, рис разводить… Нам — черт с тобой, поезжай.

И в ладонь свою плюнул.

— Еще руку трясет, стерва!..

— Одно: вешать их! — решили партизаны.

Плачущего, с девичьим розовым личиком вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи — глазами и губами.

Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу:

— Не ной!..

Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся и, подскочив, как на учении, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

На койке в купе женщина. Жена. Подле черные одежды.

— Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.

Толстому писарю объяснил:

— Запиши!..

Был пьян писарь и не понял:

— Чего?

Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать. Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то, как-то…

— Запиши…

И пьяный писарь, толстым, как он сам, почерком написал:

— Приказ. По постановлению…

— Не надо, — сказал Вершинин. — Не надо, парень.

Согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик.

Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказывал:

— Земли я прошел много и народу всякого видел много…

У Знобова золотые усы и глаза золотые, жадные и ласковые. Говорят:

— Откуда ты?

Повел веселый рассказ солдатик, и не верили ему, и он сам не верил, но было всем хорошо.

Пулеметные ленты на полу. Патроны — как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

— А то раз по туркестанским землям персидский шах путешествовал, и встречается ему английская королева…

XXX

Город встретил их спокойно.

Еще на разъезде сторож говорил испуганно:

— Никаких восстаний не слышно. А мобыть, и есть… Наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, ну и…

Борода у него была седоватая.

На вокзале испуганно метались в комендантской офицеры, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли рабочие.

Около Вершинина стоял Пеклеванов:

— Нам придется начинать, Никита Егорыч.

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными, узкими глазами.

— Нича нету!..

— Ставь пулемету…

— Машину давай!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфете первого класса разорванное красное знамя.

Рабочие кричали «ура». Знобов что-то неразборчиво кричал. Пеклеванов сидел в грузовике и неясно сквозь очки улыбался.

На телеге привезли убитых.

Какая-то старуха в розовом платье плакала. Провели арестованного попа. Поп что-то весело рассказывал, конвойные хохотали.

На кучу шпал вскочил britоусый американец и щелкнул подряд несколько раз «кодаком».

В штабе генерала Спасского ничего не знали.

Пышноволосые девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке канарейка, и на деревянном диване спал дневальный.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей, и по лестницам кверху побежали партизаны.

На полу опять бумаги, машинки испорченные, может быть убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками,

генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили к дивану, где дремал дневальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое, и, не пробежав половины лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатисто насвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежащего у лестницы трупа генерала. Солдатик в голубых обмотках и бутсах подумал сентиментально, что хорошо б красной подкладкой шинели прикрыть труп героя.

Но герои закопаны в гаолянах…

Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него была английская бомба, — было приказано: «В случае чего крой туда бомбу, черт с ними». В дверях подвала синело четырехугольное окошечко и ниже угловатая, покрытая черным волосом челюсть с моргающим мокрым глазом. За дверью часто, неразборчиво бормотали, словно молились…

Солдатик устало думал:

«А ведь когда бомбу бросить — отскочит от окна или не отскочит?»

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая, как дыхание тайфуна, томила город жара. И, как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

А в бухте, легко и свободно покачиваясь на зеленовато-синей воде, молчал японский миноносец.

В прихожей штаба тонко и разливчато пела канарейка, и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал на скамейке, хотя столы были все свободны.

Тихо, возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем…

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернилку и хотел позвать кого-то…

… Далеко, с окраины, выстрелили. Выстрел был гулкий и точно не из винтовки — огромный и тяжелый, потрясающий все тело…

Потом глубже, к главным улицам, разрезая радостью сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трамваями… Заревела верфь.

Началось восстание.

И еще через два часа подул с моря теплый и влажный темнозеленый ветер.

… Проходили в широких плисовых шароварах и синих дабовых рубахах приисковые. Были у них костлявые лица, с серым, похожим на мох волосом. Блестели у них округленные, привыкшие к камню глаза…

Проходили длиннорукие, ниже колен — до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих шкур и длинные, густые, как весенние травы, пахнущие рыбами волосы…

И еще шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихотэ-Алинь с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками.

Еще тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива св. Ольги…

И еще, и еще равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым, ровным усталым шагом…

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровянились потрескавшиеся губы, и выпячивался сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами ветер…

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя карандашом в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по-мышиному, оглядывающий манифестацию.

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинели, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходящих людей (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гадок, скользок и неуловим, как рыба в воде.

А партизаны шли и шли…

1921

Партизаны

I

Костлявый, худой, похожий на сушеную рыбу, подрядчик Емолин ходил по Онгедайскому базару и каждого встречного спрашивал:

— Кубдю не видали?

— Нету.

Наконец, голубоглазый чалдон, навеселе повидимому, затейливо улыбнулся и указал Емолину:

— Подле церкви Кубдя… гармошку покупат… А тебе на что?

— Надо, — отрывисто ответил Емолин.

Чалдон подряд четыре раза икнул и отошел.

«Деньги есь… Гармошку кикиморе… Заломатся», — подумал Емолин и пожалел потраченные сутки на езду в Онгедай.

Емолина то и дело толкали.

К прилавкам совсем нельзя было подойти. Емолин хотел пробраться между торговыми рядами, образующими улицу, но тут гнали целые табуны лошадей и жалобно блеявших баранов. Пыль грязножелтыми пятнами стлались над тесовыми лавками.

— Жарынь! — сказал Емолин, вытирая вспотевшую жилистую шею.

Горло сушила духота, уши оглушал базарный шум, на Прилавках резали зрение яркие пятна бязей, шелковых тканей, китайских сарпинок.

— В эку духоту — и неймется!.. Сшалел народ!..

Подле церкви толкотни было меньше. Здесь торговали горшками, и у возов слышался только тонкий звон посуды да возгласы торгующихся. Кубдя, в синей дабовой рубахе и в таких же коротких, но широких штанах, в рваных опорках на босу ногу, стоял у церковной ограды, рассматривая желтого глиняного петушка.

Высокий чалдон в сером азяме скучными глазами смотрел на покупателя.

— В день много работашь? — спрашивал Кубдя.

— Как придется.

— Полсотни, поди, так работашь?

Чалдон посмотрел на опорки покупателя и нехотя ответил:

— Бывает и полсотни.

— Видал ты его! — с уважением сказал Кубдя, кладя петушка обратно. — Ты бы, брат, бросил петухов-то делать…

— А что, ворон прикажешь?

— Не ворон, а хоть бы туеса березовые, примером: все выгодней.

— Сами знаем, что делать.

— Эх ты, лепетун!

Кубдя увидел Емолина и, указывая на чалдона, сказал:

— Возьми вот его, лепетуна, — петухов делат.

— Всякому свое, — строго сказал Емолин. — А мне тебя, Кубдя, по делу надо.

Кубдя взял опять петушка, повертел его в руках и купил, не то чтоб для надобности, а показать Емолину, что он, Кубдя, в деньгах не нуждается.

— Ну, говори.

— Пойдем, по дороге скажу, — сказал Емолин.

Кубдя сунул петушка в карман и отправился за Емолиным.

— Ты каку работу исполняешь?

— Работы по нашему рукомеслу много.

— А все-таки?

Кубдя улыбнулся под обвислые усы:

— Народ нонче бойко умират. Будто пал по траве идет.

— Ну и что ж?

— Гробы приходится…

Емолин смочил языком обсохшие губы и пренебрежительно сказал:

— Ерунда! Гробовая работа — самая поганая… Горбулин-то с тобой?

— В селе.

— Беспалых?

— Есть и Беспалых. Соломиных тоже тут.

— Еще ребята, поди, есть?

— Как не найдутся! А тебе на что, лешай?

Емолин выкроил улыбку на желтом, изможденном лице:

— Что, не терпится?

Кубдя крикнул:

— Люблю артельную работу, Егорыч!

— А говоришь, у те тут есь.

— Жидомор ты, никак тебе правды не скажешь… Все надо юлить. А то живьем слопаешь.

Кубдя взглянул на его скривившийся влево рот и подумал: «Сволочь». Емолин остановился и, поблескивая желтоватыми белками глаз, сказал:

— Потому что у вас, окромя как в себя, в никого веры нету, понял?

Кубдя крякнул.

— Крякнула утка, когда ее съели!.. А хочу я, Кубдя, вот что сказать вам. Подрядился я в Улейском монастыре амбары строить. Лес там имеется, инструменты, поди, при вас?

— Как же… Помесячно али поденно?

— Поденно. Двадцать цалковых на моих харчах.

— Дураков нету.

— Каких дураков?

Кубдя отошел от него на шаг и свистнул:

— Хитер ты, Егорыч! Прямо бяда. Кто к тебе пойдет, когда на сенокосе дадут две сороковки в день?

— Окурок ты! Сенокос — месяц, а тут и лето и осень.

— Да что мне, когда на колчаковские сейчас по сороковке в городе водку продают?

— Ладно, — сказал Емолин примиряюще, — пойдем ко мне чай пить.

— Самогонка есть?

— Не самогонка, браток, а «николаевка».

— Вот панихида! — восторженно вскрикнул, хлопнув себя по ляжкам, Кубдя.

Они прошли базар, и Емолин свернул в переулок. Подрядчик выдернул деревянную щеколду, и большие тесовые ворота, визжа на петлях, распахнулись. На цепи, подпрыгивая, хрипло залаял на них пес. Из сутунчатого пригона протяжно спросил женский голос:

— Кто тама-ка?

— Я, Матвеевна, я, — отвечал Емолин, входя на высокое крыльцо из огромных кедровых досок. — Самовар бы нам…

— Сичас.

Молодая женщина в светлом ситцевом платье и с подойником в руках вышла из пригона. Емолин, входя в сени, спросил ее:

— Чо поздно доишь-то?

— Так уж приходится, — отвечала она, громыхая самоварной трубой. — Вы где пить будете: в горнице али, может, в затине?

Емолин звякнул посудой в ящике.

— Все равно. Можно в горнице. Там, кажись, мух мене.

— Прямо напасть с этими мухами! Уж мы их травили-травили, ни лешака на них нет… Намедни мужик поворот какой-то на них привозил, вот шибко подействовал.

— Не поворот, а водород. Сусликов травят, — поправил Емолин.

Женщина рассмеялась.

— Кто их знат. Нонче все наоборот. Вон царя-то в Омске не русского посадили и икватёром зовут.

Емолин рассмеялся жиденьким смехом:

— Необразовщина, прямо — тайга!.. Видмеди вы. Колчак-то старого роду, бают, и не царь, — а диктатёр…

— Одна посуда-то, — сказал Кубдя.

— Посуда-то одна, да вино разно. То тебе коньяк, а то самогонка.

— А то тебе ртуть.

— Ртуть не пьют, а киргизы от дурной болезни лечатся…

Емолин сидел на деревянной крашеной скамье со спинкой, Кубдя — на крашеном деревянном стуле. В горнице было прохладно, — сквозь маленькие окна свету пробивалось мало, да и мешали широкие, легко пахнущие герани в глиняных глазурованных горшках. Двери и печка были разрисованы большими синими по желтому полю цветами, а на полу лежали плетенные из лоскутков половики.

Пока хозяйка доставала из шкафа посуду, ставила на стол калачи из сеянки, пироги с калиной и молотой черемухой, Емолин самоуверенно рассуждал:

— Ты возьми, Кубдя, меня. Из кого, ты скажи мне, я поднялся?..

Кубдя ждал с нетерпением, когда Емолин раскупорит бутылку с водкой, и потому с усмешкой отвечал:

— Никуда ты не поднялся.

— Врешь! Был я, скажем, лапотной пермской мужик, и теперь имею дом с железной крышей, и хозяйство честь честью, и почет ото всех.

— Ну и слава богу!

— Известно, слава богу, — подтвердил и Емолин, выбивая пробку и наливая водку в стаканчики, — только ни черта не понимаете вы. Пей!

— Да уж пейте вы… — по обычаю отказался Кубдя.

— Пей.

— Не буду.

Емолин выпил, скривив лицо, грязными, гнилыми зубами откусил кусок пирога.

— Крепка, стерва… Пей.

Кубдя выпил, скривил тоже лицо и сразу всунул в рот целый пирог.

— Да-а… — замычал он, — ничего себе!.. Крепка!..

— Пей!.. — сказал Емолин.

Кубдя уже не отказывался.

Емолин ел плохо, копошась длинными пальцами в хлебе, отламывая и откладывая в сторону корки. Кубдя же ел торопливо, глотая полупрожеванные куски. Глядя на его быстро двигающиеся

желваки челюстных мускулов, Емолин с достоинством пил кирпичный чай и с достоинством рассуждал:

— Мало вы в народе кишите… В образованном народе, говорю, а потому доверие к другим плохое возбуждаете. А без доверия и курица яйца не снесет, не то что в народе жить…

Кубдя хватил стаканчик, и под ним мрачно закряхтел стул. Емолин продолжал:

— Ко власти стыд потеряли, одинаково с видмедями… За себя не стоите: черт вас знает, что вам требуется!.. Отдыхай, брат, Емолин, — и никаких!

Кубдя рыгнул и отодвинулся от стола:

— Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль.

Емолин налил еще.

— Пей, Кубдя. А не за что благодарить-то.

Кубдя взмахнул рукой и удивился про себя, что жест такой легкий.

— Раз я благодарю, ты принимай — и никаких. А что отдыхать тебе, Емолин, то не придется.

— Почему так? Раз мы заслужим, почему не придется?..

— А так.

— А кто мне мешать смеет?

— Найдутся.

Емолин стукнул ребром ладони по столу.

— Нет, ты говори! Я знать желаю.

Кубдя улыбнулся и подмигнул:

— Найдутся, Егорыч, другие отдохнут за тебя… Ей-богу!..

— Сыны, что ли?

— Усе мы сыны, да не одного батьки. Во-от… Ты вот дом строишь, думаешь: «Отдохну, поживу…» Крепко, браток, строишь — с железной крышей, с голландской печкой, скажем. А тут — на тебе, выкуси! Не придется. Получится заминка.

— Какая!

Кубдя широко раскрыл слипающиеся глаза и вдруг тихо и часто-часто рассмеялся:

— Хо-хо-хо-хе-е… Дёрон вы зеленой, дёрон… Хо-хо-хе-е…

Емолин тоже рассмеялся:

— Хо-хо-хо-хе-е… Темень ты стоязычная, темень… Хо-хо-хо-хе…

Из прихожей выглянула хозяйка, посмотрела, махнула рукой:

— Ой, девоньки, уморят!

И залилась клохчущим, мелким смехом.

II

С похмелья голова у Кубди никогда не болела, только скверно и остро першило в горле — словно обожжено чем. Утром, проснувшись, Кубдя, задевая ногами то о ведро, то о доски, разбросанные по полу, долго искал ковш и, не найдя, охватил толстыми руками кадку с водой, поднял ее и, проливая блестящие капли в белые душистые опилки, напился.

Послушал, как булькает в животе вода, и вспомнил, что вчера нанялся к Емолину.

«Своей работы будто не хватает», — неодобрительно подумал Кубдя, отламывая хрустящую краюшку хлеба. Бабка Енолиха остро взглянула и крикнула ему:

— Опять пьянствовать, Кубдя? Базар-то кончился!

Кубдя потер пальцами глаза и ответил:

— Знаю.

— Робить надо.

— И то робить хочу.

— Так чего же в ворота-то поперся? Куда уходишь?

Кубдя, просовывая в рот кусок, заглянул в погреб. Там было прохладно и темно, а в избе мешали мухи.

Енолиха взглянула на него пристальнее, взяла отпотевшую по стенам кринку молока.

— Ешь, Кубдя. Чо всухомятку-то? Молоко-то седнишнее.

— Не люблю молоко, — сказал Кубдя и подумал: «Ребятам надо сказать. Вот ругаться будут, лихоманки!»

Енолиха отставила молоко.

— И то ведь ты не любишь.

Она спрятала руки под фартук, и широкий нос ее, похожий на яйцо, отвернулся от Кубди.

— Где робить-то?

— К Емолину нанялся.

— Один?..

— Артелью думам.

Старуха, припирая тяжелую, растрескавшуюся дверь потреба, тише говорила:

— Смелости у вас, у нонешних, нету, — все в артель метите. Вот и царь-то потому отказался от вас.

— Прогнали его.

— Ишь ведь… — недоверчиво растянула старуха. — Сказывай!

— Плохой царь был.

— Цари-то — они все плохи. Хороша-то нам и не надо.

— Пошто?

Старуха ловко подхватила пестерь с углями. На ходу она, немного не договаривая слова, бормотала:

— Цари-то должны быть плохи. Строго надо себя держать, — ну, кто строг, тот и плох. А без хорошего человека всегда жить можно. Вот царь-то хороший попал, ну, видит, дело плохо: с таким окаянным народом рази проживешь? Взял… да и ушел… Плюнул…

— Темень вы.

Обвислые щеки старухи покраснели. Она закинула пестерь на крыльцо и крикнула Кубде:

— А ты иди, лодырь, иди!..

— Уйду. Вот Колчаком-то, поди, довольна?

— Что он мне?

— Строгий.

— Всё не русски каки-то. Чехи, говорят, поставили из австрияков. Пленный он, что ли?

— Кто его знат.

— Я морокую, из пленных в германскую войну. Вот в Расеи — так там царица.

Кубдя пошел было, но остановился:

— Как царица! Ты что, Христос с тобой, бабушка?

— Ну, а воюют-то пошто. Вот из-за царства и воюют. Тут-то Толчак самый, а там Кумыния… Не поделили что-то, а хрестьяне отдувайся… Нашему брату не легче…

Она вынесла из сенок решето с крупой и тонким голосом зачастила:

— Цыпи-цыпи-цыпи…

Маленькие желтенькие цыплята, похожие на кусочки масла, выкатились из-под навеса.

По улицам медленно проходили запряженные волами длинные ходки переселенцев. Скрипели ярма. Нехотя поднимали теплую и мягкую пыль копыта волов. Изредка пробегал, дребезжа, коробок киржака-старожила. Киржак лениво, одним глазом оглядывал ходки переселенцев и крупно стегал кнутом маленькую лошадь. Вдоль улицы в жирной, черной тени лежали парнишки и собаки, а вокруг села из-за изб густо и сыро зеленел забор тайги.

Кубдя шел к товарищам неохотно. Вчера, по пьянке, он много наговорил Емолину и о себе и о ребятах. И сейчас он тревожно думал: «А как, черти, не согласятся! Вот состряпают мне».

Поутру всегда почти Горбулин и Беспалых сидели у Соломиных. А потом все трое шли к Кубде и здесь или работали, или, если не было работы, говорили о девках и о самогонке.

Соломиных имели свою избу. Старую, еще строенную из кедровика; огромный сутунковый забор; большие ворота, словно вытесанные из камня, и над воротами длинный шест с

привязанным к нему клоком сена, — зимой Соломиных пускал ночевать проезжих.

Двор у него тоже был огромный, черный, чистый. Завозни поросли зеленью, но были еще крепкие, и из них можно было построить две избы.

Сам Ганьша Соломиных сидел верхом на колоде посреди ограды и топором рубил табак. Голова его, лохматая, густо поросшая клочковатым волосом, была непокрыта, и пот вздымался чуть заметным паром. И весь он походил на выкорчеванный пень — черный, пахнущий землей и какими-то влажными соками.

На земле навзничь лежал Беспалых — веснушчатый, желтоволосый, похожий на гриб рыжик. Упираясь спиной в колоду, сидел Горбулин — широкорожий, скуластый, с тонкими прорезями глаз.

Когда Кубдя вошел во двор, они все трое обернулись в его сторону и выжидающе посмотрели на него.

«Знают, должно», — подумал Кубдя и смутился.

— Дай-ка покурить, — сказал он, протягивая руку к табаку.

Соломиных достал зеленый кисет из кармана и глубоким своим голосом проговорил:

— Ты рубленый-то не трожь. Сырой. Из кисета валяй.

Беспалых мотнул ногами и быстро поднялся.

— Ты что, — пришепетывая, заговорил он, — в ладах, что ли, с Емолиным?

Кубдя, не понимая, развел руками.

— Счас я его встретил. «Когда, говорит, на работу пойдете?» — «Вот тебе раз, говорю, некуда нам идти». — «И в монастырь-то нанялись!» — «Еще чище!.. Какой?» — опрашиваю. «Да вот у Кубди, говорит, спросите».

Кубдя, быстро затягиваясь махоркой, стал рассказывать, что наняться он еще не нанялся, а так говорил.

— А там как хотите, — докончил он и пренебрежительно сплюнул. — По мне, хоть сейчас, так я скажу: не пойдем, мол. Только он двадцать целковых в день дает и харчи его…

Беспалых обошел вокруг колоды, и как только Кубдя замолчал, он мгновенно вскрикнул, словно укололся:

— Айда, паря!

Горбулин почесал спину о колоду, потом меж крыльцев руками — и все так, напрасно, без надобности. Хотел подняться, но раздумал: «Успею, нахожусь еще». Ганьша Соломиных продолжал равномерно ляскать топором табак. Колода тихо гудела.

Кубдя ждал и думал: «А коли, лешаки, спросят: зачем с

Емолиным николаевку пил? Не по-артельно»

На пригоне промычала корова.

— Чо в табун не пустишь? — спросил Кубдя.

Соломиных прогудел:

— Седни… отелилась…

«Будто колода гудит Соломиных-то», — подумал Кубдя и присел на край колоды.

Беспалых схватил щепку и бросил в голубя. Голубь полетел, торопливо трепыхая крылышками.

Кубдя подождал: «Думают».

Потом спросил не спеша:

— Ну, как вы-то?

Горбулин, с усилием подымая с днища души склизкую мысль, сказал:

— Мне-то что… Я могу… У меня хозяйство батя ведет… Вот рази мобилизация. Угонят. Вот Ганьша у нас домовитый. Ему нельзя.

Беспалых хлопнул Кубдю по спине ладонью:

— Он молодец, ему можно доверять.

Соломиных воткнул легонько топор в колоду, собрал табак в картуз и встал.

— Пойдемте, паре, чай пить.

— Ну, а робить-то пойдешь? — вкрадчиво спросил Кубдя.

Соломиных немного с натугой, как вол в ярме, пошел к крыльцу.

— Я что ж, — сказал он твердо, — я от работы не в дупло, могу.

И громко проговорил:

— Баба! Самовар-то поставила?

Рыжеголовый щенок у поваленных саней сделал несколько шажков вперед и тявкнул. Кубдя с восхищением схватил Ганьшу за плечи и слегка потряс:

— Друг! Горластый!

Соломиных повел плечами:

— Ладно, не балуй.

Напившись чаю, они пошли говорить с Емолиным. Подрядчик запрягал лошадь. Затягивая супонь, он повернул к плотникам покрасневшее от напряжения лицо и одобрительно сказал:

— Явились, артельщики? Ну и добро!

Потом он выправил из хомута гриву, шлепнул лошадь по холке и подал руку плотникам:

— Здорово живете!

Говорили мало. Хотели прийти на работу через три дня. Емолин же настаивал: завтра.

— Дни-то какие — насквозь душу просвечивает! Что им пропадать? Тут десять верст — за милу душу отмеряете. А?

Он льстиво заглянул им в бороды, и видна была в его глазах какая-то иная дума.

— А то одинок я, паре, чисто петух старый… А еще с этими длинноволосыми…

Плотники согласились. Протянули Емолину прямые, плохо гнущиеся ладони и ушли. Емолин, садясь в коробок, проговорил:

— Метательные ребята. Не сидится дома-то.

После обеда напились квасу и отправились. Соломиных запряг лошадь в широкую ирбитскую телегу, навалил охапки три травы, на траву бросили инструменты в длинных, из верблюжьей шерсти тканных мешках. Лошадью правила жена Соломиных и всю дорогу ворчала на мужа:

— Шляется бог знат куда… Диви работы дома не было б…

Соломиных сидел на грядке, свесив ноги. Испачканные дегтем придорожные травы хлестали по сапогам.

Беспалых излагал надоевшую всем историю, как он жил в германском плену.

— Били-и… — вскрикивал он по-бабьи. — Вот, черти, били-и…

Кубдя съязвил:

— Ум-то и выбили…

— У меня, паря, не выбьешь! Душу вынь, а ума не достанешь.

— Далеко?

— Дальше твоей избы…

Кубдя расхохотался. Баба хлестнула вожжой лошадь:

— Ржут, треклятые! Все на дармовщину метят. Нет чтоб землю пахать!

— Мы мастеровые, — сказал Горбулин, — ты небось без кадушки-то сдохнешь.

Баба раздраженно проговорила:

— Много мне мужик-то кадушек наделал? Кому-нибудь, да не мне. Так, околачиваетесь вы… Землю не поделили…

Баба всегда провожала Соломиных так, как будто хоронила; затем, когда он приносил деньги, покупала себе обновы и смолкала. Поэтому он сквозь волос, густо наросший вокруг рта, бормотал изредка:

— Будет! Будто курица яйцо снесла, захватило тебя…

Горбулин поехал ради товарищей, и ему было скучно. Он пытался было пристроиться соснуть, но в колеях попадались толстые корки деревьев и телегу встряхивало. Позади, в селе, остались мягкие шаньги, блины, пироги с калиной, — он с неприязнью взглянул на Кубдю и закурил.

Кубдя насвистывал, напевал, смеялся над Беспалых, — нос, щеки у него, усы быстро и послушно двигались.

Считали до Улеи десять верст. Леший их мерил, должно быть, или дорога такая, будто по кочкам, — плотники приехали в Улею под вечер.

Над речкой видны были избы, темные, с зацветшими стеклами. Старой работы и стекла и избы.

Через речку шаткий, без перил, деревянный мост упирался в самый подъем горы, заросший матерым лесом. Направо по ущелью — луга. По ним платиновой ниткой вшита Улейка.

Монастырь в низкой каменной стене задыхается в соснах и березах, одна белая выскочила и повисла над обрывом в кустах тальника и черемухи.

— Стой, — сказал Кубдя.

Плотники соскочили на землю. Кубдя сказал:

— Поздно будет бабе-то ехать. Много ли тут — пешком дойдем. Пусть едет домой.

Соломиных согласился:

— Пущай.

И сказал бабе сердито:

— Поезжай, дойдем.

Жена заворотила лошадь и, отъезжая, спросила:

— В воскресенье-то придешь али к тебе приехать?..

— А приезжай лучше, — прогудел Соломиных.

Кубдя задорно крикнул:

— Гостинцев вези!

Лихоманку тебе в зоб, а не гостинцев!.. Но-о!..

— Ишь, бойкая!.. Кумом не буду…

— Видмедь тебе кум-то!..

III

Мешки и одежда лежали на траве грязной кучей.

Горбулин смотрел на них так, как будто собирался лечь и сейчас уснуть. Всех порядком потрясла корнистая дорога, и все с удовольствием притискивали подошвами густозеленую траву.

Кубдя посмотрел на монастырь и довольным голосом проговорил:

— Доехали, лихоманка его дери! Ишь, на самый подол горы-то забрался, чисто у баб оборка… На зеленое — красным…

Соломиных деловито спросил:

— А квартера там какова? Говорил подрядчик, Кубдя?

— Квартера, говорит, новая. Не живанная.

— Таки-то дела…

Соломиных взял подмышки копошившегося у мешков Беспалых и вывел его на дорогу.

— Пошли, что ли?

Беспалых отскочил в сторону:

— Обожди! Поись надо…

— Растрясло тебя. Не успел приехать — уж исть.

На Кубдю словно нашло озарение. Он весь как-то передернулся, даже дабовые штаны пошли волнами, и ковким молодым голосом воскликнул:

— Эй, ломота!.. Али к черту этому старому, Емолину, сегодня идти?.. А ну его! Ночуем здесь, а завтра пойдем. Хоть там и квартира новая и изба срубленная свежая, а нам — наплевать, понял?

Выслушали Кубдино излитие, и Соломиных проговорил:

— Проситься у кого, что ли, будем?

— Как мы есть теперь шпана, — сказал Кубдя с удовольствием, — то теперь нам в избу лезть стыдно.

— Под голым небом ночевать, что ли?

Кубдя по-солдатски вытянулся, и корявое его лицо с белесыми бровями потекло в несдерживаемой улыбке.

— Так точно! — весело выкрикнул он.

Беспалых сидел на траве и оттуда вставил:

— Замерзнем, паря!

Горбулин не любил ночевать в новорубленных избах и нехотя сказал:

— Не замерзнем.

Два часа назад, в селе, такое предложение показалось бы им не стоящим внимания, но сейчас все сразу согласились.

Кубдя повел их на площадь, к берегу речки. У Соломиных, когда он расстался с домом, бабой и лошадью, словно прибавилось живости, — он шел с легкою дрожью в коленках.

За ними, изредка полаивая, костыляли три деревенских собаки, и видно было по их хвостам и мордам, что лают они не серьезно, а просто от скуки.

Плотники легли на траву, домовито крякнули и закурили. Подходили к ним мужики из деревни.

Уже знали, что пришли они в Улею строить амбары, и все расспрашивали об Емолине, об его хозяйстве, и никто не спросил, как они живут и почему пошли работать.

Беспалых обозлился и, когда один из расспрашивавших, особенно липкий, отошел, крикнул ему вслед:

— А работников и за людей не считаете, корчу вам в пузо!..

Кубдя свистнул и пошел за сеном и ветками для постелей.

Соломиных принес валежнику и охапки сухих желтых лап хвои.

— Хвою-то куда, коловорот?

— Заместо свечки.

Плотники зажгли костер и поставили чайник. В это время мимо костра пробежала, тонко кудахтая, крупная белая курица. Горбулин вдруг бросился ее ловить…

Гуще спускалась мгла. В речке плескалась рыба, по мосту кто-то ходил — скрипели доски. В деревне — молчание: спали. Кусты словно шевелились, перешептывались, собирались бежать. Пахло смолистым дымом, глиной от берега.

Горбулин, похожий в сумерках на куст перекати-поле, бесшумно догонял курицу. Слышно было его тяжелое дыхание, хлопанье крыльев, испуганное кудахтанье.

Вышел из ворот учитель. У костра он остановился и поздоровался. Фамилия у него была Кобелев-Малишевский. У него все было плоское — и лицо, и грудь, и ровные брюки навыпуск, и голос у него был ровный, как-то неуловимый для уха.

— Кто это там? — спросил он, указывая рукой на бегавшего Горбулина.

Кубдя бросил охапку хвои в костер. Пламя затрещало и осветило площадь.

— Егорка. Наш, — нехотя ответил Кубдя. — А тебе что?

— Курицу-то он мою ловит.

Кубдя ударил слегка колом по костру. Золотым столбом взвились искры в небо.

— Твою, говоришь? Плохая курица. Видишь, как долго на насест не садится.

Подошел Горбулин с курицей подмышкой. Оба они тяжело дышали.

— Дай-ка топор, — обратился он к Кубде.

Учитель положил руки в карманы и омрачившимся голосом сказал:

— Курица-то моя.

— Ага? — устало дыша, проговорил Горбулин. — А мы вот ей сейчас, по-колчаковски, башку долой.

Учитель хотел ругаться, но вспомнил, что в школе сидеть одному, без света и без дела, скучно. В кухне пахнет опарой, в горнице геранью; на кровати кряхтит мать, часто вставая пить квас. Ей только сорок лет, а она считает себя старухой.

Кобелев-Малишевский скосил глаза на Соломиных и промолчал.

Соломиных, поймав его взгляд, сказал:

— Садись, гостем будешь. Счас мы ее варить будем.

Беспалых, видя, что хозяин курицы не ругается, схватил

ведро и с грохотом побежал по воду. Черпая воду и чувствуя, как вода, словно живая, охватывает его ведро и тащит, он в избытке радости закричал:

— Ребята! Теплынь-то какая, айда купаться.

— Тащи скорей! Не брякай, — зазвучало у костра.

Кобелев-Малишевский снял пальто и постелил его под себя.

— Работать идете? — спросил он.

— Работать, — отвечал Соломиных.

— Слышал я. Емолин сказывал, что нанял вас. Дешево, говорит, нанял. Мерзостный он человечишка, запарит вас.

Соломиных грубо сказал:

— Не запарит. А тебе-то что?

— Мне ничего. Жалко, как всех.

— Жалко, говоришь?

— Такая порода у меня. У меня ведь дедушка из конфедератов был, сосланный сюда. Ноздри рваны и кнутом порот.

— За воровство, что ли? — спросил Кубдя, вороша костер. — Раньше, сказывают, за воровство ноздри рвали.

— Восстание они устраивали, чтобы под русскую власть не идти. Поляки.

— Это как сейчас с чехами?

Учитель подождал чего-то, словно внутри у него не уварилось, и ответил:

— И фамилия моя — Малишевский, польская по деду. А Кобелев — это здесь в насмешку на руднике отцу прицепили, чтобы было позорнее. Был знаменитый генерал Кобелев, который Туркестан покорил и турок победил.

— Скобелев, а не Кобелев, — сказал Кубдя.

— Ты подожди. Когда он отличился, тогда ему букву «с» царь и прибавил. Чтобы не так позорно ему было в гостиные входить. Мобилизовали меня на германскую войну, тоже я мечтал отличиться и фамилию свою как-нибудь исправить. Не пришлось. Народу воюет тьма, так, как вода в реке, — разве капля что сделает? Ранили меня там в ногу, в лазарете пролежал, и уволили по чистой.

Соломиных повернулся спиной к огню и проговорил:

— И пришел ты Кобелевым.

— Видно, так и придется умереть.

— Царя вот дождешься — и сделает он тебя Скобелевым.

— Царя я не желаю, как и вы, может быть. Я ж вам сказал, что жалостью ко всем наполнен, и это у меня родовое. Вот ребятам в школу ходить не в чем — жалко, бумаги нет, писать не на чем — жалко, живут люди плохо — тоже жалко…

Малишевский долго говорил о жалости, и ему стало действительно жалко и себя и этих волосатых, огрубелых людей с топорами. Он начал говорить, как его воспитывали, и как его никто не жалел, и сколько из-за этого у него много хороших дней пропало, и, может быть, он был бы сейчас иной человек. И Кобелеву-Малишевскому хотелось плакать.

Беспалых взял ложку и попробовал суп:

— Рано еще. Пущай колобродит.

Он развязал мешок и достал ложки. Самую чистую он подал Малишевскому. Беспалых нарезал калачей и, положив их на полотенце, снял с огня котелок. Кубдя подбросил хвои.

Плотники, дуя на ложки, стали есть. Учитель отхлебнул немного из котелка и отодвинулся.

— Что ты? — сказал Соломиных. — Ешь.

— Сыт. Я недавно поужинал.

Кобелев-Малишевский смотрел, как сжимаются их поросшие клочковатым волосом челюсти, пожирая хлеб и мясо, и ровным голосом говорил:

— Монастырь построили, чтоб молиться, а вы в него не ходите. Бога только в матерках упоминаете, ни религии у вас нет, ни крепкой веры во власть. И кто знает, чего вы хотите. Повеситься с такой жизни мало. Как волки, никто друг друга не понимает. У нас тут рассказывают… Пашут двое — чалдон да переселенец. Вдруг — молния, гроза. Переселенец молитву шепчет, а чалдон глазами хлопает. Потом спрашивает: «Ты чо это, паря, бормотал?» — «От молнии молитву». — «Научи, может сгодится». Начал учить: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое…» — «Нет, — машет рукой чалдон, — длинна, не хочу». Все покороче хотят, а жизнь-то и так с птичью любовь.

Учителю обидно было, что плотники ели его курицу и не благодарили; обидно, что на него не обращали внимания, обидно, что из города не слали три месяца жалованья.

Он сидел перед огнем и говорил совсем не то, что хотел сказать. Похоже было, что за него кто-то сзади говорит, а он только шевелит губами.

Плотникам же мерещилось, что они голые идут в ледяной воде — и нет ей ни конца ни края.

Трещала, сгорая, хвоя. Повизгивая, лаяли собаки за огнем, — им туда, в темноту, бросил Горбулин кости и куски.

Соломиных закрылся с головой и что-то неразборчиво мычал. Не то он спал, не то говорил. Беспалых и Кубдя лежали на боку, курили. Лица у них были красные.

Малишевскому никто ничего не отвечал. Уголек упал к нему на колено, он пальцем сбросил его и стал говорить о любви.

Горбулин ушел, и скоро по ту сторону костра из тьмы вышла его приземистая фигура и за ним три лохматых пса. Он усадил их в ряд, поднял руку кверху и пронзительно заорал:

— Ну-у!..

Собаки подняли передние лапы и сели на задние. Морды у них были измученные, и видны были их белые клыки. Малишевскому стало страшно.

Горбулин подсел к собакам рядом и, закатывая глаза, завыл по-волчьи:

— У-у-у-о-о-о!..

Сначала одна, потом вторая собака и, наконец, все три затянули:

— У-у-у-о-о-о!..

И Кобелеву-Малишевскому казалось, что сидят это не три собаки и человек, а все четыре плотника, и воют, не зная о чем:

— У-у-у-о-о-о!..

Внутри, на душе, что-то непонятное и страшное. Малишевский вспомнил — сибиряки не любят ни разговаривать, ни петь, и ему стало еще тоскливее.

— Ты гипнотизер, — сказал он, подходя к Горбулину.

Горбулин потянулся к нему ухом:

— Не слышу.

Кобелев-Малишевский повторил:

— Гипнотизер ты.

Горбулин завыл еще протяжнее:

— У-у-у-о-о-о!..

Собаки с красными, стекленевшими глазами вторили:

— У-у-у-о-о-о!..

Кубдя с размаху вылил ведро воды на костер. Огонь зашипел, пошел белый пар — словно в середину желтого костра опустился туман.

Малишевский пошел прочь от костра.

IV

Амбары рубили позади пригонов, где начинался лес и камень. По бокам — сосны, а сзади — серые, сырые на вид камни.

Дальше шли горы, — если влезть на сосну, увидишь белые зубы белков. Прямо упирались в глаза пригоны, за ними монастырские колокольни с куполами, похожими на приглаженные ребячьи головки; чистые строения.

Спали плотники в избе, срубленной недавно, рядом с притонами. По вечерам неослабным говором, мерно и жутко

отдававшимся в горах, били в колокол.

Плотники в это время играли в карты, в «двадцать одно».

Емолин у работы был совсем другой, чем в селе. И строже и как-то у места.

Ходил быстро, длинный, как сосна, в рыжем зипуне и, спешно перебирая тонкими, словно бумага, губами, вкрадчиво и строго поторапливал:

— Вы живее, вопленики!..

Отвечать ему не желали, только Беспалых это нудило:

— Иди ты подале, кила трехъярусная!..

Емолин опалял постройку взглядом и смолкал, а через минуту, словно в недуге, опять говорил:

— Пошевеливайся мясом!..

Рубили углы амбара в лапу: бревна без выпуска концов, как тесовые ящики. Так хоть дерево бережется, но в избе холоднее.

Кубдя настоял, чтоб хоть наставляли стык бревна в зуб: конец на конец, стесав оба накось и запустив один в другой уступом.

— Эх, рубители! — вскрикивал Кубдя.

Гнулись в единых взмахах мокрые спины. Под один гуд тесались бревна.

Звенели дрожью, отсвечивая на солнце, большие, похожие на играющих рыб топоры. Бледножелтые, смолисто пахнущие щепы летали в воздухе, как птицы.

Емолин ходил вокруг, неизъяснимо улыбался и говорил сказками:

— Столяры да плотники от бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели.

Натирая «нитку» мелом, Беспалых отвечал:

— Кабы не клин да не мох, так бы и плотник издох!.. Уйди, человечий наструг, зашибу!..

Семисаженные мачтовики и трехсаженные кряжи лежали, тесно прижавшись желтой корой друг к другу.

На коре выступала прозрачная смола, и бревна пахли мхом.

Емолин не любил, когда курят:

— Надо скорей катать.

Плотники усаживались на бревна, закуривали и начинали разговаривать. Емолин ходил мимо, одним глазом смотрел на них, а потом, как гусь, заворачивал набок голову и смотрел в небо.

— Солнце высоко, ребята.

Сюда, в Улалейскую обитель, забросило их, как перо ветром: везде, говорили, народ бунтуется и хотят свою, крестьянскую власть. Это говорили и приезжие мужики, и бабы, привозившие провизию, и Емолин твердил:

— Сруб кончите, запишемся в дружину «креста» — и айда большевиков крыть!..

Соломиных гудел что-то под нос, гудело под ним бревно, а Кубдя неожиданно спросил:

— У тебя баба брюхата?..

— На кой тебе ее, брюхату, надо?

— К тому, что скоро брюхатых мобилизовать будут. Народу не хватат.

Емолин качнул головой:

— Дурак ты, Кубдя, хоть и большой человек. Брякнешь зря.

— Ей-богу!.. Они такой-то народ боятся брать, бунтуют. А брюхаты как раз, как забунтует, так и скинет.

— Порют вас мало.

— На чей скус…

Плотники оставили топоры и хохотали.

— Уходи лучше, драч, уходи!..

Емолин хвалился:

— Донесу милиции: против правительства идете.

Плотники хохотали:

— Донеси только — нос отрубим.

Однажды пришел из лесу настоятель. Емолин перед тем матерно выругал Беспалых и, увидев настоятеля, согнулся, сделал руки блюдечком и подошел под благословенье.

На плече у настоятеля лежали удилища и в правой руке — котелок с рыбой. Он поставил котелок на землю и благословил Емолина.

— Как работаете?

— Ничего, слава богу, отец игумен.

Беспалых ударил топором в бревно и пропел вполголоса:

— Отец игумен вокруг гумен…

Монах, должно быть, услыхал. Он пошевелил удилищами на плече. Был он сегодня недоволен плохим уловом и сказал строго Емолину:

— А плотники-то твои, сынок, развращеннейший народ.

Емолин в душе выругался, но снаружи вертляво обошел вокруг монаха и заискивающе сказал:

— По воспитанию, знаете, отец игумен.

У игумена была черная ровная борода, казавшаяся подвешенным к скулам и подбородку куском сукна.

Кубдя посмотрел ему в бороду и подумал: «Вот нетяг: ни на работу, ни на шутку!»

И неожиданно игумен бросил удочки на землю, как-то сразу пожелтел и, взмахнув широкими рукавами рясы, закричал на Емолина:

— Молчать!.. Не разговаривать, сукин сын!.. А-а?..

Емолин испуганно попятился, плотники взглянули на его сразу осевшую фигуру и захохотали. Монах обернулся к ним, подскочил к срубу, плюнул и крикнул:

— Прокляну, подлецы!..

И, не подобрав удочек и ведерка, ушел, издали похожий на колокол.

Емолин смущенно сморщился и нерешительно протянул:

— Вот нрав.

Немного погодя добавил:

— Стерва, а?..

Плотники оставили топоры и хохотали.

За удочками пришел тонкий и длинный, похожий на камышинку монашек в облезлой бархатной скуфье и ряске из «чертовой кожи».

— Что ты, монах будешь? — крикнул ему Горбулин.

Монашек застенчиво ответил:

— Рясофорный я… не пострижен…

— У те чо, молоко-то бугаи эти высосали, — ишь ведь, как холстина!

— Они высосут! — подхватил Беспалых.

Монашек покраснел.

Плотники осмеяли его, и он, заплетаясь длинными ногами в больших сапогах, потащил удочки и котелок.

Емолин долго ругал игумена, а потом набросился на плотников. Кубдя послал его к «бабушке», и подрядчик смолк. С городскими рабочими он поступил бы круче, но эти могли бросить работу и уйти.

Говорили, что в Алтае ездят карательные отряды и усмиряют крестьян.

Теперь впереди «карателей» шло темное и страшное, что обрушивалось часто на «большевицкие» деревни и хоронило в огне и крови роптавших.

Но и каратели не появлялись по одному. Из леса стреляли поодиночке и, подстрелив, прибивали гвоздями к плечам погоны, а потом бросали посреди дороги — на страх и поучение.

На Зосиму — Савватия-пчельника Кубдя сказал Беспалых:

— Завтра — крышка!

— Чего? — не понял тот.

— Не работаем.

Беспалых подумал и недоумевающе вздернул плечи:

— Не пойму, парень.

— Зосим — Савватий…

— Ну?

— В Улее престол.

Беспалых даже подпрыгнул:

— Вот черт! А я и забыл. Идем, что ли?

Кубдя посмотрел вверх. Редкие, прозрачные облака, как кисея, застилали небо. Ниже они падали на тайгу.

— Люблю охоту… Айда пополюем.

— Ружья нету.

— Соломиных привез берданку.

— Не даст.

— Даст. Он в гости идет, с утра завтра, с Горбулиным вместе, — на престол, в Улею.

Беспалых поддернул штаны, быстро высморкался и пошел просить берданку.

Наутро день был чистый, чуть ветреный. Кубдя и Беспалых надели на лицо и шею сетки от комаров, зарядили ружья и спустились к речке.

В тальнике ветра не было; тонким, неперестающим звоном пел комар, пролетал через сетку и яростно кусался. Под ногами, хрустя, ломались гнилые сучья, пахло илом, осокой.

Река казалась иссиня-черной, а мелкий песок — желтым.

— От солнца, — сказал Кубдя.

В речных тихих затонах, в опоясках камыша, было много дичи. Они стреляли. Кубдя всегда в лет, а потом Беспалых снимал штаны и лез в воду. Лопушники хватали его за ноги, он фыркал и кричал Кубде:

— Егорка! Утону!

Кубдя, грязный, весь в пуху, сиял на берегу своим корявым лицом, отвечая:

— Ничиво. Монастырь близко: сорокоуст закажем.

Если утка была не добита, Беспалых перекусывал ей горло и говорил:

— Обдери душеньку свою.

Уже отошли далеко от монастыря. Виднелись белки с синими жилками речушек.

— Пойдем назад, — сказал запыхавшийся Беспалых. — Куда нам их бить, обожраться, что ли…

Кубдя лез через камыш, чавкая сапогами в грязи, и неторопливо покрикивал:

— Еще, Ваньша, немного еще…

Беспалых плюнул и сел на корягу.

— Не пойду, — сказал он.

Кубдя пошел один. Скоро где-то в камышах грохнул выстрел. Беспалых хотел пойти, но удержался. «Ну его к черту, — подумал он, — с ним не выйдешь».

— Егорка-а!..

— Ну-у?..

— Сюда иди-и, ха-ле-ра-а!..

Беспалых не откликнулся. Он хотел закурить, но вспомнил про сетку и выругался. Тогда он стал думать, нужно ему жениться или еще рано. Уже двадцать четыре года, а парень не женат.

«Пора уже», — решил он.

На елани трава была подмышки, и Беспалого не было видно на коряжине, он решил отдохнуть и отправиться один. Беспалых прислонился головой к дереву, под голову положил утку, ружье в ноги и закрыл глаза.

Разбудил его Кубдя. Он стоял перед ним и, дергая его за рукав, улыбался:

— Буде, выспался, пойдем на престол.

V

Кубдя был доволен и охотой, и разыгравшимся теплым днем, и ломотой в пояснице с устатка. Шагая мимо сырых стволов осин, он посвистывал и, смеясь, оглядывался на вяло тащившегося сзади Беспалых.

Беспалых, как и всегда после сна на солнце днем, распарило, и во рту его неприятно сластило.

— Айда домой, — сказал он, перебрасывая уток с руки на руку.

— Нельзя, надо бога вести как следует: осмеет народ.

Они, как и все сибиряки, редко заглядывали в церковь, но не попьянствовать во время праздника считали грехом.

С утра густо дымились трубы: жирным черным пятном полз дым в небо. Сразу было видно, что пекут блины и шаньги. На скамейках у ворот сидели мужики и, покуривая, говорили о хозяйстве.

На них были новые, пахнущие краской ситцевые рубахи, — не измятые еще, рубахи топорщились колом, и похоже, что одели мужиков в бересту.

Парни ходили в ряд под гармошку по деревне.

Испорченная гармошка врала. Они же молча изгибались из стороны в сторону, лица у всех были серьезные, и не верилось, что идут пьяные люди, далеко пахнущие самогонкой.

За парнями, тоже в ряд, как утята за маткой, шли девки в ярких кашемировых платьях и проголосно пели:

Я иду-иду болотинкой,

Машу-машу рукой, —
Чернобровый мой миленочек,
Возьми меня с собой.

Кубдя и Беспалых бросили уток к учителю в сени.

Хотели снять ружья, но Беспалых сказал:

— Возьмем для близиру: хоть штаны рваны, а берданку имеем.

Умылись, повесили ружья за плечи; Беспалых переобул для чего-то сапоги, потом вышли на улицу, поздоровались с парнями и пошли в ряд, под гармошку.

Гармонист шел в середине и, втянув губы в рот, так нес гармошку и с таким видом играл, словно научился и приобрел впервые ее. Солнце отсвечивало на жестянках клавишей, на кругленьких колокольчиках гармошки.

Под ногами гнулась молодая трава, из палисадников пахло черемухой, а на маленькой церковке торопливо, под «камаринского», трезвонили:

«Ту-лю-лю-ли-бо-ом!.. Бом!.. Бэм-м…»

Когда так молчаливо и с удовольствием прошли две улицы, гармонист предложил:

— Айдате к Антошке?

Пискливый голосок из ряда сказал:

— Айдате.

Парни свернули к Антошке Селезневу.

Антон Селезнев, высокий и строгий мужик лет пятидесяти, встретил их у ворот. На нем был синий пиджак и штаны, вправленные в лаковые сапоги. Окладистой русой бородой, гладко причесанными, в скобу, волосами он тряхнул так самодовольно, что все ласково улыбнулись.

Он считался в селе всех богаче, и его всегда выбирали в церковные старосты, — поэтому-то он сегодня и угощал всех.

Селезнев провел парней к крыльцу, зашел в сени, постучал чем-то деревянным и проговорил:

— Заходи.

Парни один за другим заходили, выпивали по кружке самогонки, брали в руки пирог с калиной, — и кто был этим удовлетворен, тот выходил за ворота.

Кубдя выпил подряд две кружки, вышел на крыльцо, сел, откусил кусок пирога. К нему подошел петух, рыжий, с одним глазом.

Кубдя бросил ему корку, петух посмотрел пренебрежительно и тихонько отодвинулся. Беспалых чуть улыбнулся.

— Не ест, — сказал он. — Нравный.

Селезнев вышел с глиняной кружкой в руке и спросил:

— Еще, паря, не хочете?

Беспалых повел плечом:

— Потом, Антон Семеныч. У те петух-то пошто хлеб не ест?

— Время знат. Он у меня утром да вечером ест только. Два раза напрется — и ничего.

— Терпит?

— Не жалуется.

— Чудна Русь! — воскликнул Беспалых. — А самогонка у те добра. Табаку мешаешь, что ли?

— Ничего не мешаю, — сказал Селезнев, хозяйственно оглядывая двор. — У тебя что, голова болит?

— Не болит, а кружится.

Кубдя сказал:

— С большой ходьбы.

— Полевали? — лениво спросил Селезнев.

— Полевали.

— Бы-ват, — протянул Селезнев и замолчал.

Молчали так, словно вели большой и важный разговор.

Селезнев выпил самогонки и выхлестнул остатки на землю.

— Пью, пью ее, — сказал он, — а не берет. Даже злюсь.

Беспалых посоветовал:

— А ты на голодно брюхо пей.

— На сохатого лихоманку напустить хочет. Ха-а!.. — рассмеялся Кубдя не столько над Беспалых, сколько над собой: голова его начала медленно и весело наполняться туманом.

Селезнев сел на крыльцо, свернул папироску.

— Робите? — полунасмешливо спросил он.

— Робим.

— Та-ак… Али дома места нету? Земля высохла?

Беспалых стукнул себя кулаком в грудь:

— Потому, мы странники!.. Разжевал, Антон Семеныч?

— Валяй в охоту тогда; что к чужому человеку в кабалу лезть? Не вникну я в вас. Чужую грязь гатить?.. Что проку-то?..

Кубдя с остановившимся, пьянящимся взглядом взял подмышки Селезнева.

— А ты, мил друг, не дури. Сам знаешь, с каких доходов на работу идешь. Потому-у: тоска-а!.. Был, я скажу тебе, в германскую войну, в Польше был, в Германии был, — и он, и он — все!..

Кубдя указал на Беспалых и еще на кого-то в ворота:

— Посмотрели: во-от, народ… Живут, скажу тебе, робют. Чисто, сухо, кругом машина. Он тебе и человека убивать машину

придумал таку — по воде и по воздуху, не говоря обо всем прочим.

— Не ври хоть…

— А ты переври лучше. Поработал он тебе в силу и отдыхает.

— А тебе плохо?

— Плохо?!. — Кубдя разозленно заговорил: — Недовольны мы, понял? Желаем жить — чтобы в одно за всеми, а не у свиньи хвост лизать. Вот тебе, дескать, мамкина сиська. И с такого положенья встосковали мы!..

— Не все сразу. Скоро-то, знаешь, насчет кошек говорят…

— Зря говорят! Ленив человек-то, ленив, стерва! Ему бы все в пузе ковырять да брата своего вылаять. Нет, ты прожгись через работу-то да выплачься — вот и поймешь, на какое место заплатку ставить надо.

— А ты научи.

Кубдя соскочил с крыльца и, пошатнувшись, рассмеялся:

— Сам-то во тьме иду.

— Свечку надо?

— Не из твоей ли церкви?

Селезнев провел рукой по бороде от горла к носу и ухмыльнулся глазами:

— Свечки-то все одинаковы, лишь бы светили. Ты думаешь — с такой, а я — с другой, а к месту-то одному придем.

— К одному ли, Антон Семеныч?

Кубдя подхватил Беспалых под руку и пошел.

— Сиди, — сказал Селезнев.

— Пойдем лучше, проветримся. А то парень-то скис, — сказал Кубдя.

Селезнев шумно вздохнул и возвратился в горницу.

Тут сидели и пили самогонку гости из соседней деревни: маслодельный мастер — жирный, лысый, как горшок, мужик; мельник, как и все мельники, большой любитель церковного чтения и большой бабник, со своей дочкой; священник с дьячком.

Жена Селезнева, широколицая, высокая баба, наливала гостям самогону в рюмки и, колыхаясь перетянутым животом, говорила:

— Кушайте, не стесняйтесь, кушайте…

В избе было жарко. Пахло зерном прелым — от самогонки, хлебом, геранью, табаком.

Мельник пронзительно, словно в избе шла мельница о шести поставах, спорил с попом и дьячком о двоеперстном крещении.

Попу хотелось спать, но уйти было неловко, и он отпихивал от себя рукой мельника:

— Уйди ты от греха, уйди!..

— Я те докажу! — кричал мельник. — От закона божия докажу, от катехизиса, от всяких, всяких!.. Сознаешь?..

Псаломщик потрогал за плечо мельника:

— Что ты одно и то же затвердил? Ты факты приводи, а криком-то и дурак возьмет, да!..

Маслодельный мастер спорил со всеми тремя и, не слушая ни их, ни себя, бубнил:

— Поп! Хошь у те и рыло и брови как у пророка, а я тебя не желаю слушать, так как моя душа самого меня хочет слушать. У всякого человека есть внутри свой соловей… А ты мне там про священно писанье!..

Мастер поднял вверх руки и басом заорал:

— Благослови, владыко-о!..

Псаломщик отскочил от попа и умильно взглянул на Антона:

— Блистательно народ живет.

Антон чувствовал усталость во всем теле.

Была долгая утреня и обедня, причем нужно было стоять впереди всех и, ощупывая на себе взгляды, кланяться и креститься особенно истово и неторопливо; работник куда-то скрылся, и нужно было самому гнать лошадей к водопою, дать им сена.

И брала злость, а не хотелось ради праздника злиться.

Селезнев взял псаломщика за плечи, усадил рядом с собой и сказал:

— Ну, рассказывай, Никита Петрович.

Псаломщик повел высохшим лицом во все стороны и сказал:

— Домовитый вы, Антон Семеныч.

— Иначе нельзя.

— У нас в России не так.

Антон взглянул на него оживившимся мыслью взглядом:

— Знаю. Бывал.

Псаломщик стиснул зубы и вздохнул так, словно выпустил душу.

— Тоже хочу хозяйством обзавестись.

Без хозяйства человек — ветер.

— А дальнейшее само собой, а?

— Что?

— Ну жизнь?

Псаломщик хитровато уставился на крупного чернобородого человека и подумал: «Крупен, дядюшка. А и плутень тоже».

Антон устало проговорил:

— Кто как хочет, тот и строит свою жизнь-то.

— А бог?

— Бог для ночи нужон. С ним дневать не приходится.

В это время к Антону подошла баба и сказала:

— Там те, мужик, спрашивают.

— Кто?

— Милиционеры, что ли. С ружьями, на паре приехали. У ворот.

Селезнев взглянул на ее побледневшее лицо и недовольным голосом проговорил:

— А ты уж скисла.

И, поскрипывая сапогами, мелким шагом вышел к милиционерам.

Их было двое. Они сидели в коробке и о чем-то разговаривали между собой. Каурые лошади утомленно отгоняли хвостом жужжащих мух.

Ямщик — молоденький мальчишка — смотрел на что-то у колес.

Селезнев подумал, что милиционеры свернули выпить, и он решил их угостить получше.

— Заворачивайте, — сказал он.

Милиционеры взглянули на него. Один из них был на городской манер — бритый, без усов и бороды, второй, совсем молодой, с начесанным на фуражку курчавым хохолком волоса.

Милиционер постарше сказал:

— Ты Антон Семеныч Селезнев?

И то, что сказал он эти слова так, как их говорят на суде, не понравилось Антону. Он сказал:

— Я самый.

Милиционеры переглянулись и, перегибая коробок, вылезли направо.

К коробу сбирался народ — парни, девки.

Старший милиционер оглянулся и увидел Кубдю и Беспалых с ружьями.

— Разрешенья есть? — спросил он все так же строго.

— Много, — весело отвечал Кубдя.

Милиционер потрогал кобуру у пояса, и говорить такие холодные, протокольные слова ему, должно быть, очень понравилось. Он сказал:

— Потом разберемся. Вы не уходите.

— Ладно, — сказал Беспалых. — Мы ведь здешние.

— А народ пусть разойдется. В свидетели охота? Где тут староста?

Вышел староста, заспанный мужик в сатинетовой рубахе без опояски.

— Я староста, — бабьим голосом проговорил он.

Милиционер с неудовольствием сказал:

— Дожидаться тебя приходится. Обыск вот надо произвести.

Самогонку, говорят, курите?

— А кто их знат! — равнодушно ответил староста.

Милиционеры были городские, и при виде этих лохматых пьяных людей, узеньких линий глаз — где бог знает какие мысли прячутся — они вначале немного трусили.

Потом, увидав, как мужики торопливо расступились перед шинелями английского образца, пуговицами со львами и голубыми французскими обмотками, милиционеры развеселились и, вспомнив про свою трусость, осерчали.

Младший, не привыкший к ружью и постоянно поправляющий ремень, входя во двор, крикнул:

— Пьянствовать тут!..

Крик его походил на жалобу, и он смолк.

Аппарат для курения самогонки — два толстых глиняных горшка с рядом медных трубочек и жестяной холодильник — стоял под навесом, на телеге, накрытой кошмой.

Тут же стоял и бочонок с невыпитой самогонкой. Милиционер вытащил из кармана бумагу и чернильницу и начал писать протокол.

В толпе переговаривались:

— Ишь, хотят, чтоб цареву водку пили!

— Торговлю отбиваешь, дескать!..

— И не говори.

Молоденький милиционер поджал губы и ссупил брови.

— Ишь ты, задело!

— Не пьет!

Составив протокол, милиционер разбил ружьем горшки, прободал штыком холодильник и сломал медные трубки.

Мужики молчали.

Милиционер опрокинул на землю самогонку. Образовалась лужица, блеснула темноватая крыша пригона, и водку впитала земля.

Запахло горячим хлебом.

— Вот паскуда, — крикнул кто-то из толпы.

Милиционеру было жалко и самогонку и себя, совершающего такие нехорошие поступки; он рассердился:

— Молчать, чалдонье!

Милиционер помоложе ухватился за ружье:

— Всех переарестуем.

Толпа задышала быстрее и нажала на милиционеров. Им было тесно; старший милиционер начал ругаться по-матерному, второй испуганно глядел в пьяные, быстро мигающие лица.

Мужики нажимали.

В груди и бока милиционерам уперлись чьи-то твердые локти

и руки. Пахло самогонкой и еще чем-то нехорошим — кажется, прелым камышом от повети.

Затрещал коробок у ворот.

Старший милиционер попробовал пойти — не пускают. Кругом глаза и теплое человеческое дыхание.

Милиционер помоложе вскрикнул, раздался его голос немного с хрипотцой. Его товарищ вдруг длинно, матерком каторжан, выругался.

Кто-то из толпы — вертлявый и маленький — выскочил и ударил его в зубы.

Милиционер горласто крикнул и выстрелил подряд три раза в толпу из револьвера.

Охнули.

Толпа расступилась.

Милиционеры, согнувшись, побежали к воротам.

Лица их вспотели, дрябло сморщились и иссиня побелели, как известка.

Они вскочили в коробок. Мальчишка кучер гикнул.

Беспалых замахал руками:

— У-лю-лю-ю!..

И, сорвав с плеча ружье, выстрелил вслед им сразу из обоих стволов.

Один из милиционеров мотнул головой и нырнул в коробок. Ямщик на передке испуганно, по-бараньи, заверещал.

Кубдя снял берданку и выстрелил в воздух.

Коробок скрылся в переулок.

Мужики вышли из ограды с чувством большой беды.

У Беспалых обомлели ноги, он взглянул на Кубдю, и ему показалось, что Кубдя как будто доволен.

У Беспалых зашумело в ушах, и он быстро пошел в монастырь.

Кубдя догнал его на мосту и под стук каблуков в доски пола сказал ему прерывающимся голосом:

— Поохотились!..

Вечером Горбулин и Соломиных слушали, как Беспалых, задыхаясь и бегая по избе, рассказывал, как прогнали милиционеров.

Горбулин восторженно плескался руками в воздухе и поддакивал:

— Так их… так…

И было непонятно, почему так разбудилось это ленивое и сонное тело.

Соломиных сидел, поджав ноги калачиком, по-киргизски, и издали при свете сальника походил на божка.

Кубдя спал.

В монастыре протяжно пели.

В горах с шипом шумели кедры, и где-то далеко грохотало, должно быть «плакали белки», рушились льды ледников. Тьма зеленоватым кошачьим зрачком щурилась в окна.

В конце рассказа в сенях застучали. Кто-то долго шарил дверь. Беспалых смолк. Вошел Емолин и испуганно заговорил:

— Под суд подвели, сволочи! Кубдя, где Кубдя-то?

Беспалых сказал:

— Спит.

Емолин отскочил к дверям. Из темноты по-иному звучал его, наполненный чем-то другим, не всегдашним, голос:

— Спит!.. Убил человека и дрыхнет. Вот каторжане, а! Господи, ну и угораздило меня связаться с ним! Теперь и меня-то из монастыря выгонят. А он дрыхнет. Буди, что ли, его, Егорша!..

Соломиных спросил:

— В сам деле убил?

— Наповал. Так в шею, братец ты мой, и всадил всю дробь.

— Дробью убил?

— И черт его угораздил!

Емолин подбежал и толкнул ногой Кубдю:

— Вставай ты, леший драный…

— Теперь вошьют, — сказал Соломиных, и Беспалых показалось, что говорит он, точно радуясь. — Или повесят, или расстреляют.

— Обоих?

— Може, и всех четырех…

— А нас-то с чего?

— Разбираться не будут.

Емолин дергал Кубдю и ругался:

— Вставай, каторжная душа, лихоманка. По-людски бужу, человеку тебя надо.

У Кубди кружилась голова, он присел на голбце, зевнул — в челюстях пискнуло.

— Что те, подрядчик, надо? — оказал он хрипло.

— Человек тебя спрашивает.

— Кто?

Емолин отошел к дверям и крикнул в темноту:

— Иди-ка сюда, Антон Семеныч!

Селезнев перекрестился и поздоровался. Кубдя взял ковш и с шумом напился.

— Ну, парень, и самогонка! — сказал он с удовольствием. — А ты что, на ночь-то глядя, пришел, дядя Антон?

Емолин сказал:

— Вот, клин тебе в глаз, еще спрашиват! Убил человека — и хоть бы что!

— Всем одна смерть, — сказал Кубдя, садясь на лавку.

— Ну, а я пойду, — торопливо сказал Емолин, — мне тут рук марать не приходится. Разбирайтесь сами, а только, как хотите, а повесят вас.

— Повесят, — равнодушно подтвердил Соломиных.

Помолчали, сколько требуется по положению, и Кубдя спросил:

— Самовар, что ли, поставить?

— Не надо, — сказал Селезнев. — Я ведь ненадолго. К тому пришел — собираться вам надо.

Кубдя положил ногу на ногу и посмотрел в потолок.

— Наши сборы не долги. Куда идти-то?

— В чернь.

Беспалых переспросил:

— В тайгу?

Селезнев промолчал и немного спустя добавил:

— Как хошь, мне одно. Только вам уйти надо. Расстреляют колчаки-то. Я седел и тюки приготовлю, — поди, под завтрашнюю ночь придут.

— Придут, — сказал Соломиных.

— В чернь, одно. Нам с этой властью не венчаться. Наша власть советская, хрестьянская…

Беспалых спросил:

— Думашь, самогонку даст гнать?

Селезнев опять не ответил ничего и спросил:

— Как вы-то морокуете?

Решили, что да, нужно идти в чернь.

Селезнев пошел к дверям так, словно поить лошадей — не торопясь, и у него была широкая, лошадиная спина с заметным желобком посредине.

Кубдя посмотрел на него с уважением и, когда он ушел, сказал:

— Здоровый, черт, и есть у него своя блоха на уме.

VI

Приземистый и краснощекий капитан Попов, начальник уезда в Ниловске, искренне был недоволен собой. В других уездах как будто ничего, а здесь — не то восстания, не то блажь.

— Балда! Бабища! — выругал он сам себя и велел денщику позвать прапорщика Висневского.

Возвращаясь к столу, он заметил, что нога у него как-то неловко косится. Он поднял ногу на стул.

Каблук скривился. Попов пощупал сапог. В таком положении и застал его прапорщик Висневский. Капитан, не глядя на него, сказал:

— Вот, говорят, деньги большие получаем. А сапог купить не на что.

Прапорщик считал себя очень вежливым и сейчас нашел нужным звякнуть шпорами и поклониться.

— Слышали? — спросил капитан, указывая пальцем на лежавшую на столе бумажку. — В Улее-то милиционера убили.

Прапорщик пожал крутыми плечами и подумал: «Меньше бы распускали их», — а вслух сказал:

— Пьяные. Не думаю на большевиков.

— Напрасно, — сухо сказал капитан. — В газетах сводки «На внутренних фронтах» появились. Это тоже, думаете, не большевики? Э-эх!.. Углубления в жизнь у вас недостает.

Прапорщик обиделся.

— Возьмите сорок человек из ваших и успокойте их там, в Улее. Да имейте в виду: не на пьяных поедете.

— Приказ письменный будет? — спросил прапорщик.

— Будет. Напишут.

Капитан сделал плаксивое лицо и шумно вздохнул:

— Эх, господи! Вот времена подошли: не знаешь, откуда и народ рассмотреть. Измаешься… Курите?

Прапорщик закурил и, довольный назначением, подумал: «А он не злой».

В обед на другой день отряд польских уланов под командой прапорщика Висневского выехал усмирять крестьян.

Уланы были взяты из польского легиона, стоявшего в Барнауле.

Все они знали хорошо эту землю, горы и крестьян, которых ехали усмирять. Большая часть из них раньше работала у крестьян, еще при царе — по году, по два.

Некоторые из уланов, проезжая знакомые деревни, раскланивались с крестьянами.

Крестьяне молча дивовались на их красные штаны и синие, расшитые белыми шнурками куртки.

Но чем дальше они отъезжали от города и углублялись в поля и леса, тем больше и больше менялся их характер. Они с гиканьем проносились по деревне, иногда стреляя в воздух, и им временами казалось, что они в неизвестной завоеванной стране, — такие были испуганные лица у крестьян и так все замирало, когда они приближались.

Отъезжая дальше от города, уланы и с ними прапорщик Висневский чувствовали себя так, как чувствует уставший, потный человек в жаркий день, раздеваясь и залезая в воду. Там, у низеньких домишек уездного городка, осталось то, что почти полжизни накладывал на них город, — и уважение, и сдержанность, и еще многое другое, заставлявшее душу всегда быть настороже.

Все это сразу стерли в порошок и пустили по ветру бесконечные древние поля, леса, узкие, заросшие травой колеи дороги и возможность повелевать человеческой жизнью.

Все они были люди хорошие, добрые в домашнем кругу, и у всех почти были дети и жены, только прапорщик Висневский жил холостяком.

Прапорщик ехал впереди на серой лошади, заломив маленькую, похожую на пельмень шапочку, глубоко, с радостью дыша и воображая себя старым, древним паном.

Тонкоголовая лошадь с коротким, крепким крупом и длинным, прямым задом тоже чувствовала себя хорошо и, поигрывая мокроватыми желваками мускулов, шла легко и спокойно.

Вначале уланы ограничивались стрельбой в воздух, ловлей кур на ужин, но потом им это надоело, и они начали искать большевиков. Призывали старосту в поле и допрашивали:

— Кто большевикам сочувствует?

И спрашивали не в той деревне, где останавливались, а в соседней. Староста указывал, — тогда уланы ехали туда, арестовывали и пороли плетями.

Взятые мужики указывали на других, и так, переезжая из села в село, уланы имели возможность оставлять по себе настоящие долгие следы.

Недалеко от Улей поймали действительного большевика — кузнеца, раньше бывшего в городе красногвардейцем и бежавшего в деревню после переворота.

Кузнец был низенький человек с длинными руками.

Кузнеца отвели к поскотине и тут, у избушки сторожа, пристрелили.

В этом же селе уланы вечером надолго ушли куда-то и, возвратясь, многозначительно друг дружке подмигивали и хохотали. Но, как и везде, никто не жаловался.

Уже поздно вечером в разговоре прапорщик понял, что они насиловали девок, и это ему было неприятно, а вместе с тем и радостно знать.

Неприятно потому, что в городе насилия над женщинами не одобряли, и за это мог быть порядочный нагоняй, а радостно

потому, что прапорщику давно хотелось обнять здесь, на просторе, простую, пахнущую хлебом, деревенскую девку, а если не поддастся сама, то изнасиловать.

Прапорщику казалось, что все презирающие насилие лгут и самим себе и другим.

На другой день приехали в Улею, — это было ровно неделя с того дня, как здесь убили милиционера.

Так же стояли темные избы, так же блистали радугой зацветшие стекла окон, улица была узенькая, как обшлаг сибирской рубахи, темная и прохладная.

На горе, как лицо девицы в шубном воротнике, тонул монастырь в лесу. По мосту постукивали копытцами овцы; пахло черемухой и водой от речки.

Мужики были на пашне. Висневский строго приказал старосте собрать их к вечеру, а сам прилег под навес на телегу и уснул.

Уланы зарезали у старосты овцу и стали жарить ее посреди двора.

От костра летели искры, староста боялся пожара, но ласково улыбался и семенил вокруг уланов.

На высокий забор вскочил с усилием, помогая себе крыльями, петух и кукарекнул.

Один из уланов прицелился и выстрелил. Петух, как созревший плод, грузно упал на землю. И тут староста ласково улыбнулся и проговорил:

— Ишь ведь, убил.

Улан взглянул на притворявшегося старикашку, ему захотелось выстрелить в эту ровную, как столешница, грудь. Он отложил ружье.

Под вечер собрались мужики.

Прапорщик отобрал десять из них, самых страшных на вид, и велел посадить в избу, приставив часового.

Остальных мужиков уланы выпороли и отпустили.

Прапорщик спросил старосту:

— А те, которые убили, скрылись?

— Так точно, — ответил поспешно староста.

— И не знаешь, где?

— Не могу знать.

Прапорщик выгнал старосту и велел позвать учителя.

— Садитесь! — сказал прапорщик Кобелеву-Малишевскому. — Очень рад познакомиться с культурным человеком!

Прапорщик не любил деревенских учителей, и от мужиков, по его мнению, они отличались только бритой бородой. Так и этот

хлипкий и конфузливый человек ему не понравился.

Прапорщик угостил Кобелева-Малишевского маньчжурской сигареткой и спросил:

— Как вы живете в такой берлоге?

— Привычка!

Кобелев-Малишевский чувствовал свою застенчивость, И ему было стыдно. «Вот одичал-то!» — подумал он и затянулся крепче, а затянувшись, поперхнулся, но кашель превозмог.

— Ну, — недоверчиво проговорил прапорщик, — не могу поверить, чтобы к такому месту привыкнуть можно! У вас, наверное, другие причины есть.

Кобелев подумал, что прапорщик, может быть, подозревает его в большевизме, и торопливо сказал:

— Мамаша у меня на руках, братишки. А в городе, знаете, тяжело жить. Теперь в деревню тянутся.

— Да, в городе не легко. Понятно.

Прапорщик подумал, о чем бы еще поговорить, и спросил:

— А крестьяне не теснят вас?

— Да как сказать… Не особенно… Известно — тайга, народ, сами знаете.

— Бродяги все у вас. И жулики.

Прапорщик поднял кверху брови.

— Много здесь еще крови прольется.

— Много, — согласился поспешно учитель.

— А вы как, не присутствовали тут… при безобразии-то?

— Нет, не пришлось.

— А кто убил, знаете?

Учитель подумал, что скрывать не к чему, и так, наверное, мужики сказали, — он назвал плотников и Селезнева.

Прапорщик расспросил еще кое-что и спросил фамилию.

— Кобелев-Малишевский, — сказал учитель.

— Странная фамилия! — удивился прапорщик.

И тогда учитель начал излагать, каким путем образовалась эта фамилия. В конце рассказа он, как и всегда, разжалобился сам и, как ему показалось, разжалобил и прапорщика. Висневский сочувственно пожал ему руку и протяжно сказал:

— Да, невыносимо культурному человеку здесь жить.

Учитель выругал мужиков, вспомнил плотников — и тех тоже выругал, и сказал, протягивая руку с растопыренными пальцами к прапорщику:

— Вот пятеро, а против государства идут. Залезли, как сычи, на Смольную гору и думают — уйдут.

— Куда? — оживляясь, спросил прапорщик.

Учитель вдруг понял свою ошибку.

— Простите меня, — сказал он побледнев.

Прапорщик озабоченно прошелся по горнице и, подойдя к учителю, взял его за талию.

— Ничего, — сказал он, — ну, проговорились — и ничего. Я не выдам вас. Я понимаю. С мужиками иначе как бы вы стали жить? Это хорошо.

Выходя от старосты, учитель испуганно и озадаченно спрашивал себя:

«Вот дурак!.. Вот дурак!.. Ну как ты это, а, как?»

И опасные, темные мысли торопливо заерзали в его мозгу.

— Завтра ты меня поведешь на Смольную гору. Далеко тут? Смотри, у меня карта есть, не ври.

Староста, заминаясь, проговорил:

— Десять… верст…

Замирая сердцем, прапорщик подумал: «Есть… Не уйдут…»

А вслух заносчиво сказал:

— А пока я тебя арестую, понял? Садись тут и не двигайся.

Староста сел, поцарапал у себя за пазухой, зашептал что-то про себя и подумал: «А меня засолил, паренек».

Прапорщик почистил запылившийся национальный значок на левом рукаве и приказал денщику:

— Готовь ужин!

В день, когда прапорщик с уланами поехал ловить на Смольную гору бунтующих мужиков, эти пятеро скрывающихся людей — четыре плотника и Антон Селезнев из Улей — тоже шли на Смольную гору ночевать, но только не со стороны Золотого озера, где ехали уланы, а с востока, по осиновой черни.

При восходе солнца было еще душно.

— К дождю, — сказал Селезнев.

Шли друг за другом гуськом. Травы были по горло, ноги липли к тучной, влажной почве.

Тонко пахло узколистыми папоротниками и светлозелеными пучками, дикая крапива свивалась вокруг ног.

Подгнившие от старости темные осины, сломленные ветром, наполовину уткнулись верхушкой в большетравье, и приходилось идти под них, как в ворота.

Кубдя отвык ходить чернью и ругался:

— Тут пчела-то не пролетит, не то что человек. Чтоб озером-то пойти!

Селезнев обернулся и сказал:

— А мотри, парень, кабы озадков не было!

— А что?

— Всяк человек-то бродит. Вон поляки в Улею-то приехали. Баял я мужикам-то, айда, мол, в горы. Не хочут. Ну, теперь в

тюрьме сиди.

— Кабы в тюрьме, — выкрикнул идущий сзади Беспалых, — а то пристрелят!

Селезнев быстро махнул рукой и поймал овода.

— Тощий паут-то, — сказал он, разглядывая овода, — зима теплая будет.

Беспалых воскликнул с сожалением:

— Эх! Пахать бы тебе, паря! За милую душу пахать. А ты воевать хочешь!

Кубдя пренебрежительно сморщился:

— Не мумли, Беспалых, словеса-то.

Селезнев полез через гнилой остов осины, обвитый хмелем. Остов хрустнул, поднялась коричневая пыль. Селезнев снял шапку с сеткой и потряс головой:

— Вот, лешак, весь умазался! Вы, робя, мотри под ноги-то, тут таки нырбочки попадутся, неуворотному человеку — могила!

— Чтоб тебе стрелило!

Усталые, потные, покрытые пухом с осин и похожие оттого белизной бород на стариков, вышли они на елань, а оттуда ход шел в гору легкий.

Ель, пихта, черные пни прошлогодних палов; где особенно задевал пожар, там росла осина с березой, но тоже молодая, веселая.

С кряканьем пролетела над березняком в сторону красная утка-атайка.

— На воду летит, — провожая ее взглядом, сказал Соломиных.

Горбулину, пока шли, все казалось, что идут по следу сохатого, сейчас он потянулся, и узенькие его глаза сонно блеснули.

— Скоро дойдем-то? — спросил он.

Беспалых рассмеялся:

— Посули ему озеро в рот!..

— А ты не гундось, кургузый! — обидевшись, сказал Горбулин. В минуты устатка он часто обижался.

Кубдя строго взглянул и сказал:

— А тут, ребята, не избу рубим, а свою жизнь. Надо лучше друг на друга-то смотреть. Нечего болтать!

Подниматься становилось все тяжелее…

Среди кедра и темнозеленой пихты попались желтые поляны песчаных, с галькою, россыпей; серел покрытый мхом и лишайником камень.

Дул на россыпях ветер.

Селезнев снял шапку.

— Вспотел, как лошадь на байге, — сказал он и, крепко прижимая рукав к лицу, утерся.

По россыпи один за другим пробежали вихри, крутя хвою.

Селезнев блаженно улыбнулся:

— Опять к дождю, говорю, парни. Урожай ноне будет…

Он щелкнул языком, и Кубдя почувствовал, смутно, нутром, его тяжелую, мужицкую радость. Кубде это не понравилось, и он усталым голосом спросил:

— Отдохнуть, что ли?

— Можно и отдохнуть. Тама-ка, за кедрой, глядень будет. Айдате!

Он свернул влево. Прошли мимо желтых, словно восковых, стволов сосен. Вышли на небольшую каменную площадку. Кубдя бросил суму и ружье и ухнул:

— У-уу!..

… У-у-у-о!.. — далеко отбросило эхо.

— Вот местынь, — сказал Кубдя, — аж глазу больно!

И он, слегка наклонившись, будто сбираясь прыгнуть, глядел, пока Селезнев ходил куда-то за водой, а Горбулин раздувал костер.

Далеко внизу, зажатое меж гор, уходило Золотое озеро. Оно было синее, с желтоватым отливом, похожее на брошенный в горы длинный блестящий пояс.

Оторачивали озеро лохматые пихты, кедры. За озером в высокое бледное небо белыми клыками упирались белки.

А кругом — лес, вода и камень.

Кубдя лег на брюхо и поглядел вниз. На мгновение он почувствовал себя сросшимся с этим камнем. У него зазнобило на сердце.

Глядень обрывался сразу сажен на полтораста, а там шел пихтач, россыпи и камни. За пихтачом — озеро.

На средине глядня в три человечьих прохода поднималась кверху тропка.

Кубдя обернулся к Селезневу и крикнул:

— Антош, а ведь это она к нам в гору! Тропа-то! Узнал.

— К нам, — отозвался Селезнев, развязывая мешочек с солью, — вишь соль отсырела.

Озноб на сердце у Кубди не прекращался.

Селезнев, грузно ступая, подошел к Кубде:

— Иди, чай поспел. Что на него смотреть, — камень и камень. Никакого порядку нету, ему и бог не велел больше расти. Сколько места под пашню пропадат!

Антон зорко взглянул вниз по тропе и слегка тронул Кубдю сапогом.

— Видишь? — сказал он шепотом.

Кубдя не понял:

— Ну?

Селезнев дернул его за руку и тоже быстро лег на живот:

— Да вон, налево-то, мотри.

Голос у Кубди спал:

— Люди!.. На вершине!..

— Поляки, — сказал Селезнев и отполз. — Красные штаны, видишь.

Они на четвереньках проползли несколько шагов, встали и подняли берданки с земли.

— Поляки, — сказал Селезнев плотникам. — Туши…

Беспалых яростно разбросал огонь и начал топтать сапогами угли.

— И чаю не дадут напиться, коловорот им в рот!.. В чернь, что ли, пойдем?

— По-моему, в чернь, — сказал Горбулин и поспешно добавил: — Мужики донесли на нас.

Селезнев заложил патроны и пополз обратно.

— Кубдя!.. — позвал он плотника. — Айда-ка, попробуем.

Поляки поднимались медленно один за другим по тропинке и весело переговаривались.

Впереди на низенькой, брюхатой лошаденке ехал староста.

За ним, на серой лошади, — солдат без винтовки, должно быть офицер. Ветер нетерпеливо чесал гривы лошадям.

Офицер часто оглядывался по сторонам и даже привставал в седле.

Но мужиков он наверху не замечал.

Антон близко навалился к Кубде, так что борода его терлась о плечо плотника, и, обкусывая бороду, он проговорил:

— Ты тово… третьего… я уж офицера…

— А старик-то?

— Старик — зря он… силком, должно… Ну!..

— Жалко человека-то… Не привык я…

— Ну, и оставался бы… Ничего нет легче человека… убить.

Селезнев положил ему руку на поясницу и ласково сказал:

— Бери, что ли…

Кубдя изнемог, поднял ружье, прицелился.

— Ну, уж бог с ним, — сказал он и выстрелил.

Как бумажки, сдунутые ветром, две лошади и два человека вначале будто подпрыгнули, потом полетели вниз с тропы, кувыркаясь в воздухе.

На тропинке кто-то пронзительно завизжал.

Беспалых выскочил на рамку камня, перегнулся и тоже

выстрелил. Поляки медленно пятились, лошади храпели, а мужики, ощерившись, как волки, мокрые, бледные, стреляли и стреляли.

Староста погнал лошадь вперед, но она задрожала, забилась и вместе с седоком опрокинулась вниз…

Вечером действительно пошел дождь.

Мужики разложили большой костер под пихтой и варили щербу из сухой рыбы. Было темно, хвои словно перебирали пальцами, хрустели ветки.

Падал гром, затем желтая молния вонзалась в горы, и камень гудел.

— Гроза на Федора-летнего, — лениво сказал Селезнев, — плоха уборка хлеба будет.

— А нам-то что? — спросил Горбулин. — Нам хлеб не убирать.

Селезнев как будто с тоской произнес:

— Не придется нам, это верно…

— Верно… — отозвался Соломиных.

Кубдя посмотрел на две темные глыбы мяса — Соломиных и Селезнева, и ему стало как-то не по себе.

— Жалко землю, что ли? — спросил он резко.

— Землю, парень, зря бросать нельзя. Нужно знать, когда ее бросить… — твердо сказал Селезнев.

— Ну, и любить-то ее больно не за что!

— От бога заказано землю любить.

— Не ври!.. Бог-то в наказанье ее людям дал, — прокричал Беспалых: — трудитесь, мол…

Селезнев упрямо повторил:

— Ты, Беспалых, не ерепенься. Может, бог-то и неправильно сказал. А только земля…

— Ну?

Селезнев взял уголек и закурил.

— У меня, Кубдя, в голове муть…

— Поляков жалко?

— Не-е… Человек — что его, его всегда сделать можно. Человек — пыль. А вот не закреплены мы здесь.

— Кем?

— Хрестьянами.

Кубдя озлился; сердито швыркая носом, он наклонился над котелком и помешал ложкой.

— На кой мне шут оно?

— Без этого нельзя.

Кубдя взглянул в его неподвижные глаза и словно подивился:

— Что я, поп, что ли?

— Може, больше…

— А, иди ты!..

— Надо, паря, в сердце жить. Смотреть… Понял?

— А что, я зря ушел? Граблю я? Грабитель?

Говорили они медленно, с усилиями.

Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством мысли, слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы.

Беспалых, в нижнем белье, белый, похожий на спичку с желтенькой головкой, бил в штанах вшей и что-то тихонько насвистывал.

Кубдя указал на него рукой и сказал:

— Вот — живет и ничья!.. А ты, Антон Семеныч, мучаешься. От дому-то нелегко оторваться тебе.

— Десять домов нажить можно, кабы время было…

— Ну?

— А вот не знаю, что…

Селезнев неловко поднялся, словно карабкаясь из тины, и пошел в темноту.

— Куда ты? — спросил его Кубдя.

— А так… вы спите, я приду сейчас.

Соломиных сожалеюще проговорил:

— Смутно мужику-то.

— Не вникну я в него.

— У тя душа городская. Не зря ты там года пропадал.

Соломиных достал ложки и начал резать хлеб.

— Теперь к нам народ повалит, — довольным голосом сказал он, стукая ножом по хлебной корке.

— Откуда? — спросил Горбулин.

— Таков обычай. Увидят, что за это дело как следует взялись.

Беспалых, натягивая штаны, вставил:

— А по-моему, возьмут берданки, переловят нас — да и в город. А у меня, паря, седни и вшей — у-у!..

— С перепугу.

— Должно, с перепугу.

VII

После избиения поляков отряд стал пополняться.

Ехали в большинстве из соседних с Улеею деревень, боясь мести из города. Такие приезжали вместе со скарбом, с женами и ребятами.

Но были из дальних деревень, почти все солдаты германской войны; они приходили впешую, с котомками и с берданками, у некоторых были даже винтовки.

Становище перенесли глубже в чернь, к Лудяной горе, и здесь разбили палатки. Уже было около полусотни человек.

Встретившись с Кубдей, Селезнев сказал:

— Начальника надо выбирать.

Кубдя словно вытянулся в эти дни, углы рта опустились, а может быть, придавал ему другой вид и прицепленный к поясу револьвер, снятый с убитого поляка. Кубдя согласился, и на паужин назначили собрание.

Кубдя влез на телегу, мужики сели на траву и закурили. Кубдя хотел говорить стоя, но раздумал и только снял картуз.

Среди пяти-шести телег, накрытых для затина кедровыми лапами, бродил белобрюхий щенок, из тайги пахло смолой, и казалось, приехали мужики на сенокос или сбор ореха.

Позади всех стоял на коленках Беспалых и улыбался маленьким, как наперсток, ртом.

Ему было приятно, что теперь они не одни и что с таким уважением слушают все Кубдю.

Кубдя говорил:

— Товарищи!.. Собрались мы сюда известно зачем, вам рассказывать не к чему. Никто никого не гнал, по доброй воле… А только против одного: не надо нам колчаковского старорежимного правления, желаем свою крестьянскую власть. Что мы, волки, всякого охотника бояться? У самих сила есть, а кроме — идет из-за Урала

советская армия. Нужно продержаться, а там, как уж получится, видно будет. Та-ак… А теперь нужно выбрать начальника, потому овца — и та своего козла имеет, чтобы водить.

Мужики захохотали.

— Думал я, думал, — продолжал Кубдя, — ну, кроме одного человека, никого у нас нет. А так как надо назначить кандидатов, то мой голос за Антона Семеновича Селезнева.

— А мой — за Кубдю, — сказал Беспалых.

Кто-то еще сказал: Соломиных. Соломиных прогудел:

— Куда уж мне? Я с бабой-то едва справляюсь.

Долго мужики галдели, как на сходе. Начали поднимать руки. Большинство было за Селезнева. Селезнев густо покраснел. Беспалых сказал:

— Борода загорится.

— Мотри, паря, — добродушно рассмеялся Селезнев, — я теперь начальник.

Но вдруг сжал губы и быстро пошел меж возов к реке.

— Куда он? — недоумевая, спросил Кубдя.

Соломиных посмотрел на идущего по березняку Селезнева и ответил:

— Медвежья душа у человека, никак своей тропы не найдет.

Под вечер в лагерь пришел учитель из Улей Кобелев-Малишевский.

Он поздоровался со всеми мужиками за руку и сел рядом с Кубдей.

— А я ведь к вам, — неожиданно для себя сказал он.

Когда он шел, он думал только взглянуть на лагерь и уйти. Кубдя посмотрел на его вытянутую вперед голову, словно его хотели сейчас зарезать, напряженную улыбку и весело сказал:

— Милости просим!

Селезнев увидал учителя и обрадовался:

— Вас-то ведь нам и надо, Николай Осипович.

Учитель улыбнулся еще напряженнее.

— Приказ надо писать. А грамотного человека нету.

— Какой приказ? — спросил Кубдя.

— А вот что отряд действует, и пусть идут, кому надо. А наберется больше — мобилизуем округу.

Все одобрили. Селезнев достал бумаги. Учитель сел, взялся за перо, и робость его исчезла. Он весело взглянул на Кубдю и сказал:

— Что писать-то?

— Пиши, — говорил кратко Селезнев: — «По приказу правительства…»

Учитель запротестовал:

— Надо поставить, какого правительства.

— Лешего ли нас в деревне знают! Им на любое правительство начхать, абы их не трогали. Написал?

— «По приказу правительства…» Написал.

— Пиши дальше! «Объявляется сбор всех желающих… воевать с колчаковскими войсками… пешие и конные… старые и малые… брать с собой обязательно берданку или винтовку… оружия у нас мало…» Нет, это не надо! Сами догадаются. «Являться на сборный пункт…» Во-о!.. Как воинский начальник, чисто! А куда являться — не знаю.

— На небо, — сказал Беспалых.

Кубдя подумал и вставил:

— Говорим так: «Первый Партизанский отряд Антона Селезнева», — и никаких.

Селезнев запротестовал.

— Нельзя, — сказал Кубдя, — мужик имя любит.

Все согласились, что мужик действительно любит имя…

В деревнях шел слух, что в город приехал из Омска казачий отряд атамана Анненкова. Деревни заволновались. Казаки отличались особенным сладострастьем жестокости при подавлении восстаний. Происходило это потому, что в отряды Анненкова и Красильникова записывались все особенно обиженные советской властью. Атамановцы на погонах носили изображение черепа и двух скрещивающихся костей.

На базарах загромыхали рыдваны, заскрипели телеги, — съезжался народ, и после базара, у поскотины, за селами, долго митинговали.

Выступали какие-то ораторы, призывали к восстанию, говорили, что Омск накануне падения, в Славгороде и Павлодаре — советская власть, и поутру, с котомками и винтовками за плечами, видно было на таежных дорогах мужиков, направляющихся к Антону Селезневу.

Город тоже жил тревожно.

Говорили, что десятитысячные отряды Антона Селезнева стоят где-то недалеко в тайге и ожидают только удобного случая, чтобы вырезать весь город, за исключением рабочих. На рабочих смотрели с завистью, а начальник уезда, капитан Попов, часто беседовал с начальником контрразведки.

И телеграммы «РТА» сообщали, что красные уже взяли Курган и подступают к Петропавловску, Омск эвакуируется, и, словно подчеркивая эти сообщения жирной красной чертой, ползли по линии железной дороги эшелоны с эвакуированными учреждениями и беженцами.

И по ночам горела тайга, — шли палы, и полнеба освещало алое зарево.

И при свете этого зарева из низенькой кирпичной тюрьмы выводили за город к одинокой белой цистерне «Нобеля» арестованных крестьян. Крестьяне крестились на горевший оранжевой ленточкой восток, и тогда в них стреляли.

И никому не известно было, кто их хоронил и где…

В середине июля поехал в тайгу отряд атамана Анненкова. Была это, вернее, часть отряда, две роты с пулеметами при четырех офицерах. Сам атаман со своими главными силами защищал тогда от восставших крестьян Семипалатинск.

Солдаты отряда были озлоблены и неудачами на фронте, и тем, что чехи отказались воевать, и тем, что сильнее разгорается восстание, а их перевозят из одного места в другое, и убивают, и заставляют убивать.

Озлобленные, они жгли деревни, скирды, пороли и вешали крестьян или поджигали избы с ночевавшими там атамановцами.

Кубдя хотел ехать в город, дабы сговориться с большевистской ячейкой, работавшей в подполье, но прибежавший из города рабочий с мукомольной мельницы сказал, что ячейка переарестована и члены ее перебиты. Да и в отряд прибывали и прибывали люди.

Имелась уже своя канцелярия, где главенствовал учитель Кобелев-Малишевский, хозяйственная часть, которой управлял Соломиных, и все больше скрипело телег в отряде, и все больше приходило людей к Кубде и Селезневу жаловаться.

Говорили теперь обычные крестьянские нужды: сожгли хлеба, избу, угнали скот, того-то убили; у всех было почти одинаково и говорили одинаковыми немногословными предложениями, но от каждого мужика и от каждой бабы, отходившей после жалобы прочь, оставалась на сердце все увеличивающаяся тяжесть.

Осанка у всех партизан стала слегка сгорбленная, бросили пить, и даже Беспалых если выпивал, то, ложась спать, стыдливо отворачивался к стене.

Никто этой перемены не замечал, все шло как нужно, люди строжали, отряд становился крупнее, лишь Кубдя временами судорожно хохотал, махая руками, видимо старался отойти дальше от обступившего всех чувства связанности с землей, с ее болями, и от этих пахнущих таежным дымом людей, каждый день прибывавших на телегах, верхом и впешую на Лудяную гору.

Один Селезнев ходил с головой, откинутой назад, улыбаясь, обнажая верхние резцы зубов.

— Попом тебе, Антон, быть, — говорил Кубдя.

— А тебе — грешником.

Однажды прискакал верхом Емолин. Он радостно потряс всем руки, а Кубдю похлопал по плечу:

— Живешь, парень? Я вас, подлецов, в люди вывел. Молиться на меня должны.

— Достроил амбары-то? — спросил Кубдя.

Емолин закрыл глаза и помотал головой:

— Пока достроишь с вашим братом, нижний ряд сгниет. Ну и времена! И что такое деется, никак я не пойму. Спятил народ, что ли? И смешно и дико смотреть-то…

— А ты поменьше смотри.

— Неужто нельзя?

Емолин плюнул и лукаво хихикнул:

— Я ведь хозяин. Мне любопытно, как люди жисть устраивают, я и смотрю.

— Ты помогай.

— Ну, от нашей помоги вшами изойдешь. Тут инова калибра человек требуется. Я вот метаюсь-метаюсь, езжу-езжу и никак не

пойму, какой тут человек надобен. Режут друг друга, жгут и все ждут кого-то, а?

Емолин подтянул подпругу и залез в седло:

— А у вас тут слобода! Кто хошь приезжай. Вот они какие, нонешние-то разбойнички, видал ты их! Чудно живете, паре, чудно!

VIII

Шли разговоры о белых:

— Бегут, бают, колчаковские-то войска!.. Чуть ли не Омск взяли. Вся земля под советской властью, паре, будет, но-о!..

Маленький веснушчатый Беспалых даже присел на корточки, словно не мог выдержать такой мысли.

Горбулин кормил из черепка белобрюхого щенка молоком. Щенок мотал мордой, белые брызги летели вокруг, сползали по мягкой шерсти. Между возами ходили мужики с тоскливыми и озабоченными лицами, в бору звенели топоры, ржали лошади.

— Где зимовать-то придется? — сказал Горбулин, похлопывая щенка по спине. — Одуреешь без работы-то. Мается-мается народ и сам не знает пошто.

— Знал бы — так не маялся. Анненков-то близко.

— Лихоманка его дери, сломит и он шею!

— А там как придется. Либо он, либо мы — кому-нибудь придется.

— Чернь-то большая, уйдем.

— С пулей далеко не уйдешь. Им ведь английского пороху не жалко.

Беспалых удивленными глазами посмотрел в тайгу и со злостью вскричал:

— И как только английский мужик смотрит? Зачем таку пакость позволяет? Не может быть, чтоб неученых не было! Добро бы наша темень была, а то ведь у них, бают, и неученых-то нет.

— Врут! — сказал Горбулин с убеждением. — Не может быть, чтоб неученых не было; дураков везде много. А посылают снаряжение и морочут, что, дескать, охотиться народу надо.

— Из винтовок-то?

— Из винтовок на медведя, а там в прочего зверя.

— Обмундированье-то как, а?

Горбулин озадаченно посмотрел в лицо Беспалых.

— А это уж их дело, не знаю!..

Подошел Кубдя, немного вялый, с тревожным беспокойством на корявом лице.

— Собирай манатки-то, — торопливо сказал он.

Беспалых вскочил.

— Уходим, что ли? Я сказывал, Анненков близко.

Кубдя поправил пояс. Патронташ и револьвер как будто стесняли его.

— Никуда не уходим. Мы тут будем. Бабы с возами уйдут… от греха дальше. А нам, коли придется, так в белки надо…

— По другому следу?

Беспалых крепко уперся в землю и свистнул:

— Вот плакались, работы нету!..

Между возами шла спокойная широкая фигура Селезнева. Он хозяйственным взглядом окидывал телеги и рыдваны и как поторапливал раньше при молотьбе, немного покрякивая, так и теперь торопил:

— Собирайся, крещеные, собирайся! Эку уйму лопотины-то набрали.

Какая-то старуха в грязном азяме всплакнула:

— Жалко ведь барахло-то, Антон Семеныч.

— Так… так… — деловито сказал Селезнев.

Горбулин довольным голосом произнес:

— Айда, большак!..

Через час по таежным тропам, подпрыгивая на корнях, тянулись в черни ирбитские телеги, трашпанки, коробки.

Пищали ребятишки, в коробах гоготала птица, мычали привязанные за рога к телегам на веревках коровы, а мохноногие пузатые лошаденки все тащили и тащили телеги.

Поспевала земляника, и пахло ею тихо и сладостно. Как всегда, чуть вершинами шебуршили кедры.

А внизу на далекие версты в тропах ехали люди; плакали и перекликались на разные голоса, как птицы.

Человек триста партизан пошли за обозами за Золотое озеро, на елани осталось не больше сотни.

Ушедшие были вооружены пистонными дробовиками, а оставшиеся — винтовками. Расставили сторожевые посты, часовых и по тайге секреты. Стали ждать.

— Доволен? — спросил Кубдя у Селезнева. — Али еще скребет?

— Как-нибудь проживем, — отвечал Селезнев, устало ухмыляясь.

— Вот и благословили тебя. Должон доволен быть.

В голосе у Кубди слышалось раздражение.

— Не жалуюсь. А кабы и пожалиться — какая польза?

— Будто новорожденный ты, ступить не знаешь куды.

Селезнев вскинул взгляд поверх головы Кубди и повел рот

вбок.

— Слышал ты, — сказал он смягчающе, — Улея-то в персть легла?

Беспалых одурело подскочил на месте:

— Сожгли?..

— Спалили, — просто ответил Селезнев, вынимая кисет. — Ладно, бабу вовремя увез. Повесили бы. Озлены они на меня.

— Придут седни.

Селезнев завернул папироску, прытко повел глазами и слегка прикоснулся рукой до Кубди.

— Седни не будут, помяни мое слово. А Улея-то только присказка, притча-то потом будет.

Он разостлал шинель на землю.

— Ложись, отдохни.

И, положив свое тело на землю, он углубленным, тягостным голосом проговорил:

— Самое главное — не надо ничему удивляться. А там уж и гнести нечему тебя будет, а? Кубдя! Ты как думаешь?

— Я вот думаю, — сказал Кубдя, — что у нас пулеметов нету, а у них три. Покосят они нас.

— Они укоротят, — с убеждением проговорил Горбулин.

Селезнев сорвал травку и начал ее разглядывать.

— Мала, брат, а так можно брюхо лошади набить, беда! — сказал он с усмешкой. — Ноне травы добрые. Оно, конешно, у кого косилка есть, лучше чем литовкой. А я так морокую, что в кочках-то с машиною не поедешь, Кубдя?

Кубдя тоже ухмыльнулся:

— Не поедешь, Антон Семеныч.

Селезнев утомленно закрыл глаза.

— А и устал я в эти дни. Будто тысячу лет прожил. Ты, Кубдя, жиреть начал.

— Во мне-то и никогда жиру не было.

— Это плохо. Без жиру — как без хлеба. Завсегда запасы надо иметь.

Он прикрыл лицо картузом и крупно зевнул.

— Добро хоть гнусу нет. А то б заели.

И, чуть лишь прикрыв глаза, сонно захрапел.

Через два дня, поутру, партизаны встретились с атамановцами у Поневских ворот.

Поперек речки Буи лежит восемь громадных камней. Среди них с плеском и грохотом скачет вода, вскидываясь белыми блестящими лапами кверху.

У левого берега вода спокойнее, здесь даже можно проскользнуть на лодке.

Вверх дальше по Буе — горы, похожие на киргизские малахаи из зеленого бархата, а внизу — речная заливная равнина.

Партизаны спускались по реке, а атамановцы поднимались.

Атамановцы растянулись по елани длинной цепью, окопались, поставили два пулемета и начали стрелять. Мужики стреляли поодиночке, тщательно прицеливаясь, разглядывая, не высунется ли казак. Несколько раз атамановцы вскакивали и с неверными криками «ура» бежали на партизан.

Но тотчас же падало несколько убитыми и ранеными; атамановцы опять окапывались и торопливо щелкали затворами.

Мужики лежали за кедрами и молчали.

На небольшой елани, слева окруженной потоком, справа — чащей, в которой лежала не стрелявшая вторая рота атамановцев, резались пули перестреливавшихся.

Людей кусали комары, и тех из атамановцев, которых ранило, пекло солнце, они просили пить.

Но пить им никто не давал; всем хотелось убить больше тех мужиков, которые спрятались за кедры и неторопливо метко стреляли.

Так они перестреливались около полутора часов.

Наконец, офицеры устроили совет и приказали наступать, то есть во что бы то ни стало идти на стрелявших из-за деревьев партизан и перебить их.

И хотя бежать в высокой, опутывающей ноги траве было нельзя и не было надежды, что партизаны побегут и не будут стрелять, все же мысль эта никому не показалась дикой, и атамановцы, вместе с офицерами крича «ура» и стреляя, полезли по траве и по чаще. В раскрытые рты набивалась трава, осыпающая неприятную сухую пыльцу.

Рядом как-то немного смешно падали раненые и убитые, атамановцы же продолжали кричать «ура», стрелять и идти вперед.

Из-за кедров все так же помаленьку, лениво стреляли мужики, и казалось, что дерутся они не серьезно, а сейчас бросят ружья и выйдут просить мировую.

До кедров осталось не более ста шагов, как вдруг атамановцы выстрелили разом и закричали:

— Ура-а!

От этого слабого крика ли, или от чего другого, но атамановцы почувствовали, что им плохо и что им нужно бежать. Атамановцы остановились и закричали уже совсем не своим голосом:

— У-а-а-а…

И, повернув обратно, побежали.

Из-за таежных стволов, на окаемок, выскочили мужики в азямах, в ситцевых рубахах и нестройно заорали:

— Бросай винтовки-и!..

«Конец…» — думали атамановцы и бежали, сами не зная куда.

Позади себя им мерещилось мужицкое дыхание, оскаленные, лохматые лица, и медно-красные пятна заплясали в глазах у атамановцев.

Некоторые из них бросились в воду и поплыли на другую сторону.

Туда же прыгнули двое офицеров, но плыть они не умели и, непонятно суетясь руками в воде, схватились за сучья повисшей над водой талины.

В это время на берег выбежали Кубдя и Беспалых и, увидев офицеров, словно напоказ, подождали, пока они крепко уцепились за сучья, тогда, вскинув ружья, выстрелили.

Напрягая волну, река потащила тела.

Насилу добежав до конца елани, атамановцы увидали здесь свои пулеметы.

Тогда они вновь почему-то почувствовали силу и начали отстреливаться.

— Назад! — оглушенно заорал Селезнев. И, как цыплята под наседку, пригибаясь, мужики побежали в тайгу.

На берегу Беспалых почувствовал боль в голени и, пощупав мокрую штанину, сообразил: «Ранен».

Он улыбнулся вдруг ставшим белым, как старая кость, лицом и сказал громко Кубде:

— Ранили меня…

— Эх, олово! — сказал Кубдя и, взяв его подмышки, повел.

Позади на елани опять шли вперед атамановцы.

Мужики, отстреливаясь, медленно повернули вправо и пошли в горы.

А их снова ровной цепью, стреляя и прячась за стволы, догоняли атамановцы.

И ни мужики не знали тех, кто их догоняет, ни атамановцы не знали, кого они хотят убить.

— Ура-а! — время от времени кричали атамановцы.

Ноги у Беспалых ныли, голова тяжелела, и все тело словно было лишнее.

Его вели, подхватив под руки, Кубдя и Горбулин, а позади шел растрепанный и потный Селезнев и после каждого выстрела торопил:

— Иди, иди, не отставай!..

Вошли в березовую чернь.

В бледноватой зелени берез, как темные пуговицы на светлом платье, пихты.

Опять мешали идти огромные травы, не было уже папоротника, но резал руки сладко пахнущий осот.

Беспалых, словно охмелев от боли, начал заплетаться языком и при каждом шаге отчаянно кричал:

— Пустите, ребята, пустите!

И, ощущая цепенеющую усталость в руках, Селезнев пятился, стреляя, и печальным голосом повторял:

— Не ной, Беспалых… не ной, парень… Поторапливайся, поторапливайся… Не отставай…

Мужики уже всей оравой ушли вперед.

Подыматься в гору становилось все круче. Остановились перевязать рану Беспалых, но, услышав близко перекликающиеся голоса атамановцев, опять пошли.

Под ногами скользили гальки, далеко по окаемку приходилось обходить каменные «лысины», а позади, не переставая, щелкали впустую выстрелы атамановцев.

Селезнев повеселел и повесил за плечи винтовку.

— Уйдем, — сказал он. — Уведем их к лешему!

Голова у Беспалых покачивалась, как созревшая маковка под ветром.

Солдатские штаны смочились густой кровью, этой же кровью были запачканы руки и Горбулина и Кубди.

У Кубди на локтях сатиновой синей рубахи была широкая прореха, виднелось розоватое, искусанное комарами тело.

Селезневу стало муторно смотреть, и он отстал.

Чем они выше подымались крутыми подъемами между плитами камней, величиной с избу, серых, с ровными, словно отпиленными краями, тем сильнее они чувствовали какую-то ждущую их неизвестную опасность.

Они начинали прибавлять шагу, несмотря на усталость, не огибая россыпей.

Кончились березки, осины.

Лохматились одни кедры, и хотя так же грело солнце, но с белков дул суровый, крепкий и холодный ветер.

Они затянули крепче пояса и, как будто желая разорвать опутывающие сети тишины, нарушаемой одним ветром, заговорили громче.

Под ногами захрустел мох.

Они остановились, вытерли замазанные глиной в черни ноги об седую, хрумкающую, как снег, траву, затянули крепче рану у Беспалых, переглянулись и молча торопливо пошли выше.

Ветер развевал волосы, горбом вздувал рубахи.

Мысли, с устатку ли, с другого чего, разжижались, и нельзя было заставить их исполнять свою обычную работу.

Селезнев теперь указывал дорогу.

Он был мокр, — даже толстый драповый пиджак вымок, будто был под дождем. Белки глаз его подернулись красными жилками, а зрачок все расползался и расползался, как масляное пятно на скатерти.

Он кинул фуражку и шел простоволосый, с расчесанной ветром черной бородой.

Кубдя чувствовал себя разопревшим, утомленным.

Рядом на руке висел маленький, кричавший все время рыжеволосый человек. У этого человека был постоянно разинутый рот с болтавшимся там обрубком языка, рот, издававший такие звуки, как будто резали ножницами листы железа, и временами Кубдя никак не мог вспомнить, где он видел эти мокрые усы и веснушчатую, морщинистую переносицу.

Вдруг россыпь расширилась, и они увидели перед собой голое холмистое поле.

По полю ровной цепью стояли люди с винтовками, и навстречу им бежало шесть человек с револьверами.

Люди были одеты в английские шинели, и мужики, взглянув на них, почувствовали холодный ветер и заметили недалекие похожие на синеватые сахарные головы белки снегов.

Селезнев сорвал оружие и крикнул и прервал крик выстрелом:

— Беги…

«Бу-о-ах!..»

Затем он замахал руками на Кубдю, лицо его неожиданно помолодело, и он торопливо оказал:

— Бросай… беги…

Он наклонился, сунул Беспалых револьвер и, пригибаясь, побежал.

За ними побежали остальные.

Беспалых стало страшно и, желая отвязаться от мыслей о себе, приставил револьвер к виску, но раздумал и выстрелил в бок.

— Все!..

Обрывками на бегу думал Селезнев:

«Путем… ошибся… Надо было… мокрой… балкой…»

И ему пришло в голову, что он хотел еще увидеть идущих из России красных.

«Посмотрим…» — мелькнуло у него в голове.

Он остановился и ровным голосом сказал:

— Стой, паря! Не убежишь!

Услыхав его голос, Кубдя подумал: «Мертвец», — и быстро остановился.

Позади них лег Горбулин, потерявший винтовку в бегу.

— Посмотрим… — сказал Антон, всовывая обойму.

IX

Через неделю сводка «На внутренних фронтах» сообщала, что в районе Улей бандитские шайки Антона Селезнева рассеяны, а сам он погиб в перестрелке.

А через два месяца партизаны и регулярные части Красной Армии взяли Ниловск, и крестьяне привезли с белков трупы Селезнева, Кубди и еще четырех неизвестных.

Вырыли глубокую могилу, пришли рабочие с красными знаменами, оркестр играл «Интернационал», ораторы в серых шинелях с жестяными звездочками на белых заячьих шапках долго говорили и указывали рукой на восток.

В стороне же, позади процессии, стоял подрядчик Емолин в желтом овчинном полушубке и смотрел на красные знамена, ярко сверкавшие трубы музыкантов. На душе у него было умиление и жалость. Он вытирал на носу слезы и говорил соседу:

— Заметь: хо-орошие парни были.

1920–1921

РАССКАЗЫ

О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Подкова

I

Перемеченные огнем снарядов — красные, кроваво-красные и тяжелые, — низко обламывались облака над городом. Невнятные гулы шли по деревянным тротуарам. Люди в узких деревянных щелях домов; оттуда и слышен шепот:

— Через Сусловицу перешли…

— Сначала коммуну бить… начнут…

— Говорят, всех прощают, только масштабы их признавай…

— Какие масштабы?

— Господи, а мы-то при чем?..

В этот вечер, когда калечили облака желтые — пахнущие углем и серой — снаряды; когда солнце в маслянистой крови — как незарубцованная рана, уездный кузнец Василий в горне варил картошку. Был он подслеповат — не от кузнечной, а от портняжной работы; от болезни глаз и в кузнецы пошел.

Кузница была под горой — «на подоле»; ниже — город; выше, на горе, — кладбище. Почему кладбище на горе, а не город — неизвестно. Живым и так весело, а мертвецу с горы лучше видно: может быть, так думали?

Подручный Ерошка — кузнец всех подручных Ерошками звал — качал мехи. Голосенко у него какой-то подтянутый, словно пищали мехи или скрипела сухая кожа. Грызя полусырую картошку, махал он тонкой, как ремень, рукой и спрашивал:

— А обозы белу муку скоро повезут? Утикают…

— Муки белой не полагается, муку белую едят белые, а нам надо исть муку черную.

Кузнец погнул в пальцах изржавевший жестяной обручишко, изорвал его в куски и бросил в угол. Обошел вдоль стен, выглянул, вдохнул сладковатой сырости и захлопнул торопливо дверь.

— В городе-то — тьма, даже в тюрьме огня нету. Ты картошку не проследи, уплывет… Белые, поди, сегодня придут, надо б домой идти. Пущай здесь убивают, одна могила, да и та хоть своя, а?.. Всех трудящихся чересчур, говорят, убивают. Возьмут нас, Ерошка, да и повесят вот тут, в станке на перекладинах, где коней куем.

— А за ноги вешают? У которых шея, поди, тонкая, не выдержит, дяденька?

— Проси — повесят за ноги.

— А на том свете в рай попадем?

Василий оттянул котелок, щепочкой попробовал картошку. Седоватая бороденка отсырела и запахла табаком. Ему захотелось курить, он поскоблил в карманах.

— А на этом свете в рай хочешь?

— Хочу.

— Давай табаку, дорогу расскажу.

Ерошка выпустил ремень меха и сказал медленно:

— Я некурящий.

Подумал и, подхватывая ремень, кашлянул тихонько:

— У нас, дяденька, парнишки порешили в бога не верить.

— Ишь!

— Большевики в бога не верют… Кипит!..

— Кипит. Доставай.

В крестах, на горе, ухнуло и посыпало мелким треском.

— Бонба, — сказал боязливо Ерошка.

— Ешь, пока картофель горяча.

А сам кузнец не стал есть. Разломил, понюхал: пахнуло сыростью. Отложил. Поднялся и вдруг, ссутулясь, накрыл корчагой угли в горне. Ерошка зачавкал медленнее:

— Темно, дяденька.

Василий стоял у дверей. Ржала где-то далеко лошадь; по дороге неустанно шел ветер. У станка для ковки, подле кузницы, свистела, как бич, веревка… Кузнецу стало холодно, он вспомнил, что у воротника рубахи нет пуговиц. Тоненько пискнул в углу Ерошка:

— Дяденька, темно… Пойдем в город… тут крысы…

Обстрел, должно быть, кончился. Щели дверей расширились.

Запах угля отяжелел.

Здесь, от станка для ковки, глухо и медленно позвал голос:

— Хозяин!

II

Ерошка для чего-то задергал ремень мехов; метнулась зола в очаге. Василий хотел было промолчать, но туго потер загривок и хрипло крикнул:

— Чего ты-ы?..

— Хозя-яин… — протяжно и густо позвал голос.

В распахнутую дверь сразу, под бороду и на потную грудь,

хлестнуло холодом.

У станка, фыркая и звеня уздой, — лошадь. Выше ее — темный, широкий голос:

— Подковы есть?

Звякнуло стремя, мягко осела земля под пятой.

— Кузнец?

Василий порылся в карманах, сплюнул и, ленью голоса стараясь преодолеть дрожь, оказал:

— Покурить нету?

— Огня давай. — Потом, расстегивая одежду должно быть, медленнее добавил: — Коня куй.

— Откуда ты?

— Куй.

Человек стоял поодаль; дыханье у него было медленное. Тонко, прерывисто запахло кислым хлебом.

«Крестьянин», — подумал радостно Василий и, стукнув кулаком по бревну станка, твердо выговорил:

— Ерошка, дуй уголь.

Василий подошел к станку.

— За ночную работу берем вчетверо. От ночной работы у меня глаз сочится, оттого ремесло переменил. Опять, кто ночью кует? Лошади спать надо. Каков размер копыта?

Так же, словно роняя грузный мешок, повторил тот:

— Куй.

Огонь в горне поднялся, и отблеск переломился в синей луже за дверью. Огромное и теплое, лежало копыто перед Василием, как темное блюдо. Волос от копыта шел длинный, жесткий и седоватый, пахнущий прелой соломой. Ерошка, стукая пяткой по ящику, тащил подковы. И вот, перекидывая железо, набивая ладонь едкой ржавчиной, стал выбирать Василий подкову. Одна за другой, в связках, в одиночку, старые, стертые, блестящие, и совсем шершавые, и новые, еще пахнущие огнем, ложились подковы на кочковатую ладонь и звякали, падая обратно в ящик. Не то! От старых битюгов, давно, еще до войны, возивших барские клади, уцелело шесть пар, валялись они в углу. Ерошка вытащил их, свистнул и подкинул угля в горн — чтобы было светло. И эти — не то! Лежали они, словно кольца, на ладони.

Человек, сошедший с лошади, звякнул чем-то позади станка. Василий обернулся и поглядел на него.

Тоненькой ниточкой на огромном куске солдатского сукна блеснула винтовка. Ушастая островерхая шапка с пятиконечной звездой оседала на широкий лоб.

Василий поспешно спросил:

— Какой губернии?

— Я-то?.. Муромской.

Василий обежал кузницу; запнулся за подвернувшийся обруч, откинул его в угол. Подбросил для чего-то угля в горн, махая над углем куском железа, крикнул:

— Нету подходящих подков! Нету!

Звякнула тяжелыми кольцами узда.

— По коню куй.

Человек, сошедший с коня, огромным грузным шагом отошел куда-то в темень, и оттуда раздалось:

— Куй.

Раскаляя железо, Василий над искрами его хотел было охнуть, пожаловаться, а засвистел, заскрежетал молотом:

— И-их!.. И-их!.. Ирошка-а!..

И Ерошка вился худеньким телом: тоже под искрами, под молотом рвал мехи, в горн надавливал воздух, потел, попискивал:

— Их, дяденька-а! Их…

И только тогда, когда подкова лежала, как темновато-алая ржаная булка, крикнул Василий:

— Туда, что ль, на них?..

— Прямо! Куй.

— Кую! И-их!.. Пря-ямо?

— Прямо.

— И-их!..

Лошадь дышала тепло, прямо в затылок Василию. Человек в островерхой шапке так и не показывал лица. Шлепая, разрезая грязь, прошел в гору обоз.

Хотел Василий пожаловаться, рассказывать долго и правильно, чего он, кузнец Василий, хочет. Конь, словно лопатами, откидывал подкованными копытами звонкую пахучую грязь. Седло под рукой Василия — теплое, ласковое.

Он сказал, указывая на гору:

— Город-то надо сюда перенести.

Из тьмы опять, как грузные пласты земли, последний раз упало:

— Перенесем. Обожди.

1922

Литера «Т»

Иван Семеныч Панкратов любил беззаботно повторять, что и умрет-то он стоя за реалом и что труп его вынесут из типографии, спокойно, как букву вынимают из набора. Приятели по работе

уважали его за эту беззаботность, бодрость, веселую седину и за те пять морщин, которые, как шрамы, пересекали его розовое лицо и говорили, что человек с такими морщинами видел много ветров и много солнца.

Давно уже Иван Семеныч стал замечать, что зрение его слабнет, мир тускнеет: исчезают веселые облака, рано наступает серый вечер. С табличного набора его перевели на афиши, но он делал много ошибок. Перед ним извинились, поручили ему раздавать оригиналы и разбирать. Но и тут Иван Семеныч не упал духом, он только заявил, что, видно, от старости руки трясутся, а про глаза умолчал. В жизни он, казалось, о многом молчал.

За такую беззаботность его, за душевную красоту приятели, жалеючи, перед тем как Иван Семеныч начинал разбор, подкладывали в клеточки касс темные бумажки. Иван Семеныч разберет заданный урок, а приятели утром велят выгрести буквы, бумажки возьмут — и снова переберут его работу, потому что, по слепоте своей, Иван Семеныч буквы путал и кидал не в те клеточки, где им надлежит бывать: кинет литеру «к» в свою клеточку, а она рядом упадет — в «л». Вновь поступающих рабочих Иван Семеныч опасался: к новому лицу привыкнуть трудно, лицо как бы расплывается в синей мгле…

В день, когда начинается рассказ, на работу первый раз вышел накладчик Мишка Благовещенский. Паренек это был молодой, лет шестнадцати, дошлый. За свою короткую жизнь беспризорника он успел уже объехать всю Россию, побывал и в столицах. Мишка работать явился злым, к тому же в городе поговаривали, что со стороны пустыни ведут наступление басмачи с атамановцами и что руководит наступлением атаман Кашимиров — офицер, прославившийся своей жестокостью, — а Мишка был трус, хвастался трусостью, и поэтому никто его трусости не верил. Пришел он в типографию рано утром. Мальчишка подручный уже собирал перепутанный разбор Ивана Семеныча; мальчишка пожаловался на свою унизительную участь. Мишка встретил Ивана Семеныча язвительным смехом. У Ивана Семеныча была легкая, уверенная походка, он остановился на пороге; белое крыло седины поднялось выше косяка дверей.

Тогда метранпаж Ершов отозвал Мишку за машину, поднес к его носу пропитанный скипидаром кулак и свел коротенькие сердитые брови. Мишка смолк. Иван Семеныч понял, что Мишке не дали говорить.

Был пасмурный, низкий день. Две недели уже шли дожди. Из подпочвы сквозь песок выступили глины с отвратительным затхлым запахом. Медленно по течению Аму-Дарьи к городишку П. спускался пароход «Волна революции». На пароходе

находились две роты красноармейцев, полевые орудия и снаряды. Пароход шел на помощь, потому что действительно из пустыни на городок шли басмачи. Спускался же он медленно оттого, что река Аму-Дарья, текущая среди песчаной пустыни, часто меняет русло, на ней много перекатов, мелей, течение ее стремительное, опасное, к тому же бандиты уничтожили на перекатах бакены, да и бакенщиков давно не осталось на свете. Ночью пароход бросал якорь, и каждую ночь поднималась брань: солдаты требовали, чтоб пароход все-таки шел!.. Да и верно, спать было более опасно, чем идти. Каюки басмачей не слышны; в камышах шелестит ветер… Пароход тушил огни: матросы проверяли затворы. Наконец, солдатам сообщили, что до городка остается каких-нибудь верст десять — пятнадцать. Но начался крупный дождь, небо потемнело. Буро-желтые песчаные холмы окружали стремительные воды Аму-Дарьи.

На одном из холмов виднелось огромное голое дерево, украшенное гнездом ворона. Матросы высадились на берег, взобрались на холм. Ворон не пускал матросов на дерево, налетал несколько раз (подле дерева валялись щиты молодых черепах: воронята, видимо, питались ими). Сверкнула молния — и тогда осторожный матрос выстрелил в ворона, и гром заглушил выстрел. Бесконечная голубовато-бурая равнина, покрытая гравием, расстилалась перед ними. Еще дальше виднелись фиолетовые холмы: ничто не напоминало о городе. На душе у команды было смутно. Долго спорили они тихими голосами и все же решили кинуть якорь. И тогда гнилые запахи подпочв дохнули на них с берега. Туго натянувшаяся якорная цепь дрожала на мелких и злых волнах. Река, мутножелтая, тяжелая и холодная, стремительно неслась мимо…

В городке ревком уже давно ожидал парохода, уже второй день пристань была украшена мелкими красными флажками (они уже успели полинять, и свирепый дождь частью оборвал их). Половину городка населяли казаки. Ревком опасался, что многие из них могут перейти на сторону басмачей, и, хотя остальное население было мобилизовано, боялся призывать казаков к защите. Казаки, несмотря на дождь и слякоть, ходили увешанные оружием, с песнями и гармониками, привезенными с фронта, — и это еще более увеличивало беспокойство. Поэтому сидящие в окопах, за городом, перед лицом пустыни, больше всего смотрели на город, тоскливо слушая его. В пустыне было темно и сыро.

Дальше, десятка за два верст, среди холмов, связав вершины нескольких кустарников, укрыв их попонами и чепраками, спали басмачи; атаман и генерал Кашимиров был среди них. Вот они прошли почти через Кызыл-Кумы; город уже был неподалеку, а за

ним Аму-Дарья, и за нею благословенная, благоуханная Хива! Все ж и басмачи и атаман Кашимиров верили в силу города! Наконец, они поймали киргиза, бродячего певца-уянчи, пробиравшегося из Хивы в Бухару, и певец, склонный к преувеличению, сказал им, что русские третий день уже отводят Аму-Дарью в сторону, что у русских непередаваемая даже в песне сила, что это великие богатыри; здесь атаман Кашимиров выстрелил певцу в рот. И тогда басмачи решили, что певец-уянчи подослан, шпион; сверкнули мокрые укрючины; звякнули стремена. Басмачи понеслись на город.

А город действительно под дождем, в грязи и слякоти, третий день рыл канал. Пароход «Волна революции», кинувший якорь в пятнадцати верстах от города, вдруг ночью пошатнуло. Команда спросонья открыла было огонь. Плеск воды прекратился. И дождливым утром солдаты увидели, что река отошла в сторону на сто саженей. Пароход неуклюже торчал в тине. Увязая по колено в грязи, матросы стащили лодку в реку. Коряги, тинистые и черные, торчали округ. Громадные рыбы, не успевшие скрыться, тускло трепетали под дождем в крошечных лужах. Матросы гребли к городу. И вот тогда ревком объявил добавочную мобилизацию, конфисковал лопаты и кирки.

Неумело выстроившиеся отряды направились рыть канал, дабы пропустить воду к пароходу. Моросил дождь, и небо было низкое, серенькое…

В типографии было холодно, шрифты слиплись, потому что смывать краску было нечем: ни скипидару, ни керосину. Краска застыла; валики машины прыгали по шрифту не прилипая. Рабочих увели рыть канал, остались только Иван Семеныч да Мишка.

И попрежнему Иван Семеныч бодро ходил среди реалов, заложив за спину руки, покашливая и жалея, что некому рассказать пришедшие ему в голову занятные истории. Мишка, дабы его не мобилизовали, расковырял гвоздем ногу на подъеме, хромал, злился и резал узкие ленточки бумаги, чтобы ими переклеить крест-накрест окна: стекла тогда от бомбардировки не лопаются. Иван Семеныч побродил-побродил, он посмотрел на стекла и сказал, что давно пора бы вымыть — больно уж тусклы! Мишка огрызнулся: стекла мыли только утром, да и дождь их плохо моет, что ли! А старик все беззаботно смотрел в сторону, в окна, которых почти не видел. Вдруг в дверях типографии показался военком города Тулумбаев.

Тулумбаев, сутулый и решительный человек, держа в руках аккуратно переписанный лист бумаги, сказал, что, по полученным сведениям, басмачи и атамановцы под

предводительством генерала Кашимирова наступают на город со стороны пустыни и будут у окопов не позднее как через полтора-два часа. Ревком заявляет рабочим типографии: в их руках судьба города. В казачьем клубе объявлен митинг, но казаки не придут, если по городу не расклеить воззваний, в которых приводится текст телеграммы из центра, уравнивающей в правах на луга и покосы казаков и туркмен. К пароходу, за рабочими, не успеть; да и некому ехать — надо говорить, действовать! Тулумбаев передал оригинал воззвания старику.

— Когда явиться за напечатанными воззваниями? — спросил он.

И старик ответил ему:

— Через сорок минут!

Военком пожал ему руку, дотронулся до козырька и, щеголяя решительностью своих движений, быстро вышел. В окна все еще сыпал мелкий дождь, было тихо, но в городе уже началась суматоха: не знали, куда тащить пулеметы — то ли к исполкому, то ли в окопы за город. Поперек улиц протягивали проволоку.

Иван Семеныч стоял с оригиналом в руках и видел перед собой твердое серое полотно с ровными строчками. Шея непонятно ныла, и остро кололо в висках, так остро, что трудно было повернуться. Мишка мотался перед ним и жалобно и злобно — уже сам страшась своих выкриков — стучал каблуками. Он кричал, что не хочет из-за такого старого черта, всегда притворявшегося наборщиком, — не хочет быть расстрелянным! Ему жаль, он страдает оттого, что не вздумал вовремя хоть сколько-нибудь подучиться набирать, хоть бы кассу немного знал! Мишка, задыхаясь от злости, схватил Ивана Семеныча за руку: кисть была длинная и неимоверно тяжелая. Мишка подвел старика к кассе, обежал кругом реала напротив, облокотился на выпачканное краской дерево, упал на него грудью и опять завопил:

— Расстреляют из-за тебя! Свои же расстреляют. Набирай!

Бумага сухо свертывалась. Строки стыли, исчезали. И тогда Иван Семеныч вдруг вспомнил, как недавно умершая старуха, уже перед самой кончиной, глядя на него жалобно, сказала, что «ты вот, Иван Семеныч, как овод: летишь по-птичью, кричишь по-бычью», а что дальше… слезы показались у нее на глазах. Тогда эти слезы сильно удивили Ивана Семеныча, и он их понял так, что старухе не хочется помирать, жалко расставаться с жизнью. И вот теперь, держа в руках оригинал, текста которого он не видел, он понял, как долгие годы он обманывал себя и как его обманывали и жалели. Понял многие разговоры, понял, почему так мало всегда было разбору и почему наборщики говорили, что

мало работы и что он, Иван Семеныч, может отдохнуть, может идти. Иван Семеныч уходил, гулял по городу и думал: какая у него легкая и достойная старость. А выходит, его, старого болтуна и хвастуна, держали неизвестно за что в типографии, работали за него, кормили его… А теперь из-за его беспомощности, из-за его… Сердце его устало рванулось. Неужели ж городу из-за него погибать?!

Мишка все еще орал:

— Набирай, набирай!.. — Ругательства его были неистощимы.

Иван Семеныч неистово дернул кассу: третью по счету сверху. Реал пошатнулся. Он выключил верстатку на десять квадратов; выбросил кассу на реал (несколько квадратов выпало). Он сразу схватил букву «Т» — так начинались все воззвания, и ему показалось, что взял он не букву «Т», а другую, перед ней или рядом с ней. Он взглянул на литеру. Литера была холодная, тяжелая и тусклая, как бы совершенно сбитая, стертая. Он беспомощно взглянул в окно, — и окно, казалось, было стертое, в розовой мерцающей паутине. Он поднес литеру близко к глазам. Неясный и неразборчивый овал буквы блестел в его гладких, туманных и как бы помолодевших пальцах. Но какая это буква — нельзя было ничего разобрать. Ничего!.. Верстатка затряслась в руке.

Ничего!.. Значит, ничем и никак он, старый наборщик, рабочий, не может помочь рабочему классу и беднейшим крестьянам, вставшим на защиту социалистической революции?.. И неужели он, старый рабочий, неспособен собрать свои силы так, чтобы увидеть буквы? Неужели в эти минуты, когда решается судьба многих советских людей, он ничего неспособен сделать? Неужели воля его так уж ослабла?.. Не может этого быть — и не будет!

Мысль его лихорадочно работала. Он почувствовал легкий озноб в пальцах ног. Голова горела. Горло пересохло. Он сделает, сделает свое дело, он добьется, он заставит себя увидеть буквы!..

Мозг его, казалось, запылал. Необычайная радость творческой жизни вдруг выпрямила его. Слезы покатились из глаз, и слезы эти словно унесли с собой тот туман, который окутывал его глаза. Он видел отчетливо и кассу и шрифты… «Товарищи!» — вот первое слово, которое он наберет самым крупным шрифтом.

Литера из ладони опять вернулась в его пальцы, теперь уже упругие, и, разглядывая эти пальцы, он вспомнил, что давно не видал морщин на них. Но до морщин ли ему теперь! Ведь когда он плохо видел, он взял из кассы не литеру «Т», а литеру «С»,

лежащую в соседнем отделении. Он кинул литеру «С» обратно и сказал вслух:

— Ошибка, — и твердыми пальцами, описывая полукруг перед верстаткой, принес литеру «Т», за ней «О», за ней «В» и так далее…

Тогда накладчик Мишка медленно отошел от реала, боязливо оглянулся, зачем-то пригладил волосы и начал приготовлять марзаны для заключения набора в раму. Рама вставляется вместе с набором в машину — и можно печатать. Раму он сначала выбрал самую новую, а затем осмелел, ехидно подмигнул самому себе — дескать, знаю, старик-то лодырь, как ловко всех обводил! И взял раму самую грязную и заржавленную. Иван Семеныч, все еще чувствуя необычайную свою радость и даже мучаясь от этого (грудь слегка покалывало и болели виски), поспешно выставлял одну верстатку за другой. Ему показалось, что он пропустил слово; он проверил, перечел — все было в порядке. Он опять стал набирать, и опять казалось, что слово, теперь уже какое-то необычайно важное слово, пропущено. Он сплюнул, досадливо завязал шнурком набор, кинул его на талер и схватился за рукоятку, чтобы повернуть машину и чтобы валики накатали на буквы краску. Руки его были мокры от пота; пар шел от лица.

— Крути! — закричал Мишка, кладя на барабан под зубцы лист обойной бумаги (воззвания печатались на обоях).

Иван Семеныч увидел оттиск набора. Сколько лет он не видал оттисков своего набора? Ему некогда было вспоминать. Мишка визжал:

— Читай корректуру, дядя.

И он увидел опечатку: вместо слова «смертельная» стояло «смиртельная», он схватил шило, дабы выдернуть букву из набора, заменить ее другой, но здесь острие шила исчезло из его глаз, затем он потерял рукоятку, пальцы его пошли в туман, рука исчезла. Он выронил шило и, крепко схватившись за рукоятку машины, огляделся. Типография скрылась. Мутнобагровый туман был его миром. Он сказал:

— Накладывай, Мишка.

Мишка свистнул, приказал ему крутить. Вскоре прибежал за воззваньями солдат, их отдали все — семьдесят штук, себе забыли оставить. А через полчаса казаки наполнили окопы. Пулеметы обратили дула свои к пустыне. Басмачи отступили. А еще через пять часов пароход вышел прорытым каналом в Аму-Дарью. Весь город встречал пароход. Вывели встречать и Ивана Семеныча, под руки (он и сам не заметил: как и зачем). Казаки стройно и, должно быть, с некоторой хвастливостью кричали пароходу «ура!». Все еще шел дождь, и мелкие капли падали на

лицо Ивана Семеныча. Кто-то спросил его: «Видишь, пароходище-то какой громадный?» И он ответил: «Вижу», — хотя перед ним стлалась бесконечная туманная пелена и посреди ее блестящий крошечный кружок — солнце.

1922

Про двух аргамаков

С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Пожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно стряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.

Великое ли диво — пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга — больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.

Старуху одну, в зеленом казакине, полной семьей вели на пароход под руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.

Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переметы, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков. И к вечеру уже, когда и колоколенки и яры скрылись в лиловом, пахнущем полынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.

— Ты ведь, поди, нашего хозяйства не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно по всему Яику. Ильбо от Разина — сказывают, великий он колдун был, — ильбо от чего другого прадед наш, Евграф Железнов, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи платили за породу. Табуны наши были в скольку сот голов — уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный двуэтажный и под железной крышей.

Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два — Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце,

бывало, отцветает, что солома, а Митьша — черный, чисто кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем как Егорше в лагеря идти, «сам» — то и подарил им по жеребку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал — лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше — Игреньку.

И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру генерал оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» — «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.

Сколько раз казацкую жизнь спасали кони — я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полковую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два георгия.

Осенью пустили их, ильбо самоволей приехали — не знаю уж. Подойти к ним тогда было — чисто сердце открывалось. Ходят по двору, один — вправо, а другой — влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! Имущество, грит, с кыргызами да другими собаками делить не хочу».

И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу. «Утиши, господи, их сердца», — молю. А самой все-то непонятно, все непонятно: как? из-за чего? Шире — боле. Я уж говорю Митьше: «Разделить вас ильбо что?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит:

«Все народу отдам!» И в кого он уродился такой заполошный?

Тут еще одна беда — Егорова молодуха собою красавица была: лицо — чисто молоко, сама — высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митьшины кресты, что ли, — только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом, а она белки выкатила да на меня: «Ты, грит, старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он разор всему нашему роду, в большевики пошел». Мы тогда большевиков-то не знали.

Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла намеднись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление, — по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».

Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянул.

Только не вышло у них, что ли, — не знаю. Вернулся Митьша — прямо на полати в валенках залез. А тут, немного погодя, и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железнов, слазь с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!»

Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полену и брата-то — господи, родного брата! — по голове, и бежать! Ладно, у того киргизский треух был. Охнул Егор и пал наземь, а потом, через минуту, что ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказания не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».

У нас конюшни-то на железных болтах были. Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься, матушка. Буду я народным героем!»

И за дверь — тихонечко.

Я как только очнулась немного — за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой — у моей жены?»

Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивцу и предателя. Прощай!» А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший — где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.

Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку те казаки, что за генералов были. Вот в погоню и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу — след, так и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим логом. «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов». А генеральские казачки-то — шашки наголо, да — на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Хотел было Егор приказ отдать отступить.

Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супротивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали вишь конь коня, Серко — Игреньку.

Закинул Егор голову, да и спросил громко: «Брат, Митьша, ты?..» — «Я, — отвечает тот, — я!»

Через всех казаков проскакал Егор к брату. «Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя и за все семейство наше казацкое! Помирай от моей руки». И вдарил его шашкой.

Потом что?.. Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли

брат своего брата не пожалел, значит за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит. Генеральские казаки и сдались.

А Егор револьвер вынул, подходит к коню Серко. У самого слезы на глазах. Ведь конь — тварь бессловесная, ее винить в чем?.. И говорит Егор тому коню: «Конь ты, конь серый! Возил ты меня, возил и брата. И всю жизнь будешь ты напоминать мне и обществу об изменнике. Жалко мне тебя, но стыдно будет всем смотреть на тебя. Прощай!»

И убил коня.

… Сердце-то у меня с того времени будто полынью поросло. Все-то времечко на нем горечь горькая.

1923

Встреча

Мы на холме, и вот в долине перед нами развалины стен Каракорума. Его черная тень некогда лежала над всей Средней Азией, а теперь камни его домов не имеют четкой тени своей, способствовавшей некогда сравнению, что тени его домов подобны чепраку седла. Они овиты жалкими монгольскими травами. Сыто смотрит на травы моя лошадь.

Некогда. Желтоскулый и с узкими, словно это была рана в сердце, глазами монгол скакал от ворот с перстнем Чингиза направо — через Иртыш и Обь к океану, налево — через Волгу к польским лесам, и еще за узорными коврами — в Персию. Теперь — тени тишины.

Желтовато-синий росистый вечер ползет к моим стременам, и кажется — громадная собака лижет подъем моего сапога.

— Барамыс. Поехали? — спрашивает Докай. — Дальше?

— Барамыс, — соглашаюсь я. — Дальше.

Но кони наши продолжают стоять неподвижно.

Их уши насторожены, и мне кажется, что сердце моего коня своим биением колышет мое стремя. Я склоняюсь к луке седла и вглядываюсь в кустарник. Может, там торопится к своему логову волк или заглянул с Балхаша Джулбарс — тигр. Мягкая тишина над кустарниками, будто все вокруг окутано шерстью, и низкое небо, как скатавшаяся шерсть джабага — овцы. Конь неслышно поднимает копыто, опять вздрагивает, и вдруг резкий свист трепещет над тропой.

Огонь смолевой щепы широко вспыхивает на одном из камней. На мгновение огромный камень приобретает очертания дома.

— Кто? — кричим мы. — Кто там? Кто идет?..

Слышу — седло мое четко, как затвор винтовки. Мысли бегства в последние недели научили меня вспоминать сначала о седле, затем о винтовке.

Свист повторяется, он наполнен какой-то седой хрипотой. Я вдруг вспоминаю его: так глухой ночью разбежавшееся стадо призывает пастух. Он уже знает, что стадо не вернется. Это свист отчаяния, а не призыва. Одни лишь огорченные собаки трутся у ног. Пуста теплая, умятая тушами земля, ветер неслышно уносит клочки шерсти — остатки его стада.

Я молчу. Конь храпит.

Дрожит на камне горящая щепа. Ее оранжевый пламень густеет. Наконец, она тухнет. Я кричу опять:

— Кто-о?..

— Обожди, апа… — шепчет мне Докай. — Тохта… Обожди.

Мы ждем.

Кустарники вдруг начинают шипеть.

Нет, это шаги. Они тяжелы, и мне вспоминается железная нога строителя Каракорума. Они медленны. Дыхание идущего таково, будто он дышит железными легкими.

Конь мой пятится, когда широкая, почти ползущая по земле серая фигура показывается из кустарников.

— Ты кто? — хрипло спрашивает он меня. — Ты кызыл-урус?

— Да, — отвечаю я, поднимая ружье, — да, кызыл-урус (что на языке пустыни значит красный русский).

— Тогда я буду говорить и целовать твое стремя, — хрипит вышедший из кустарников.

— Говори.

Опять вспыхивает щепа, и вместе с запахом смолы я явственно слышу запах трупа. И я тороплю, и конь, мотающий уздой, тоже торопит.

— Говори, подошедший ночью.

— Я говорю тебе, сидящий на кауром коне, и слова мои верны, как то, что некогда здесь вместо каракорумской полыни кузнецы умели ковать сабли лучше кузнецов белого царя, которого вы, кара-урус, зарезали. Значит, так нужно, и мне не жалко его. Я кузнец, и в джатаках подле поселков у меня есть горн, и род мой, быть может, идет от кузнецов Каракорума. Я имею стадо в пять рогатых голов; две лошади и указанное, по преданию, для бедняка число баранов. Восемь лет платил я за жену калым и платил бы, если б было нужно, еще восемьдесят ради одной встречи восхода на кошме моей юрты за чиевой перегородкой. Ее походка легче иноходцев всей Гоби, а пальцы ее, доящие кобылиц, колыхали вымя легче, чем ветер колышет

ковыль, и такое колыхание было у меня на сердце, когда она подавала мне чашку, наполненную до краев айраном. Я — хороший хозяин, но, беря чашку, я плескал на кошму айран, молоко. Я не хотел быть баем, богачом; жена не хотела быть ханшей, и все-таки вчера вечером к лощине Аи-Той пришли бии и урусы-казаки с парчовыми плечами. Они вырезали мое стадо, и, думаю, кызыл-урус, им, должно быть, не хватило крови, и они на голой земле, растоптав мою жену, вырезали ее груди. Они не нашли ее сердца, потому что оно, страдая за мои стада и меня, высохло в тот вечер и было, наверно, не крупнее пылинки! Я не мог принести вам своих зарезанных овец и коров, они поедены. Я принес показать вам свою жену… Я нес ее на своих руках двадцать верст от лощины Аи-Той, чтобы ты обменял ее труп на верную винтовку…

Киргиз сдернул грязное одеяло, покрывавшее труп. Скатилась черная капля смолы и сипло зашипела на мутномалиновых кусках мяса. Рот у женщины был распорот и щека проткнута саблей.

— Ее звали Кызымиль, — сказал киргиз, сметая ногтем упавший на рану жены уголь. — Она плюнула старшине в бороду, когда тот, опившись кумыса, полез ей за ворот.

Он вдруг упал на колени и схватил мое стремя. Губы его вытолкнули из стремян мой сапог.

— Давай, урус, винтовку. Я двадцать верст нес на себе Кызымиль, она тяжелая, я ее хорошо любил и хорошо кормил. Давай! Едем?

— Едем.

Тропа несет меня к кострам моих друзей. Костры будто покрыты росой. Тропа мокра от росы, как повода узды моего коня.

1925

О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

При Бородине

Двадцать пятого августа, накануне Бородинского сражения, неподалеку от флешей — укреплений, получивших позднее название «Багратионовых», на плоском холме, поросшем вялым и редким ольховником, встретились братья Тучковы: командир третьего резервного корпуса генерал-майор Тучков-первый и шеф Ревельского полка генерал-майор Тучков-четвертый.

Всего братьев Тучковых было трое, и все они вышли в генералы. На войне и в семье жили дружно; в походе и дома старались чаще встречаться. И надо бы им всем троим встретиться перед этой великой битвой, да не пришлось: третий брат, израненный в жестоком бою под Витебском, полонен французами. Когда братья соскочили с коней, они обнялись и прослезились: каждый из них вспомнил о брате и поклялся в душе отомстить за него. Вслух же они стали выспрашивать — какое кому дело поручено в предстоящем сражении.

Тучков-четвертый — красивый, стройный, волоокий мужчина в мундире темнозеленого цвета, нервно проводя рукой по лбу, который он увеличивал, подбривая верхние волосы, сказал:

— Я, Вихрик, клятвенно могу поднять руку: лучшего дела себе и не желал — полк защищает флеши. С нами бог и Багратион! А ты куда назначен, Вихрик?

Братья в семейном кругу называли друг друга именами, оставшимися с детства. «Вихриком» прозвали в детстве старшего брата — за его жгучую неукротимую стремительность. «Выг» — осталось за вторым; он в детстве, совсем маленьким, увидав месяц, сказал: «Она — выгнутая назад», и это показалось забавным, стали это повторять, фраза сократилась, и теперь уже плохо помнили, что значит это слово.

— Поздравляю, Выгушка. Флеши — дюжее назначение! Будете вы на них стоять, как иллюминированная картинка, — вдруг с легким раздражением проговорил Тучков-первый. — А я вчера получил специальное распоряжение главнокомандующего князя Кутузова: вывести третий мой корпус к Старой Смолянке, с тем чтобы обрушить его на неприятельский фланг и тыл, когда французы истратят последние резервы на левом фланге армии Багратиона.

— Прекрасно, Вихрик.

— Прекрасно? — Дыхание, короткое, гневное, подняло

широкие плечи генерала. — Нет, не прекрасно! Прекрасно молоко, а не известковая вода. Ты можешь говорить, что я смотрю ограниченно, — говори! Но какой же я секурс, какое у меня войско, когда ко мне, накануне битвы, в корпус на четыре тысячи регулярного войска добавили семь тысяч иррегулярного?! Ополченцев! Вооруженных одними пиками! Понимаю — московское ополчение, несут крест… Нет, сударь, это вам не иллюминация, это…

— Ты, Вихрик, всегда горячишься.

— А что же, мне бледным и почтительным быть, когда они с пиками и пики расставлены по всей дуге градусного круга? Гришка, дьявол! Подтяни подпругу! — свирепым голосом, с потемневшими глазами закричал он кавалеристу, державшему его коня.

Александр Алексеевич с удовольствием смотрел на некрасивое, но пышущее силой, свежее и надменное лицо брата.

Гневная вспышка улеглась. Тучков-первый, по обыкновению бодрый, смешливый, выдумщик, развеселился. Багровость с его лица еще не сошла, но он уже хохотал над тем, что его человек с испугу так затянул брюхо коня, что тот еле дышит. Затем он обратился к Александру Алексеевичу и стал рассказывать, как приехавший вчера управляющий имением попал под французские ядра и расплакался с испугу.

— У этого на всю жизнь след от войны останется, ха-ха!

Он прислонился спиной к седлу, конь пошатнулся. Генерал громко вздохнул, и по лицу его можно было понять, что он уже придумал, как приспособить московских ратников и их пики к бою. И видно было, что выдумка эта ему очень нравится и что она будет очень неожиданна и очень страшна для француза.

— Выгушка, а ты письмо домой с управляющим пошлешь? — спросил он. — Быстро доставит, ха-ха! Посмотрел бы ты на его рожу, — лопатой испуга не снять!

Александр Алексеевич молча передал письмо. На адресе стояло имя жены его, Маргариты Михайловны. Прочтя адрес и взвесив на руке тяжелое письмо, Тучков-первый опять побагровел, но теперь уже по другой причине. Он очень любил свою семью, хотел бы писать им длинно, подробно, ласково, а письма получались слово в слово — приказ по полку. Это раздражало его, и он завидовал своему брату, письма которого всегда были образцом эпистолярного слога. Чтобы избавиться от этих глупых и унижающих мыслей, Тучков-первый поспешно спрятал письмо брата и опять заговорил о рекрутах, теперь уже снисходительно: он-то ведь знает, как поступить со своими рекрутами, со своими ополченцами! Ему показалось, что Александр Алексеевич

невнимательно слушает его.

— Разве у тебя мало рекрутов? — спросил он. — Прислали? Сто? Двести? Каковы! Перед самым боем изволили прислать укомплектование! И они осмеливаются считать своим законным правом заботу о России! У, подлецы! Я бы не только на их имущество, я бы на них самих наложил полное запрещение…

Александр Алексеевич слушал плохо, но, чтобы не обидеть брата, заискивающе улыбался. Подобно другим офицерам армии, Александр Алексеевич боялся прихода в часть рекрутов: как бы хорошо ни были они обучены, они могут разжидить если не воинский строй, то воинский дух — деятельную и беспредельную ненависть к наполеоновским мародерам, к этой жадной и беспощадной ораве грабителей. Обычно боязнь эта оказывалась неосновательной, — рекруты быстро пропитывались духом армии, воспитанной в борьбе с Наполеоном, и через неделю-другую рекрута не отличишь от старого служилого. А все же стоит появиться толпе рекрутов, как офицер смущенно заерзает, покраснеет и начнет кричать беспричинно на приближенных, как кричал сейчас на человека, державшего повод, Тучков-первый… Но не о рекрутах думал Александр Алексеевич.

Правда, думы начались с рекрутов. Сегодня на рассвете в его полк, так же как и в другие части, пришло укомплектование, разумеется не такое значительное, как укомплектование корпуса Тучкова-первого. Пришло сотни полторы здоровых, высоких и, видимо, решительных крестьянских парней. Александр Алексеевич осмотрел их и остался ими доволен. Лицо одного, рыжего парня с толстыми щеками и широкой грудью, показалось ему знакомым. Александр Алексеевич спросил имя и фамилию рекрута. Гулким голосом, хотя и чуть пришепетывая, рекрут прокричал:

— Степан Карьин, ваше превосходительство!

— Во втором взводе у вас, Иван Петрович, — обратился генерал к поручику Максимову, — никак есть Карьин? Да этот и лицом схож?

— Марк Карьин тебе кто будет? — спросил поручик у рекрута.

С неподвижным лицом, тем же гулким голосом рекрут сказал:

— Отец, ваше превосходительство!

— Позвать сюда унтер-офицера Марка Карьина, — приказал генерал.

Вытирая на ходу руки о штаны, синеватый от испуга, прибежал и вытянулся перед генералом унтер-офицер Марк Карьин. Лицо его действительно походило на рыжее и мясистое лицо Степана, но война сильно выщелочила его: оно и суше и

решительнее. Превосходное лицо солдата! При виде этого лица генерал вспомнил Суворова, которого ему удалось видеть однажды в детстве, вспомнил его голос, режущий воздух, как хлыст с кусочком свинца на конце, и с несвойственной ему резкостью в голосе сказал:

— Унтер-офицер Карьин! Рекрута Степана Карьина возьмешь в свой взвод!

Поручик Максимов скомандовал рекруту «вперед — марш!» — и рекрут Степан Карьин пошел за своим отцом.

Генерал тоже повернулся и пошел в свою палатку. На барабане перед ним лежали листы бумаги; в бисерном футляре — чернильница, в граненом голубом стаканчике — перья… А письмо не писалось! Вернее сказать, писалось, но писалось не то.

Привязалась почему-то длинная и нелепая фраза: «Она так прекрасна, что даже непролазно сонные будочники смотрели ей вслед по улице, удивленно качая головой, пока она не скроется из глаз», причем фраза эта звучала в голове то по-французски, то по-русски. Он знал, что никакие раскрасавицы не проймут будочников. Да и что ему будочники? А фраза между тем стучала и стучала в мозг, как молоточек. «Будочники, будочники… — думал он, с улыбкой вынимая и кладя перо в граненый голубой стаканчик. — Будочники…» Он боялся думать о любви — и думал о любви.

Ему тридцать шесть лет, а Маргарите Михайловне тридцать один. В эти годы у других людей от любви остается, как при сожжении чего-либо растительного, дым, сажа, вода… А тут получился недожог, остался уголь, — и уголь тот еще в огне! Он и так и по-другому поворачивал в сердце этот тлеющий сладостно и горько уголь; ему страстно хотелось рассказать жене об этом томлении, которое при виде ее прекрасного лица вспыхивает огнем. И ему страшно было сознаться, что он не мог выразить этого. Оттого сейчас любовь его к Маргарите казалась ему обманом, который он тщательно скрывал от себя самого. Он давал думам волю, надеясь, что найдет те слова, которые надо положить на бумагу, а вместо того вдруг перед глазами вставало поле, холмы, поросшие березой и ольховником, недоделанные укрепления, поле, где решается вопрос жизни России, где разрядятся чувства, наполнявшие людей наших, чувства, обостренные отступлением… Бородинское поле!

Боясь показаться нескромным, а если украсит себя в предстоящей битве, то и чванливым, Александр Алексеевич, однако, писал слова о родине и россах, — и слова эти словно бы определяли границы его мышления, его чувств. Прикованный мыслью к Бородинскому полю, он замирал и не находил слов,

которые вместе с этим говорили бы о любви его к Маргарите.

Тут ему вспомнились лица Карьиных, отца и сына, оба рыжие, мясистые, грубые, земляные.

Вот этим легко! Они в передней чувств не толкутся. Ушел — и с глаз вон. Встретились — и не велика важность. Смотрите, как, почти не взглянув друг на друга, они пошли во взвод унтер-офицера Карьина, не выразив ни печали, ни радости. Да, таким легко — у них на все чувства один замок: два поворота ключом — закрыл, два поворота — открыл… Да, им легко!..

… А им вовсе не было легко. Степан Карьин пришел из семьи в четыре работника: такой семье в такую войну — все понимали — ставки не миновать, и быть в той ставке Степану. Степан понимал это и сам сказал: «Лоб!» И уходить все же куда как трудно! В полях — уборка, на руках — молодая желанная жена, на которую смотрел, задерживая дыхание, да и женился к тому же недавно — весной.

И немного прошло времени, как расстались, немного промаршировал под барабанный бой и команду «сомкнись!», а какая тоска, какая мука и в какое долгое терпение надо погрузиться, чтобы не думать о ней, о жене!

Они с отцом сидели на краю небольшого, с высокой отавой лужка. Позади, в березнячке, расположился Ревельский полк, за березнячком, меньше чем в полуверсте, находились флеши. Приближался вечер. Отец, хмурясь, нетерпеливо, с преувеличенным вниманием расспрашивал о деревне. Сын нескончаемо подробно, кротким голосом, отвечал ему. Отец пугал его. При отце Степан сам себе казался мешковатым, скучным и неповоротливым, хотя на самом деле он знал всю подноготную тяжелого кремневого ружья, которое выдали ему, все «экзерцисы», и даже отмечен был при стрельбе плутонгами.

И отцу Степан казался неуклюжим, пустым: этот и мушки на дуле не разглядит, а ведь грудь подходящая, как раз такая, какая требуется для военной работы! Марк Карьин вздыхал, и ему казалось, что генерал, отправляя сына в его, Марка, взвод, тем самым намекал, что и он, генерал, видит в сыне его неладное, требующее исправления. Марк присматривался, с какой бы стороны приступить к исправлению, исправлению немедленному, так как назавтра великий бой и опытные солдаты уже моют рубахи, обряжают себя.

— Ну, хватит! — сказал решительно Марк. — Жить им в деревне долговечно, а нам к неприятелю быть долгорукими. Ты, Степан, слушай отца! Порох нам ноне выдадут хороший, мушкетный, пули льют в нашем полку тоже хорошо, на снаряженье не пожалуешься. А бою быть лютому, чую. А ты как,

чуешь?

— И-и, что ж, — сказал вяло Степан. — Побьемся, раз лезет.

— Ружье в нашем полку крепкое, отдает так, что человек может развалиться али язык сам себе откусит. Так ты, перед тем как огонь дать, вперед наклоняйся, слышишь? Откусываешь патрон — думай, чтоб порох губами не замочить. Теперь дальше. Сыпешь ты часть заряда на полку — следи, чтобы пороху лишнего на землю не просыпалось. Отдачи не бойся, порох береги. Понял? — Он остро посмотрел на сына. Сын смотрел вокруг себя, как бы ища ружье: он хотел этим выразить свое внимание отцу. Отец же подумал другое, нехорошее, и голос его погрустнел, а речь стала торопливая: — Быстро высыпай порох в канал, прибивай пыжом! Ночь, вижу, будет сырая — ишь понизу-то туман крадется. Я тебе дам промасленную тряпку, ты ружье укутай, оно тебе завтра жизнь спасет. Слышишь, дурья голова?

— Слышу, — сказал Степан, глядя в небо.

Высоко в переливающемся, как закаленная сталь, небе летели журавли. «К ней, в ее сторону», — подумал Степан, и ему почему-то вспомнились большие висячие уши дворняжки, которая всегда выбегала к ней навстречу. Жена поднимала крутые плечи и смеялась. Расшитые подплечики ее рубашки дрожали… Степан не удержался и сказал в небо, как в детстве, когда желали журавлям, чтобы они вернулись:

— Колесом дорога!

— Ты чего? — строгим голосом спросил отец.

Степан забормотал:

— Бабка Ворониха говорит: раз журавли к третьему спасу летят — быть ранним морозам, а нет — так зима позже…

Отец молчал. От журавлей мысль Степана опять вернулась к дворняжке с висячими ушами, от дворняжки — к подойнику, который так легко умела носить жена, от подойника — к ее пальцам, которых вдоволь не нацелуешь!.. Он покраснел и сказал:

— Да, я тебе никак не успел сказать: Бурешка-то наша полегла!..

— Говорил ты уж… — хмуро пробормотал отец.

Степан пытался удержать себя, но других слов не находилось. Ему виделась эта Бурешка, тонкомордая корова с белым пятном на лбу, чудились пиликающие звуки молока, падающего в подойник… и маячили руки. Он говорил и говорил про корову: какая она удойная, какие у нее крепкие и сильные телята, — за сотню верст кругом знают про Буренушку! И надо же такой золотой, царской корове пасть перед самым его уходом! Плохо теперь будет хозяйству, совсем плохо! Когда он уходил из дому, дурной запах почудился ему, затхлость какая-то… Не к добру!

Марк смотрел в печальное лицо сына и думал: «Какой это солдат? Оскорбился, что корова сдохла! Убыток, верно, большой. Да ведь нынче вся Расея требует подпоры! На что выдумал жаловаться!» Но Марк знал, что сын у него безугомонный и что тут одним криком дела не поправишь. А злой крик уже подступал к горлу… Марк удержал себя, даже закрыл рот рукою. Он встал и, не говоря ни слова сыну, с крайне тяжелым чувством огорчения направился к генералу. После долгих переговоров — денщик был одного села с Марком — денщик согласился пойти в палатку. Генерал сидел в палатке на турецком ковре. Перед ним стоял барабан; на барабане — графинчик с водкой и два огурца. Графинчик был не почат, огурцы не надкусаны. Александр Алексеевич только что вернулся со свидания с братом. На душе его было грустно. Он отправил письмо, так и не выразив всех чувств, которые, он знал, надо было выразить! К чему тогда образование, множество прочитанных книг, к чему виденные заморские страны, встречи с умными людьми?.. Он с радостью услышал о приходе унтер-офицера Карьина. Этот грубый, колючий и искристый, как снег, солдат, глядишь, избавит его от мучительного томления. Хотя солдат был брит и опрятен, генералу он показался косматым и свирепым, как рысь. Александр Алексеевич сказал ласковым голосом:

— Говори, служивый, не бойся. Кто обидел?

— В нашем полку, ваше превосходительство, кто службу обидит, — высоким и неприятно заискивающим голосом начал Марк Карьин. — Вот сын приехал, ваше превосходительство. Спасибо, что заметили, обозначили. — И без того вытянутый, он вытянулся еще больше и проговорил отчетливо, с расстановкой: — А сын-то, ваше превосходительство, печалится. За дён пять, как ему рекрутом идтить, пади у нас Бурешка, корова. И хорошая была корова! А пала. Теперь в хозяйстве урон, беда. Он и тоскует…

— Еще бы не беда, — холодным голосом сказал Александр Алексеевич. — Корова в хозяйстве у мужика много значит.

— V, господи, — забыв о ранжире, взмахнул Марк руками. — Еще бы да не много, ваше превосходительство. Вот я и говорю: «Степушка, ты не беспокойсь, ты смири сердце, у тебя все вернется». Так оно и есть!

— Что — так оно и есть? — еще более холодным голосом спросил Александр Алексеевич.

— Да я говорю: его превосходительство подумает. Он пишет домой-то почесть каждый день, вот и напишет матушке барыне Маргарите Михайловне: «Так, мол, и так, у того унтер-офицера Карьина и у того рядового Степана, сына его, подохла коровенка,

так ты выдай телушку хоть. Из тех породных, что халадскими зовутся…» Ведь наше-то село рядом, ваше прево…

Александр Алексеевич отвернулся. Через подвернутый край палатки видны были купы деревьев — тьма словно обрезала их ветви — и за деревьями аметистовое мигание костров, которое бывает всегда после заката, в сырой вечер. Сырость преуменьшала зарево, видневшееся в стороне Семеновского оврага, там, где расположен корпус Тучкова-первого. Зарево разгоралось, и чудилось даже потрескивание, выделялись отдельные предметы — то конь, то журавель колодца, то колокольня какой-то белой церкви… Так рассказчик, развивая свою мысль, добавляет то или иное описание, подробность… Вот хотя бы рассказ об этой корове.

Вздрагивая от сырости, генерал сказал:

— Ладно, ладно, служба! Я завтра же напишу Маргарите Михайловне: получите корову. Иди, служивый, иди отдохни! Завтра — бой!

Солдат сделал быстро «кругом» и скрылся за полосой света от костра, который денщик уже развел возле палатки. Зарево у Семеновского оврага, возле Старой Смолянки, исчезло, будто его отдернули, как занавес. Со стороны французского лагеря доносились мотивы знакомых песен. На душе было печально. Тоже грифоны! Пришли в чужую страну и поют. Или они думают, что завтра им предстоит праздник, а не русский бой?..

Генерал попробовал прилечь. Но сон не шел в голову. Он покинул палатку. Отовсюду несло кашей. Кашевары с большими ложками у больших котлов, приподнявшись на цыпочки и щурясь от дыма, брали пробу. Генерал невольно подумал, что вот сейчас унтер-офицер Марк Карьин и его сын Степан сидят у костра, ждут ужина и, наверное, говорят о корове. Внезапно, с каким-то томлением, генерал подумал: «Нет, не может того быть!.. Чтобы суворовские солдаты!..» И, накинув плащ, он пошел направо, в лесок, где была расположена рота поручика Максимова.

Полк жил своей обычной, несколько торопливой предночной жизнью. Поужинавшие солдаты крестились в сторону восхода. Другие укладывались спать, положив рядом с изголовьем чистые белые рубахи. Некоторые из солдат спали на спине, раскинув руки, как крестьяне после работы. Старые, поглядывая в сторону пылавших неприятельских костров, рассказывали об итальянском походе в Альпах. Тягости не чувствовалось, наоборот — видна была на лицах хорошая, предбоевая важность. Увидав плащ генерала, солдаты охотно вставали и отдавали честь. Им было приятно, что вот они укладываются спать и некоторые уже спят, а генерал ходит среди них, беспокоится. Откуда-то прорвался

ветер, захватил лапами деревья и потряс их: ветви закачались на фоне колеблющихся костров. Генерал увидел унтер-офицера Марка Карьина. Зажав коленями сапог, он с напряжением в лице доканчивал шов… И опять генерал подумал, хотя лицо Карьина, казалось, говорило другое: «Не может быть, чтобы суворовские солдаты!..»

Услышав голос генерала, Марк Карьин вскочил, держа в руке судорожно скомканное голенище. Генерал ласково сказал:

— Сиди, сиди, служба! — и, помолчав, добавил: — Что же, передал ты своему сыну о корове?

Рядом с унтер-офицером генерал разглядел голову его сына. Теперь, при свете костра, лицо сына казалось менее грубым. Глаза его блестели совсем особенно, каким-то жемчужным блеском, и странны были его руки — не по-мужичьи гибкие, мраморно-белые. «Нет, не о корове он думает», — сказал сам себе генерал и перевел взор на отца. Широкий, упругий, настоящий суворовский солдат стоял перед ним! «Нет, и этот думает не о корове. То есть думает обо всех коровах, которые пасутся на всей нашей земле, и о всех пастухах ее, и о всех, кто возделывает землю и собирает плоды!»

Александр Алексеевич почувствовал себя хорошо и рассмеялся неизвестно чему. Солдаты, которых незаметно скопилось возле костра уже много, тоже рассмеялись. Тогда генерал достал трубку, закурил от костра и сказал Степану:

— Вот что, молодой служивый. Я узнал, что твоя семья потеряла отличную корову. Я помогу достать другую, не хуже. Я знаю, что ты сейчас не о корове думаешь, и унтер-офицер Карьин думает не о корове. Но и корова — ничего, сгодится, верно?

Отец и сын в голос, зычно ответили:

— Так точно, ваше превосходительство, покорнейше благодарим!..

Но другое чувствовалось за этим ответом. Не о корове думы Марка Карьина! Утвердившись на мысли, что сын его действительно способен думать перед боем только о корове, старый солдат пришел за помощью к генералу. И как приятно понять, почему сдвинуты сейчас эти старые, поседевшие в боях брови и эти крепко вытянутые ноги. И как приятно понять молодого солдата, еще не совсем оторвавшегося от дома, еще наполненного мыслями о красавице жене, но уже готового к бою, уже понимающего смысл и необходимость боя. Генерал сказал:

— Степан, я буду писать домой, напишу, чтобы Маргарита Михайловна почаще заезжала к твоим и писала мне о жене твоей. А потом тебе ответ передам. Спокойной ночи, братцы!

И он, четко топая сапогами, ушел. Он шел и протяжно зевал,

словно исполнил какую-то большую и приятную работу. Ему хотелось крепко выспаться перед боем, но он не лег. Придя в палатку, он сел у барабана и взял перо. Сначала не писалось. Он бессмысленно глядел во влажную и пахучую темноту ночи. Костер потух. На светлографитном небе, словно крупицы пороха, пробились звезды. Слабый ветерок чуть шевелил полу палатки, будто скребется кто-то… И вдруг в сердце словно ворвалось что-то огромное, свежее и душисто-серебряное. Очарованный этим почти нечеловеческим чувством, сознавая, что оно приходит в жизни единожды, Александр Алексеевич стал быстро писать своей жене. Уже слова не казались ему пустыми и тусклыми; крупные и словно яркопунцовые, фразы ложились на шероховатую, чуть влажную от вечерней сырости бумагу. Он писал о любви к ней, о любви к своему дому, к своей матери, братьям, селу, России. Ради этой горделивой и святой любви он и его солдаты — если потребует бог, родина, полководец — положат свои жизни. И вы все, оставшиеся жить, поймете это и будете жить так, как необходимо богу, родине, полководцу!

Он писал и не чувствовал, что всхлипывает, что все лицо его мокро от хороших и горячих слез…

— Проворней заряжай! — кричал унтер-офицер Марк Карьин, поминутно угрюмо поглядывая на сына, как тот «саржирует» — заряжает.

Степан саржировал хорошо, и понемногу лицо Марка Иваныча стало светлеть, и ему было легко, словно опадала опухоль. Он оборачивался к поручику Максимову. Поручик то и дело командовал барабанщикам: «сбор», «унтер-офицерам — на линию», «вперед ровняйся — марш», «батальный огонь», «сомкнись», «не кланяйся ядрам, ребята…»

Шел бой. Было Бородино.

Полк ровнялся, выходил. За частоколом флешей дымила пыль. Сквозь нее шли французы. Передний, высоко поднимая ногу под барабанный бой, нес на палке сверкающую штуку, похожую на круглое долото. Поглядев на эту штуку, поручик Максимов поставил рожок с порохом, оглядел затравки у пистолета и подсыпал на полку пороху. А затем поручик, так же высоко задирая ногу, как французский знаменосец, шел впереди своей роты. И была схватка — рукопашная, русская!

Но и враги крепки. Французы начали атаки, как только после обильной росы обсохла трава, часов в семь. К одиннадцати утра сделали уже восемь атак. Генерал Компан водил войска в атаку дважды. На второй раз свалили генерала русские. Взамен Наполеон послал генерал-адъютанта Раппа. Свалили и Раппа! Наполеон приказал маршалу Даву вести войска на флеши. Даву

повел, ворвался во флеши… Багратион приказывает контратаковать!

Поручик Максимов приказал роте строиться, вести батальный огонь. Поглядел на полк… прекрасный полк! С горящими глазами стоит у знамени Тучков-четвертый, и лицо у него такое, точно ниспослана ему высочайшая благодать. Вот генерал смотрит — через все роты — в лицо унтер-офицера Карьина: таков ли? И генерал улыбается: таков! Вперед, ребята, за отечество!

— Ура-а!..

Французы тяжко падают в размягченную и грязную землю. Их топчут неудержимые кони, колеса орудий, артиллерийских повозок. Их лица теряют выражение развязной удали, и беспокойное раздумье, а то и разочарование появляется на них. Французы выбиты из флешей. Маршал Даву контужен и упал вместе с лошадью. На смену ему, в буйной и пестрой одежде, на идущем размашистым шагом породистом коне приближается король неаполитанский — Мюрат. Поодаль атаку короля поддерживает маршал Ней. Таков приказ императора Наполеона. Низенький, в низкой шляпе, он наклоняется вперед и, поглаживая себе колени, покашливая и усмехаясь, вглядывается в бой… Странный бой! Странны русские! Тревожит их упорство, оглушительны их батареи. Что за постылая страна?!

Одиннадцать утра.

Снова на флеши идут двадцать шесть тысяч французов, знающих свое дело, наторевших в победах. Они идут звучным, как песня, шагом; златозвонно колеблются над полками императорские орлы, залихватски-бесшабашно гремят барабаны. Король Мюрат и маршал Ней ведут войска. Виват, виват, виват!..

Против этих двадцати шести тысяч стоит восемнадцать тысяч русских — и всё! Резервов нет. Отступать нельзя. Надо стоять. И стоят Марки и Степаны Карьины, стоят и падают, падают и поднимаются, наспех перевязывают раны, идут врукопашную. Пораженный картечью, смертельно ранен Багратион. Контужен начальник его штаба Сен-При.

Портупей-прапорщик Тоськин держит полковое знамя. Он моргает и время от времени, когда над полком летит ядро, мнет рукою лицо. Полк, осыпаемый картечью, стоит без выстрела, держа ружья под курок. Впереди полка прославленная рота поручика Максимова, а впереди роты — унтер-офицер Марк Иванович Карьин и его сын Степан.

Генерал-майор Тучков-четвертый, в кожаном картузе и темнозеленом спенсере с черным воротником и золотыми погончиками, ждет, слегка покачиваясь от напряжения и легкого опьянения боем. Он счастлив, как никогда. Все окружающее —

войска, ядра, облака в высоком и узорном небе, выстрелы и даже смерть кажутся ему веселыми, воздушными и вкрадчиво сладкими. Он вглядывается в приближающихся французов, видит скачущего короля Мюрата и чувствует, что всего его охватывает грозная злоба. И все, кто окружает его — он знает это, — тоже охвачены этой злобой. Еще три, пять минут, и они ринутся!..

И ему мерещится белая фуражка брата и его лохматая, как жнивье, бурка, которую он носит всегда во время боя. Он выстроил каре гренадер, свой любимый Павловский полк, и тоже шагает вперед. Он выходит из оврага, что перед Утицей, и проходит развалины сгоревшей деревни. На улице мечется голосистая белая курочка, а у забора, в крапиве, лежит мертвый мальчик… Вперед, за отечество!..

— Вперед, за отечество! — крикнул Александр Алексеевич, выхватывая у портупей-прапорщика Тоськина полковое знамя. Тоськин, зная, что так надо, тем не менее без охоты отдает знамя, а отдав, выхватывает тесак и шагает плечо в плечо со своим генералом. Барабанщики бьют марш-поход. Полк идет навстречу французам. Впереди — рота поручика Максимова, и в этой роте, со знаменем в руке, генерал-майор Тучков-четвертый, а налево, через пять шагов, Марк Карьин — унтер-офицер и его сын Степан — рядовой…

Было тихо и совсем почти стемнело, когда к безлюдным флешам, покрытым трупами, подъехал верхом на коне человек небольшого роста, в сером до колен сюртуке и низкой треугольной шляпе. Он поглядел на траверс — поперечную насыпь в укреплении. В траверсе вместо русских лежали мертвые французы. Небольшой человек в сером с трудом нашел среди них нескольких русских солдат и двух офицеров, один из которых был, повидимому, генерал. Обратили его внимание также и лица двух солдат — рыжих, спокойно-величавых, похожих друг на друга. Это были Марк и Степан Карьины, а мертвый генерал — Тучков-четвертый. Пуля навылет убила его. Мертвые очи генерала смотрели не на человека в сером, хотя он и был императором, а на юг, где, возле Утицы, должен был стоять корпус Тучкова-первого, брата его. Мертвые очи не видели, что и Тучков-первый ранен смертельно. Не знал генерал Тучков-четвертый, что мать его, проливаючи неудержимые слезы, ослепнет от слез и горя; что прекрасная Маргарита Михайловна пострижется в монахини и построит монастырь над тем местом, где погиб муж ее. Не знал он… Да и зачем ему было знать?!

Из-за укрепления показались санитары. Они осторожно, зная, что возле укрепления остановился император, несли смертельно раненного гренадера, из тех, которых вел Мюрат. Гренадера,

перед своей смертью, ранил Марк Карьин, — и очень обрадовался тому, как ловко работают он, старик, и сын его рядом. Чтобы утешить гренадера перед смертью и чтобы побольше было записано в истории красивых и звонких слов, человек в сером громко спросил:

— Сколько взято пленных?

Умирающий гренадер, словно сквозь сон, услышал вопрос императора и подумал, что вопрос этот обращен к нему. Умирающему незачем выслуживаться, он имеет право говорить правду, а кроме того, умирающий видел, что русские своей обороной разбили то непобедимое и блестящее, что было его, гренадера, жизнью. Вот почему гренадер из последних сил сказал:

— Ваше величество, они не сдаются живыми.

— Eh bien! Nous les tuerons! — быстро ответил Наполеон, и было в его голосе такое, что ему самому, если б он пожелал прислушаться, могло показаться страшным.

Одно короткое, чрезвычайно тоскливое мгновение сказало ему, что существует не только Аустерлиц, но и Бородино; что отсюда, с этого дня, он вынужден будет повернуть и политику свою и, что горше всего, стратегию: всегда нападающий, он перейдет к обороне. Но он не остановился на этом мгновении, а сделав сияющее и праздничное лицо, стал смотреть поверх укреплений на восток — туда, где, по его мнению, его ждали всемирная корона и всемирное раболепие.

Восток был в летучей, мерцающей дымке, где-то переходящей в глубокую тьму. Во тьме этой незыблемо и стародавно, с голубоватым блещущим отливом светились огни. Это были костры русской армии, фронта которой так и не удалось прорвать Наполеону при Бородине.

1943

Близ старой Смоленской дороги

В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.

Клубы золотисто-зеленой пыли, почему-то пахнущей ванилью, закрывали какую-то деревню.

— Горки?

— Горки, — недовольным голосом отозвался кучер. «Ахти, батюшки, — думает он. — Все придворные экипажи давным-давно за Можайском, а император небось уже скачет по Москве». Даже карета митрополита, темнобронзовая, блестящая, похожая на

садовую жужелицу, славящаяся своей медлительностью, обогнала их.

Тарантасы, туго набитые купечеством. Скрипучие дрожки, пахнущие дегтем, от которых за версту несет витиеватой канцелярщиной. Прогретые солнцем до дна толстые офицерские баулы со спящими на них неимоверно пьяными денщиками. Прямоволосые монахи и пышноволосые дьяконы, покрывающие своими нахальными голосами трескучий грохот дороги. Купцы на ящиках колониальных товаров. Кирасиры на раздутых и надменных конях. Уланы на «стёпистых» — колесом шеи… Дальние помещики с крикливо-напыщенными голосами. Кухонные мужики. Плетенки с птицей, не зарезанной еще и по этому поводу радующейся: гогочущей, кукарекающей… Хлесткий хохот. Пьяные рыдающие крики. Запахи коней, горячей земли, стонущей от долговременной засухи… И надо всем этим пыль, пахнущая ванилью, должно быть оттого, что по дороге перед проездом государя разбросали множество еловых веток. А впереди предстоит еще больше пыли, криков, толкотни — вслед за зрителями идет стопятидесятитысячная масса войск, бывших при открытии Бородинского обелиска.

Утомленный, чувствуя жестокую, возрастающую боль в висках, Василий Андреевич, с присущей ему мягкой властностью, приказал кучеру свернуть на Псарево и проселком выехать к холмам, на старую Смоленскую дорогу, в том месте, где, позади третьего корпуса Тучкова, двадцать семь лет тому назад стояли в ожидании боя полки московского ополчения, а позже отступал от Москвы Наполеон.

Хотелось проехать дорогой, не столь переполненной, а более того — еще раз увидать былые места, где проходил молодым. Шутка ли сказать: ведь уже стукнуло пятьдесят шесть… И двадцать семь прошло с того времени, как он, молодой, в новеньком ополченском мундире, жавшем подмышками, стоял в кустарниках: «Ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело…»

Он смотрел на хуторок, мимо которого катилась коляска, и ему за жнивьем представлялись клубы сизого дыма, словно тысячи огромных кулаков, неизвестно кому грозящих… Земля содрогалась и была шершава, как шагреневая кожа. Ах, какой был тогда косматый и грубый день! Видишь его туманно, будто сквозь прокоптелое стекло, и тем не менее сердце болит попрежнему.

Здесь, именно здесь, а не в лагере под Тарутином, сложились строфы «Певца во стане русских воинов», поелику: «защитой бо града единый был Гектор». Здесь — защищая Москву — родились эти слова, что в тысячах списков разнеслись по всей России.

Хорошей болью болело сердце, когда писались эти строки, воспевающие беспредельную решимость биться за родину, отчизну, землю, семью…

Длинный кухонный обоз, видимо принадлежащий какому-то генералу, важному и родовитому, громыхая, выходил на проселок из кустов. А там, в кустах на полянке, лакеи доедали остатки обеда, хохоча над каким-то дурачком, который плясал перед ними, высоко вскидывая ступни, широкие, растоптанные, с отдельно торчащими пальцами, так что они походили на птичьи лапы. Василий Андреевич видел и пляску, и лакеев, и даже кусок гусиного крыла во рту лакея, — и не видел ничего.

Ему представлялась его семья, мать… дивная, какая-то вся прозрачная, турчанка с длинными заостренными ресницами над древними, медленно разгорающимися глазами. Как она попала сюда — с лучезарного Босфора в прохладно-душистую Тульскую губернию? Ах, не нужно думать! Жизнь — это пропасть слез и страданий. Помещик Бунин прижил с нею ребенка. Много лет спустя этого ребенка и мать взяли в семью помещика, — все же мать должна была стоя выслушивать приказания барыни. И сын этой турчанки, лицо которой всегда казалось иззябшим, стоя выслушивал приказания жизни:

Считаю ль радости минувшего — как мало!
Нет! Счастье к бытию меня не приучало,
Мой юношеский цвет без запаха отцвел…

Вспоминается ему пугливый и тревожный дом Протасовых в Белеве. Поседелые от пыли и равнодушные окна, за которыми даже лазурь неба кажется серой; и мечтательная Маша Протасова с росистыми мерцающими глазами. Он преподает ей русский язык — такой лунно-нежный и ласковый. В 1812 он у Е. А. Протасовой — крутой и незыблемой женщины с мрачными буклями над кремнистым и презрительным лбом — просит руки старшей дочери Маши. Гордо сжав губы, ему отказывают. Он уезжает в Москву. Ополчение, «Певец во стане…» и жаркий тиф, от которого остались в памяти трепещущие коралловые пятна далеких островов в неизвестном море… Еще раз он просит руки Маши. Еще раз ему отказывают… Маша выходит за профессора Мейера, а любовь попрежнему наполняет его, так что никакие тряски дорог, никакие придворные ступени — а он поднимался во все дворцы России и Европы — не вытеснили его любви.

… Он услышал тягучий голос кучера:

— Василий Андреич, прикажешь у кустов ждать али на дорогу выехать да стегануть, покамест войско-то не догнало? Вон

их сколько? Ведь их пропускать — к утру в Можайске не будешь!

На западе, в сизоватых тенях вечера, колебалось теплое и пурпурное облако пыли. Слышался мерный шаг пехоты. Трепетно скользил беглый блеск штыков. Обрывисто замирала песня, будто и в этом поле тесно ей, беспредельной, самозабвенной, русской… Василию Андреевичу приятно было ощущать рукой узорчатую ветвь кустарника, смотреть на стадо, в зыбкой голубовато-зеленоватой дымке поднимающееся по косогору, приятно было чувствовать себя сумрачным, седым и таинственно-тоскующим. Он хотел сказать: «Постоим, пропустим войско», да не успел. Он вздрогнул от раздавшегося возле самого плеча женского голоса:

— Барин, батюшка! А то не тучковский полк идет?

— Какой — тучковский? Нет в армии такого!

В мохнатом малиновом луче заходящего солнца он разглядел в кустах старуху, одетую в длинный крестьянский зипун с широкого, должно быть чужого плеча, сильно потрепанный по краям. Старуха, стоя спиной к солнцу, торопливо запахивала рваные полы, за спиной ее колыхалась котомка. Голос у нее был испуганный, молящий, а лицо с крылатыми седыми бровями являло следы былой красоты. Надо полагать, то была богомолка, которой до гробовой доски ходить по монастырям да купеческим прихожим… Не нравились эти серые лица Василию Андреевичу.

— Иди, иди, старуха, — сказал безжизненным голосом кучер. — Иди, вот тебе кусок… Иди. Говорят тебе — нет такого полка. Чего тебе лезть?

— Иду, иду, батюшка, — торопливо отозвалась старуха, — и не надобно мне твоего куска, иду. А только сделай божеску милость… уныло у меня на душе… Земля вон, и та сотряслась да и замерла, отдыхает, а я не могу. Ты мне скажи: не тучковские ли солдаты идут? Тьмотьмущее войско идет, где мне разобрать, старой да грешной, где разобрать, и так быдто под колоколом, такой шум… весь день тучковский полк ищу…

«Какой тучковский? — подумал Василий Андреевич, глядя на мутномраморное лицо старухи. — Ах, да! Не тех ли двух братьев Тучковых, что пали при Бородине? Сегодня, кстати, при открытии обелиска показывали инокиню Марию — вдову Тучкова, что постриглась после смерти мужа… Как она постарела, однако! Да разве имение Тучковых здесь?.. И полк Тучкова — какой же! Путает что-то старуха».

Он опять обратил глаза к стаду. Было в стаде что-то стерновски-трогательное. А его коляска — разве не коляска в Кале, и он сам не Йорк, и эта старуха не напоминает отца Лоренцо? Ему захотелось поговорить со старухой. Указывая на стадо, он сказал:

— Хороший скот, матушка. Тучковых?

— Не-не, батюшка, — торопливо заговорила старуха. — Зворыкиных будет скот, Зворыкиных. Тучковых здесь нетути. Тучково войско идет, мне бы на его посмотреть, батюшка… да вот хожу весь день, и все народ попадается жоской, будто кора на нем медная, прости господи… А стадо, батюшка, зворыкинское, они крупный скот держат, у них, сказывают, бык пятьдесят пудов весу…

— Эка, бабка, хватила! — сказал кучер, покачивая плечом отлично пахнущую свежей кожей, розовато-сизую от вечернего солнца коляску. — В пятьдесят пудов каркадил бывает, а ты — бык. Быку настоящий вес — от силы двадцать пуд, а ты — полсотни. Откормила, ха!

Старуха Агриппина Карьина встала сегодня раным-рано, когда пухлая синева лежала еще по всей земле. Бесшумно ступая, вышла она на крыльцо избы и посмотрела на небо — каков-то нонче день? Вчера Илья, второй ее сын — старший жил в Москве, — отпустил ее с трудом. Да и как отпустишь? Хлеба, несмотря на долговременную засуху, колосовиты, большеколосны; сжать их сжали, надо молотить поскорее, пока не ударили дожди, а они, судя по всем приметам, близко. Илья, жадный и спорый на работу, молотит с утра до ночи, цеп его стучит, высоким и крылатым говором выговаривая: «урожай, урожай», и непонятно ему, зачем стремится мать к Бородинскому полю. Верно, был случай: полегли на том Бородинском отец его Марк Иваныч и брат Степан, но ведь было это двадцать семь лет тому назад! «Панакидку» отслужить? Почему же не отслужить? Зачем только сейчас, когда такое горячее время, когда весь ты в липком поту от работы, как в меду? Вот отвезем тяжелые возы с зерном, засыплем его… привезем домой белесоватые мешки муки, испечем пироги, — вот тогда можно и «панакидку»! Непонятно было Илье желание матери, и долго он ворчал, прежде чем отпустил ее. Старуха пустилась на все хитрости — и недужится-то ей, и помолиться-то ей надо в Спасском монастыре, и свечечку-то о здравии внучка, что кашляет, надо поставить…

И вот перед нею тонкое и сырое жнивье. Восток уже рыхл и разноцветен. Подвязав полы зипуна, опустив пониже котомку, где плещется в крынке с узким горлышком молоко, перекатываются четыре яйца, краюха хлеба, заветные два рубля — «на полную панакидку», старуха торопливо идет проселком. Путь дальний. От ее деревни лишь до Спасского шесть верст, а от монастыря до Бородина еще считают чуть ли не десять.

На сердце у старухи и легко и тоскливо. Впрочем, тоска какая-то бессильная, и старуха думает, что вот отслужит

«панакидку», даст попу и дьякону установленное, услышит благодарность, и ей сразу легче станет. Поп и дьякон, разумеется, за такие большие деньги, какие она предложит им, выслушают всю ее повесть. А как хочется рассказать эту повесть! Деревня знает страдания старухи давно — из слова в слово — о том, как служил много лет в «Ревельском» Марк Иваныч, и как пошел француз, и как приказали собирать тех, кто понеугомонней, чтобы направить их в тот же «Ревельский», против французов. А кто будет безугомонней Степана Карьина? Хвощевы? Лобовы? Жилины? Мискалевы? Нет такого парня, как Степан Карьин! Он сам сказал: «Лоб! Иду, матушка, прости». И день был, как сейчас она помнит, солнечный, разве-разве набежит влажное облачко, и не из облачка упала голубая слеза, а из ее глаз. Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце — мать! И пошла она провожать его, как вечно водится, за околицу, как провожали на татарина, на печенега, на половца. Тусклым взором смотрела она ему вслед; прогрета солнцем земля под ее ногами, а кажется ледяной. Рухнула она безгласно на землю, только лишь скрылся за пригорочком Степан, что шел к своему отцу на подмогу… Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце. Понимаю — земля зовет, знаю — надо, а на душе холодно и немо… Выслушают ее поп и голосистый дьякон, вытрут бороды, закапанные воском свечей, и скажут: «Многие грехи тебе простятся, мать, многие, понеже муж и сын твой пали на поле бранном». И тогда скажет она: «Ох, батюшка, грехи мои тяжки!» И станет ее поп выспрашивать о грехах, и вспомнит она, как молодой любила плясать, как ела на Петровках мясное, как однажды обсчитала дьячка на три копейки и недодала творогу в «пасхальное»… И скажет поп: «Прощаются, мать, тебе грехи твои!» — и станет у ней на душе легко-легко…

Солнце поднялось, когда она подошла к Спасскому. Привратница, с неподвижно-мягким лицом и искристыми глазами, сказала ей, что весь причт и все монахини уже ушли на Бородинское, а вот ей горе — сиди у пустой обители да считай галок, которые от орудийных залпов понесутся. Старуха горестно всплеснула руками. Как же так? Ведь ей обязательно надо уговориться с отцом Николаем насчет «панакидки», на том самом, на Бородинском, по убиенным воинам: Марку и сыну ее Степану! Два рубля припасено. Она достала эти две засаленные, шелковисто-холодные бумажки и показала привратнице. Привратница соболезнующе покачала неподвижным лицом и пояснила, где старуха может найти отца Николая, — не очень, впрочем, убежденная, что его найдешь.

Старуха потопталась, и так как разговаривать ей с

привратницей было некогда, то, положив на скамью четыре яйца рядом с привратницей, от которой шел тонкий запах серы и ладана, спросила: «А где же инокиня Мария?» Инокиня Мария, бывшая прежде женой генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова-четвертого, погибшего вместе с мужем и сыном старухи, тоже, оказывается, раным-рано, сильно волнуясь, уехала на Бородинское. Еще бы не волноваться?! Сказывают, государь пожелал ее видеть, приказав ей встать чуть ли не у самого изголовья гроба с прахом Багратиона, который будет выставлен у подножья обелиска.

Услышав эту весть, старуха безропотно перекрестилась и пошла к Бородинскому.

Тупая, тяжкая, огненно-неодолимая жара стлалась над нею. Серая пыль лежала на дороге, люто загораживая от нее людей. Старуха в мертвящей тоске-кручине не замечала ни жары, ни пыли, ни шумной толпы, переполняющей дороги. Она шла и шла. Полы зипуна бились по ее тощим ногам. Ласковая напряженность светилась на ее лице. Она подходила к тарантасам, каретам, бричкам, дрожкам, а то и к отдельным прохожим, спрашивая, где тут найти отца Николая, чтобы заказать «панакидку». Холодно-равнодушные смотрели на нее люди, отвечая либо кичливым пожатием плеч, либо глумливым хохотом.

А солнце поднималось все выше и выше. Томителен и зловещ был для старухи всюду проникающий блеск его. Она со страхом поглядывала вверх.

Наконец, она увидала Бородино. Испугала ее строгая линия солдат в томительно-торжественном блеске штыков. Все же, переборов свою робость, подошла она к усатому, расшитому серебром солдату и спросила опять-таки об отце Николае. Солдат сказал ей, что того отца Николая теперь шесть лет искать — не найдешь, так как попы сюда съехались со всей земли, и даже есть афонские! Он зевнул и предложил ей отойти в сторону.

Она и пошла в сторону, прямо по жнивью, к тому месту, где среди поля виднелся колючий купол обелиска.

Не попала она к обелиску.

Зажатая телегами, на которых лежало угощение для «отставных», некогда участвовавших в битве, собравшихся из разных мест на праздник, она видела расписанный ржаво-красными кругами задок телеги, неистово толстый круп лошади и лютые от жары морды лошадей вокруг. Оглушенная залпами орудий, криками «ура», топотом конских копыт, от которых дымилась земля, старуха, схватившись черными руками за телегу, замерла неподвижно.

В телеге спал какой-то парень с глупым лицом, похожий на

тетерева и такой же краснобровый. Старуха не видела его. Гремучий и звонкий праздник несся возле нее — она не слышала его, не видела.

Не видела она памятник бородинский, у подножья которого стоял гроб Багратиона, покрытый пышным парчовым покровом. Не видела императора в яркой одежде; не видела ни разноцветных посланников, ни высоких хоругвей, зыбко блещущих золотом, ни крестов, вздрагивающих в руках священников и епископов, необыкновенно обрадованных тем, что они поют перед царем и полуторастатысячным войском. Не видела она прекрасных грузинских княгинь, что стояли возле своих мужей, сияющих белоснежной одеждой и звучным оружием. Не слышала размеренно-радостного пения клира, ни того, как митрополит, пухлый и высокий старик, приблизился к алтарю. Не видела густых колонн войск, амфитеатром поднимающихся одна над другой. Не видела инвалидов бородинских, и не видела она инокини Марии, которая действительно стояла неподалеку от гроба, скромно опустив некогда великолепные очи, ныне окруженные зловещими темными пятнами приближающейся смерти. Не видела и отца Николая, — да и где увидеть его среди тысячи монахов и священников!

— Великой державе российской… — провозглашает первосвятитель.

— Ура-а!.. — отвечает полуторастатысячное войско.

И за всем этим грохотом, пением, сверканием штыков, хоругвей, знамен — одинокая старуха, ухватившись за грядку телеги, смотрела в небо, видела там поднимающиеся после залпов тучи неистового дыма, видела, тряслась от испуга и все же мало-помалу стала чему-то радоваться. Вот бы только найти попа, отслужить «панакидку» да рассказать ему об убиенном Марке и сыне его Степане…

Но попа не нашлось. Весь день ходила старуха по полю. Только освободится поп, только он снимет епитрахиль, только устремится к нему старуха, ан уже подскочил какой-нибудь купец или чиновник и заказывает сразу несколько панихид, что служить попу до самого завтрашнего утра! Бежит старуха к другому, а подле того стоит важный степной барин и утробистым голосом перечисляет всех героев, которым он желает заказать «вечную память». Нет старухе попа. От беготни и суеты скисло молоко в узкошеей крынке, вылила его старуха, пробралась к ключу-родничку, но еле успела наполнить крынку, как подъехали молодые чиновники и отогнали старуху. Шум, грохот, крики… нет места старухе, некому рассказать о своем горе!..

И вот, к вечеру уже, вышла она к старой Смоленской дороге,

где неподалеку, говорят, пал генерал Тучков-четвертый и с ним воины русские, а среди тех воинов пали ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный, с нежным лицом, — Степушка. Стоит старуха в кустах. Ноги усталые дрожат, хочется пить. Достала она крынку с водой, заткнутую мокрой тряпкой, отдающей молоком, взяла краюху, подумала, что целый день не ела, и видит — качается громоздкая коляска, бархатное сиденье кучера, кучер седой, почтенный, и на скользкой, в клеточку, бледнозеленой коже сидит господин с широкими и ласковыми глазами и смотрит на дорогу. Попало в голову старухе: не сын ли погиб у него в тучковском полку? Не тучковских ли солдат ждет он? И не остановятся ли возвращающиеся с праздника солдаты? И она расскажет, как умерли и как жили ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный Степушка. Да разве для нее, для старухи, остановятся солдаты. А он небось сильный барин…

Вот и спросила у барина старуха о том тучковском полку. Но барин, надо полагать, был из дальних — скотовод, что ли? Смотрел он на стадо и спросил: не тучковское ли? И подумалось тогда старухе: «Поговорю с ним о коровках, а там, слово за слово, с коровок перебросимся на Бородино, человек он, видно, степенный, не торопится уезжать… все ему расскажу, все…» Сказала старуха, обращаясь к кучеру, который бранил ее за пятидесятипудового быка, что есть у Зворыкиных:

— И, батюшка, ведь барский скот особый. Вот возьми нас, мужиков. Куда бы, глядишь, иметь нам скотину? А есть! Есть, батюшка. Перед самым Бородинским сражением пала у нас корова. Бурешкой эвали. И давала та корова, не поверишь, в один удой ведро с четвертью молока.

— Такие коровы бывают, — сказал кучер. — А про быка…

— Подожди ты насчет быка, — быстро заговорила старуха. — Ты слушай, батюшка, насчет коровенки. Муж-то мой, Марк Иваныч, стоял на самом Бородинском, в полку Тучковой… и сын, Степушка, направился к нему. А перед самым тем уходом Бурешка-то и пади. Ох, и парень был Степушка, десятерых один кормил бы! Ух, хозяйственный парень! Ему завтра в тот бородинский поход, а тут Бурешка и пади… Господи, горя-то было!..

Василий Андреевич перевел свой взор с мягко уходящего во мглу силуэта старухи на запад, где громоздились облака, кудреватостью своих украшений напоминая капители коринфского ордена. Он уже забыл о стаде, которое скрылось за косогором, и разговор старухи казался ему переполненным околичностями. Он думал: «Ее муж и ее сын стояли на Бородинском поле, может быть их даже ранило, а она — из всего

Бородина помнит только, что незадолго перед боем у них пала корова. Знает ли она что-нибудь о могуществе России, добытом ее близкими здесь, на Бородинском поле? Понятен ли ей смысл сегодняшнего торжества? Обелиск? Величие инокини Марии? Гроб Багратиона?.. Но что-то ей понятно, — продолжал думать Василий Андреевич, чувствовавший, что духота уменьшилась и ему легче, — иначе разве бы стала она искать этот тучковский полк, которого на самом деле не существует? Но как уловить ее мысли, как понять ее?»

Однако он попробовал. Он стал расспрашивать ее о корове, для того чтобы старуха рассказала ему другое — как и что чувствовали на Бородинском поле ее муж и сын. Старуха, найдя в его вопросе подтверждение своим предположениям, еще старательнее стала вспоминать уже совсем скучные подробности о Бурешке, подробности, которых она не вспоминала лет двадцать пять. Говорила к тому же она торопясь и оттого повторялась.

Василий Андреевич стоял перед ней растерянно. Что делать? Как ей помочь? Как разуверить ее, что нет тучковского полка в армии, да и надо ли ее разуверять? Может быть, дать денег? Василий Андреевич достал было кошелек, да спросил:

— Что с твоими-то сталось при Бородинском, бабушка?

— При Бородинском-то? — спросила старуха, звучно разъединяя губы. — С моими-то, батюшка, о-о-ох! — Она всхлипнула, сначала тихо, затем громче и, наконец, опустилась на землю, необузданно и с каким-то скрипом рыдая. — О-о-о-и-и! — рыдала она, желая сказать, что вот ничего-то ей не вымолвить, потому что грешна она, ох, как грешна.

И, понимая, что молчаливое расставание будет самым лучшим, Василий Андреевич тихо влез в экипаж и шепотом приказал ехать. Кони, словно понимая его шепот, как бы на цыпочках спустили экипаж к Старой Смолянке. Экипаж неслышно скрылся в пухлой и нежной мгле вечера.

Старуха продолжала рыдать. Правда, рыдания ее стали мягче, хотя попрежнему шли от всей глубины сердца.

От дороги послышались шаги. Старуха разглядела фигуру солдата, видимо отставшего от части. Через плечо его болтались сапоги с короткими голенищами.

— Ну и жарища! — сказал он хрипло. — Да и ноги стер к тому же. Вот и отстал. Где тут речка? У тебя попить нету, бабка?

Старуха сказала, что речка далеко, и хотя ей самой очень хотелось пить, она тем не менее предложила солдату свою крынку с узким горлышком. Солдат жадно схватил горшок и припал к нему. Старуха смотрела на крынку, глотая сухую слюну, и чем выше поднималась крынка в руках солдата, тем сильнее ей

хотелось пить. И все? Да. Говорить с солдатом не хотелось, а тем более выспрашивать про тучковский полк. Зачем? Она только что высказалась, выплакалась до дна… И она внимательно разглядывала свою крынку, которая, словно подсмеиваясь, вздрагивала в руках солдата.

Солдат выпил воду, вытряхнул капли на траву, теплую и так жаждущую дождя, поправил сапоги и оказал:

— Вот и спасибо, бабка. Коров, что ли, пасешь? Паси, паси!..

Она ответила:

— Да за что спасибо, родной? Тебе спасибо, что не побрезговал.

И они разошлись. Солдат пустился догонять свой полк, а старуха вышла на старую Смоленскую дорогу и пошла по ней. Дорога слабо, голубовато отсвечивала. Росы не было, — а то хоть собирай по капле, так хочется пить! А до воды, до ржавого болотца на взлете, до мочажины верст, пожалуй, пять, да и то небось пересохло. Устало, вязко ступая по дорожной пыли, старуха шла домой.

1943

Сокол

Возле кички, ближе к носу ладьи, обдуваемые теплым низовым ветром, сидели на жердях государевы сокола. Воевода Одудовский, плывущий в Астрахань, должен был отправить их далее, в дар персидскому шаху. Подле птиц постоянно дежурили ловчие, а поодаль, у борта, красовался стрелец в яркозеленом кафтане. Изредка стрелец выходил на кичку — настил из досок за бортом, откуда судовая команда отпускает и поднимает якорь, — и тогда стрелец видел в блеклых волнах оранжевую русалку с загнутым хвостом, нарисованную на «скулах» судна, белую резьбу по борту, квадратный и низкий парус, флюгер на мачте, длинную алую ленту под ним и вверху вырезанного из листовой меди архангела Михаила, трубящего в трубу благополучие и счастье путникам.

Трюм государевой ладьи был туго набит кипами мехов, кои надлежало обменять у персидских купцов на крупный, рассыпчатый рис, на сладкие да пахучие сушеные фрукты, на тонкие разноцветные шелка и на редких, прирученных зверей, которых так любил царь Алексей Михайлович. Кроме тех мехов, в трюме лежали ядра и порох для астраханского войска. Лежала и обильная снедь воеводская, так как воевода плыл не один, а с женой да двумя дочерьми, которых показывал Москве в чаянии

женихов. Женихов не нашлось, боярыня сердилась, боярышни веньгали, как малые детки, а веселому умному воеводе все было нипочем. Дородный, смеющийся, румяный, в белой длинной рубахе из индийского шелка и в лазорево-синих атласных штанах, ходил он по судну и веселил всех.

Старался воевода развеселить и тех иноземцев, которых государь повелел доставить в Персию, ибо оттуда собираются они пробраться к себе в затейливую и ученую Флоренцию. Иноземцам — страшновато. Путь домой через Волгу, Персию или Турцию — далекий и неверный, а что поделаешь?.. Другие пути, в тот 1664 год, еще более неверны. Через Польшу? Дороги туда забиты русским войском, сама Польша горит внутренними беспорядками, русские осаждают Глухов, шутит в степях гетман Тетеря, и непонятно, к кому он хочет: то ли к московскому царю, то ли к польской республике. Через север? Куда там. В Швеции — смута.

Иноземцев плыло на судне шестеро. Старшего из них звали мессер Филипп Андзолетто, его правую руку — Мальпроста, остальные были помощники в работе да слуги. Работали иноземцы в Москве золотую кожу да мебель и, наработав достаточно мехов и монеты, затосковали по дому. Особенно тосковал мессер Андзолетто.

Мессер Филипп — согбен, с красными, воспаленными глазами, и оттого кажется он чересчур старым и жадным. Мальпроста — высок и строен, потертый шарлахово-алый кафтан лежит на нем ловко, мягкие кисти его рук белы, и он ими гордится, стараясь прикоснуться до всего, что попадается на глаза. Он — удал, ловок на разговор, на охоту, на обольщение, — и женщины любят обольщаться им. Оттого мессер Филипп считает его хитрым и двоедушным, а держит при себе лишь потому, что — золотые руки. Филипп Андзолетто сгорбился на непрестанной, бессонной работе и на ней же испортил глаза; ему бы, казалось, не ценить того, кто так несравненно умеет делать золотую кожу и драгоценнейшую резную мебель. А как ценить, если у тебя молодая жена и сердце твое молодо?

Август выдался строгий, сухой. Словно что-то требуя, резко и неуклонно дул с низовья встречный ветер-лобач. Судно двигалось мешкотно, навстречу грузной, пепельно-серой волне. Река омелководила, было много перекатов. Мужичья лямка не помогала, и в бечеву впрягали лошадей. Лошади тянули до тех пор, пока перед носом судна не образовывались груды песка, которые мужики и разгребали лопатами. Иноземцы шли тогда к носу судна, ждать, когда тронется судно.

Они с грустью глядели на пепельно-серые копны мокрого

песка, медленно тающего в воде. Путь домой казался теперь особенно долгим. И, понимая их тоску, подходил к ним воевода Одудовский.

— Поесть-попить, люди добрые, не желаете ли? — спрашивал он радушно. — Брага есть, мед? Да и я с вами выпью!

Мессер Филипп сказывался недомогающим, а Мальпроста всегда соглашался. Накрывали стол. Слуга лил брагу в кубки. Воевода поднимал кубок за здравие гостей и, указывая на государевых соколов, говорил:

— Хороша охота? Приедете в Персию, шах покажет вам этих птиц в деле. Я бы тоже показал, но приказано держать их на жерди, смирно.

— Персы — грабители и обманщики, — возражал Андзолетто. — Они нас обдерут и убьют, где там, сеньор воевода, видеть нам соколиные охоты.

— А, по-моему, милый учитель, — говорил Мальпроста, — сеньор воевода прав. Персы чтут искусство, а равно и людей искусства. Мы сделаем красивое, обитое золоченой кожей седло для шаха, и он покажет нам свою соколиную охоту. И повелит проводить нас тихими дорогами вплоть до нашего родного моря!

На лице у мессера Филиппа появлялась такая скука, что воеводе Одудовскому делалось не по себе, и он, взяв кубок, отходил к соколам. Он слегка поднимал кубок, как бы за здравие этих прекрасных государевых птиц, и обращался оттуда к иноземцам:

— Жаль, мессер Филипп, что ты презираешь охоту. Ты бы порадовался и возликовал душою, глядя на этих кречетов. Смотри, как они атласнобелы! Они будто сами собой, во славу бога и спасителя нашего Иисуса Христа, испускают из себя свет. Эти кречеты, мессер Филипп, родятся у нас на севере и нигде больше! Посмотри на этого, третьего с краю, в синем колпачке. Он весь цвета белого рога, и даже у нас, на Руси, он считается за редкость.

— Слава, слава государю, вырастившему такого сокола! — воскликнул Мальпроста. — Ах, имей я эту птицу, я бы гордился ею, словно архангелом!

— Тьфу! Тьфу! Надо, Мальпроста, гордиться добродетелями, а не птицей, — говорил мессер Филипп, сверкая красным своим глазом. — Чти ранг человека, а не ранг птицы.

— Выше всего я чту ранг красавицы, дарящей меня любовью, затем — ранг короля, которому я делаю мебель и который мне платит исправно, а затем — ранг птицы, подобной этому кречету! — восклицал Мальпроста.

А мессер Филипп шептал молитвы. Он не желал слушать

нечестивые речи, затрагивающие его и без того затронутую тайными помыслами душу. Ибо, глядя на волны, он смущенно переводил свой красный, воспаленный взор на прибрежные пески. Но и пески — да простит господь бог грехи наши! — но и пески лежали волнами, напоминали ему о прелестях его молодой жены. «Вси бо предстанем судилищу…» — бормотал он и не находил сил окончить молитву. Его тянуло — стыдно сказать! — к Мальпроста. Хотелось узнать мысли помощника, а главным образом те, которые относились к молодой жене, к волнующим ее прелестям… «Вси бо предстанем судилищу…»

Судно, содрогаясь, заскрежетало по песку. Внизу, в трюме, что-то упало. Сокола на жерди затрепетали крыльями. Выплеснулась брага из кубка воеводы… Значит, опять вышли на прямую, глубокую воду, на плес.

— Обрыв видите? — спросил воевода.

— Видим, видим, — отозвался Мальпроста.

Обрыв кончится, начнется село князя Подзольева. Богат князь! Много медов, да и романея водится. Хлебосольный, хоть и с придурью. Да вам небось с тоски да устатку на любую придурь весело посмотреть?

Стол убрали. Судно готовилось к причалу. Воевода пошел переодеться. Иноземцы остались одни.

Шли вдоль высокого светлооранжевого обрыва. Обрыв весь в точках, норках. На обрыве — погост с тускло-сумрачными крестами и церковь грубой работы. Значит, верно, скоро село. Сел попадалось много, и мессер Филипп привык к ним. Не удивляло его и богатство, не удивляла и боярская придурь; видывал он и расписные хоромы князей, подражавших Коломенскому дворцу, видывал он и бедные хижины крестьян. Что ему княжья придурь? Он хочет домой, во Флоренцию.

Разве он не заработал ту пору, когда можно жить и не покидая прекрасных берегов Арно? Во Флоренции, неподалеку от главного моста, некий Каппиччо продает гостиницу. Дом этот хорошо посещается, так как стоит в центре города. Хватит ему золотить кожи, он хочет позолотить свое сердце! Он передаст Мальпроста мастерскую кож и мебели и, таким образом, избавится от его лисьего взгляда, который делается совсем душным, когда тот глядит на молодую жену хозяина. Мессер Филипп не допускал мысли об измене жены, но он знал, что такое годы. В его годы жениться это все равно, что призывать дьявола в полночь. Тьфу, тьфу!.. Мессер Филипп незаметно перекрестился и пообещал к тем мехам, что он вез для вклада в монастырь, прибавить еще бобровый мех для приора…

— Дорогой учитель, знаете ли вы, на какую придурь князя

Подзольева намекал воевода?

— Нам уже не любопытна московская придурь, — сказал строго мессер Филипп. — Пожалуй, нам пора подумать о персидской.

— О, напрасно, мессер Филипп! Только жирный, самонадеянный воевода способен назвать любовь придурью. Любовь — жизнь! Жизнь — любовь. Так думает весь мир и русские в том числе.

Прохаживаясь по палубе, они остановились возле жердей, где сидели сокола с «опутенками» на лапах и с клобучками из мягкой кожи, закрывающими глаза, чтобы до самого «пуска» не видали они птицы. Мальпроста, любуясь на кожу клобучка, что поднималась и падала возле отверстия, прорезанного для дыхания, сказал:

— Читали вы, сеньор учитель, книгу «Декамерон» некоего флорентинца Боккаччо?

Мессер Филипп сухо ответил:

— Вздорная и пустая книга. Мессер Боккаччо написал ее вскоре после чумы — да избавит нас господь от нее впредь! — после чумы, свирепствовавшей в нашем великом городе. Ему б следовало написать книгу, смиренную и богоугодную, а он поступил постыдно. Весь его «Декамерон» повествует о том, как жены наутек, подобно зайцу от собак, убегают от своих обязанностей, а монахи… тьфу, тьфу!.. Однако, Мальпроста, я, как справедливый человек, отдаю ему должное. Боккаччо раскаялся и написал позже «Корбаччо», книгу, наполненную почти аскетической ненавистью к женщине. Да будут прощены грехи его и да будет принята мирно душа его на небеса!

— Сеньор учитель! Аскетические добродетели невыполнимы. Человек имеет право на любовь…

Мессер Филипп рассвирепел:

— Кто тебе сказал эту глупость?

— Глупость? Это — правда, сеньор учитель! Она повсюду в воздухе. И даже здесь, в этих диких лесах, рождающих кречетов, в этой жадной до денег и почестей Московии. И в доказательство я расскажу вам о князе Подзольеве, историю любви которого узнал случайно. Но прежде всего прошу вас, учитель, вернуться к книге достопочтенного поэта Боккаччо, к «Декамерону». Помните ли вы, мессер Филипп, новеллу о соколе?

Мессер Филипп сказал, что, чем он будет запоминать гадости, лучше пусть ему отрежут руку. Мальпроста воскликнул:

— Новелла совсем не гадка, мессер! Это возвышенный пример любви, рассказанный с таким же мастерством, с каким мы делаем наши милые кресла и золотим наши дорогие кожи.

Сеньор Боккаччо рассказывает о некоем кавалере, долго и бесплодно ухаживавшем за одной прекрасной дамой. В любви к последней он прожил все свое имение и стал беден. Но он продолжал вздыхать по ней и плакать. И от всего его имущества, некогда принадлежавшего ему, у него остался лишь сокол, при посредстве которого, думаю, кавалер и добывал себе пищу. Он любил этого сокола безмерно. Так безмерно, что дама, насколько я понимаю душу дам, дама позавидовала этой любви. Однажды кавалер посетил даму. Как всегда, он стал говорить ей о любви. Она, смеясь, сказала: «Кавалер! Если вы желаете доказать мне свою любовь, заколите вашего сокола и — съешьте его!» И, что вы думаете, сеньор учитель? Кавалер зарезал свою любимую птицу. Зажарил! И он съел своего сокола, о великий боже!.. Но, что более удивительно, дама, дотоле непреклонная, полюбила кавалера.

Мессер Филипп Андзолетто оказал, что по-разному можно относиться к поступку кавалера, но нельзя отказать ему в том, что он последователен. Книга же Боккаччо безнравственна. И, поджав губы и с усилием подняв голову, мессер Филипп посмотрел на берег реки осуждающим взглядом.

Ладья пристала к берегу. Упал с шумом парус и «гай», стая грачей поднялась с соседнего гумна. Судовая прислуга выбросила жалобно поскрипывающий трап. Вошел посланец князя, поклонился воеводе и сказал, что, прослушав обедню, князь Подзольев прибудет на судно, чтобы пригласить воеводу и гостей откушать хлеба-соли.

А на берегу, в рваных портках из дерюги, вывернув ладони и широко расставив босые, с большими пальцами ноги, стоял огромный седой мужик, один из крепостных князя. Насупив брови, напряженно глядел он на судно, на иноземцев, на соколов государевых, на государева стрельца в зеленом кафтане. По-детски неразумно и опасливо посматривал он: как бы не сглазили эти тонконогие иноземные черти, как бы не нанесли порчи? Уйти б, а уйти не хотелось. Мужик был говорлив, и казалось ему, что без его рассказов осиротеет свет…

Мессер Филипп глядел на берег, на седого великана-мужика, и грезилась ему Флоренция, мост через Арно, гостиница некоего Каппиччо. С узкого балкона ее слышны и крики ослов на мосту, видны и лица погонщиков, их хворостины, а того ясней видно сейчас плотное тело его молодой жены, видно, как она юлит юбкой туда-сюда… Ах, какая ребяческая, какая горькая тоска на сердце и как далек еще путь до Флоренции!

— Вы хотите слышать продолжение истории о соколе, мессер Филипп?

«Ах, этот Мальпроста! Ему б только любоваться на женщин и

болтать о соколах. На московском сильном хлебе и дешевом мясе он располнел, стал розов и румян, окаянный Мальпроста!..» — подумал мессер Филипп.

— Какую еще историю?

— Историю удивительную, сеньор учитель. — И Мальпроста продолжал: — Продолжение ее произошло триста лет спустя после того, как появилась книга «Декамерон» прославленного сеньора Боккаччо. Из этого я вывожу то положение, что искусство более бессмертно, чем какой-либо дворянский род.

— Когда ты станешь дворянином, Мальпроста, — да поможет тебе в том бог! — ты будешь думать по-другому.

— Кто знает… но вернемся к князю Подзольеву, учитель. Вон его хоромы. Они велики и обширны. Велико и обширно все имение князя. Он горд под старость, а еще более горд, говорят, был в молодости. Он гордился своим умом, своей охотой и с большой торопливостью высказывал свою гордость. К тому ж отец его сильно увеличил богатство, а сестер и братьев у него не было, и, когда старый князь умер, сеньор Юрий Подзольев остался единственным наследником. Он не знал, что делать со своими бесчисленными имениями и громадными капиталами. Представьте, сеньор учитель, крышу, у которой нет стропил, нет тех самых бревен, которые всегда и везде служат основанием крыши.

— Бог — основание крыши нашей жизни, равно как и основание всего дома, — сказал, крестясь, мессер Филипп Андзолетто, одновременно стараясь отогнать воспоминание о крестном знамении, которое так плавно и красиво творит его молодая жена.

— Но ведь вы сами, сеньор учитель, говорите, что схизматики отвернулись от истинного бога? Следовательно, князь Подзольев вдвойне не имел стропил. Но князь был удал, он настойчиво искал, — и вот он встретил вдову боярина Мышарикова, очень богатую и очень степенную женщину, посвятившую себя после смерти мужа делам благотворительности и религии, тем более что детей у нее не было. Ей он бросит свои деньги! К ногам ее!.. Жениться на вдове, как вам известно, мессер Филипп, считается зазорным у русских. Но страсть настолько поглотила князя Подзольева, что он желал только этого зазорного поступка. Вдова плохо верила в его любовь. Прошлое растрясло ее словно дурная дорога. Редко удавалось князю поговорить с нею. Подарков она не принимала. Князь Подзольев худел от любви, заперся в своих хоромах… И великие деньги оказались ненужными.

— У варваров, — сказал мессер Филипп, — любовь принимает грубые формы.

— О сеньор учитель! — воскликнул Мальпроста. — Я рассказываю вам пример, доказывающий, что любовь одинакова и в теплом и в жарком климате, и на берегу Арно и здесь, на берегу Оки. Князь Подзольев умирал от любви. Царь московский Алексей Михайлович, вы знаете об этом, мессер Филипп, очень любопытен к жизни своих подданных, и он не замедлил узнать о затворничестве князя Подзольева, хотя и не знал причины этого затворничества. Царь уверен, что все болезни можно излечить охотой, и особенно охотой соколиной. Кроме того, царь уважал заслуги покойного старика Подзольева. И царь прислал в дар молодому князю любимого своего кречета. Редчайшего белого кречета, сеньор учитель! Молодой князь, получив подарок, подумал, что надо показать его прекрасной и недоступной вдове, тем более что тогда вдова должна будет принять молодого князя. Кто откажется увидеть дар царя? Вдова действительно приняла молодого князя. Она посмотрела на кречета, перевела взор на молодого охотника и внезапно сказала: «Зарежь, изжарь и съешь этого кречета. Тогда я выйду за тебя».

Мессер Филипп Андзолетто сказал:

— Дьявол пришел к ним сбоку, Мальпроста, а они не заметили его. Помолимся за их грешные души.

На это Мальпроста ответил:

— Я хотел бы иметь жизнь этого дьявола, сеньор учитель! Князь Юрий Подзольев, да будет благословенно его имя, съел кречета. И она вышла за него замуж. И они стали счастливы настолько, что царь, узнав о поступке князя, лишь рассмеялся. И прошло пятнадцать радостных лет, и оба они живы и наслаждаются доселе, сеньор учитель! А вы говорите, дьявол!..

Мессер Филипп не стал спорить, да и к тому ж над селом, хоромами и рекой понесся такой горячий, рьяный колокольный звон, что на душе мастера золотых кож полегчало. Показалась толпа. Впереди ее шел высокий сутулый князь Юрий Подзольев. Платье на нем было скромное, но дорогое: однорядка песочного цвета с золотою строкою.

Звонко, по-боевому ступая, он прошел трапом на палубу, степенно отдал поклон воеводе. Воевода был польщен быстрым приходом князя. Накрыли стол. Но перед тем, как приступить к трапезе, князь попросил показать ему царские дары, которые вез боярин Одудовский персидскому шаху.

Благодаря рассказу Мальпроста мессер Филипп особенно внимательно рассматривал князя Юрия Подзольева. Князь был худ и длинен, как лестница. Лицо имел нездоровое, аспидно-серого цвета. Широкие костлявые плечи его указывали, с одной стороны, на былую силу, а с другой — на какой-то застарелый

едкий недуг.

Полуприкрыв тонкими веками пемзовые сухие глаза, князь словно нехотя осматривал царские дары, нехотя принимал пищу, нехотя отвечал воеводе и только изредка остро посматривал на иноземцев, — и странен был этот взгляд. Он и спрашивал, будто сам же отвечал на вопрос…

Иноземцы вкушали за отдельным столом. Мальпроста, отличавшийся вообще ненасытным стремлением к еде, теперь ел мало. Он во все свои выпуклые глаза смотрел на князя, словно ожидая от него чего-то необыкновенного.

Покушав, князь встал и повторил свое приглашение, посланное утром через своего приближенного: отведать и его хлеба-соли, а буде явят милость, то посмотреть его животы-хозяйство. И к иноземцам он подошел. Слегка склонив голову, он спросил их: не пожертвуют ли иноземные гости частью своего времени, чтоб посетить его дом и трапезу? И опять странно вопрошающим показался иноземцам его взгляд. Мальпроста сказал самому себе, ловя этот взгляд: «Спрошу!» А спросить он хотел — правду ли говорят, будто князь Юрий в младости съел ради любви своего лучшего сокола?..

Пока мессер Филипп удивленно шамкал желтым своим ртом, подыскивая слова, Мальпроста, расшаркиваясь, выразил князю живейшее удовольствие и радость. Они так наслышаны о богатстве, а особенно о княжьей соколиной охоте, так жаждут ее увидеть… При этих словах князь, опять пытливо взглянув на иноземцев, отошел.

И село княжеское, и хоромы, и церковь, и службы — все поражало богатством, пышным, широким. Казалось, человек пожертвовал жизнью и честью для того, чтобы изумить других, ошеломить, задохнуться! Смоляно-бурые, вековечные и крепкие стояли могучие избы мужиков. Из закрытых пригонов доносился сытый говор скота. Пахло молоком, хлевом; густой дремо-пунцовый огонь виден был в печах; на крыльцо от печей выбегали бабы с лицами ежевичного цвета. Они низко кланялись проходящим.

Церковь снаружи была расписана цветами, а внутри — излагалась в поучительных и приятных картинах вся библия. Направо, у клироса, было место князя. Здесь на стене худой и высокий старик в оранжево-красной ризе с гордым взглядом спускался в корабль. И было написано: «Иона сниде в испод корабля». Иноземцы не могли прочесть этой надписи — и потому, что их оставили на паперти, и потому, что церковнославянский язык им был непонятен. Впрочем, прочтя, едва ли б поняли смысл ее. Один лишь умный воевода Одудовский правильно разобрался

в этой надписи. Он посмотрел на строгий взор Ионы, а затем сказал князю:

— А кого случится в смирение посадить, тот да сиди смирно. Ибо, если и возопил Иона в испод, в низ корабля, так тот Иона был пророк. Князь Юрий Михайлович, неужто ты этого не знал?.. Сидеть тебе смирно.

Князь, точно не слыша слов воеводы, перекрестился на образ несговорчивого Николы, что находился против его места, и пожелал отслужить молебен о здравии царя.

Мясистогубый поп начал, дьякон со злым сарацинским лицом подхватил песнопение, и в бронзово-серой дымке ладана исчезло надменное лицо Ионы и весь корабль его.

После молебна пошли осматривать хозяйство. Показывал князь конюшни и своего редкого чубарого коня, имеющего по белой шерсти рыжие пятна, а хвост и гриву черные. Конь храпел и бился возле стойла, словно неукротимый водопад. Глядя на коня, спросил воевода Одудовский:

— Неук? Невыезженная ни в упряжь, ни под верх? — и добавил, точно уже знал ответ князя: — Неук бьет, а обойдется, смирней коровы идет. Сиди смирно.

И опять был какой-то особый, скрытый смысл в его словах, но князь не верил этому смыслу и молчал. Он лишь, подойдя к коню, потрепал его по неудержимо длинной гриве.

Глядели игреневых, изжелта-рыжих, с белой гривой и белым хвостом; глядели чало-пегих, а затем перешли в «череду», коровье стадо, а из череды — в пчельник, в погреба, в амбары, на мельницу, шатровую, что поворачивается по ветру не воротом, а самим ветром. Добрых три часа ходили они по хозяйству, устали и проголодались. Князь заметил это и пригласил их к столу.

И хоромы у князя Подзольева были внутри расписные, до пояса в больших махрово-красных цветах, а от пояса в мелких эмалево-зеленых листочках. Мебель под цвет, под размер дома и не громоздка. Кажется — живи да радуйся! И, однако, во всем — и в селе, и в церкви, и в хоромах, и в службах — чувствовалась постоянная, неистребимая холодность; словно ворвалась сюда «фуга» — зимний ветряный холод, что продолжается иногда недели и загоняет отары в балки, ворвалась и поселилась здесь навсегда. От этого стойкого, решительного и непременного холода стынут руки и ноги, а того более стынет сердце.

Как начали, так и докушали молча. Не помогли ни жаренья, ни варенья, ни печенья, ни пироги, ни рыбы, ни птицы. Пасмурно сидел князь, пасмурно кушал и пил воевода. Хмуро сидели за отдельным столом иноземцы. И напрасно неугомонно суетились вокруг столов курчавые слуги.

Гости встали. Пора и домой. Пора судну отправляться, солнце склоняется уже к западу. Гости низко поклонились князю. Поклонился им и князь. Спасибо за хлеб-соль. Спасибо и вам, что не побрезговали.

«Значит, уходить? — подумал неугомонный и своевольный Мальпроста. — А как же — сокол? Узнаю ли правду? А как же ее узнаешь, если вовремя не уловишь?!.» И решился тогда на вопрос неуимчивый Мальпроста. Поклонившись еще раз, он сказал:

— Князь Юрий Михайлович! Славитесь вы и охотой соколиной. Но не показали вы ее нам. Неужели так мы и уедем, не повидавши дивной охоты?

Князь изменился в лице. Бешенство потрясло всю его длинную фигуру так, что затряслись дивно алые кисти у его кушака. Но он быстро сдержал себя и ответил:

— Ладно, если ты такой уж задорный охотник! Покажу покои для воспитания соколов… да и соколов…

Они пришли в крыло дома, в большие покои с высокими окнами, чтобы солнечные лучи входили свободно и согревали ловчих птиц. Притолоки в окнах были широкие: для помещения жердей, на которых сидит птица. В изразцовых печах — по белому фону синие птицы, — несмотря на лето, тлел огонь, чтобы сокол у огня встряхивался и вытягивался, а это показывает его полное здоровье.

— О истинный боже, — воскликнул восхищенный Мальпроста, — как чудны твои дела и как все это прекрасно!

Князь порозовел. Восклицание хотя было произнесено и на чужом языке, но для охотника все языки понятны.

На полу лежали широкие дерюжины с травою — буде вздумают сокола взлететь для прохлаждения ног. Невысоко от пола, поперек покоя, были протянуты березовые жерди, тоже для соколиного баловства. Под жердями стояли широкие лохани со свежею водою, а вокруг лоханей все было осыпано речным песком и мелкими камушками.

— Дивно, дивно! — опять воскликнул Мальпроста. — По всем приметам вижу перед собой добрых, настоящих соколов.

Князь сказал:

— Добрый сокол должен быть широк в плечах и сжимался бы комком и закладывал крыло на крыло так, чтобы концы правильных перьев уподоблялись разогнутым ножницам. Сокол, развешивающий крылья и не подпирающийся, показывает вялость.

— Так, так, князь, — воскликнул Мальпроста. — Флорентинцы считают, что у сидящего доброго сокола голова между плеч должна казаться как бы вдавленною. И должны быть у

него толстые «еми», лапы, и большие когти. И весь он на руке вашей должен быть тяжел, как младенец. Добрые у вас, князь, сокола, безукорные!

Со вздохом сказал князь:

— Вижу много укора моим соколам. Но вся моя жизнь в том, чтобы вывести такого сокола, какого не было ни у кого…

Вдомек и в примету, пожалуй, было его восклицание понятно лишь воеводе Одудовскому, но воевода устал от пищи, дышал тяжело, и хотелось ему спать. Зевая, шагал он позади беседовавших и рад был видеть свое судно, берег и ковер, на котором можно было вздремнуть. Устал и мессер Филипп Андзолетто, устал, и мерещилась ему в туманном видении Флоренция, берег Арно и беспокойные, волнующие прелести его молодой жены… Не устал лишь один неугомонный Мальпроста.

Вернулись на берег к ладье. На том берегу княжьи ловчие били соколами птицу. Но не глядел туда князь.

Мальпроста видел с высокого берега Оки стремительные, словно затканные серебром воды таинственной русской реки; видел он, как через эти воды идут плоскодонные лодки, как вздуваются рубахи гребцов, как лодки до краев наполнены дичью, а там, на том берегу, возле озер и притоков, все еще продолжается соколиная охота, все еще скачут всадники, махая «вабилами», слышен стук трещоток и рокот тулумбасов, поднимающих птицу с воды, все еще сокола делают «ставки», стремительно ударяя птицу сверху. Эти сокола и эти охотники — княжьи, а князь и не смотрит на них, князь думает о своем, еще небывалом соколе, которого он еще вырастит!

И тогда спросил Мальпроста — то, что он жаждал спросить, как только увидал князя Подзольева:

— Сеньор князь! Таинственно прошлое, и недоступно для человека знание будущего. Может быть, поэтому и нескромно выспрашивать человека о том, о чем он сам не желает думать. Но я молод и отважен. Я спрошу! Ибо я вернусь во Флоренцию, и там меня будут расспрашивать: видел ли я князя Юрия Подзольева и правда ли, будто этот князь из-за любви к своей подруге зарезал и скушал редчайшего сокола? И еще меня спросят: видел ли я эту несравненную подругу?..

И опять бешенство пронеслось и сотрясло все тело князя. И опять он сдержался и сказал иноземцу:

— Мне вера: говорить тебе, иноземец, правду. Того кречета государева звали «Носник». Кречет тот был с севера, а на севере зовут так умельцев, которые проводят судна, лоцманов, знающих русла. Кречет, как и все сокола, чем старее, тем ленивее в ловле. «Носник» не знал старости. Он был твердый, постоянный и

неуклонный…

Князь вдруг наклонился к лицу Мальпроста, схватил его за виски и наклонил вниз.

— Видишь? — вскричал он. — Видишь, пристали к берегу лодки с дичью? Видишь бабу возле лодок? Кричит, суетится — нескладная, грубая, невыезженная ни в упряжь, ни под верх скотина? — Он отпустил Мальпроста и, всплескивая руками, воскликнул: — Неушто я ее любил?.. Полно, ради ее ли зарезал государева кречета?! Неужли она, как саранча пожирает хлеб, пожрала меня?!

Во рту Мальпроста от изумления язык словно отмерз. Он раскрыл большой сочный свой рот и молча смотрел на князя. А князь продолжал молотить:

— Она, она!.. Это она, проклятая, все содеяла!.. Это из-за нее пожолкло, как от порчи, мое сердце и, будто в засуху трава, высох и осыпался с моей головы волос.! Из-за нее, узнав о судьбе «Носника», государь рассердился и сказать изволил про меня: «Вот дурак!» Так и пошло. Так и стал я дураком! Так и пошло по всей Руси, и в другие земли и дошло до какой-то там поганой Флоренции! Государь у нас добрый, слава ему! Но одного его доброго слова «дурак» хватило на то, чтоб я навсегда остался в этих лесах разводить скот да строить избы. А мои сверстники бьются с татарами на востоке, бьются с врагами Руси на западе, и идет им слава и честь и песня. А какая песня пойдет обо мне по Руси, что обо мне скажет чесной народ?! Жил-был дурак, съел из-за глупой бабы государева кречета… Погибло все! Топчусь я на этом берегу возле Оки, опрокинут я, и дует в меня ветер, и проходит мимо меня жизнь, как ветер через бездонную бочку…

Молчал Мальпроста, потрясенный правдой его слов. Мил ему был князь, мил и близок.

Князь холодно смотрел на иноземцев, а если и говорил с ними, по иной причине. Услышав, что приехали иноземцы вместе с воеводой и что иноземцы те — искусники, князь подумал: «А какое ж искусство больше всех ценит царь Алексей Михайлович? Соколиное! И раз иноземцы-соколятники едут с воеводой, то и везут к шаху персидскому русских кречетов…»

Спросил князь с великой надеждой в голосе:

— Почему вы так горячо хотели посмотреть моих соколов? Али государь говаривал вам о моих соколах? Али государь ждет, что я выращу сокола лучше «Носника»? Али государь стал думать обо мне лучше, чем прежде? Что вы мне скажете, други?!

Князь Юрий был мил и близок иноземцу Мальпроста. С радостью бы ответил Мальпроста утвердительно на княжий вопрос. Но как он мог ответить? Давно уже царь забыл о князе

Юрии Подзольеве, давно уже считает его старым, беспомощным, неспособным.

Ответил безмолвно, взором Мальпроста: «Молчит о тебе царь. Перетерпи и ты, отмолчись, коли можешь».

И князь отошел от него.

Рулевой закричал:

— Отчаливай, ребята! — И повернул широкий размокший руль.

Судно качнулось. Хоромы, церковь, избы мужиков, пестрая челядь княжья и сам высокий сутулый князь Юрий Подзольев — все скрылось за кораллово-красным лесом, над которым висело темнопурпуровое солнце, говорящее, что и завтра быть тому ж ветру, какой и сегодня.

Дюжий лоцман с окладистой бородой в синей рубахе, раздуваемой ветром, вывел ладью на плес, на самый судовой ход. Ладья шла самосплавом, да и мужики помогали бечевой. Бечева то натягивалась, то шлепала по воде, летели с нее искристые капли, и проносились под ней молочно-белые чайки.

— О чем, Мальпроста, говорил с тобой князь Подзольев? — спросил вдруг мессер Филипп Андзолетто. — Не о соколе ли? Раскаялся ли он в своем глупом поступке, иль и впредь думает поступать так же?

Мил был князь Юрий флорентинцу Мальпроста. И сказал он:

— Нет, не раскаялся князь. И впредь думает поступать так же.

Поджав губы, замолчал мессер Филипп Андзолетто.

— О истинный боже, как чудны твои дела! — прошептал Мальпроста, глядя на волны, которые поднимал строгий и сухой ветер, и на стрельца в зеленом, что стоял наносу ладьи, возле кички, и на спящего воеводу Одудовского, и на согбенного мессера Филиппа Андзолетто, который распухшими красными глазами смотрел вперед и тосковал по молодой жене, и тосковал по Флоренции, и по реке Арно, где неподалеку от главного моста некий Каппиччо продает гостиницу… Мессер Филипп страстно хочет домой, а путь туда такой далекий и неверный, о истинный боже!..

1944

О НЕДАВНИХ ДНЯХ

Горе

— Да, счастье ревниво! Значит, ему, как всякой ревности, свойствен стыд. А стыд — это молчание. И получается так, что о настоящем счастье мы помалкиваем, а то определение счастья, которое у нас сходит с языка, неправильно, неточно…

— Получается, по-твоему, Александр, что всякое счастье, в котором мы признаемся, самообман в лучшем случае?

— Да, это желание иметь счастье. Хоть какое-нибудь! Хоть сколько-нибудь! Вполне законное желание, между прочим. Кхе-к!

Здесь доктор Макарьевский издал короткий сиплый звук, означавший, что рассуждения его окончены и пора на работу. Однакож, сдернув с руки халат и бросив его на спинку стула, он вернулся к окну.

Солнце с усилием пробилось сквозь тучи. Лучи его проникали всюду. Они лились с травы, с листьев, еще застегнутых по-весеннему, с мокрой крыши — и так обильно, что словно ветерок сквозил на сердце. Обширный двор с колодцем посредине, поставленным будто для перспективы — доктор изредка писал акварелью и потому любил художественные перемены, — двор за одну ночь покрылся высокой и стройной травой. Пузыристая роса дрожала на ней.

Сыро заскрипели ворота больницы. Один раз, другой, третий. Пора начинать прием.

Александр Яковлевич обернулся к жене. Она стояла, прислонившись к шкафу, держа в руках лущащийся изношенный портфель. Круглые, большие и какие-то плотные глаза ее смотрели на мужа с нежностью и любовью. Под широким, утиным носом ее слегка дергалась упругая верхняя губа. Лицо ее, как всегда во время подобных споров, было немножко и задорное, немножко и виноватое. Доктору было приятно, мило смотреть на него. И, как всегда, немножко грустно. Вот так спорят каждый день они, а зачем?.. Доктор улыбнулся и слегка потрепал жену по плечу.

— Иди, иди, утица, иди, саксонушка, — сказал он тихо. — Утята тебя небось ждут не дождутся.

— Постой, постой, Александр, — удерживая его руку на плече, проговорила жена. — Тебе словно бы жаль, что ты счастлив?

Он ответил ей так, как отвечал часто, а отвечал потому, что

фразу эту впервые решилась высказать она.

— Счастье без ребенка, Иринушка, все равно что заем без отдачи. Ну, ступай к своим школьным утятам… Утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, а сердце, как море, заколыхалось. Что это такое?

Жена засмеялась. Она любила загадки и знала их во множестве. Но он нашел-таки новую! Она пообещала принести отгадку вечером, а кстати попросила его зайти к ней в школу, когда он будет возвращаться с охоты. Она освободится поздно, так как после занятий у них производственное совещание. И жена ушла быстрой своей походкой, выкидывая вперед руки, точно собираясь бороться.

С уходом жены боль, возникшая вследствие их разговора, как будто утихла. «Говорят, отмель утишает волнение, — думал доктор. — Возможно! Но все-таки корабль, мной ведомый, видимо, недавно покинул глубины, потому что они все еще мерещатся и все еще от их томной таинственной синевы бьется сердце». Натянув халат и собирая бумажки, которые надо было унести в больницу, доктор продолжал думать о жене: «А как широко и быстро разносится несчастье, Иринушка! Вот пример. Никогда и никому мы не жаловались, что главное наше несчастье — отсутствие детей. Но все знают и обсуждают, что у доктора Макарьевского и его жены, учительницы Телешовой, нет детей. „Ах, как жаль! И не будет? Ох, горе, горе!..“ А будь мы отсутствием детей довольны, кто бы судачил! Вообще счастье существует в жизни, как тень в картине…»

Что весна была дружная и тем возбуждала волнение, заметно по лицам пациентов. Хворать вообще никому не хочется и, как говорил больничный сторож Матвей: «Гошпитальной песни никто не учит», но сейчас, помимо стремления поскорее выздороветь, чувствовалось что-то особое. Оттого Александр Яковлевич старался скорее выслушать, выстукать, прописать лекарства, — да и вообще быстрей надо лечить!

В кабинете сельской больницы, чистом, светлом, с голубовато-серыми обоями и с акварелями, изображающими виды колхоза и писанными докторской рукой, пахло по-весеннему. Даже запах лекарств и больным и доктору казался каким-то милостивым, возвышал. Рядом, в приемной, забавным басом гудела Юлия Васильевна, медсестра, рослая и всегда раздраженная. Раздражалась она всегда на глупости — и не в своей жизни, а в чужой. А таких глупостей знала она великое множество; если ей поверить, то легко может показаться, что мир сошел с ума.

Часам к двум доктор, почувствовав легкое головокружение от

напряженного труда, встал и сделал несколько шагов по кабинету. «Да, годы, почтеннейший товарищ! Пора уже и бороду вам отращивать. Вот прошлой весной такого не было, а теперь устаем, раздражаемся…»

Высокий мужчина в ворсистом черном пиджаке, с орденом на груди, снял с телеги мальчика и легко понес его на руках к дверям приемной. Женщина, тоже высокого роста, но худая, взяла одеяло и тулуп, которыми был прикрыт мальчик. Мальчик сильно кашлял. Отец нес его осторожно, с силой ставя ноги, как будто прокладывая дорогу в неизвестном месте. Доктор узнал мужчину. Это был Копылов Иван Петрович, один из передовиков колхоза, веселый и расторопный, с таким раздольным смехом, что его по смеху узнавали за километр. От жены своей доктор много слышал и о сыне Копылова — Сергуньке. Одно время доктор, увидав Сергунькины рисунки, собирался даже дать ему несколько уроков рисования… А теперь, и не выслушивая, доктор мог определить, какая болезнь вызвала этот ненасытный кашель, эти поклоны тела и этот свинцово-серебристый цвет век.

Хотя доктор занимался своим делом уже свыше семи лет, но, странно, он до сих пор весь трепетал, когда выслушивал ребенка. Ему все казалось, что он не поставит правильный диагноз. И сейчас сердце забилось, заныло.

— Случается, случается, — бормотал он, то придвигая ухо, то отодвигая его от горячей груди ребенка.

Мать, показавшаяся ему вначале растерянной и недалекой, отвечала вполне толково. В начале болезни она помогла ребенку самыми разумными мерами. А вот сам Иван Петрович как вошел в больницу, так ничего не мог вымолвить и только поднимал плечи, смотрел вбок, в окно. Лицо у него грузное, и видно, что он всячески старался не расплакаться.

Доктор, глядя на отца, сказал, что у ребенка легкая простуда, но по такому ветру и после только что выпавшего дождя лучше парня не возить, а оставить его денька на три-четыре в больнице. Мокрая курчавая голова мальчика с просторными голубыми глазами пристально смотрела на него. Доктор узнал хорошо знакомую ему жажду жизни, эту безмолвную и страстную мольбу.

— Навещайте нас почаще, — сказал доктор родителям, поглаживая ребенка по голове. — Мы, видно, своих домашних любим, а, Сергунька?

Мальчик молчал.

Окончив прием, доктор долго сидел за столом. Ни обедать, ни тем более идти в поле ему не хотелось. В газете он увидал статью о положении на Балканах, развернул, но читать не мог.

Ему казалось чрезвычайно странным, что *свой* ребенок, о

котором он думал часто, непременно должен был бы походить и *походил* бы непременно на Сергуньку. Превосходный товарищ, друг, вдохновенно любивший мир, науку, книги, аппараты, со стальным перышком обращавшийся осторожно и нежно, как с птенчиком, Сергунька умел так рассказывать о книгах, что когда в школу прибывали новые книги и на столе появлялись золотые и серебряные переплеты, синие, красные, зеленые обложки, сердца всех ребят ныли и даже самые залихватские шалопаи чувствовали в классе какой-то особый мудреный и зовущий запах приключений среди этих листов с колонцифрами.

Чтобы иметь возможность почаще навещать Сергуньку, доктор положил его в палату, где не было больных. Когда доктор вошел в палату, солнце уже закатывалось и никелированные перекладины кровати ловили золотистые лучи его. Мальчик лежал, подперев голову рукой и глядя на эти полосы. Лицо его горело. Хлопотливо метались в его голове судорожные и бессмысленные видения. Но все же он узнал доктора и даже нашел силы, чтобы сказать:

— Это когда же ты успел нашу школу нарисовать? Я тебя и не видал! Ты где сидел-то?

Но больше он уж ничего не мог ни спросить, ни добавить. Видения опять обступили его. Вошла сиделка. Увидав доктора, она на цыпочках приблизилась к кровати и подала ребенку воды. Должно быть, лицо доктора выражало большое страдание, потому что у сиделки сделалось беспокойное лицо и на ресницах ее показались слезы. «Надо соблюдать дисциплину», — подумал доктор.

Он вернулся в приемную. Еще час назад он вспоминал запахи поля, шелест прошлогодней травы, не скошенной возле кустов, полет птиц над весенними сиреневыми деревьями, тяжелые их ветви, липкие, точно покрытые медом… Ничего этого теперь он не помнил! Заломив руки за голову, он ходил по кабинету. Стемнело. Через двор, выкидывая вперед руки, прошла жена. Вот она зажгла электричество, опустила занавеску и, видимо, села править тетрадки.

Все, что можно предпринять, предпринято. Но ход болезни так стремителен, что почти бесполезно все это предпринимать. Какое страдание! Пройдет два-три года, и вот какой-нибудь врач — в Москве ли, в Харькове ли, а то еще где-нибудь — откроет такое средство, которое в самом начале, как только поставишь диагноз, сразу ликвидирует очаг болезни. Но почему сейчас должен погибать замечательный, талантливый ребенок, в будущем, быть может, великий художник или ученый? Почему сейчас именно должна ломаться жизнь его отца и матери,

честнейших и умнейших людей, которые творят чудеса в поле и если уже пропишут рецепт земле, так непременно вылечат ее? И почему, наконец, ему, доктору Макарьевскому, причинено такое горе?

Доктор взял графин и посмотрел сквозь него на электрическую лампочку. Свет ее походил на клюв. Графин был пустой. Это даже несколько обрадовало доктора. Он нашел предлог пройти на кухню за водой и по дороге завернуть в Сергунькину палату.

Уже вся больница знала, что доктор Александр Яковлевич волнуется. Медсестра Юлия Васильевна стояла на кухне с термометром в руке и рассказывала о подобном же случае с ее родственником, ловцом на Каспии. Доктор наполнил графин водой и почему-то, виновато улыбаясь, спросил, окончили перекладку крыши над кухней или нет. Ему хотелось поговорить, переломить в себе что-то… но слова все были лишние, ненужные. И остальные люди тоже желали, видимо, ему помочь, но тоже говорили лишними и ненужными словами.

Когда доктор шел обратно по коридору, из палаты появилась сиделка. На вопросительный взгляд доктора она со слезящимися глазами прошептала:

— Пышет. За сорок.

… И ребенок и доктор мучились пять дней.

Тревога, разъедавшая доктора, передалась не только всей больнице, но, казалось, и всему селу. Жена уже не говорила о школе, да и сам доктор не спрашивал ее, а большей частью молчал. Ночью он вскакивал с постели, зажигал лампу, ища в медицинском справочнике ту страницу, которая приснилась ему, затем он выходил во двор. Ночи были темные, высокие, и звезды сверкали так необыкновенно ярко, словно были они закрыты всю зиму.

Во дворе он как бы не мог разойтись со своей тоской, которая все время шла ему навстречу. Он выходил за ворота. Какие-то две темные фигуры на дороге. Он узнавал родителей ребенка и поспешно возвращался домой. Чем он мог их утешить? День они работают на севе, но с вечера спешат в больницу, расспрашивают сиделок, ловят сестру.

Сергунька лежал уже в беспамятстве. Хриплый кашель сотрясал его тело. Когда сквозь муть и беспорядочный горячий туман, заполнявший его сознание, он на секунду понимал, что перед ним доктор, и говорил два-три слова, сердце у Александра Яковлевича болело так, что хотелось лечь на землю и всему обратиться в неумолкаемый и горький вой.

На шестые сутки Сергунька умер.

Всю ночь доктор не спал. Он сидел у кровати больного и, не отводя взора, глядел на его потемневшее лицо и крапины, показавшиеся возле губ. На рассвете доктор вышел за ворота, взял Копылова за холодную руку и молча ввел родителей в палату. Мальчик лежал на спине. Пальцы его сновали. Мать упала на колени. Отец зарыдал. Доктор стоял долго подле них, опустив руки. Губы его передергивались, и всем было крайне тяжело смотреть на это. Солнце бросало от ворот длинную тень, похожую на кисть, когда он входил в свою квартиру. Он выпил стакан холодного чаю, подпер голову рукой, задумался, да так и заснул у стола.

Жена разбудила его. Лицо у нее было какое-то замерзшее, дрожащее, цвета парусины. Слезы застревали на упругой верхней губе. Поглаживая рукой его плечо, она смотрела в окно. Из больницы выносили мертвое тело мальчика. Сыро скрипели ворота. Доктор вспомнил вчерашнюю ночь, и ему опять стало невыносимо тяжело. Он встал, оперся о подоконник и, смахивая пыль с окна, хотя никакой пыли там не было, сказал:

— Хоронить будем, Иринушка, нашего Сергуньку.

Они стояли обнявшись и плакали. Во дворе было тихо. Только один раз кто-то ударил молотком по железу, должно быть больничный сторож хотел починить ведро, но, вспомнив, что у доктора горе, унес ведро обратно. Они не заметили, как вошел в комнату Иван Петрович Копылов. Он шел грузно, но твердо, как командир шеренги солдат после долгого боя, но сил хватило только дойти до стола. Он сел на табурет, опустил руки вдоль ног и молчал.

Он, видимо, хотел сказать многое, и когда подходил к дому, на устах его лежала серьезная речь. Эту речь он собрал с большим трудом, напрягая себя, но сил хватило только на то, чтобы подойти к доктору. Теперь он смотрел на него глубоко запавшими глазами, которые, казалось, не мог смежить. Он как будто говорил взглядом: «Не усну, не дам себе ни покою, ни отдыху, пока ты, друг, не поймешь меня. Будем бороться, преодолевать — и победим же мы когда-нибудь, Александр Яковлевич! Не может быть, чтоб не победили!»

Доктору стало легче, хотя и тут он подумал, что говори он дня два тому назад подольше с Иваном Петровичем, кто знает, не вспомнилось ли бы какое-нибудь забытое старинное или новое средство от болезни?.. Но не было такого лекарства. Есть еще горе среди нас, и много его! Мы много знаем, мы много сделали, а того больше еще в мире надо сделать, чтобы удалить совсем горе, несчастье, невежество, тупость, душевную и нравственную грязь. Много еще надо учиться, работать и стоять против

невежества и тупости с оружием в руках, стоять долго, упорно, крепко, неутомимо…

«Но выстоим, — думал доктор, глядя в глаза крестьянина, который, как видно, думал такую же думу, — выстоим, подавим горе и если не себе, так другим дадим полное счастье, чтоб не умирали Сергуньки! Ведь не понять этого невозможно. Вот мы трое — учитель, врач и крестьянин — стоим молча и молча понимаем друг друга. И разве это понимание не есть полная уверенность в том, что выстоим, что подлинное мужество победит и это горе — смерть ребенка — и другое, что придет к нам?..»

Он посмотрел в глаза жены. Она думала то же самое.

Так у стола в квартире доктора задумались о жизни три человека.

1939

Мрамор

Студенты-геологи Ваньков и Драницын задумали побродить в Алтайских горах. Маршрут они выбрали громадный и замысловатый, так как, помимо своей специальности, Ваньков любил обильные воды и нетощих рыб, а Драницын жаждал искать среди гор, в особенности среди горных лугов, луковичные растения. Маршрут маршрутом, но с деньгами туго, или, как говорил Ваньков, «поплавки в сетях, а грузила еще отливают».

Подумав, они пришли в один из отделов строительства метро и сказали, что за умеренную плату они могли бы поискать в Сибири месторождения отличного, пригодного строительству мрамора. С ними разговаривали вежливо, но денег не дали.

После этого студенты поступили внештатными электромонтерами на достраивающуюся Сельскохозяйственную выставку и в беспрерывной и веселой работе заработали по пятьсот рублей, получили по сотне от родителей — и поехали на Алтай. Но так как разговор о поисках мрамора запомнился им, то незадолго до отъезда они написали в районный центр вблизи села Андроновского на Алтае, откуда предполагали начать поиски и пешеходство, что вот, мол, «в ваш район едут студенты-геологи, добровольцы по изысканию мрамора для метро, и не слышал ли районный центр чего-либо о мраморе, потому что, по всем данным, Андроновская долина лежит в разделе, по одну сторону которого кончаются горы изверженных пород, а по другую начинаются неизверженные?..»

Мелькали задымленные и замасленные, мелкие и частые станции; пылью и копотью плыли им в лицо города; отовсюду

приходили пассажиры, радостные и торопливые. Равнина, равнина… Но вот, наконец, утром Ваньков и Драницын увидали горы. Они лежали, как лежит, отдыхая, человек на боку, опершись локтем и разглядывая возле себя травинки и словно бы что-то считая и отмечая. «Да, не могу хулить такие кристаллы», — хотел было сказать шутя Ваньков, но из уважения к горам промолчал. Молодые люди стояли у окна, оба одного роста, в полосатых рубашках, и горы казались им близкими и понятными.

Районный центр они проспали и высадились дальше, мало довольные своим поведением, так как пришлось уплатить разницу за билеты. Поезд ушел. Они стояли возле огородика, у станции, положив рюкзаки на землю и разминая большие лыжные ботинки, подкованные железом. Они жалели друг друга: путь дальний, а тут тебе тащить рыболовную сеть, а тебе — банки для луковиц.

Телеграфист шел мимо. Улыбнувшись, он взглянул на них.

— Экспедиция? Или курсанты?

— Извозчика где нам нанять? — улыбаясь, в свою очередь спросили они. — Нам в Андроновское.

— Извозчика? В страду? Да тут вообще извозчиков нету. Из района идет автобус. А вы зачем же здесь высадились?

— Мы за мрамором, — ответили они несколько сконфуженно.

— А-а… — проговорил телеграфист, с уважением разглядывая геологические молотки. — Надо бы вам обратиться в район, а то так-то далеко шагать…

Студенты купили по большому каравaю хлеба, проверили количество своих консервов и отправились в село Андроновское, чтобы оттуда, горами, выйти чуть ли не в Горную Шорию. Шли они быстро.

Вдоль дороги стояли сосны, кое-где высовывая из песка толстые смолистые корни. Изредка дорога пересекала долину или реку, и тогда особенно благовонные и мягкие запахи овевали их. Воздух казался светлозеленым, а облака над долиной — как цветы.

Они выходили на каменный, скалистый мыс на реке — «лбище», или «бычок», как называют его здесь, — и разжигали костер, чтобы испечь картошку и сварить чай. Берега реки были изрезаны ущельями, и молодые люди под шум и грохот воды говорили о том, будет ли в данное великое противостояние Марса подтверждена его обитаемость.

В Андроновское пришли к полудню. Ночью выпала крупная роса, и как ни сильно шагали молодые люди, все же они только-только успели согреться, да и поели вчера они мало. Они отыскали школу, чтобы навести справки: учитель-то небось не на

страде. Учитель Кущенко, рыжий огромный мужчина, говорил на разные голоса. Он запел ребячьим дискантом, пожимая им руки и радостно заглядывая в глаза:

— Ну, а я думал, вы не доберетесь, товарищи студенты! Самовар у меня чуть не перегорел! Третий день жгу!

— Почему вы нас ждали?

— А как же, как же! Телеграфист вас видал? Видал. Ну, и стукни по аппарату в район. А оттуда мне по телефону: ты, дескать, случайно не обидь студентов. — И он захохотал вдруг неслыханно толстым басом. — Но покушайте, покушайте, а там и в классную.

Студенты покушали — и покушали изрядно, а покушавши, поняли, что дорога была длинная и с непривычки утомительная. «Хорошо будет заснуть в классной», — думали они, идя за учителем. Посреди коридора они увидали плакат. Содержание его несколько изумило и даже встревожило их. «Привет московскому метро и его строителям!» — прочли они.

— Это кого же приветствуют? — спросил Ваньков.

— Приветствуют вообще, а в частности, конечно, и к вам относится, как к добровольцам, — ответил учитель, широко распахивая дверь в классную.

Сердца у студентов забились с отчаянной силой. То, что они оглядывали сейчас, было необыкновенно, удивительно.

Весь пол от классной доски до парт и вся поверхность парт были покрыты белыми, желтыми, синевато-серыми камнями, под поверхностью которых, как под папиросной бумагой раскрашенный рисунок, чувствовались тона и краски необычайные! Камни были разных размеров, но все же не больше кулака, и по следам молотка можно было понять, что отбивали их неопытные ручонки.

— Это кто же, школьники? — спросил Ваньков.

— Они! Добровольно! Может быть, пройдем в старшие классы?

— Пройдем.

День разыгрался. Сияние наполняло большие светлые комнаты и с особенной силой сверкало возле камней, создавая как бы целые озера света вокруг них. Мрамор играл то серым с белым, то по молочному бежали розовые прожилки, то на черном танцевала какая-то дальняя, еле уловимая зелень, то буро-красный был весь покрыт черными крапинками. Драницын взял осколок. «Хорош камень», — подумал он и весь как-то даже продрог от восторга. Учитель уловил его восхищение и сказал:

— Такой сорт у нас любовно «индюшкой» называется! Более подходило бы назвать его фазаном! — Учитель схватил

пурпурный камень с белыми гнездами и воскликнул: — А этот прозвали у нас «восходным»! Его бы порекомендовать на купол или на плафон!

— На купол было бы отлично, — глухо подтвердили студенты, и учитель подумал: «Дельные ребята».

— Ну что ж, пора, пожалуй, и на базар идти? Еще небось привезли.

— Чего?

— Ну, и продуктов, а для нас — мрамору. Колхозников — им по пути на базар — я и осведомил. Захватят, кто интересуется. Так на базар?

Но на базар идти не пришлось. Как колхозники ни торопились покончить базарные дела, они все же находили время свернуть и свалить на школьный двор глыбу-другую мрамора. Теперь уже студенты встретили не робкие детские образцы, а громады, которые и поднять-то было трудно двоим.

Лежали глыбы розово-красные с темнозелеными авгитовыми кристаллами, желтовато-бурые с прекрасным восковым блеском, сквозь дымку которого уже почти явственно можно было увидеть чье-то высеченное лицо.

Седой колхозник Астырев привез широкую черную полосу мрамора с белыми окаменелостями. Поправив зеленые от травы штаны и вспрыгнув в телегу, сильно пахнущую дегтем, старик сказал:

— Знаем, что строим. Знаем и где достать, молодые товарищи.

Глаза у него блестели молодо, как куски этого привезенного им мрамора, а седые брови весело ходили по широкому загорелому лбу.

— Откуда у вас так много его? — спросил Драницын.

— Мрамора? — сказал старик. — А мы мрамор этот пережигаем на известь. Ну, и знаем, где и как. У нас такая долина. Давно хотели почтить Москву. Понадобится, так все горы распластаем!..

Студенты, чтобы собраться с мыслями, сказали, что желают искупаться и немного отдохнуть.

Река разделяла прямой светлосиней чертой всю Андроновскую долину как раз на изверженные и неизверженные породы. Впрочем, на первый взгляд горы одинаковы как с той, так и с другой стороны, и кажется, что одна сторона отражает другую.

По берегу — выгруженные лодки. На дне их блестели рыбья чешуя и тонкие стебли осоки. Подплыло еще несколько запоздавших лодок. Мужчины вынесли корзины с рыбой.

Женщины шли с небольшими чемоданами и бидонами под керосин. Три рыбака остановились возле студентов. Спросив, как их здоровье и откуда они, не из Москвы ли, рыбаки достали со дна корзин куски белого камня с яркомалиновыми пятнами, словно на нем раздавили ягоды или рыба оставила сгустки крови.

— Камень у нас красив, да трещеват, — сказал рыбак, тощий, с широкими черными глазами, — вот по ту сторону долины лучше: из того камня хоть кружево делай.

Купанье не освежило студентов. Им то казалось, что они стоят против солнца — ничего не рассмотришь, то будто ожгло их ветрами и светом, и кожа даже, казалось, лупилась, а то просто ныло сердце. Тогда они направились в горы. Но едва они миновали базар, что пел, грохоча и скрипя на все голоса, пронизанный светом и горным ветром, догнал студентов Степша, братишка учителя. Став перед ними на дороге, он сказал:

— В горы, что ли, пошли? Братан увидал, велел сказать: чего здоровье тратить? Надо с мужиками посоветоваться! Они скажут, где какая порода. А мы во-о еще какую нашли!

На ладони его лежала пластинка мрамора толщиною в сантиметр, и, несмотря на эту толщину, студенты могли сквозь эту пластинку увидать на детской ладони еле уловимые линии. Студенты взглянули друг на друга. Куда же действительно пойдешь, что же можно найти лучше, если самые лучшие сорта мрамора пропускают свет на глубину только до четверти сантиметра, а здесь почти на сантиметр?!

Степша полез в карман и вынул еще кусок, белый, похожий на снежный ком, со слабыми желтыми пятнами, казалось, столь мягкий и пушистый, что на нем отпечатались следы пальцев мальчонки.

— Годится? Вот только пионеры боятся: прочен ли?

— Прочен, прочен! — ответили студенты, смеясь и поворачивая к школе. — Да и как тут не быть прочному, раз у вас вся жизнь такая.

— Какая? — спросил мальчонка, не поняв их размышлений.

Студенты только смотрели на него, улыбаясь нежно и радостно. Удивительная жизнь! — хотели они сказать. И, посмотрев друг на друга, они рассмеялись. Мальчонка тоже рассмеялся, не зная причины смеха, но радуясь замечательному, полному и сердечному звуку его. А студенты смеялись над тем, что не придется им, видно, ходить по горам, — только бы выбрать лучшие сорта, да запаковать, да отправить в Москву. Да, пожалуй, еще проверить — много ли этого самого лучшего сорта мрамора в горах. Наверно, много, скалы стоят нетронутые. «Удивительная, волшебная, сильная жизнь! — думали они, быстро идя к

школе. — Стоило только узнать, что для московского метро, — и без всякого распоряжения, почти без слов, без митингов, вышли и легли перед ними, искателями, замечательные, редкие камни!» И с восторгом шли студенты по селу, прислушиваясь то к песне, доносившейся издалека, то к шуму и грохоту базара, то к шелесту деревьев, которые колебал горный ветер, то поглядывая на солнце, уже высоко стоявшее в небе, — солнце, огромное, сияющее, широкое солнце действительно удивительной и всегда творчески неожиданной страны нашей.

1939

В горах Бух-Тайрона

Из города Меди на строительство водохранилища в горах Бух-Тайрона ехал гастролировать укротитель тигров Святослав Аркадьевич Плонский.

В эти августовские дни 1943 года над всем Центральным Казахстаном стояла незакатная, неугасимая и нестерпимая жара. Ледники таяли. Реки разлились.

Святослав Аркадьевич — рослый, тяжелый, словно из свинца, с лицом цвета серого сафьяна, саркастическим и задумчивым, медленно покинул грузовик, чтобы, насупясь, замереть у разлившегося горного потока. Укротитель был человек образованный и начитанный; он считал себя поклонником изящной литературы восемнадцатого века. В Виннице, на Украине, немецкие фашисты сожгли его квартиру с небольшой антикварной библиотекой.

Давно, когда он еще учился своему ремеслу, тигр, играя, переломил Святославу Аркадьевичу два ребра, а попозже тигрица, тоже играя, повредила ему правый глаз. Святослав Аркадьевич после этого стал склонен к некоторым обобщениям. А высказывая свои обобщения, употреблял витиеватые образы, если не восемнадцатого века, то начала девятнадцатого во всяком случае. Так вот и теперь: глядя на разлившийся горный поток, на остатки снесенного потоком моста, он сказал:

— Торопитесь, сударь? На свидание с морем? Не скоро, не скоро, ибо я знаю, а ты нет. Перед тобой пустыня Бетпак-дала! Не считая гор, дорогой мой. Конечно, река стремится к морю. Но море течет само по себе. И вообще свидания недолговечны.

Воды, не обращая внимания на его мудрые изречения, клубились и прибывали. Почва под ногами его тряслась. Струя воздуха играла штанами укротителя. Со стороны ледника, вдоль разлившейся речки, шел сильный и влажный ток.

«Пусть его играет штанами, как шторой в окне, — думал укротитель. — Но погано, что он играет обстоятельствами. Я ведь предчувствовал, что мост снесет, и торопил шофера… подвергал зверей тряске, раздражал их перед самым атракционом… и — зря! Машинам по расписанию — прийти к мосту в четыре часа дня. Я их пригнал к двум — и зря! Мост снесло».

Словно уловив его мысли, из кабины высунулся шофер Дементьев с лицом бледным, горьким и длинным. Он уныло прокричал:

— Глазомерно определяя: еще б полчасика подогнать, успели б. А теперь какие приказания, товарищ командир? Обратно, в город?

Укротитель сказал:

— Человек может не обедать, но зверь любит точность. Подойдет вторая машина, и, если не переправимся, будем кормить зверей здесь.

Шофер скрылся в кабине так поспешно, будто зверей собирались кормить его телом. Укротитель снисходительно улыбнулся и подумал: «Когда шофер впервые везет зверей, ему, естественно, хочется поскорее избавиться от них. Хорошо еще, что настроение шофера не передается зверям, хотя, кажется, Кай-Октавиан чувствует раздражение». И он продолжал думать: «Вот резко сухой, черствый, но, к сожалению, необыкновенно крупный и красивый экземпляр тигра! Он родился в неволе и презирает удобства цирковой жизни. Соседи по делу, старшие тигры Тиберий и Калигула, романтизируя прошлое, наболтали ему, наверное, всяческой чуши о прелестном быте в уссурийской тайге, и этот дурак пользуется теперь всяческим поводом, чтобы выявить свои тупые мысли!»

Впрочем, не оттого ли Кай-Октавиан так любопытен укротителю? Хочется подчинить его окончательно, выбить у него из башки романтические бредни, чтобы впредь он не скалил зубы, когда укротитель заставляет Кая-Октавиана лезть на высокую голубую тумбу.

— Ужо тебе! — сказал Плонский, сурово глядя на поток, словно на тигра.

А торжествующие и пенящиеся мутнооранжевые валы попрежнему волокли камыш и кустарник, словно собираясь где-то остановиться и свить гнездо.

Большой ствол арчи — древовидного можжевельника — застрял между уцелевшими сваями моста, которые были обвиты гирляндами камыша. Валы, шипя и шушукаясь, рвали сучья арчи, и можжевельник, толстый, в обхват, трепетал, как былинка. Да, надо искать брод, пока не поздно! Вода не идет на убыль.

Укротитель обернулся ко второму грузовику, который тем временем остановился наверху, перед спуском к реке. Шоферы и ассистенты укротителя сошлись, чтобы покурить и посовещаться. Ассистент постарше, с толстой трубкой во рту, говорит, что Марья Анисимовна, супруга Плонского, предупреждала… а она всегда предупреждает с поразительной точностью! Второй ассистент — гладкий, приземистый — возражает: «Если Плонский обещал, надо выполнять обещание. Возвращаться нельзя. Да и Марья Анисимовна не предупреждала, а, наоборот, как все наши отважные женщины, высказывалась за поездку». Молоденькая девушка-шофер в сером комбинезоне глядит на него одобрительно. Она побаивается тигров, но ей лестно везти такой страшный груз…

Укротитель вынул из кармана большие серебряные часы. Он владел вещами только крупными и вескими. И вообще он все делал крупно и веско, как это делали его отец и дед, знаменитые дрессировщики и укротители. И с этой весомостью в каждом слове он приказал своим ассистентам и шоферам:

— Через три четверти часа найти брод.

— Где ж тут найдешь? — с беззастенчивой унылостью сказал шофер Дементьев. — Она разлилась, как оркестр.

— Вы лично, товарищ шофер, военный? Значит, умеете и любите исполнять приказания? Люди в горах работают день и ночь. Никаких развлечений! А тут, в условиях войны, мы привозим к ним тигров. Тигров! — подчеркнул укротитель. — Фильм — это механизм, клубок пленки; его поставить трудно, а возить легко, а тем более показывать. Тигра и поставить трудно, и возить, и показывать. Разве это товарищи, работающие в горах, не поймут?

Плонский несколько преувеличивал значение своих тигров. Но шофер, как бы то ни было, расчувствовался и проговорил:

— А разве я отказываюсь?.. Лично я хоть и ранен и уволен на поправку, каковую произвожу на строительстве… Доставить? Раз приказано — доставлю! Спасибо, товарищ командир, за разъяснение.

И шофер повернул влево, вверх по потоку, искать брод. Его сопровождали ассистенты.

От обильных испарений воздух был душен и мглист. Бродоискатели быстро скрылись за холмами.

— Ну, если мне душно, так зверям и совсем.

Укротитель снял полотно с клеток.

Три тяжелые объемистые клетки с тиграми стояли на первом грузовике. Второй вез длинные железные прутья, окаймлявшие арену цирка во время представления, и, кроме того, разобранный

туннель, по которому тигры бежали к арене. Поверх туннеля лежали голубые тумбы, круги для тигровых прыжков, колокол, в который звонил тигр Тиберий, а внутри туннеля — корзины с мясом для зверей и чемоданы с костюмами.

Почувствовав лучи солнца, тигры привстали. Зевая и щурясь, они поглядывали на укротителя. Они привыкли к переездам, но тряска по камням мало нравилась им. Особенно был гневен Кай-Октавиан, хотя он и старался сделать свою морду беспечно смеющейся. Фыркая и глотая слюну, глядел он на поток, глубоко вдыхая запах разлившихся мутных вод. Он впервые видел, чтобы всегда смирная вода могла так бесноваться! Ее беснование до известной степени подтверждало рассказы о привольной тайге, слышанные от старых тигров. Глаза его потемнели, и блестящий зеленоватый огонек заиграл в них.

Укротитель резко сказал:

— Замкнуть пасть. Лечь!..

Кай-Октавиан с подчеркнутой мягкостью опустился на дощатый пол клетки. «И охота вам, Святослав Аркадьевич, кричать? Я очень спокоен и вполне вам повинуюсь», — говорил его взгляд. Укротитель же подумал: «И как врет, мерзавец».

Воды между тем росли и разливались. Их мутные малы уже не бурлили между сваями, уже не крутили камыш, не сотрясали ствол можжевельника. Все это или унесено, или ушло под воду. Обрушился и тот обломок скалы, на котором двадцать минут назад стоял укротитель. И он подумал: «А что, если броду не найдут? Возвращаться? Но ведь я обещал. И они в свою очередь обещали поднять производительность. Ах, нехорошо! Почему они никого у моста не поставили дежурить? Неужели воды разлились так внезапно?..»

И укротитель вспомнил троих стахановцев из гор Бух-Тайрона, на прошлой неделе специально приезжавших в город Меди, в цирк. От имени строителей Бух-Тайрона говорил Максимов, русский, десятки лет ходивший по тайге. В горах Бух-Тайрона он работает только три года. Улыбаясь, он говорил: «Горы здесь — ничего, паря. Да сухи, комара нету. А я к комару, будто к чаю, привык». За эти три года Антон Максимов успел от чернорабочего-забойщика дойти до лучшего бригадира водохранилища, до звания лучшего стахановца строительства Бух-Тайрона! Вот как…

Укротитель с почтением слушал Антона и вспоминал своих тигров. Было что-то в повадках, в жилистых руках Максимова от царственно-раскатистой жизни тайги. Его взор заставлял погружаться и углубляться в чащу лесов, размеры которых постепенно увеличиваются и вырастают на ваших глазах… По его

инициативе строители приглашают тигров Плонского к себе в гости! Но стоит перевести взгляд на его двух спутников — людей Востока, на юношу и старца, — как начинаешь сомневаться: действительно ли это Максимов, выходец из сибирского леса, пригласил тигров? Вспоминаешь камыш рек, пески пустыни, а особенно белый, кубами, восточный город, утопающий в благоуханной весенней зелени. Чудесно прекрасное лицо юноши: матовое, с длинными глазами, лицо мечтателя и воина, лицо человека, который с одним кинжалом пойдет на тигра; лицо человека, который понимает звериную силу и то, как трудно ее укрощать.

Тут укротитель опять вперил взор в Антона Григорьевича Максимова. Какая неукротимая сила!

— Теперь, видишь, нам колхозники помогают: ведут канал, — продолжал говорить Максимов. — Теперь у нас воды будет вдоволь. Ну, и у колхозников посевы обеспечены. Теперь надо показать, что все у нас в порядке, — и цирк приехал. На фронте мои-то, четверо сынов…

«Тигров» подбивают?

— Бьют, — ответил Максимов и, скромно, чтобы показать, что его работа ни в коем случае не идет в сравнение с работой сынов, добавил: — А мы тут смотрим, как тигров на табуретки рассаживают.

— На тумбы, — поправил укротитель и сказал: — Проехать с тиграми по горной дороге двести километров — трудновато. Но я приеду ко дню открытия канала и покажу образец своей работы. Взамен чего вы обязываетесь, товарищи, показать и свои образцы? В университете, где я учился, про меня думали, что я откажусь от профессии отца. Пророчили мне звание философа или физика. А я окончил университет, и потянуло меня к зверю…

— Вроде как бы в тайгу, — сказал Максимов.

— Вроде как бы в тайгу, — повторил укротитель. — Стал я продолжать опыты над зверями, начатые моим отцом. И не раскаиваюсь. Меня называют любимцем Москвы и Ленинграда. Хочу быть любимцем и Бух-Тайрона. Поддержите?

— Будьте покойны.

Заговорил человек Востока, седобородый старец, Тайшегулов:

— Будет большой праздник у колхозников. Канал — это много га плодородной земли, много отечеству хлеба. Пустыню укрощаем, правда?.. Ничего не страшно. В камышах возле Балхаша — красивое озеро, правда? — живет красивый зверь: тигр. И тигра между делом укротили! Все укрощение надо показывать! Тигра надо показывать. Ха-ха… — Он тихо рассмеялся и добавил: — Мы тебе воду укрощенную показываем,

ты нам — тигра. Кто чем гордится. Каждому свое!

— Каждому свое, — согласился Плонский. — К сожалению, тигры на Балхаше вывелись. Эти — уссурийские тигры.

— Тигры — везде тигры. Они — злы.

— Природа, — уклончиво сказал Плонский, который любил зверей.

Старик понял его и сказал улыбнувшись:

— Верно. Природа требует укрощения.

Продолжение этого разговора произошло на квартире укротителя. Жена его со дня на день ждала ребенка. Ждала она терпеливо и скромно, а скромность и терпение всегда до слез трогали укротителя. Марья Анисимовна была хорошенькой белокурой женщиной, бесстрашным эквилибристом и жонглером. Когда Плонский сказал, что горняки Бух-Тайрона участвуют во всесоюзном соревновании и он, Плонский, должен помочь им, она сказала:

— Придется мне, Святик, родить без тебя. Постараюсь справиться. Но вот меня Кай-Октавиан беспокоит.

— Пусть он тебя не беспокоит, — проговорил укротитель, — хотя добраться до сердца Кая-Октавиана трудно. Но недаром я учился в университете. Это меня к чему-нибудь да обязывает, и что-нибудь я могу…

…И вот теперь Плонский стоит возле бешеного потока, думает о жене и чувствует, что в спину ему насмешливо и загадочно смотрит горящими зрачками Кай-Октавиан. А на них со всех сторон мутно смотрят высокие горы с бледными утесами, усыпанными пучками голубовато-желтых кустарников, которые издали принимают нежнейшие и редчайшие тона… Смотрят они и думают: «Посмотрим, внемлет ли Кай-Октавиан нашему зову или твоему, Святослав Аркадьевич?..»

Наконец, ассистенты и шоферы вернулись.

— Брод-то есть, а вязкий, — сказал шофер Дементьев. — С грузом где пройти? Да и вода, видишь, прибывает.

— С каким грузом? — спросил укротитель.

— С живым, — косо глядя на клетки с тиграми, сказал шофер. — Груз в клетке, упадет с платформы — потонет. Глазомерно сказать, накрениться в этой струе ничего не стоит. А он, тигр, не пробка. Он клетки из воды не поднимет. В ней, в клетке, в каждой, глазомерно, не меньше тонны.

Клетки разборные.

— Разборные. Да тигр-то не разборный. Клетку, допустим, разберу, а тигра — в портмонет? — и шофер мотнул головой в сторону гор. — Добро, уйдет туда, а если — в другую сторону? В мою?

Кай-Октавиан перевел с потока взор на шофера. Глаза его насмешливо щурились, а усы шевелились. Шофер икнул и отвернулся. «Ну какой же ехидный зверь!» — подумал укротитель, а вслух он спросил:

— Вы партийный, Дементьев?

— Без, — ответил шофер и, указывая плечом на девушку, добавил: — В комсомоле.

Плонский обратился к девушке:

— Звери, товарищ комсомолка, принадлежат не мне, а государству. Они должны прибыть в срок в намеченное место, как и все должно у нас прибывать в срок и в намеченное место, и в надлежащем состоянии.

Второй шофер хрупким своим голоском отозвался:

— Я поддерживаю ваше требование, товарищ укротитель. Но три клетки вброд не перевезти. Или поодиночке, или, по предложению товарища Дементьева, зверя отдельно, клетки отдельно. Он ведь об этом беспокоится, а не о себе.

— Конечно, не о себе, — сказал Дементьев с гордостью. — Когда я лично о себе беспокоился? Есть мне время!

И лицо Дементьева побагровело. Он крикнул:

— Вы что, хотите тигра голым везти? Давайте осуществим.

Укротитель проговорил:

— Осуществим. — И он обратился к ассистентам: — Мы поставим тигров в положение «Б».

Подобно многим новаторам, Плонский имел не только свой метод работы, но и свою терминологию. Так, например, положением «А» называлось появление тигров на арене и выравнивание их в шеренгу; положением «Б» — усаживание тигров на тумбы; положением «В» — старик Тиберий звонил в колокол… И так же, подобно многим новаторам, Плонский считал, что подача блюд тогда лишь хороша, когда она сопровождается пояснением. Поэтому он обратился к шоферу:

— Сначала мы вторую машину, как более слабо нагруженную, отправим на тот берег разведать трассу. К моменту ее возвращения мы выведем тигров из двух клеток и перетащим эти клетки на вернувшуюся машину. Тяжесть уравняется. Тогда мы выпустим из клетки третьего тигра, Кая-Октавиана, и поставим их всех в положение «Б». К сожалению, тигры привыкли работать втроем, иначе бы мы оставили Кая-Октавиана в клетке. Таким образом, на полотне машины мы приступим к репетиции, а вы поведете машину на тот берег. Там мы подведем машину ко второй и переведем зверей в положение «К», то есть обратно в клетки. Осуществим? Ваше мнение, товарищ шофер?

Шофер Дементьев смог сказать пока одно:

— Перевозим, значит, их голых… — и, некоторое время спустя, глубоким шепотом, который он старался сделать беззаботным, добавил: — Не возражаю. Осуществим так осуществим.

Пошатываясь и горбясь, шофер влез в машину. Укротитель думал, что шофер так и застрянет там. Но шофер оказался более сложным человеком. Он тотчас же вылез с ключом в руке и направился заводить мотор. Он заводил мотор, глядел, как двинулась, шурша щебнем, вторая машина через речку, видел, как ассистент с трубкой помогает девушке-шоферу выгружать машину, а приземистый и гладкий ассистент развинчивает и вынимает болты из клеток, обрадованно слушал, как мурлыкают огромные коты, покидающие свои клетки.

Конечно, Дементьев испытывал страх. Но что ж тут удивительного? Дементьев — уроженец Прибалхашья. Если он не видал тигров и не охотился на них, то его отец и дед испытывали на себе силу этих толстых лап. И совсем нет позора в страхе, раз человек способен преодолеть страх. Шофер Дементьев, заводя туго поддающийся мотор, способен был даже объяснить укротителю, что наравне с тиграми его, шофера, беспокоит девушка-шофер:

— Она… — «Трах! Трах!» — пыль здесь сильно вредит мотору, товарищ командир. — «Трах, трах, трах!» — Она шофер третьего класса. Я за нее страдаю. Я ее учу. Я — первого. Выходит, моя первая профессиональная обязанность тигра везти. А не могу же я на две машины сесть?

— Она справится. Девушка, видно, смелая.

— Смелая-то, верно, смелая. А все-таки — женщина. Не женское оно дело, с тиграми ездить. Легче, Валя, легче! — закричал он в сторону второй машины, возвращавшейся с противоположного берега. — Не видишь, они без клеток, голым-голы.

Некоторые при опасности умолкают, но другие, как это было заметно по шоферу, впадают в неумолчную болтовню. Дементьев помогал перетаскивать по наклонным слегам клетки на вторую машину, глядел, сильно ли осели рессоры, проверял мотор — и все время говорил и говорил:

— Уравновесились, девушка? За худо примись, а худо — за тебя, а? Уравновесили, товарищ укрощающий. Теперь машина пройдет… Трогать? За кем очередь? Надо ей вперед, второй? А за ней и я.

— Прошу вперед вторую, — размеренно-радостно говорил Плонский. — Двинули.

Он старался говорить громко и четко, как обычно говорил на

арене, рассчитывая, чтоб его слышал весь цирк, а особенно тигры. Надо сказать, что тигры сейчас удручали его, и ему была понятна болтливость шофера. Невольным движением — что случалось в другое время редко — он нащупывал револьвер у бедра. «Предпочту его убить, чем выпущу в горы», — думал он, глядя на Кая-Октавиана, который с особенным удовольствием покинул клетку и встал на тумбу в положение «Б». Чувствовалось что-то неладное в настроении тигров.

Вторая машина раскачивалась и тряслась. Дементьев, идущий по ее следу, вел свою машину легко и осторожно, точно канатоходец тачку. Толчков почти не ощущалось. «Навсегда бы мне такого шофера», — почти с умилением подумал Плонский.

Тигры сидели покорно. Даже Кай-Октавиан рассматривал арапник укротителя, а не поток. И, однако, — неладно…

Вдруг, посредине брода, машина с тиграми остановилась.

— Что, Дементьев? — крикнул Плонский.

— Мотор, — глухо отозвался Дементьев.

И он выпрыгнул из кабины. Вторая машина тоже остановилась. Показалась голова ассистента с трубкой. Дементьев, поднимая кожух мотора, сказал ассистенту:

— Не видишь, женщина — белей муки? Поставь машину на берег. А женщину уведи подальше. Подышать. Вонь от этого зверья, а не воздух для девушки. Верно, командир?

— Погуляйте, Алексей Валерьич… цветов нарвите… — сказал укротитель. — Шофер прав.

Плонский подозревал, что мотор исправен и что Дементьев для шофера первого класса берет на себя чересчур много обязанностей. Укротитель сказал только со всей выразительностью, на которую он был способен:

— Останавливаться крайне опасно. Звери — не мотор.

— У меня мотор — зверь, — ответил Дементьев беспечно. Он, видимо, уже освоился с обстоятельствами. — Занозистый. — И он указал на мутную воду, бурлящую у его колен. — Скора еда толокно: замеси да в рот понеси! Какой области, товарищ укрощающий? С Украины? А я местный.

Тем временем вторая машина остановилась на противоположном берегу. Ассистент увел девушку-шофера рвать цветы.

Дементьев тотчас же обнаружил, что мотор его в исправности. Шофер направился к кабине. И тут он почувствовал, что ветер, дувший перед тем бойко и звучно с ледников, внезапно прекратился. Горячий потолок приблизился к самому его темени!.. Шофер нагнулся… Мимо него пронеслось громоздкое тело… Мертвящая темнота на мгновенье охватила его. Он

зажмурился. Донесся голос укротителя:

— Кай-Октави-аа-н!..

«А, да это тот кот?! — подумал шофер. — А мне почудилось, снаряд». И, рассмеявшись, он открыл глаза.

В машине осталось только два тигра.

Третий, пользуясь тем, что укротитель повернулся к шоферу, выпрыгнул на берег. Покачивалась опустевшая голубая тумба.

— Ушел? — спросил шофер.

Укротитель смотрел на берег.

— Трогать? — грустным голосом спросил шофер.

— Прошу вас, — ответил укротитель.

Итак, арена, на которой производил свою репетицию со зверями Святослав Плонский, раздвинулась. Арена теперь занимала всю глубину ущелья, широко раскинувшегося от брода. Ущелье, как бархатом, покрыто кустарниками, травами, низкорослыми и узорчатыми дубами. Бледножелтое, залитое солнцем, напряженное ущелье уходило до полосы трепетно-синевато-синих ледников, соприкасающихся с пронзительно ясным небом. «Широка ж ты, арена!..»

Внизу, под досками и железом машины, крутились первобытно-холодные воды, принявшие вдруг фиолетовосиний оттенок, как бы подтверждающий, что они бегут от ледников. Во всем и всюду чувствовался зов к вышине. Щебень на берегу был раскидан легкими копытцами диких коз и тяжелыми копытами домашнего скота, приходившего сюда на водопой, и раскидан поспешно, словно они спешили к вершинам. Тигру ли не спешить туда?!

Хотя Кай-Октавиан вышел впервые в своей жизни на дикий берег, он не ощущал шаткости. Он шагал, плечистый, большеголовый, царственно и медленно, с твердостью ставя свои толстые, как портерная бутылка, лапы. До самозабвения ему было приятно сознавать себя свободным! Правда, его тревожили какие-то мухи, жившие возле водопоя, но разве он не знал о них по рассказам старых своих друзей по работе, там, в цирке, в цирке, уже далеком теперь от него, как воспоминание детства? Он уходил. Он уходил пока в горы, а там будет видно! Он уходил, нюхая следы скота и с удовольствием предвкушая, как некое существо будет дрожать и трепетать у него в лапах… Короче говоря, он уходил на охоту!

Машина с двумя тиграми быстро выскочила на берег.

Укротитель видел, что девушка-шофер и ассистент собирают цветы, словно они ничем иным в жизни не занимались! А тигр Кай-Октавиан как раз идет к ним навстречу! Тоже — первый помощник! И укротитель сказал размеренным своим голосом

второму ассистенту, оставшемуся с ним:

— Вы назначаетесь первым моим заместителем. Алексей Валерьич отныне переводится на ваше место. — Затем он обратился к шоферу, который выскочил из машины и ждал распоряжений: — Кидайте мясо в клетки. Из корзин. Больше! Свистите: «на пищу».

Шофер вложил было пальцы в рот…

— Не вам. Ассистенту. Вы — вилы! На вилы — мясо, в клетку! Кай-Октавиан должен вернуться. Должен.

Отстегнув кобуру револьвера, укротитель побежал наперерез тигру.

Раздался металлический пронзительный свист: «к пище, тигры!» Тиберий и Калигула, послушные зову, прыгнули в свои клетки. Кай-Октавиан было остановился. Он даже приподнял лапу, как делал всегда, когда оканчивал еду. Он ведь шел в свои горы, на охоту!..

— Повторить свист!

Ассистент опять засвистел.

Кай-Октавиан остановился во второй раз.

Плонский уже перерезал ему дорогу. Он поднял арапник и наполовину вынул револьвер. Кай-Октавиан, расставив короткие лапы, наклонил голову и глядел на укротителя совсем не домашним взором. «Кто ты такой?» — спрашивал этот взор.

— Назад! В клетку! — отрубил Плонский.

Кай-Октавиан шевельнул усом, словно отбрасывая этим движением обрубок. «О, да ты забываешься!» — говорило это движение.

Шофер Дементьев спустил ноги за дверцу кабины и, упершись локтями в колени, наблюдал за беседой между укротителем и тигром. Он не сомневался, что укротитель уговорит тигра, иначе, на правах шофера первого класса, он должен был идти спасать девушку. Белое лицо Дементьева выражало умиление.

— Зверь-зверь, а по экскурсии тоскует, — мягко сказал он гладкому ассистенту. — И пожрать хочется. И сомневается, что запрут.

Гладкий ассистент, стоявший возле раскрытой клетки Кая-Октавиана, проговорил:

— Вы б заперлись сами. А если он на вас, на чужого, прыгнет? Он не цыпленок…

— Кабы цыпленок, я б его сам взял, — спокойно ответил шофер. — Только какой ему расчет на меня? У меня в руке ключ, а в клетке — готово мясо. — И, встав, он крикнул Плонскому: — Товарищ укрощающий! Он запах мяса плохо чует. Ветер относит.

Разрешите, я ему — поближе, на таком, глазомерно, расстоянии, чтобы успеть в клетку сбросить…

Плонский не отвечал. Он вынул револьвер. Тигр фыркнул, попятился было, а затем опять стал на прежнюю позицию, в положение «А».

— Я — мужик. Я и сено могу с вил, — продолжал шофер, — могу и мясо кинуть.

Сквозь шум потока Плонский расслышал шаги по щебню. Он перевел глаза. С плаксивым выражением длинного белого лица к укротителю шел шофер Дементьев, держа на вилах кусок мяса. Плаксивое выражение было у него оттого, что он держал во рту свисток ассистента, который попрежнему дежурил возле дверей клетки, готовый захлопнуть ее.

— Ну, так свистите же, — громко сказал укротитель.

Шофер засвистел со страстью почти милицейской.

Тигр чуть повел плечом в сторону свистка. Шофер параболой, точно меча сено на стог, бросил вилами мимо тигра, в клетку, большой кусок теплого и пахучего мяса, а сам повалился — для безопасности — на землю. Мясо шлепнулось на сухой и горячий пол клетки. Ассистент наклонился, готовясь хлопнуть дверью…

Тигр собрался прыгнуть…

Но для того чтобы прыгнуть, он несколько попятился. Берег подломился под ним. Он упал в воду, но не на перекате, через который проходил брод, а в глубину!

Плонский кинулся к обрыву. Под ним, среди корней, которые крутил и ломал поток, что-то барахталось и фыркало. Корни, многочисленные, дубовые, крепкие, образовывали непроходимую сеть. Густая тень обрыва лежала на корнях и на воде. Трудно было разглядеть там желтое могучее тело. Но, наконец, Плонский разобрался. Тигра зажало между двумя мощными корнями. Он напряг силы. Показалась его морда, мокрая, присмиревшая, полная испуга, почти ребячьего.

— О-о!.. — услышал возле себя Плонский голос шофера. Шофер подобно псарю, порскающему по острову и ободряющему собак «оканьем», окал и на тигра!

— Шофер, трос!.. Которым машину!..

— Понятно.

Плонский схватил трос, накинул его на корень:

— Дергай.

— Через машину?

— Через.

Когда платье на теле укротителя высохло — ибо, после того как спасли тигра и он стремглав испуганно влетел в свою клетку, Плонский сам свалился в воду, и ассистент с шофером не без

труда вытащили его, — Плонский важно говорил, стоя возле машины со зверями и разглядывая букет, поднесенный ему девушкой-шофером:

— Красивые цветы. Но не цветы нам сегодня принимать бы, а розги. Что вы, в частности, не слышали свистка, Алексей Валерьич?

— Я исполнял ваше приказание, — пробормотал Алексей Валерьич, разглядывая трубку, которая дымилась теперь уже во рту гладкого ассистента — и дымилась исправно: — я собирал букет.

— Вы собирали букет, но вы потеряли место моего первого помощника. Вперед, шофер.

Речка скрылась за дубами. Плонский наклонился к своему первому помощнику и сказал то, что он не мог сказать в присутствии шоферов. Его чрезвычайно беспокоит Кай-Октавиан.

— Вы заметили — ненависть. Настоящая ненависть. Он даже не прикоснулся к мясу. Отказался от пищи. Как мы его сегодня выведем на арену?

— А надо.

— Надо, — сказал укротитель. — Мы обязаны.

Волнообразно, массивно вырастали террасы и утесы, изрезанные глубокими бурыми ущельями. Скоро начнется плоскогорье Бух-Тайрон, окончатся впадины, покрытые зеленью, встанет дикий камень, и в достаточном количестве. Говорят, что прежде через это плоскогорье даже птицы боялись летать, как через море, и верблюдов из-за отсутствия травы поили соком арбузов. Зелени не бывало даже и весной, и караваны старались идти через плоскогорье напроход, без остановок. Теперь многое изменилось и особенно изменится, когда колхозники окончат канал…

«Надо. Обязаны и мы!»

Укротитель вспомнил, что когда машины тронулись, он услышал словно бы гул в горах от взрыва. Не подняли ли перемычку?

Укротитель посмотрел на свои большие часы. Они показывали двадцать минут пятого. «Да ведь это же просто. Как я не догадался!»

— Стой!

Он выпрыгнул из машины.

— Я забыл револьвер на берегу… Выбросил, когда тянул Кая… Обождите меня…

И он пошел обратно. Ассистенты и шоферы удивленно смотрели ему вслед. Револьвер-то находился у него в кобуре.

Он вскоре вернулся и спросил шофера:

— Дементьев! Когда вы рассчитывали прибыть к переправе?

— К мосту?

— Да, к мосту.

— Так его ж снесло!

— Вот я вас и спрашиваю: когда вам было приказано вашим начальством прибыть к мосту, — снесло его или нет, все равно?

— К четырем дня.

— А вы прибыли на два часа раньше?

— Жал, товарищ укрощающий.

— Напрасно, выходит, жали, мой друг. Полчетвертого строители взорвали перемычку, остановили поток, и воды его хлынули в котловину, где предположено быть Бух-Тайронскому водохранилищу. Теперь ясно?

Все попрежнему глядели на укротителя с недоумением.

— Боже мой! Они не понимают. Да ведь строители хотели сделать нам подарок: моста нет, но и потока нет. Я сейчас был у потока. Его нет.

Шофер свистнул.

— Конфузное дело, товарищ командир.

Плонский сказал, указывая на горы:

— Мы все заинтересованы в четкой работе зверей, тем более что они принадлежат нашему государству. Поможем зверям. В чем заключается эта помощь? А в том, что если люди узнают о наших переживаниях при переправе через речку, когда звери даже вырывались на свободу, зрители неизбежно взволнуются и передадут это волнение зверям. Звери очень чутки к настроению зрительного зала. Волнение может кончиться плохо. Я предлагаю: инцидента у речки не было. Переправа прошла благополучно, ровно в четыре часа дня, как и намечалось. Понятно?

Шофер Дементьев сказал:

— А два часа, которые мы нагнали?

— Нет. Переехали ровно в четыре часа. Как посуху!

— Есть как посуху! — сказал шофер Дементьев. — Понятно.

И шофер с бледным лицом и девушка в сером сдержали свое слово.

Для этого они сели в первый ряд и хлопали укротителю отчаянно, с веселыми и беззаботными лицами. Укротитель в безукоризненном фраке, с орденской ленточкой выходил на аплодисменты. Лицо его было, как всегда, спокойно, и сдержанная улыбка была на его губах.

Арена цирка приобрела свои нормальные размеры, хотя позади наскоро сколоченных скамеек виднелись корпуса строительства, высокая электростанция и озеро, образовавшееся от запруды потока. В озере уже отражались горы, и даже

слышался гам птиц, пробуждающихся от аплодисментов…

После представления артистов чествовали. За столом укротитель сидел рядом с почетным стахановцем строительства — Антоном Максимовым, который говорил:

— А мы вам здорово ответили? Велели приехать к мосту в четыре дня. Думаем: снесет мост, все равно речку отведем и пустим в пустыню. У нас тут посевы, брат, намечены — у-у… Ну, и для вас — повернули поток без десяти четыре… Как переехали?

— Как посуху, — ответил укротитель и взглянул на шофера Дементьева, который сидел напротив и прислушивался к разговору.

Дементьев сказал:

— Глазомерно, как посуху! — и он поднял стакан с вином за здоровье жены укротителя, которая, согласно полученной сейчас телеграмме, благополучно разрешилась дочкой.

И Дементьев сказал:

— Я тоже телеграмму отбил. Дружок у меня, начальник гаража, жених… — Он указал на девушку в сером и добавил: — Ее жених! Я ему отбил, что, как мною лично проверено, его невеста вполне может отвечать за шофера второго класса.

Дементьев, как видели все, был чересчур разговорчив, но все желали слушать не его, а укротителя. И поэтому стахановец Максимов завел разговор о тиграх, обращаясь к Плонскому. Он пожелал получить «исчерпывающие данные по поводу укрощения». Плонский сказал:

— Тигр — зверь. Работать с ним трудно. Но человек, как всегда в битве со зверем, должен выйти победителем. И я стремлюсь к тому — и выхожу победителем. Разумеется, при помощи других товарищей. Общими силами мы ставим тигра в положение «Б», то есть на тумбу…

Мысли его, как видите, не отличались новизной, но говорил он мерно и веско, и все слушали его внимательно. Он бы мог вдвойне и втройне увеличить эту внимательность, скажи он все то, что знал и о чем умалчивал, но о чем рвался сообщить своей жене. Кай-Октавиан больше не скалил зубов, исполнял приказания немедленно и с полным уважением глядел на руку укротителя, который, раскланиваясь с публикой не без уважения к своему дарованию, шептал, скрестив руки:

— Ужо тебе!

1944

Джунгарский цветок

Ночью в горах Джунгарского Ала-Тау выпал снег. Он лег среди тяньшанских елей. Над горами недвижно застыли облака. И кажется, что облака сливаются с землей, а темные ели растут прямо на небе, высоко-высоко. Благоухает земля.

Мы входим в дом аулсовета. Дом, и снаружи и внутри, тщательно и густо выбелен известкой. Над столом председателя с деревянной беленой балки свисает электрическая лампочка. День. Лампочка не горит. Но она блистает, отражая солнце, горы, лужи на улице. Сверкают белые стены, сияет потолок, сияет приветливо балка, и глаз нельзя оторвать от окон, за которыми дорога, ручьи, сады. Здесь понимаешь до конца все великое значение электричества — здесь, глядя на эту лампочку, которую почти не замечаешь в городе.

И думаешь, что именно здесь, в Семиречье, возникает и будет рассказана необыкновенная повесть об электричестве. Воды здешних рек не текут. Текут здесь арыки. Воды рек здесь мчатся с ревом, гамом, шумом, среди камней и долин. Возле здешних рек вам не говорить обыкновенным голосом — вы должны кричать. Вот почему каждый колхоз, построивший здесь электростанцию, чувствует себя особенно гордым, шагнувшим в то будущее, когда не только поток, но и каждая казахская река будет укрощена, укрощена с тем же умением, с каким укрощаются необузданные степные кони.

Но рассказ этот не об электричестве, а о гордости советского человека.

Нас провожает председатель аулсовета Магриппа Габылова. Она в этом совете работает давно, с 1939 года. Под ее рукой вырос не только аулсовет — выросло все село.

С Великой Отечественной войны возвращались два демобилизованных солдата. Были розовые сумерки. Растроганно смотрели солдаты на родные горы. Любезный шофер подвез их к повороту дороги, которая вела в аулсовет, где председательствует Габылова. Они слезли. Машина ушла. Они шли, рассуждая, что во время войны оставшиеся в ауле женщины, несомненно, запустили хозяйство и теперь придется многое восстанавливать.

Узнали они и речушку. Узнали мостик. Темнело. В сиреневую мглу ушли горы. Маки сложили свои лепестки. Под туманом лежали поля. Под мостиком журчала вода. И вот солдаты остановились. Они не решались идти дальше. Они спорили.

Перед ними, в полукилометре, виднелось село. Судя по всему — это родное село. И, однако, оно не было им. Другой аул! Избы в зелени. Среди острых тополей разглядишь мягкие очертания плодовых деревьев. Еле ощутимый ветерок доносит тонкий запах цветущих яблонь. Никакой тут зелени прежде не было, а тем

более плодовой! Среди деревьев блестели электрические лампочки. Из длинного здания, должно быть клуба, слышны звуки рояля. Рояль? Рояль?!

И один из солдат сказал:

— Мост — наш.

— Похож на наш, — проговорил неуверенно другой, — но мало ли бывает похожих мостов?

Они молчали, глядя на аул, на электричество, на деревья, контуры которых постепенно сливались с пахучей мглой полей. Поражало их и электричество, поражала их и зелень. Должно добавить, что казахи, привыкшие к кочевой жизни, редко разводят возле своих домов деревья. Летом обычно дома покидались, все уходили в степь или в горы. Кому ухаживать за деревьями?

И, постояв, подумав, оба солдата сказали:

— Не наш аул. Ошиблись. Шофер перепутал дорогу, а мы перепутали мосты. Пойдем обратно.

Солдаты повернули. Только на шоссе, встретив знакомого пастуха, который гнал отбившуюся от стада корову, они с изумлением узнали, что это тот самый аулсовет, который они искали.

До войны в ауле не было ни одного плодового дерева. Теперь солдаты ели яблоки и виноград. Был колхозный пир. И все радовались их ошибке, шутили над ними, и дети, смеясь, глядели на них, моргая длинными ресницами, обдавая их свежим дыханием жизни…

Но рассказ этот не о солдатах, вернувшихся с фронта. Рассказ — о рояле, который они слышали, и о песне, носящей название «Джунгарский цветок».

Мы шли мимо клуба. Слышались оттуда звуки рояля. Кто-то играл с большой силой, плавно и вдохновенно. Разумеется, это не была игра опытного мастера, но высокое чувство, обстановка, горы, весна, деревья с завязями плодов — все это заменяло руку опытного мастера.

Я сказал:

— Хорошо. Что это он играет?

— Она играет, — поправил меня сопровождающий. — Ее зовут Залиха Бердыбаева.

— Где она училась?

— Она здесь училась.

— Здесь?

— Она пожилая женщина. Ей пятьдесят лет. Ей трудно было ехать в Алма-Ата учиться. Она здесь училась.

Я попросил объяснений. И сопровождающий сказал:

— Если вы обещаете не разглашать широко, я вам расскажу. Здесь есть одно затруднительное обстоятельство, из-за которого нельзя широко разглашать эту историю…

Конечно, я обещал.

И сопровождающий сказал:

— Муж у Залихи Бердыбаевой был почтенный певец. Его в нашей области знали многие. Он пел при всех случаях: и в горе и в радости. Самой известной его песней была песня, которую он пел в радости. Ее очень любил народ. Она называлась «Джунгарский цветок». Хороший, пышный цветок, вроде горного пиона. Его видят казахи, когда гонят стада на горные пастбища, в джайляу. Вам известно, что нет большей радости для казахов, чем подниматься летом на джайляу? Он замечательно пел эту песню.

Родился у них сын. Сын приветливый. Голос с детства — необозримый, лазурный, его так называли. Скоро начал перенимать все песни своего отца. Отец говорил: «Лучше меня певец будет». Умер отец, к сожалению, рано. Не увидал всей славы сына! А сын учился, пел, и вот поехал он в Алма-Ата, и там взяли его в консерваторию. Стал он молодым композитором. Создавал талантливые вещи. Большие надежды были. Весь аул им гордился, поддерживал его как мог. Приедет, бывало, в аул, играет на домбре, поет. А в конце начинает петь «Джунгарский цветок» — и у иных на глазах от радости слезы.

Он говорит:

— Вот еще немного поработаю, достану рояль, привезу в колхоз, буду вам играть свои вещи. Сыграю вам на рояле мелодию «Джунгарский цветок»…

Мы ждали.

Началась война. Молодой композитор Солорман Бердыбаев сказал:

— Мне нужно идти. Я не могу иначе. Мне нужно идти на войну.

Записался добровольцем. Перед тем как выехать на фронт, приехал в родной аул проститься. Привез свои ноты, все свои работы. Очень много работ. Попросил мать поберечь их. И с войны писал, справлялся, как его работы — в сохранности ли?.. Конечно, в сохранности! Мать ли не сохранит? Мы ему писали от имени аула. Говорили, что поем его «Джунгарский цветок» и все его ноты в сохранности.

Он был сержант. При взятии Варшавы он погиб смертью героя.

О нем много писали хорошего. А затем приехали сведущие люди из Алма-Ата, сказали, что ноты его им нужны, что музыку его исполнять нужно. Мать не хотела отдавать. Как расстаться?

Она все думала, что ошибка, что сын придет. Но мы уговорили ее. Герой умер. А песня его должна петься. Она должна продолжать его дело!

Еще немного спустя мы стали слышать его музыку по радио. «Джунгарский цветок» исполнялся довольно часто. Залиха была довольна. Слушала всегда так, будто сын ее стоит рядом. Мы написали благодарность в радиокомитет. Когда узнавали заранее, что будет исполняться «Джунгарский цветок», мы надевали лучшие костюмы. Залиха надевала пальто, крытое бархатом. Мы, казахи, любим бархат. Это наш любимый наряд. Он нам напоминает весну, бархат полей, бархат горных лугов.

Залиха Бердыбаева у нас заведует колхозной фермой. До войны у нас на ферме было сорок голов крупного скота. Во время войны, под заботами Залихи, стадо выросло до двухсот голов, из них — пятьдесят одна дойная и ни одной больной, заметьте. Такие заботы! А ведь, кроме того, мы передавали скот для питания армии, жертвовали в районы, пострадавшие от оккупации. Забот, хлопот много. Разумеется, не всегда она имела возможность подойти к радио. Постоянно она в поле…

Однажды она говорит председателю аулсовета:

— Посоветуй, как быть? Не могу жить без музыки сына. Хочу изучить ноты. Хочу съездить в Алма-Ата, взять его ноты…

— Копии? — говорит председатель. — Копии дадут. Я поеду с тобой.

Председатель и Залиха поехали в нашу столицу.

Копии нот им дали. Получили они также и деньги: ноты приобрело издательство для печатания. Деньги большие. Залиха Бердыбаева, разумеется, из этих денег не взяла ни копейки. Все пожертвовала в фонд обороны.

А с нотами беда! Оказалось, что они для рояля. А Залиха знает только домбру. Как быть?.. Вернулась в аул Залиха, горюет.

Говорит однажды Залиха Бердыбаева:

— Не могу своей фермы бросить! Иначе уехала бы в Алма-Ата, начала бы учиться на рояле. Хочу слышать сына! Как быть?

Как быть? Собрал нас председатель. Спрашивает: «Как быть?» Мы сидим, думаем. Как быть? У нас есть механик Соколов. Бывший сталинградский боец. Он нам построил за аулом, у дороги, возле того мостика, где те возвратившиеся солдаты не узнали своего аула, — там он построил небольшую электростанцию. В сарае была мельница; он сарай перегородил: в одной половине — мельница, в другой — электростанция. Огонь электростанции нужен аулу только вечером, поэтому днем Соколов энергию приспособил для мельницы. Мельница обслуживает два района, но, конечно, своему району мелет вне

очереди. Так вот этот Соколов, демобилизованный по ранению, говорит:

— Если вы вспомните, в каком робком состоянии находилась прежде казахская женщина — она даже не имела права садиться за один стол с мужчинами, а только прислуживала, — то все благородные желания советской казахской женщины нужно всячески поддерживать! Я предлагаю приобрести ей рояль, пригласить из города учителя, там есть старички музыканты из эвакуированных, я сам лично даже знаю такого. Будем привозить старичка, продукты ему дадим, пусть учит.

Председатель наш Габылова говорит:

— Она не согласится!

— Почему она не согласится?

— Потому что рояль стоит дорого. Своих накоплений у нее нет, все свои сбережения она пожертвовала в фонд обороны. Разве она согласится, чтобы во время войны колхоз ей приобретал рояль?

Все признали, что Залиха Бердыбаева — женщина гордая, не согласится. Как быть?

Сидим, думаем.

Тогда опять этот неугомонный Соколов говорит:

— Хорошо. Пусть этот разговор будет только между нами. Я еду в Алма-Ата, приобретаю на общие деньги рояль и скажу ей, что рояль этот давно консерватория подарила ее сыну, но забыли сказать ей, когда она приезжала. Война, знаете, не до роялей… А он стоит на складе. Я беру все на себя! Изба у нее маленькая; ну, пускай стоит пока рояль в клубе. Война кончится, выстроим ей большой дом, перевезем рояль… Пускай играет…

Она начала учиться. Трудно в пятьдесят лет овладеть роялем. Но Залиха Бердыбаева — настойчивая женщина, умная женщина. Она научилась. И вот теперь, слышите, она играет, каждый день играет песню о «Джунгарском цветке»… Слышите?..

Мы подошли к мельнице. Механик Соколов, прихрамывая, показывает нам распределительную доску, ведет к проходу, к турбине. Турбина мала, надо увеличить проход. Делали станцию во время войны, для победы торопились. А теперь пора и исправить. Исправим… Механик полон заботы, восторга, речь его отрывиста, и с особо острым вниманием рассматриваешь его солдатскую одежду, ту одежду, в которой он защищал Сталинград, одежду, на которой ныне покоятся крошечные крупинки размолотого зерна. Да, он был в Сталинграде, этот рядовой, и там ранен в ногу…

— У нас все будет! — говорит он громко, покрывая своим крепким солдатским голосом шум потока. — Молотить

электричеством? Обязательно! Кузню механизировать? Обязательно! А как же иначе?

Соколов широко разводит руками:

— Смотрите, сколько здесь воды! Сила! Даровая! Только бери…

Он смотрит на меня, улыбаясь, и вдруг говорит:

— У нас в селе уже рояль есть. Слышали «Джунгарский цветок»?

В голосе его столько теплоты, что мы невольно оборачиваемся к аулу.

Сквозь облака опять прорвалось солнце. Оно опять залило своим сверкающим светом крыши, глинобитные заборы, сады. Ветер относит в сторону дымок из глинобитной трубы, машет им, как платком. На крышах и заборах алеют блещущие влагой нежные маки. И, весь дрожа от радости жизни, от радости творчества, весь наполненный песнью о «Джунгарском цветке», думаешь: «Как же ты прекрасна, жизнь! И как же ты прекрасен, Человек моей страны, преобразователь судьбы и земли…»

… Я не сдержал слова. Я рассказал о песне «Джунгарский цветок». И разве я мог поступить иначе? Я лишь не привел название аула и несколько изменил фамилии героев рассказа.

1947

Отчет Петра Бондаренко

Из шоферов выдвинули Петра Бондаренко в заведующие складом Сельхозснаба. Понятливый парень, желает учиться, ну ему и предложили показать себя и поработать для родины, чтобы зерна было у нас больше! Дело ответственное: снабжать колхозы, совхозы и МТС нужным инвентарем и частями.

Склад находится возле станции Проливное. По ту и другую сторону железнодорожной станции, почти на равном расстоянии, километрах в тридцати пяти, две МТС. Одна называется Оседловская, другая — Бухжардская. Но была в расстояниях ощутимая разница. Летом, в жаркое время, или зимой, в студеное, расстояние одинаковое. А как только разлив или слякоть — кончено. Нет пути к Оседловской! Объездом только. А объездом чуть ли не триста километров. Капризно озеро Уль-куль!

Озеро Уль-куль упирается обоими концами в каменистые холмы, оно мелководно, заросло камышами, посредине перетянуто, как колбаса веревкой, узкой галечнопесчаной косой, «Лобовая» коса называется. Лоб, дескать, разобьешь, пока ее

поймаешь! Коса километра два или полтора не доходит до противоположного берега. Рыба в озере редка, разве что камыша народ накосит на топливо, — только и пользы.

А по ту сторону озера, в продольной долине Уль-кульской, стоит Оседловская МТС, директором которой является приятный парень, знаток сельского хозяйства Григорий Морковкин, связанный тесной дружбой с Петром Бондаренко. Если говорить о дружбе, так дружило их трое: Морковкин, затем Петр Бондаренко и заведующий районной конторой связи Даулетжар Каманов.

Ребята все молодые, лет по двадцати пяти, были на войне, вели себя там достойно, служили в разных частях и все же, бывало, встречались. Придут в Белград — встретятся, придут в Вену — встретятся. Вообще встречались в крупных местах. Встретятся, поговорят о семьях — все они были женаты и оставили дома детей, вспомнят комсомольские ранние годы и далее то, как они ухаживали все трое за одной девушкой, некоей Ниной Гуссейновой из областного города. Они там учились. Ухаживали все втроем, и страдали все втроем, так как она была к ним равнодушна. Она кого-то любила.

Ну вот, сидит однажды Петр Бондаренко у себя в конторе склада Сельхозснаба, проверяет копии документов. Весна предстоит ранняя, но дела складываются неплохо. Организации постарались и прислали запасные части и инструменты. Вопрос в том, скоро ли успеют МТС забрать эти запасные части. Это происходит числа семнадцатого апреля, заметьте. На юге уже некоторые и отпахались, а в Восточном Казахстане только готовятся. Сроки пахоты чрезвычайно сжатые — и не день, а час имеет значение.

Вдруг подают письмо от знакомой, которую в юности он знал как Нину Гуссейнову. Она работает сейчас на заводе, изготовляющем запасные части к сельхозмашинам, а также ведет большую партийную и культурную работу по городу. Бондаренко всегда улыбался, когда видел знакомый с юности почерк, а тут — заботы, транспорт, дороги, недостаток горючего, малоквалифицированные шоферы, так что улыбка внутри мелькнула, на сердце, а наружу не успела пробиться.

Бондаренко читает:

— «Петр Иванович! Если есть возможность, доставь наиболее важные и необходимые запасные части (список, присланный Гришей Морковкиным, при сем прилагаю) к нему в Оседловскую МТС. У него с транспортом туго. Он не ожидал, что запчасти так быстро привезут, и дал свой транспорт колхозам. Человек он, знаешь, застенчивый, к тебе обратиться стесняется, знает, что у тебя тоже график и ты не откажешь, но план твоих работ может

пострадать. Так что сделай ему дружескую неожиданность! Он мне пишет, что тракторная бригада Мусабекова хочет своевременно отремонтировать трактор и прицепной инвентарь, обязавшись в текущем году выработать по тысяче гектаров условной пахоты на пятнадцатисильный трактор. Замечательно! А ведь Бухжардская МТС, с которой Оседловская соревнуется, находится в лучших условиях в смысле дорог, и, кроме того, они, бухжардцы, не предоставляли своих машин колхозам. Надо помочь оседловцам и в культурном смысле! Вот почему я им посылаю от наших организаций книги, журналы и фильмы для кинопередвижек. Пусть посмотрят, воодушевятся. Тракторная бригада Мусабекова хочет с первых же дней пахоты использовать машины на полную мощность. Торопиться я тебя не прошу, но если всколыхнутся твои общественные чувства — сам поторопишься. Ехать тебе лучше не по Кистау, а по обходной дороге. Длиннее, но верно».

Бондаренко прочел письмо и задумался. «Конечно, надо помочь оседловцам, бригаду Мусабекова надо окрылить. Это хороший тракторист, выдающийся, он поднимается, и если его поддержать, пойдет далеко! Но только ехать по обходной дороге долго. Нельзя ли все-таки рискнуть по Кистау?» Горячий был этот Бондаренко.

«Лобовая коса» — русское название. Казахское название у нее другое — «Кистау». Что это по-русски значит, не знаю. Есть такое толкование, что «кыз», мол, девушка, а «тау» — гора, выходит что Девичья гора. Но это бессмысленно. Никакой горы там нет, есть бугры каменистые, да и те за озером, а девушка… какая девушка и зачем полезет в озеро? По этой зимней дороге через Кистау вследствие распутицы уже недели две или три никто не ездит.

Бондаренко направляется к другу своему, завпунктом связи казаху Даулетжару Каманову. Даулетжар прочел письмо Нины Сергеевны и, возвращая его Петру Ивановичу, говорит:

— Доставлено в исправности. На что, пожалуйста, жалуешься?

— А жалуюсь на то, что хочу в противовес письму, для скорости, наиболее важные предметы по Кистау доставить.

Даулетжар захохотал:

— Ха-ха! Кто по Кистау ездит весной? Там кабан не пройдет, не то что автомашина. Машины потопишь, себя потопишь. Поезжай обходной дорогой, мнение Нины Сергеевны правильное…

— Обходная дорога в ухабах, машины будут буксовать, застревать, доехать доедем, но пройдет дня три-четыре, а тут каждый час дорог. Ведь если ждать машин от оседловцев — целая

неделя пройдет, весь план посевной сорвем. Нина Сергеевна хорошо сделала, что предупредила. Но если встать на общественную точку зрения, лучше мне ехать по Кистау!

— Верно, верно, только какой шофер повезет тебя по Кистау? Нет такого отважного шофера.

— Кто? Я сам поеду, — говорит Бондаренко.

— Ты?

— Я шофер первого класса. На войне командующего фронтом возил.

— И все-таки через Кистау не проведешь. Себя погубишь, репутацию погубишь, фильмы погубишь. Ты не смотрел, какие она фильмы послала? — Даулетжар был любителем кино.

— Да черт с ними, с этими фильмами! Эх, Даулетжар, тонули мы с тобой в Дунае — не потонули, неужели в Кистау потонем?

— Дунай — река бурная, — сказал Даулетжар. — Но разве его с нашими реками, озерами сравнишь? У нас весной — моря! Я тебе не советую ехать через Кистау. Не было таких случаев, чтобы кто-нибудь проезжал в такое время!

— Надо пробовать!

Записка от Нины Сергеевны была получена вечером. Бондаренко позвонил в Оседловскую МТС по телефону. Морковкина не было — поехал в колхозы торопить, чтобы возвращали ему поскорее автомашины. А колхозы семена возят в поле, машины им нужны дозарезу… Словом, обстоятельства жизни у Морковкина тяжелые, и, дай бог, если он отправит послезавтра свои автомашины за необходимыми ему запасными частями.

«Нет, надо тебе, Петр, ехать самой краткой дорогой!» — сказал сам себе Бондаренко.

За ночь Бондаренко выверил машину, смазал, заправил горючим, погрузил наиболее важные запасные части, книги и коробки с фильмами, загрузил и остальные машины, приказал им идти обходной дорогой к Оседловской МТС.

Перед рассветом он вывел свой грузовик за дощатые ворота гаража. Сторож с заспанным и похожим на пирог лицом, древний казак, воевавший еще в русско-японскую, закрывая ворота, сказал, глядя в чуть розовеющее небо:

— А быть метели, разъязви ее, Петр Иванович.

— Откуда?

— В глазах слепит перед метелью: я ведь старый волк, Петр Иванович! Ну, да ничего, шашша хорошая. В горячую пору все по Кистау норовят, ну, шашшу через то и берегут. Шашша ничего, хорошая. Головной машиной, стало быть, едешь?

Петр Иванович ничего не ответил ему, дал скорость и

полетел по направлению к Кистау.

— Ошалел парень-то! — сказал старый казак, заложил за щеку нюхательного табаку и пошел спать.

Совсем рассвело, когда Бондаренко выехал на Кистаускую косу. День был ясный, немножко ветреный. Вдали виднелось озеро, покрытое синевато-белым льдом. Кое-где темнели большие полыньи, и это придавало озеру серьезность. Да и вообще все вокруг было серьезно, значительно: каменистые холмы, еле-еле маячащие за озером, мыс Кистау, постепенно суживающийся, покрытый черной галькой. Даже летняя дорога по мысу, едва обозначавшаяся, тоже была серьезна. Колеи ее обледенели, позвякивали, как жестянки, когда колесо автомобиля врезалось в лед, и, казалось, говорили Петру Ивановичу: «Ой, напрасно, парень, ввязался в это дело. Поворачивай-ка лучше обратно». Недобро звенел скошенный камыш, тоже обледенелый, — звенел остатками своих стеблей…

Машина шла, и шла отлично. «Проскочим!» — думал Петр Иванович. Он встал на подножку и вгляделся. В камышах ослепительно сверкал снег, черные гальки Кистау упирались впереди в лед. Чего еще надо?! «Проскочим!» Отчетливо видны были над озером каменистые холмы, с южной стороны уже значительно почерневшие и освободившиеся из-под снега. Ветер дул юго-восточный, по временам в порывах его Бондаренко чувствовал запах талой земли, и тогда сердце его сжималось и хотелось заплакать от волнения.

— Весна-матушка, весна, — бормотал он. — И откуда взяться бурану?

Откуда взяться бурану? Бондаренко смотрел на тучки, поднимающиеся с юга, продолжая еще думать: «Откуда буран?» Откуда ниоткуда, а не успел Бондаренко проехать Кистаускую косу, как по льду озера заходили снежные струйки и в кабину машины начали проскакивать холодные снежные искры.

— А ведь прав старый черт, быть бурану!.. Ничего, проскочим! — сказал Бондаренко, с тревогой пуская машину на лед.

Машина прошла озером с километр, не больше. Бондаренко прислушивался к бурану. Он не мог бы определить словами, когда буран «играет», а когда «ревет во всю мочь», ни одно слово не подходило даже приблизительно, но он знал, долго живя в Казахстане, все повадки бурана. Чувствовалось, что буран «заревет» с минуты на минуту, и тогда — беда! Есть такие кони, которые сами находят дорогу в буран, но грузовик, хоть в нем и много лошадиных сил, не конь. Тогда останавливайся. А как остановиться среди озера? Раскачает лед, рванет, понесет

льдины… держись, Петр Иваныч!

Сквозь клочковатое, как творог с молоком, месиво бурана Бондаренко увидел внизу что-то синее. Вода! Он осторожно подвел машину к воде, слез, достал шест и нащупал дно. От сердца у него отлегло, и он блаженно улыбнулся. Просто поверх льда выступил легкий слой воды. А он-то думал, полынья!

Он прошелся по воде, она тянулась метров на сто, не больше. Затем он вернулся в машину, затянул ремень на полушубке, хотел покурить, но что-то подсказало ему, что скоро буран будет «реветь», и он двинул машину вперед. Не прошел он и двадцати метров, как машину качнуло, послышался треск, вода отхлынула и громадная льдина, на которой стояла машина, медленно раздвигая другие льдины, поползла по направлению к широкой стороне озера. Но даже это не было страшно, страшно было другое: льдина кренилась как раз в ту сторону, где стояла машина. Машина тоже кренилась. Противоположный край льдины резко выступил из воды, и были видны вмерзшие камышинки и какие-то коренья. Должно быть, лед примерз к земле и его раскачивало долго, пока не оторвало. Бондаренко встал опять на подножку. Машину кренило все больше и больше, и ему страшно было обернуться, словно за ним разверзлась пропасть. Да и впрямь пропасть! Глубина в озере не мереная, и хотя говорят, что оно мелководно, однако не растут же по всему озеру камыши?

Стоял он на подножке долго, пока не замерз. Постепенно льдина уравновесилась, и машина начала поднимать кверху кузов. Бондаренко боялся и пошелохнуться, словно он мог повлиять на равновесие льдины. Снег и ветер усиливались, горизонт был закрыт, слышалось только вокруг шуршание и треск льдины.

«Морозцу бы, морозцу, — думал Бондаренко, — они тогда смерзнутся, остановятся». А что мороз? Образуются завалы, преградят дорогу. Бросай машину, иди пешком. Куда? Позорить себя, друзей? Эх, плохо! «Плохо», — присвистывал ветер. «Плохо», — шипели льдины, как змеи.

Внезапно машину толкнуло. Кузов ее поднялся вверх. Бондаренко упал на крыло. Он услышал шипение, но отличное от шипения льдины. Прислушавшись, он понял, что это шуршат под ветром камыши. Льдина уперлась в камыши. От волнения у Бондаренко запылало лицо, он всем телом впитывал в себя это благодатное шуршание камышей, а затем привстал и закричал от удовольствия во весь голос. И как только он закричал, ему почудился запах дыма. Аул, стало быть, близко? Он повторил крик. Немного погодя он услышал сквозь буран ответный крик,

слабый, какой-то засыпающий. Померещилось? Бондаренко закричал сильнее. Ему ответили. «В диковинку весенний буран, — подумал он, — мужики и вышли послушать».

— Э-э-э-эй!.. — слышалось издалека, и голос был знакомый.

Не помня себя от радости, Бондаренко закричал:

— Даулет, ты?

— Я-я-я! — Из белой мглы выскочила сначала голова коня с поднятой от ужаса вверх гривой, затем показалась закутанная в тулуп, в высоком малахае, фигура Даулетжара. — Как дела, друг?

— Ты откуда?..

— Откуда? Смотрю, механика не взял. Как без механика тебе? Я знаю, ты не хотел людей подводить, на себя всю ответственность. Это, извини, безрассудно! Надо было с шоферами общее собрание устроить, объяснить им, а ты сгоряча рванул один. Шоферов в гараже у тебя нету, уехали по обходной. Думаю: может, я в таком случае помогу? Если общественность спросит, почему Бондаренко так горячо поступил, я всегда смогу объяснить, что я с ним был. У меня, кроме того, день выходной. Надо прогуляться, давно на озере не был. Веди за мной машину, поедем прямо по камышам, здесь легко, пожалуйста.

Даулетжар показывал дорогу. Машина с трудом, но все же шла по камышам: снегу здесь было мало, а внизу камыши сильно обледенели. Бондаренко вел машину и думал: «Не прискачи Даулетжар, сдох бы ты, Петр, вместе с своей машиной. Вон он как дорогу знает, каждая кочка с детства знакома!» Время от времени они останавливались, отдыхали: машине не легко, а коню еще трудней. Наконец, Даулетжар сказал:

— Слышишь?

— Нет, ничего не слышу и не вижу. Снег да ветер.

— Кизяком пахнет, слышишь?

— Я уже один раз с кизяком обмишурился. Ты кричал, а я, кроме голоса, еще и запах дыма слышал.

— Тогда была ошибка, теперь — правда. Попробуй закричи. Собаки залают, аул близко. Чай будем пить, биш-бармак сделаем, фильм можно посмотреть: аппарат тоже везешь…

Часа через два буран улегся. Машина благополучно пришла в Оседловскую МТС, Морковкин привел уже свои машины из колхозов и готовил их к пути на склад Сельхозснаба. Обрадовался-то как! Показывал он им тракторы, спешно нуждающиеся в ремонте, и, ни на шаг не отступая от начальника, ходил и дрожал от радости бригадир Мусабеков. Каждый час дорог, а тут такой неожиданный подарок!..

В отчете Петра Бондаренко в область о всем этом событии было сказано кратко: «Запасные части и необходимый инвентарь

на Оседловскую МТС доставлены своевременно. То же самое и на Бухжардскую МТС. Мы добьемся самого высокого урожая. Зерна будет много».

1948

Утро

Зерно колхозники «Восхода» должны были передавать государству при исключительно торжественной обстановке. Признаться, председатель колхоза Николай Данилович Гамзов никак не ожидал такого торжества. Конечно, труда колхозники положили немало, но все-таки… Ночью в колхоз приехал секретарь райкома Канищев. За ним следом — предисполкома Юрин, затем — редактор и два сотрудника областной газеты, оператор кинохроники и фотограф.

Всю ночь в доме и во дворе Николая Даниловича гудели возбужденные голоса. Особенно выделялся хриплый голос кудрявого кинооператора. Прислушиваясь к этому голосу, Николай Данилович сказал секретарю райкома Канищеву:

— Всякому свое. Колхозники радуются, что до заморозка успеют собрать зерно, а ему для кино заморозок нужен. Дескать, мороз хватил, а пшеница такая чудодейная, что ей и мороз ничего. А дело тут не в морозе, а в скороспелости.

— В человеке дело, — тихо отозвался секретарь райкома, глядя в утомленные глаза Николая Даниловича.

Они находились в жарко натопленной, по-зимнему, комнате вдвоем. Николай Данилович сидел на кровати в пиджаке, без сапог.

— Вы что ж, спать не будете ложиться, Николай Данилыч? — спросил секретарь. — Надо бы отдохнуть, завтра день хлопотный.

— Отдохну, — задумчиво произнес Николай Данилович.

Он помолчал, глядя прямо перед собой, и сказал:

— Вот вы, Иван Григорьевич, о человеке сказали… Так вот на примере комсомольца Семена Алексашина весь человек и сказался! Ему у нас первая награда должна быть…

Николай Данилович встал. Тяжело шлепая большими босыми ногами по половицам, он подошел к столу и сел рядом с секретарем. Ему хотелось рассказать секретарю об Алексашине чрезвычайно много, но то ли дневная усталость, то ли заботы и волнения мешали, — слова ему казались сухими, неинтересными, неубедительными.

А как много ему хотелось сказать!

В деревне считали, что Сенька Алексашин растет пустым и

вздорным мальчишкой. Он лазил по чужим огородам, учился плохо, старших не признавал.

Расширялся и богател колхоз. Вместо старой деревни, с низкими покосившимися избами под соломой, давно уже была выстроена новая: с широкой озелененной улицей, стройными рядами домов, цветами в палисадниках; в центре высились большие здания — школа, детские ясли, правление колхоза… Но Сенька оставался прежним и, казалось, вовсе не хотел замечать изменений в родном селе. Веснушчатый, босоногий, ходит он, бывало, по берегу пруда, ковыряет в ухе пальцем и смотрит в воду, где, барахтаясь, плавают утки. Смотрит, смотрит, а потом — бух! — и прямо в середину стаи. Дразнил он непрестанно собак, а особенно ненавидел (еще в раннем детстве его чуть не заклевал гусак) деревенских гусей.

Однажды, поймав его за избиением гусака, Николай Данилович схватил Сеньку за ухо.

— Только надери, только надери! — завизжал Сенька, и глаза его наполнились слезами. — Я тебе тогда…

Николай Данилович крепко держал Сеньку. Он увидел, что уши у Сеньки тонкие, бледные, сильно оттопыренные, и ему вдруг стало жаль мальчишку. Он вспомнил, что у Сеньки нет ни отца, ни матери и живет он у бабки… И хотя он единственный ее внук, но чему может научить его она? Сама темным-темная, раньше была кружевницей, потеряла на этом зрение, стала неспособной к труду. Небось она и без того дерет мальчонку за уши, хитрость невелика! Вот и вся ее наука! Не выпуская из рук Сенькиного уха, но ослабив пальцы, Николай Данилович сказал:

— Я тебя держу, чтобы ты меня слушал.

— Надо мне! — насмешливо сказал мальчишка. — Больно мне надо тебя слушать. Я тебе не правленье! Пусти!

— Учиться хочешь?

— Не хочу!

— Подучишься — в город отправлю. В университет попадешь, станешь сам учителем или инженером. К бабке на автомобиле приедешь, по радио с ней будешь говорить.

— Пусти!

— Или, может, хочешь офицером стать или летчиком? Мы поможем…

И совсем неожиданно Сенька на близком расстоянии от своего лица увидал черные ласковые глаза и приветливо улыбающиеся губы. От Николая Даниловича пахло дегтем, свежим хлебом…

Председатель опустил руку, но Сенька стоял неподвижно и, не моргая, широко открытыми глазами смотрел на Николая

Даниловича. С ним никогда и никто так не говорил, и Сенька был поражен. Он привык, что его бранили за проказы, кричали на него, а тут стоит перед ним взрослый мужчина, сам председатель колхоза, и предлагает учиться… Такого оборота Сенька не ждал… Ему всегда казалось, что в деревне ему не жить. Его куда-то «манило», а куда — он и сам не понимал.

— Обманываешь… — нерешительно произнес, наконец, Сенька.

— Вот тебе честное слово, что не обману, — серьезно оказал Николай Данилович. — Ну какая мне выгода тебя обманывать?

И он действительно не обманул. Правление помогло Сеньке. Он стал учиться лучше, а вскоре опередил товарищей, стал первым учеником школы. Несколько лет спустя Сеньку отправили в город. Николай Данилович отпускал его с неохотой: в колхозе уж очень нужны были работники! Но дал честное слово — значит, и будь честным.

В городе Сенька учился прекрасно, стал комсомольцем; ему бы уж действительно скоро в университет. Но тут — война… И ушел комсомолец Сенька на войну танкистом. С фронта он писал редко, однако в деревне было известно, что колхоз «Восход» имел право гордиться хорошим сыном.

Кончилась война, и Семен Алексашин вернулся в областной город, чтобы продолжать учебу.

В эти дни Николай Данилович часто бывал в городе. Областная селекционная станция вывела новый, высокоурожайный сорт яровой пшеницы «уралка-6». Район, где находился колхоз «Восход», должен был засевать свои поля этим новым сортом. Но колхоз «Восход» был исключен из числа колхозов, сеющих новый сорт, — не потому, что там было мало новаторов, а потому, что поля «Восхода» раскинуты высоко в горах, где холода наступали раньше, чем в долине. Пшеница, правда, скороспелая, но так же скоро там приходят и морозы. Зачем подводить колхоз? Лучше подождать, посмотреть…

Но ни колхозники, ни председатель колхоза не желали ждать!

— Управимся, — говорили они. — И пшеница у нас не хуже других будет.

Николай Данилович, как депутат областного Совета, пошел в облисполком, в обком партии (он был старым коммунистом и умел постоять за свое). В конце концов он добился чего хотел, тем более что старший агроном Рогожинской МТС Ирина Павловна Барменкова, очень уважаемый человек, поддерживала его.

Вот тут и явился к Николаю Даниловичу в Дом колхозника Семен Алексашин. Он сел напротив председателя и сказал:

— Хочу обратно в колхоз проситься, Николай Данилыч.

Николай Данилович охнул:

— Вот те и на! Университет как же? Ну, Семен, удивил ты меня!

— К земле тянет, — отводя в сторону глаза, вздохнув, ответил Семен. — Так берешь, что ли? — спросил он вдруг упрямо.

— Тебя да не взять! — Николай Данилович встал и хлопнул Семена по плечу. — Воля твоя!..

Был Семен Алексашин все такой же худощавый, веснушчатый, разве что сильно вырос, да на ногах — солдатские сапоги. Работал он исправно, в любое дело вкладывал всю душу. Его начали выдвигать, а на одном из собраний комсомольцы предложили сделать Семена Алексашина бригадиром полеводческой бригады. Их поддержало правление. Алексашина поставили бригадиром на наиболее ответственный участок — к полям, расположенным на северо-восточных склонах горы Подгнездовой, откуда идут всегда первые морозы.

— Ну, держись, Сенька! — называя его по старой памяти мальчишеским именем, сказал Николай Данилович. — Тебе за полем здесь смотреть да смотреть.

— Дери за уши, коли что, — серьезно сказал Семен Алексашин. — А только имени своего я не посрамлю.

И он сдержал свое слово. Весна была поздняя, холодная. Она задерживала рост хлебов и одновременно помогала сорнякам. Семен Алексашин дни и ночи проводил с бригадой на поле: уничтожали сорняки, производили подкормку. И когда начали созревать хлеба, бригада была уже готова к уборке.

Зерно не подвело. Несмотря на высокогорье, «уралка-6» вызрела безупречно. Но лето было дождливое, и во многих местах области пшеница оказалась чересчур высокой в стебле. Подул ветер — и пшеница полегла! Урал есть Урал. Здесь природа капризная. Но человек здесь сметливый и смелый. Как только стало известно, что комбайны не смогут убирать полегшую пшеницу, немедленно на заводах начали ковать серпы. Наковали сто тысяч серпов и на самолетах развезли их по районам. «Не пойдут комбайны — серпами уберем!» — сказали уральцы, хотя серпами давно не жали в этих местах и люди опасались, что уже разучились.

Серпы не понадобились. На Рогожинской МТС, там, где старшим агрономом работала Ирина Барменкова, комбайнер Карсин и бригадир полеводческой бригады Семен Алексашин придумали такое приспособление к комбайну, при котором он мог убирать и полегшую пшеницу. Комбайны пошли — и в первую очередь на полях колхоза «Восход», колхоза, который,

несмотря на предгорья и холодную погоду, добился на своих полях наивысшего урожая яровой пшеницы «уралка-6».

Вот почему съехался сюда народ, и вот почему хотели обставить торжественно первую сдачу пшеницы колхозом «Восход». И вот почему Николай Данилович считал, что бригадир Семен Алексашин должен получить высокую награду.

На северо-восточных склонах горы Подгнездовой лежал густой, как снег, иней. К крайнему полю гуськом подъезжали телеги.

От костра, поеживаясь, навстречу подводам шел Семен Алексашин, а за ним в лисьей шубе внакидку — агроном Ирина Павловна. Ее загорелое скуластое лицо весело улыбалось. Улыбка была такая радушная, такая счастливая, что все приехавшие тоже начали улыбаться. Кинооператор крутил ручку аппарата, а секретарь райкома Канищев вполголоса, словно съемка была звуковая, опросил:

— Мы за этот участок беспокоились. Как тут? Всю ночь дежурили?

— Всю ночь убирали, — ответила Ирина Павловна. — А под утро упал иней. Пшеница успела и созреть, успели и убрать! Зерно к зерну, и восковой зрелости.

— Чудеса! — сказал кинооператор.

— Наука, — ответила, улыбаясь, Ирина Павловна.

— Наука и человек, — сказал своим тихим голосом секретарь райкома. — Советская наука и советский человек — самое большое чудо из чудес. Поздравляю вас, Семен Петрович, — сказал он бригадиру, держа в руке массивный колос…

Гости подошли к участку.

— Почву бригада разделала хорошо, — на ходу объяснял Николай Данилович, с гордостью поглядывая на шагавшего в стороне Семена Алексашина. — Почва высокого качества. Сев провели в восемь дней! Весеннее боронование — вдоль и поперек рядков. А прополка?.. А контролирование глубины заделки семян?.. Словом, глаз не сводили с поля, агронома привозили чуть ли не каждый день. И еще успели думать о переоборудовании комбайна! Ведь он у нас, Семен Петрович, техник и по образованию и по душе…

Секретарь райкома взял Николая Даниловича под руку и отвел в сторону.

— Вот по поводу техники! — тихо сказал он. — Я тебя, Николай Данилыч, хочу спросить об одном… об Алексашине, бригадире…

— Слушаю, — Николай Данилович наклонил голову, приготовившись слушать.

Было утро, хорошее, свежее утро, когда все гости, довольные и веселые, вернулись с объезда полей. Канищев стоял на крыльце. Он глядел на улицу, на белые изоляторы на столбах, на новое здание правления. Лицо его было серьезно. Он сказал:

— Вроде хорошо мы с тобой придумали, Николай Данилыч, а все-таки я сомневаюсь. Вдруг да обидим? Вдруг да мы не поняли его?

— Нет, кажись, мы правильно догадались, — сказал Николай Данилович. — Ведь переделка-то комбайна возникла из чтения технических книг. А зачем ему читать, если он не мечтает? Нет, он мечтает!

— Да и я думаю, что мечтает, — сказал секретарь.

Он немного помолчал и сказал:

— Утро-то какое!

— После инея всегда свежо, — отозвался Николай Данилович.

— Я говорю: хорошее утро, Николай Данилыч. Широко как, светло-светло! Вся душа поет! Хорошо у нас на Урале, краше места нет! И вот на тебя я гляжу, Николай Данилыч. Хороший ты хозяин, все у тебя прибрано, слажено, все красиво!

— Народ ничего, старательный.

— Какое старательный, — чудесный народ! Ширина-то какая! Посмотришь такому народу в сердце — и будто летишь! Так ведь?

— Народ, что ж, народ бойкий, — ответил спокойно Николай Данилович. — Ну, я пойду. Наше совместное мнение разработаю на бумаге. Мне писать трудно, я это медленно делаю.

Николай Данилович с серьезным видом уселся за стол. Клеенка на столе была завернута, выскобленные доски блестели, как масленые. В комнате пахло свежими пирогами, вареным мясом. «Хозяйки стараются», — подумал Николай Данилович.

Он взял карандаш и задумался.

Не писалось. Тогда он достал чернила, обмакнул в них ручку. «А вдруг да сомнения секретаря райкома правильные? Ведь он понимает толк в людях! Что тогда?..» — размышлял он сам с собой.

В комнате становилось душно, а Николаю Даниловичу казалось, что он коченеет от холода. Накинув на плечи полушубок, он подошел к окну, посмотрел на светлую, широкую улицу, с которой давно уже сошел иней, и распахнул окно.

— Николай Данилыч! — услышал он и вздрогнул.

Возле окна стоял бригадир Семен Алексашин. Лицо его было бледно, сосредоточенно. Видно было, что он хотел сказать что-то важное и оттого волновался и ему трудно было говорить.

— Слушайте, Николай Данилыч! — наконец, произнес Семен

и снова замолчал.

Николай Данилович поднял вверх ручку. С ручки на пальцы капали чернила, но он не замечал этого. Выпрямившись, сверкнув глазами, он нахмурился и строго сказал:

— Я пишу мнение секретаря райкома…

Семен проговорил задыхаясь:

— Николай Данилыч! Я тоже насчет мнения… Я слышал, мнение такое, что меня выдвигают награждать! Что ж меня хвалить, Николай Данилыч, я — как и все… Это только начало. Зерно? Зерно, верно, достали хорошее. Так не в нем же дело! Дело-то в том, Николай Данилыч, что зерно — в вас! В партии! Я у вас жизни учился, Николай Данилыч. Как вы меня тогда начали воспитывать, так и пошло…

— Ну, про меня ты брось, Семен!

— Зачем бросать? Вы в меня заронили зерно! Я учился, шел… А потом, как услышал, что вы зерно «уралка-6» начали растить, я подумал: «Может, и я чем окажусь полезным?» И я отложил науку…

— Отложил? — протяжно переспросил Николай Данилович.

— Отложил! Думаю: «Не прощу себе, если сейчас на помощь не пойду в тот колхоз, что меня на путь-дорогу вывел…» Я и пошел! Я даже вас обманул, что учеба на ум не идет. Учиться мне хотелось, Николай Данилыч!..

— Хотелось-таки? — быстро спросил Николай Данилович.

— Ну, а как же?

И Семен торопливо заговорил:

— Я перед вами и в этом смысле виноват. Но я думал: «Не пустит он меня в колхоз, если узнает, что учиться хочется». И выходит — соврал. И по этой линии меня никак награждать нельзя! Уж вы меня простите, Николай Данилыч.

— Хотел учиться?!

Николай Данилович стоял неподвижно, в упор глядя на Семена. Затем внезапно весело захохотал:

— А ведь секретарь-то райкома правильно угадал! Угадал, что ты учиться хочешь!.. Да и ты тоже удалой, Семен. Ты бы в дом заходил, чего у окна стоять!

— Поздравляю еще раз. Вот и поедете вы, Семен Петрович, в университет, — сказал секретарь райкома, пожимая руку Семену Алексашину. — Оканчивайте университет и возвращайтесь в родные края с дипломом…

— Падет зерно в хорошую почву — и хорошо идет, — заметил рядом стоявший Николай Данилович.

— Идет, — сказал секретарь, глядя в счастливое, залитое румянцем лицо Семена. — Ну что ж, пока торжественный обед

начнется, пойдемте во двор, что ли, покурить.

И они вышли на крыльцо.

Мимо дома, к ссыпному пункту, шли грузовики с новым зерном. Мешки были плотно завязаны, но зерно словно само в себе заключало свет, казалось, просвечивало сквозь ткань. Алые флаги колыхались над машинами. Светлое утро стояло над всей страной. Утро урожая…

— А утро-то какое замечательное, Николай Данилыч! — сказал секретарь.

— Что и говорить: хорошо! — отозвался Николай Данилович, и на душе его было действительно хорошо.

1948

Ломоносов

Пьеса в 4 действиях, 6 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Михайло Васильевич Ломоносов.

Елизавета Андреевна, урожденная Цильх, жена его.

Федор Ростиславович Иконников, управляющий казенными заводами на Урале, позже — генерал-кригс-комиссар российской армии.

Георг Вильгельм Рихман, академик и профессор физики.

Андрей Константинович Нартов, советник канцелярии Академии наук, писатель, «токарь» Петра Первого, автор воспоминаний о нем, известный изобретатель.

Степан Петрович Крашенинников, академик, знаменитый путешественник и географ.

Василий Кириллович Тредьяковский, академик и поэт.

Герард Миллер, академик, известный историограф.

Христофор фон-Винцгейм, академик и профессор астрономии.

Генрих Уитворт, академик географ.

Людвиг де-Рюшампи, академик, ботаник.

Иоганн Даниил (Иван Данилыч) *Шумахер*, многолетний правитель канцелярии Академии наук, некогда библиотекарь Петра Первого.

Доротея, дочь его, жена Тауберта.

Тауберт, адъюнкт Академии наук.

Кирилл Григорьевич Разумовский, граф, камергер, командир Измайловского гвардейского полка, президент Академии наук и гетман Украины.

Екатерина Ивановна Нарышкина, внучатая сестра императрицы Елизаветы, фрейлина и статс-дама двора, затем — супруга гетмана Разумовского; из знатного рода Нарышкиных, прославившегося благодаря Наталье Нарышкиной, жене царя Алексея Михайловича и матери Петра Великого.

Григорий Николаевич Теплов, воспитатель Разумовского, затем правитель его гетманской канцелярии, адъюнкт и асессор канцелярии Академии наук; впоследствии еще более возвысившийся и разбогатевший, в 1763 году он статс-секретарь Екатерины II и ему принадлежит огромная табачная монополия на Украине.

Николай Никитич Поповский, ученик Ломоносова, поэт и первый профессор Московского университета.

Петр Алексеев, ученик Ломоносова, он же Петрекей, «калуцкий ходок».

Никифор Пиленко, ученик Ломоносова, из запорожцев.

Анкудин Баташ, ученик Ломоносова, из татар.

Ермола Шелех, ученик Ломоносова.

Никита Укладник, ученик Ломоносова, — оба с севера России.

Конон Ракитин, ученик Ломоносова.

Гриша Уктусский, ученик Ломоносова, уралец.

Штурман Подволошнов, помор, земляк Ломоносова.

Седой помор, дед Калинушки.

Горбоносый помор.

Калинушка Судьин, юный помор, ученик Ломоносова.

Захар, мастер при плавильных печах в лаборатории Ломоносова, из «калуцких ходоков».

Ловчий на императорской охоте.

Стефангаген, архивариус Академии наук.

Слуга академика Рихмана.

Дворецкий и слуги на императорской охоте, адъютанты генерала Иконникова, солдаты Измайловского полка, жители Петербурга, писаря Академии наук.

Действие — под Царским Селом и в Петербурге, в средине XVIII столетия.

Первое действие

Окрестности Царского Села. Первые дни октября и первый снег, довольно обильный. Солнце склоняется к закату. Желтеет пологий холм, поля, перелески, далеко уходящие изгибы речки.

У подножия холма — императорский охотничий домик, в окнах которого поблескивают люстры. На плоской крыше — балюстрада, стоят сошки с ружьями. От дверей домика — наружная лестница на крышу. Возле лестницы залепленный снегом мраморный купидон с луком, колчанами и стрелами. От купидона на поляну по пухлому снегу тянется алый ковер. Слуги под наблюдением дворецкого, в полной тишине шагая на цыпочках, расставляют на столе вина и закуски.

Ловчий на крыше осматривает сошки и ружья.

За сценой шум, крики: «Отцы родные, пожалейте! Кого бьете-то: старика? — Да пропустите, кормильцы!»

Это — ходоки от крестьян, о которых в прошении заводчика и дворянина Е. Демидова написано: «В Калужской провинции… Ромодановская волость самовольно от нас отложилась… Услышавши об этом самовольстве, крестьяне той же волости, обученные разным мастерствам и находящиеся на наших Брунских и Дугненских заводах, многие, покинув работу, ушли в свою Ромодановскую волость и от того многие работы остановились». Говоря современным языком, заводские крестьяне, будучи не в силах выносить ужасные условия работы на заводах Демидова, забастовали. На забастовавших двинули войска. Историк С. Соловьев в 23 томе «Истории России» рассказывает: «Живший в волости солдат Дмитриев обучал крестьян воинским приемам: вооружали не только мужчин, но и женщин и девиц… Против возмутившихся был отправлен полковник Олиц с 500 человек команды, но он был разбит крестьянами и взят в плен; подполковник фон-Рен, один капитан, прочих чинов и рядовых 30 человек были ранены тяжело, так что оказались к жизни безнадежны; 9 офицеров и 188 рядовых получили легкие ранения. Тогда был отправлен бригадир Хомяков… крестьяне ни на шаг не отступили… В Петербурге нашли, что Хомяков действует слабо, и отдали его под военный суд. На его место явился генерал-майор Опочинин»…

Восстание крестьян в конце концов было подавлено. Начался бесчеловечный «суд», с порками, клеймением, отправкой на каторжные работы. Крестьяне, ища правосудия, послали своих ходоков в Петербург, к царскому двору. Во дворец императрицы пробиться трудно; надеясь увидеть ее на охоте, ходоки пошли в

Дворецкий. Гляко-сь, ловчий. Калуцкие то, никак, сюда пробираются?

Ловчий. И пускай! Авось у государыни поле будет, — она их и простит.

Дворецкий. Разбойников-то?

Ловчий. Да какие они разбойники! Не трожь ты их, дворецкой.

Дворецкий. Не трожь! А Теплов вдруг придет, что мне?! *(В сторону криков.)* Гони, гони! Эй, господин, отойди от мужиков, пока и тебе не попало!

Ловчий *(хватая его за руку).* Очумел! Да ведь господин-то этот — Ломоносов!

Дворецкий. А по мне хоть Ломоносов, хоть Горбоносов! Гони-и!.. *(К ловчему.)* Кто он, Ломоносов-то этот?

Ловчий. Ученый.

Дворецкий. Из подьячих, что ли? Ученый! Меня учеными не напугаешь. Я и на иного придворного кричу. *(Опять в ту же сторону.)* Господин, говорят тебе, отойди! Велено калуцких гнать!.. Ах ты, господи, заступник тоже еще нашелся! Не уходит он, и они не пятятся! Эй, убирайтесь!.. *(Уходит.)*

Звучный голос *(с поля).* Ловчий! Чей у тебя нумер?

Ловчий. Нумер дежурной фрейлины Катерины Ивановны Нарышкиной, ваше превосходительство!

Голос. Государынин нумер рядом?

Ловчий. Рядом, ваше превосходительство, у ручья!

Пока ловчий переговаривается, а дворецкий и слуги смотрят в поле, к домику пробираются четверо калужских ходоков.

Петрекей *(тихо остальным).* Здеся, у ручья, говорит…

Захар. Ломоносов-то верно нам сказал!

Третий ходок. Тута мы ей, царице-то, и поклонимся челобитной!..

Ловчий *(глядя в поле).* Государыня со свитой!

Захар. Впереди, в белой шубе-то, с лентой, царица?

Ловчий *(оборачиваясь).* Генерал-егерьмейстер: всей царской охотой командует.

Петрекей. Охотой генерал командует? Чудеса!

Ловчий *(опять оборачиваясь).* А оттого — генерал, что лось — зверь великий. И дары за него будут великие: кому именье, а кому, вроде вас, головы лишенье!

Петрекей. А прошенье, прошенье-то наше кто примет?

Ловчий. Ну, калуцкие, побаивайся. Теплов идет!

Ходоки. Теплов?! Батюшки мои! Ложись!

Входит Теплов.

Теплов. Кто там поет? *(Прислушивается.)* Не плохо ведут. Вон того, тенора-то, я бы к себе в хор взял.

Захар. Наши поют… Услыхали мы, милостивец, Григорий Николаич, что любишь ты песни, ну и запели… Пожалей горемышных!..

Теплов. Вы что, загонщики? Слушайте, дьяволы. Буде государыня лося ранит и оный лось в ослеплении на нумер их императорского величества устремится и, не дай бог, государыню испугает, — вам всем взять того лося грудью. Понятно? Делай!..

Дворецкий *(робко входит).* Пробрались таки?! Григорий Николаич! Не загонщики они, калуцкие разбойники…

Теплов *(в ярости).* Калуцкие?! Вы пытанные, мученые, на дыбу поднятые, вы откуда вылезли? *(Мужики убегают.)* Тьфу! Куда ни ткнись, всюду — калуцкие. Сипеть из-за них даже начал. И через кого только калуцкие узнали, что ноне здесь государыня будет охотиться?

Дворецкий. Да, чаю, через Ломоносова.

Теплов. Ломоносов? Академик? Отменно! А он сюда каким средством?

Дворецкий. Вельможей, господином Шуваловым-де приглашен.

Теплов. Не слышал. Всем, — и Ломоносову скажи, — всем, кто увидит их императорское величество после удачного поля, — ложиться харей и брюхом вниз, голову не подымать и, тем паче, милостей не просить. И без того добра вам много дадено. Обожрались. В кадушке квас? Отведаю. Государыня любит, чтоб самого густого вишневого цвету. *(Пьет.)*

Дворецкий. Не сладковат ли?

Теплов. Нет, не сладковат. Ну, делай!

Все, кроме ловчего и Теплова, уходят. Входит Нарышкина.

Теплов. Катерина Ивановна!.. Никак государыня хмуры?

Нарышкина. Хмуры. Солнце к закату, загонщики все еще лосей не выгнали.

Теплов. Глупый зверь-с. Своего счастья не понимает. *(Идет вслед за Нарышкиной, которая становится у своего ружья и осматривает его.)* Да что лось! Человек зачастую своего счастья не понимает. Катерина Ивановна! Не осмелюсь и предложить — внучатой сестре императрицы, из рода Нарышкиных…

Нарышкина *(ухмыляясь).* Да и ваша родня не мала, господин Теплов! Вы — воспитатель графа Кирилла Разумовского, брат коего — тайный муж императрицы.

Теплов. Катерина Ивановна! В прошлую охоту государыня промахнулись. А вы — меткий стрелок, изволили двух лосей

застрелить…

Нарышкина. А нынче чаю и трех убить!

Теплов. Государыня еще с той охоты хмуры. А нынче застрелите — совсем будет гнев. Ну, чего вам лоси, Катерина Ивановна? Сегодня убили, завтра забыли. То ли дело государыня! Они год будут удаче радоваться и вас милостями осыплют…

Нарышкина. Какими? Что крепостных подарит? А у меня и так в приданое сорок тысяч душ отложено. Души есть, а жениха вот нету.

Теплов. Будет и жених…

Нарышкина. Кто сей долгожданный принц?

Теплов *(тихо).* Да граф Кирилл Разумовский.

Нарышкина. Каждая невеста спит плохо, а заснет, так видит жениха. Красивого, умного, могучего, знаменитого… Я никогда не видала во сне графа Кирилла!

Теплов. Плохо разглядываете свои сны, Катерина Ивановна! Право, промахнитесь!

Нарышкина. Ну вот, испортил мне всю охоту! Мне теперь и к ружью не встать. Свежо. Пойду в домик погреюсь… *(Идет вниз по лестнице).*

Теплов. Катерина Ивановна! Молю, промахнитесь.

Нарышкина. Меньше промахов, больше веселья! *(Ушла).*

Теплов. Ин, веселиться-то буду я. Промахнешься!..

Теплов ушел. Ловчий смотрит в поле. Один за другим появляются калужские ходоки.

Захар. Ловчий, ушел Теплов-то?

Ловчий. Ушел, проклятый.

Петрекей. И верно, что проклятый. «Обожрались»?! Обожрались мужики лебеды да сушеной коры, пухнут с голоду. Нет, подожди…

Ловчий. Полегче, полегче, калуцкой. На прошлой охоте таких вот, как вы, словохотов сорок человек запороли. Вы что, сказывают, бунт в Ромодановской волости подымали?

Захар. Был грех, побунтовали.

Ловчий. Офицеров — полковника Олица и подполковника фон-Рена, того?.. В деревянных мундирах от вас увезли?

Петрекей. Был грех, побили.

Ловчий. Напрасно! И тут вам никакой Ломоносов прощения не выхлопочет. Кабы вы простых солдат побили, вроде меня, — это ничего. А дворян вам бить не разрешается.

Захар. Да ведь дворяне-то — аспиды, злодеи и мучители!

Ловчий. Все равно — не разрешается. *(Смотрит.)* А Ломоносов-то, гляди, из-за ваших дворецкого смазал. Здорово! Ученой — ученой, а кулак-то не подмоченой. Мужицкой!

Захар. Али и впрямь, как бают, Ломоносов-то из крестьян?

Петрекей. Помор будто бы?

Третий ходок. Пришел будто в столицу в лаптях?..

Петрекей. И не только будто все науки изучил, а и новые начал выдумывать?

Третий ходок. Постой, постой, Петрекей! А как же бог?

Захар. Чего, бог?

Третий ходок. Человек, Захарушко, не смеет новые науки придумывать. Все науки от бога.

Ловчий. Серость! Которые попроще — от бога, а которые поавантажнее — от людей. Не от бога, а от Ломоносова! И он ноне для вас, для серых, *ниверситет,* самую большущую школу хлопочет открыть. Для того и сюда пришел.

Третий ходок. Ниверситет? Это что ж, вроде монастыря, что ли?

Ловчий. Монастыря? Сената! Сенат наук… Ну, буде, посторонись, опять Нарышкина идет!

Крестьяне ушли. Ловчий замер на пне, с которого он наблюдает за лосем. Входит Нарышкина.

Нарышкина. Ловчий, а где же лоси? Государыня сердится.

Ловчий. Гонят, Катерина Ивановна. Слышите рог? *(Далекий звук рога).* Теперь, чаю, они верстах в пяти.

Ломоносов *(входит, оборачивается назад и, улыбаясь, кричит).* Ходоки, чего ж вы остановились? Идите сюда!

Дворецкий *(входит, Нарышкиной).* Он, он, Катерина Ивановна! Он меня за шиворот взял и в снег швырнул!

Ломоносов. Снег-то впервые выпал: надо ж тебе порадоваться и обнять его!

Нарышкина *(строго).* Сударь! Кто вам дал право здесь командовать? И кто вы такой?

Ломоносов *(кланяясь).* Профессор химии Санкт-Петербургской Академии наук академик Ломоносов.

Нарышкина *(изумленно).* Вы — Ломоносов? Простите, Михайло Васильевич, я вас за доезжачего приняла. *(Дворецкому.)* Почему мне не доложили, что сюда прибыл господин академик Ломоносов?

Дворецкий ушел. Вдали ведут зверя. Рог.

Нарышкина *(любезно).* Как вы себя чувствуете на императорской охоте, Михайло Васильевич?

Ломоносов. Как юноша. Полон мечтаний, надежд, жажды правосудия.

Нарышкина. Да, я слышала, вы отважны. Мечты, соединяясь с отвагой, создают великих людей. *(Слышна песня.)* Поют? Лосей отгонят!

Ломоносов. Лоси далеко, а поют они чуть ли не шепотом.

Нарышкина. А кто поет?

Ломоносов. Ходоки за вашей милостью.

Нарышкина. В чем милость?

Ломоносов. Они жаждут.

Нарышкина. Чего?

Ломоносов. Быть великими.

Нарышкина *(посмотрев в сторону песни)*. Мужики?

Ломоносов. А разве мужики не имеют мечтаний, надежд, отваги, — и жажды правосудия?.. Государыня, сказывают, после хорошего поля добры?

Нарышкина. Бывает.

Ломоносов. Катерина Ивановна! А ежели бы вам поставить сих калужских ходоков с челобитной у царского ковра?

Нарышкина. Калужских? Но они — разбойники, бунтовщики!

Ломоносов. Тогда и я, пришедший по приглашению Ивана Ивановича Шувалова показать государыне выплавленный мною «золотой рубин» и просить об открытии в Москве университета и заступившийся за калужских ходоков, тоже разбойник и бунтовщик? Помилуйте, Катерина Ивановна!

Нарышкина смеется.

Нарышкина. Покажите ваш «золотой рубин».

Ломоносов подает футляр, где лежит алый камень. Нарышкина сравнивает его со своим рубином на браслете.

Ваш рубин бледнее.

Ломоносов. Знать, золота мало положил в сплав.

Нарышкина. Дворецкий! *(Вбегает дворецкий.)* Скажи Теплову, я позволила калужским встать у ковра с челобитной. *(Дворецкий уходит.)*

Ломоносов. Спасибо, Катерина Ивановна!

Нарышкин а. Уж ежели кого будете благодарить, то — лосей. Гонят?

Ломоносов. Ведут, но где-то еще далеко.

Смена караула. Нарышкина рассматривает «золотой рубин».

Нарышкина. Он горит ярче, чем настоящий, хотя это лишь стекло?

Ломоносов. Да, сплав стекла, золота…

Нарышкина. И крови?

Ломоносов. Народ говорит: «кровью и потом, иначе и не работам».

Нарышкина *(возвращая «золотой рубин»)*. Но этот камень для государыни. А мне, Михайло Васильевич, вы ведь выплавите другой? Совсем, совсем темно-алый, как этот закат?.. Но, быть

может, у вас для нового сплава нет золота? Ваше золото — стихи. А стихи не всегда удается переплавить в золотую монету. *(Снимает было золотой браслет.)*

Ломоносов *(отстраняя браслет)*. Стихотворство моя утеха. Физика, химия — мои упражнения. Сими упражнениями авось и сам, Катерина Ивановна, добуду золото для новых сплавов.

Они останавливаются возле купидона.

Нарышкина. Что сей купидон значит?

Ломоносов. Нерадение царских слуг! Купидона, бога любви, забыли на зиму в сарай убрать.

Нарышкина. А что есть истинная любовь, Михайло Васильевич?

Ломоносов. Сказать правду?

Нарышкина. А что есть любовь без правды?

Ломоносов. Истинная любовь к женщине, к поэзии, к науке, к отечеству должна быть великой.

Нарышкина. И середины нет?

Ломоносов. Середины в любви нет.

Нарышкина *(читает)*…

Внезапно постучался
У двери Купидон,
Приятный перервался
В начале самом сон…

Ломоносов. А дальше читайте сердитей, понеже автор никак не хочет поддаваться оному шутливому купидону.

«Кто там стучится смело?» —
Со гневом я вскричал…

Нарышкина. Забыл? Ха-ха! Ай-я-ай, господин сочинитель!

Ломоносов. Давно написано.

Нарышкина.

Тогда мне жалко стало,
Я свечку засветил…

Она вдруг прерывает чтение, точно ее пронзило стрелой, смотрит в поле…

Лоси?.. Почудилось…

Ломоносов. И мне почудилось.

Шум, крики мужиков.

Голоса: — Батюшки, да не бейте же, родимые…

— Батюшки, родимые, милостивцы…

— Ой, родные мои!

Ломоносов. Безжалостные, что делаете?

Нарышкина *(оборачиваясь на шаги дворецкого).* Дворецкий, что там такое?

Дворецкий. Калуцких, госпожа фрейлина, измайловцы, солдаты гонят.

Нарышкина. Кто приказал?

Дворецкий. Теплов.

Нарышкина. Позвать его сюда!

Дворецкий. Они идут вместе с иноземцами, академиками, что ль…

Нарышкина. Академики еще сюда зачем?

Ломоносов. Зачем? Либо продавать, либо покупать. Сии «академики», чуя, что быть войне между Англией и Францией из-за колоний, ну — товары у нас закупать. Кожи, лес, железо, зерно за границу везут во множестве. Кафтаны академиков, а лапы торгашей! Что с ними толковать? Нельзя ли вот калужских вернуть? *(Уходит.)*

Входит Теплов. За ним — академики и адъюнкты в парадных кафтанах, при шпагах. Позади — генерал Иконников с адъютантом.

Теплов. Пожалуйте, господа академики. Отсюда выстрелы государыни хорошо будут видны.

Нарышкина *(Теплову, гневно).* Чьим приказом пропущены академики?

Теплов *(спокойно).* Приказом полковника, чей полк несет караул.

Нарышкина. Почему арестовали калужских ходоков?

Теплов. О том извольте спросить того же графа Разумовского.

Входит К. Г. Разумовский, брат фаворита императрицы, мужчина видный собой и, как писали о нем, «пылкий умом». Современному читателю последующие события, описываемые нами, могут показаться чрезмерно сгущенными. Поэтому позволю себе привести выдержку из старинной книги Бантыш-Каменского «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов», рассказывающую о стремительности биографии Кирилла Разумовского. «В 1744 году возведен он в достоинство графа Российской империи; в 1745 получил камергерский ключ и орден св. Анны; в 1746 (мая 21) звание Президента Академии наук, на девятнадцатом году своего возраста! и вслед за тем (июня 29)

орден св. Ал. Невского; в 1748 году польскую ленту Белого Орла и чин подполковника лейб-гвардии Измайловского полка, сенатора и генерал-адъютанта, и, наконец, в 1750 году (24 апреля) достоинство малороссийского гетмана с представлением в торжествах иметь место с генерал-фельдмаршалами, считаясь с ними по старшинству; с пожалованием всех гетманских доходов, собранных с 1734 года. Таким образом, граф Разумовский, будучи только двадцати двух лет, возведен в степень гетмана и генерал-фельдмаршала». Добавим к этому, что этот фельдмаршал никогда не был не только на войне, но и не проходил никакого военного обучения. Для рода Нарышкиных брак Екатерины Ивановны с К. Разумовским был результатом холодного расчета, а не каких-либо любовных чувств, что признает даже автор панегирической книги «Род Разумовских». Брак этот не был счастливым. К. Разумовский вел распущенный образ жизни; Екатерина Ивановна умерла рано.

Нарышкина *(вошедшему Разумовскому)*. Граф Кирилл! На императорскую охоту приглашены лишь Шуваловы, Разумовские, канцлер Бестужев, что же касается академиков и сего генерала…

Разумовский *(небрежно)*. Генерала Иконникова и академика Ломоносова пригласил Шувалов. Ну, тогда мой брат Алексей, фельдмаршал и генерал обер-егерьмейстер, говорит Теплову: «В Академии нашей есть академики и помимо Ломоносова, тем более что они какую-то петицию жаждут вручить государыне…»

Шумахер. Позвольте вручить сию петицию, Катерина Ивановна?

Нарышкина *(сухо)*. Что просят академики, господин Шумахер?

Шумахер. Президента.

Нарышкина. Уж не Ломоносова ли прочите?

Шумахер. Избави бог! Меня пригласил в Россию Петр Великий, сей неустрашимый усмиритель смут. Как же мне просить в президенты Ломоносова, когда он суть главный рассадник смут?

Нарышкина. О чем просит генерал Иконников? Вы откуда?

Иконников. Имею честь управлять Уральскими казенными военными заводами. Испытывая нужду в людях, знающих геологию и металлургию, прошу направить на Урал профессора Ломоносова…

Нарышкина. Зачем?

Иконников. Для обучения уральских людей.

Нарышкина. Ломоносов нужен в Петербурге.

Иконников. Мы слышали, что Ломоносов добивается открытия химической лаборатории при Академии…

Шумахер. Зачем нужна Ломоносову химическая

лаборатория, когда и химия в России не нужна?

Нарышкина. А, вы уже знаете о том мысли России, господин Шумахер? Продолжайте, генерал.

Иконников. Ежели нельзя на Урал самого Ломоносова, то пусть бы при той химической лаборатории обучить инженеров для Урала.

Нарышкина. Изрядно.

Рог.

Следите за охотой, господа. Удача императрицы на охоте несет счастье вашим замыслам.

Разумовский подходит к Нарышкиной.

Разумовский *(любезно).* А скоро уже и сумерки.

Нарышкина *(сухо).* Да. А за сумерками ночь. А за ночью утро.

Разумовский *(еще любезнее).* А за утром день…

Нарышкина *(еще суше).* А за днем опять сумерки. Вы наблюдательны, граф.

Разумовский *(отходя).* Фу-у… *(Теплову, который внизу разговаривает с академиками.)* Григорий Николаевич обещал красивое зрелище, где ж оно?

Теплов. Разве Академия наук, выстроившаяся подобно солдатам у императорского ковра и падающая на колени с петицией, не зело красивое зрелище?

Разумовский. Ну, не видал я академиков, что ли? Я сам у великого Эйлера бывал. Кстати, господин Шумахер, каково здоровье Эйлера?

Шумахер. Величайший математик Европы, некогда подвизавшийся в Санкт-Петербургской академии наук, прославленный Эйлер здоров, живет сейчас в Берлине и весьма одобряет нашего кандидата в президенты Академии наук.

Разумовский. А кого же вы все-таки прочите в президенты?

Шумахер. Высокородного графа Кирилла Разумовского!

Разумовский. Меня? Ну, тогда, возможно, я увижу зело красивое зрелище! Однакоже я не всех знаю академиков. *(Тыча пальцем в Тауберта).* Это кто?

Теплов. Зять господина Шумахера, адъюнкт Тауберт, просвещеннейший философ и между прочим, ваше сиятельство, превосходный фехтовальщик.

Разумовский. Ну? А этот огромный?

Теплов. Академик Уитворт, географ, судовладелец, из англичан.

Шумахер. Но, как и мы все, — душою русский!

Разумовский. Англичане не плохо дерутся на шпагах. Я уважаю Англию, сэр.

Уитворт. Ее все уважают, ваше сиятельство. А тех, кто ее не уважает, мы заставляем уважать.

Разумовский *(тычет на де-Рюшампи).* Этот?

Теплов. Академик де-Рюшампи… ботаник, из Франции!

Разумовский. Француз? Собственно, французы и выдумали драки на шпагах, да? Прекрасное занятие!

Теплов. Академик фон-Винцгейм — астроном, из Пруссии…

Разумовский *(оглядывая фон-Винцгейма).* Длинен. Впрочем, я уважаю Пруссию… Но говорят, что ваш король Фредерик собирается на нас войной.

Фон-Винцгейм. Войне не быть!

Разумовский. Быть войне, не быть — на то воля государыни.

Шумахер. Воистину, ваше сиятельство…

Рог.

Разумовский. Катерина Ивановна, неужели я буду президентом?

Нарышкина. Да, коли государыня лося убьет.

Разумовский *(живо).* А не дай бог промахнется? Тогда я к императрице не пойду!

Нарышкина. Государыня вас любит.

Разумовский. Да, и любя бьет! Она по щекам любит бить. А промахнется в лося… она ведь с ружьем… чего доброго в меня выстрелит!

Нарышкина. Ну, а если не она, а я застрелю лося? Государыня рассердится, сюда пожалует и…

Разумовский *(вскочил).* Упаси бог! И эта мука называется охотой?! Теплов, что лица у академиков вытянулись?

Теплов. Прикажете, ваше сиятельство, научный спор вести?

Разумовский. Вот, вот! Когда я был за границей и посещал великого Эйлера, я сам вел научные споры… Начинайте научный спор, диспут! Что вы, зачахли, что ли?..

Тауберт. Именно зачахли, ваше сиятельство! Зачахли от мучений, претерпеваемых через академика Ломоносова.

Разумовский. Из-за Ломоносова? Не может быть!

Фон-Винцгейм. Ломоносов перессорил нас не токмо между собой, но и со всеми академиями Европы.

Тауберт. Называя нас неучами и лжецами!

Фон-Винцгейм. Грабителями!

Уитворт. Бездельниками! Мы — бездельники?!

Ломоносов *(возвращается).* Для себя, сэр Уитворт, вы делаете большие дела.

Уитворт. А для науки?

Ломоносов *(смеясь).* И для науки коммерции тоже.

Иконников. Здравствуйте, Михайло Васильевич!

Ломоносов *(ласково).* Федор Ростиславич!

Разумовский. Катерина Ивановна, научный спор разгорается! Итак, Ломоносов называет вас неучами и лжецами? Неужели всю Академию?

Фон-Винцгейм. Всю. А про господина Шумахера он сказал, что тот, управляя Академией девятнадцать лет, не создал ни одного русского ученого.

Уитворт. Шумахер-де истратил русских денег полмиллиона, а фунт мяса на базаре стоит копейку… Сколько же сожрал зря мяса Шумахер, высчитайте?

Ломоносов. Ваше сиятельство, те слова сказаны давно, и за те слова сидел я восемь месяцев под арестом.

Разумовский *(шлепая губами и глядя на небо).* Сколько… Шумахер сожрал мяса? В пуду сорок фунтов… на рубль — два с половиной пуда… и если пятьсот тысяч рублей помножить… будет… будет…

Иконников. Миллион двести пятьдесят тысяч пудов.

Разумовский. Господин Шумахер сожрал миллион двести пятьдесят тысяч пудов мяса? Он?!

Хохот.

Нарышкина *(не оборачиваясь).* Тише! Лосей отпугнете!

Гон собак.

Тауберт. Ломоносов действительно сидел за эти слова под арестом, ваше сиятельство, но он не раскаялся, он и сейчас смеется над нами. Смотрите!

Академики *(тыча пальцами с лестницы вниз на Ломоносова).* Смеется! Хохочет!.. Все зубы оскалил!..

Лицо Ломоносова, однако, неподвижно.

Разумовский *(вглядываясь).* Да смеется ли он?

Фон-Винцгейм. Задыхается от смеха, ваше сиятельство!

Разумовский. Я верю науке. Он смеется. А потому…

Тауберт. А потому, ваше сиятельство, весь дрожа от негодования, я прошу разрешить мне обнажить шпагу! За честь тестя моего — правителя канцелярии Академии наук Шумахера!..

Нарышкина *(оборачиваясь).* Дуэли в России не дозволены.

Разумовский. Не дозволены. Но экзерциссы, сиречь упражнения на шпагах, поощряются.

Нарышкина. Граф Кирилл! Властью, данной мне государыней…

Разумовский. Ваша власть, Катерина Ивановна, на этой охотничьей террасе. Моя — где стоит мой Измайловский полк. Противники, желающие экзерциссы исполнять, пойдут в расположение моего полка. Что?

Уитворт. Если господину академику Ломоносову не угодна

шпага адъюнкта Тауберта, я предлагаю экзерциссы со мной.

Де-Рюшампи. Или со мной.

Разумовский *(Нарышкиной).* Этот диспут недурён. Они — настоящие академики! *(К нему подходит Иконников.)* Генерал?..

Иконников *(тихо).* Вашему сиятельству известно, что такое политика?

Разумовский. И, однако, объясните, генерал, хотя имейте в виду, что я спешу смотреть экзерциссы.

Иконников. Политика есть направление государственных сил в заранее определенное и желаемое течение. Некоторые государства всегда стремятся направить Россию к степени беспомощного азиатского государства.

Разумовский. И далее, генерал?

Иконников. России, вследствие угрозы внезапного нападения, необходимо вооружаться. Ломоносов помогает и поможет нам вооружиться. И не кажется ли вам странным, ваше сиятельство, что сии иноземцы чересчур настойчивы в стремлении к дуэли?

Разумовский. А я чересчур настойчив, уговаривая их драться? Вам что, угодно обнажить шпагу со мной, генерал?

Иконников. Но вы все-таки подумайте над тем, что я вам сказал, а драться мне некогда, ваше сиятельство. *(Отходит, про себя.)* Обалдуй!

Разумовский *(помолчав).* Ну, господа, пошумели и хватит. Экзерциссы отменяю.

Шумахер. Мудро, мудро, ваше сиятельство.

Тауберт. Ломоносов извиняется за свой неуместный смех?

Ломоносов. Я не смеялся.

Разумовский. Голубчик, академики видели, как ты смеялся! Ты-то самого себя не можешь видеть? Извинись.

Ломоносов. Мне не в чем извиняться.

Тауберт. Тогда идем на поляну. Вызываю! Биться!

Иконников. Эту сталь моей шпаги плавил я на наших уральских заводах. Это — русская сталь. Рецепт российского металлурга Ломоносова. Тверда, хорошо полируется и не раз полировалась о тела врагов. Позвольте поднять ее за вас, Михайло Васильевич?

Ломоносов. Что вы, что вы, генерал! Спасибо!

Тауберт. Не токмо за себя трусит, но и за других.

Все академики. Трус!

Ломоносов. Трушу? *(Выхватывает у Иконникова шпагу, сует ее подмышку и, показывая кукиш вызвавшим его академикам, кричит.)* Бивался я когда-то в Пруссии, авось уроков не забыл! *(Иконникову.)* Генерал, будьте секундантом. Трушу? Накося,

выкуси. Идем!..

Нарышкина. Граф Кирилл! Биться чуть ли не в присутствии государыни?!

Теплов *(подходя к ней, тихо и в восторге).* А где ж им биться, как не в присутствии государыни? Государыня промахнулась по лосям… сбегает сюда в гневе… — а я, зная, что они забавы ставят превыше всего, кричу: «Ваше императорское величество! Что лоси?! Тут смешней, старики-то наши, академики-то, на шпагах бьются! Смеху-то…» Государыня взглянет — и в хохот! И — милости!

Разумовский. Да, императорский хохот единственное наше спасение! Что скажете?

Нарышкина. Именем государыни, прекратите дуэль!

Рог. Гон.

Ловчий *(хрипло).* Лоси!.. Стадо!..

За холмом вдруг исступленные крики охотников, лай собак, трещотки.

Нарышкина *(у ружья).* Стреляю! Стреляю!

Выстрел. Ловчий поспешно заряжает ружье.

Теплов. Катерина Ивановна! Молю, промахнитесь.

Нарышкина. Ни за что. *(Выстрел.)* Из-за дыма не вижу. Упал лось?

Ловчий. Шатается… рухнул… Свалился, Катерина Ивановна!

Нарышкина. На государыню повернули лоси.

Ловчий. На государыню пошли! Царица стреляет! Второй раз царица стреляет!

Разумовский. Не пронеси, матерь пресвятая, царскую пулю мимо!

(Два выстрела в поле).

Нарышкина. У царицы промах. *(Стреляет.)* Все! Я с четырех выстрелов трех лосей убила.

Разумовский. А государыня?

Нарышкина. Государыня промахнулась.

Разумовский. Да как же это вы, Катерина Ивановна, осмелились?

Шумахер. Коли Катерина Ивановна попала, а государыня промахнулась, нам петицию подавать, господа академики, не след.

Теплов. Дай сюда петицию! *(Берет у Шумахера бумагу и уходит.)*

Разумовский. Биться! Уитворт! Де-Рюшампи!.. Ломоносов!.. Умоляю биться. Развеселим государыню.

Шумахер. Где развеселить государыню, ваше сиятельство? Гнев императрицы страшен, а сердца академиков слабы. Мы

уходим.

Нарышкина. Осторожней, ноги сломаете! Ха-ха!.. Бретеры, дуэлянты?!. Ха-ха!

Академики ушли. Молчание. Затем — рог и музыка.

Голос. Диане российской слава! Государыня трех лосей убила! Нарышкиной нумер промах.

Голоса. Виват! Диане российской виват!

Музыка. Рог.

Нарышкина *(ошеломлена)*. Нумер Нарышкиной промах? *(Ловчему.)* Но все же видели, что я попала? Я убила! Какой промах?

Рог. Музыка. Крики «виват!» Возвращается Теплов.

Теплов. Поздравляю, господа! Их императорское величество изволили трех лосей уложить. Вам не повезло, Катерина Ивановна, — промах. Я уже поздравил их императорское величество с удачным полем! И от вас государыня ждут поздравления.

Разумовский. Государыня трех лосей! Не верю, ей-богу не верю такому счастию!

Теплов *(тихо)*. Пока я жив, учись — как надо стрелять.

Разумовский. Виват!

За сценой: Виват!

Победа!! Виктория! Фейерверков сюда! Все вина и закуски в поле! Все — императрицу поздравлять! Виват! Бегу и я! *(Уходит.)*

Нарышкина *(помолчав, Иконникову)*. Угодно вам, господин генерал, поздравить государыню и петицию свою вручить?

Иконников. Буду счастлив.

Нарышкина. Прошу и господина Ломоносова. Следуйте за мной, господа. *(Уходит с Иконниковым.)*

Теплов. А тебе туда, Михайло Васильевич, лучше не ходить! Государыня уже узнала о твоем шумстве подле своей охоты и брови изволили нахмурить. Говорил я тебе, Михайло Васильевич, не надо биться. У них ведь, иноземцев, свои обычаи, у нас свои. Прямо жалко смотреть, как ты себя губишь! *(Уходит.)*

За сценой: Виват!

Ломоносов. Ну, времечко, горькое семечко.

Ловчий *(тихо и многозначительно)*. Случается…

Ломоносов *(остро взглянув на ловчего)*. Случается?..

Ловчий. Случается. *(Помолчав.)* Все за счастьем кинулись, а вы тот случай упускаете, господин Ломоносов?

Ломоносов *(улыбнувшись)*. Попридержали меня. Жду, вдруг Шувалов выйдет, проведет. А ты, ловчий, что ж не кинулся за счастьем?

Ловчий. Нам не полагается. Мы *ихнее* счастье караулить

приставлены. *(Еще помолчав.)* Ниверситета-то в Москве вам, стало, и не выхлопотать?

Ломоносов. Ого! Ты и о хлопотах сих слышал?

Ловчий. Вроде бы и не дело? Простите, господин! Велено нам зверя слушать, а мы, дураки, людей…

Ломоносов *(с силой)*. Нет, надо слушать! Добьемся и университета в Москве! Добьемся и вредных иноземных ученых посрамления! А русских, и в великом множестве, — появления! Добьемся просвещения, что счастье народа приближает! Добьемся…

Ловчий. Опять, никак, Теплов? *(Снимает шапку, кланяется низко Ломоносову.)* Добьемся!.. *(И опять, безмолвный, вытянулся в струну на пне своем.)*

Теплов *(входит)*. Дворецкой!

Вбегает дворецкий.

Их императорское величество сюда не пожалуют. Отбывают. Карету!

Дворецкий убежал.

А радостей-то сколько сотворено! Како возблагодарю тебя, владыко?

Ломоносов. Кому и какие радости?

Теплов. Многие! Сначала государыня изволили возложить на графа Кирилла знаки ордена Белого Орла. Затем пожаловали ему города Батурин, Ямполь, Почеп с уездами, селами и всем населением! А после того дали ему звание гетмана Украины.

Ломоносов. Ого, граф Кирилл-то царем вроде стал?

Теплов. А наукам-то российским какое счастье!

Ломоносов. Наукам?

Теплов. Поздравь себя, Ломоносов, и осени себя крестным знамением. Граф Кирилл — президент Академии паук! Я вручил государыне петицию академиков! Ах! И сие солнце Разумовских будет светить на Академию с двух сторон.

Ломоносов. Солнце будет светить с двух сторон? Впервые о таком чуде слышу.

Теплов. А как же! Супруга-то президента тоже ведь будет освещать науки наши.

Ломоносов. Супруга президента? Граф Кирилл холост.

Теплов. Подконец их императорское величество высказали еще большую дивность: «Коли ты, Кирилл, президент и гетман, холостым быть тебе не гоже. Вот тебе невеста — внучатая сестра моя, Катенька Нарышкина».

Ломоносов. Катерине Ивановне приказано — за Разумовского?

Теплов. Приказано? Что ты? Любит! Рада!

Крики за сценой: Виват! Ура!

Что лоси-то сотворили!

Ломоносов. Зачем зверей обижать? Не лоси, — люди. Эх, люди!

Ломоносов ушел. Вбегает дворецкий. Затем, вся в слезах, Нарышкина и за ней — Разумовский.

Дворецкий. Государыня отбывают!

Теплов. Опять мужики? Кнутами их с дороги. Вот так, славно!.. Честь имею с помолвкой, Катерина Ивановна!..

Разумовский. Повелением императрицы руку, Катерина Ивановна. Нам должно показаться вместе.

Разумовский берет Нарышкину под руку и поднимается на крышу охотничьего домика. Отсветы фейерверка. Топот.

Пьяные голоса. Всеславной охотнице… Диане российской… виват!

Разумовский и Теплов низко кланяются. Нарышкина молча и обиженно приседает. Топот удаляется. По снежным ухабам скачет карета.

Второе действие

Обитый темным дубом кабинет Шумахера в его квартире при Академии наук. Шкафы с книгами под самый потолок. В углу — скульптурный бюст Петра Первого, сделанный по известной «восковой персоне». Стол приготовлен для заседания.

У камина — Шумахер, ноги которого прикрыты меховым одеялом, за столом, разбирая бумаги — архивариус Стефангаген. Слышна музыка.

Стефангаген. Господин адъюнкт Тауберт, будучи жестоко влюблен в жену свою, играет отменно, из чего следует…

Шумахер. А ты меня зятем моим не забавляй, Стефангаген. Зови-ка сюда Петера Алексеева!

Стефангаген. Он еще не пришел, господин советник.

Шумахер. Ну, кто там еще из студентов?

Стефангаген. Ермола Шелех!

Входит Ермола Шелех.

(Стефангаген быстро спрашивает его, заглядывая в бумаги.) Ермола Шелех? Какой провинции? Что у тебя тут написано: с реки Двины? Из свободных крестьян? Церковь исправно посещаешь? Исповедовался? Причащался?

Шелех не успевает и рта раскрыть, как следует другой вопрос.

Почему пошел в Академию и какие в ней успехи имеешь?

Шелех. Пошел потому, что имел пример Ломоносова; успехи имею изрядные.

Шумахер. Совсем не изрядные. Предпочитаешь практику теории.

Шелех. Понеже, господин советник, вижу теорию у преподавателей своих слабой, — к Ломоносову в ученики прошусь потому, что он теорию с практикой хорошо соединяет.

Шумахер. А еще какая причина, что к Ломоносову и росишься?

Шелех. А еще причина та, господин советник, что слышал я, будто Ломоносов сильно захворал и в хворости своей оказал так: «Если и приблизится день, в который я не буду уже господином моей жизни, то в день тот без досады скажу, что я зерна знаний своих для других посеял».

Шумахер. Да ты дерзкий, братец! Отец ради тебя на последние деньги из крестьян в купцы переписался, чтоб быть тебе в Академии, а ты?

Шелех. Ради благодарности к отцам нашим и прощусь, господин советник, к Ломоносову!

Шумахер. Кто там еще?

Стефангаген. Анкудин Баташ.

Шумахер. А, татарин! Зови. *(Шелеху.)* А ты иди, братец.

Шелех уходит. Входит Баташ. Встретившись с Шелехом, он подталкивает его и что-то шепчет на ухо. Шелех улыбается.

Чему смеешься, татарин?

Баташ. Рассказ смешной читал, ха-ха! Один славный питух никогда воды не пил. А перед смертью попросил большой стакан ее, говоря, что теперь должно проститься со своими врагами. Ха-ха!

Стефангаген. Почему в ученики Ломоносова просишься?

Баташ. Книжки трудные заставляют читать, ничего понять нельзя. Домой пойти нельзя. «Твои родные, говорят, идолопоклонники, и оттого черт имеет большой случай обольщать и вводить во всякие беззакония!» Мой родной — хороший человек, ему беззакония не надо! Я у хороший человек учиться хочу. Мне здесь говорят — «ходи в православной вера!» Зачем мне православной вера, мне и своя много!

Шумахер. Петера Алексеева знаешь?

Баташ. Петер Алексеев? Не слышал.

Шумахер. Бывал он у калужских бунтовщиков?

Баташ. А разве в нашем государстве бунтовщика есть?

Шумахер. Хитер ты, братец! Продолжай, Стефангаген.

Стефангаген. Имел ли ты беседу с Ломоносовым и, ежели имел, то какую и о чем? Он ли тебе советовал не переходить в православную веру?

Баташ. О Ломоносове имел слухи. Был у него в Академии, на лекции по физике. Беседы не имел.

Стефангаген. Что студенты говорят о сем Ломоносове? Не говорят ли, что он в бога не верует? И почему так говорят? Чему ты смеешься?

Баташ. Рассказ один вспомнил. Одна госпожа, беспокойная в своем болтании, спрашивает лекаря: «Отчего у меня зубы падают?» А он ей на то: «Оттого, сударыня, что ты их часто своим языком зря колотить изволишь!»

Шумахер. Пошел вон, дурак!

Баташ уходит.

Стефангаген. Григория Уктусского позвать!

Шумахер. Не Уктусского, а Петера Алексеева.

Стефангаген. Петера Алексеева все еще нет, господин советник.

Входит Гриша Уктусский.

Григорий Уктусский ты есть? С Урала? Сын чиновника? Почему ты просишься к Ломоносову?

Уктусский. Где сердце лежит, туда и нога бежит, господин

архивариус.

Стефангаген. В бога веруешь? *(Молчание).* Оглох? В бога веруешь?

Уктусский. В какого?

Шумахер. Бог один, глупец!

Уктусский. И у вас и у меня, господин советник?

Шумахер. Ну да.

Уктусский. И он справедлив?

Шумахер. Бесспорно!

Уктусский. И воздает «коемуждо по делам его»?

Шумахер. Вы развращены, студент! *(Стефангагену.)* Напред того не было, а ныне всяк в состоянии буйствования. Что это?! *(Уктусскому.)* Уходи!

Уктусский ушел.

Стефангаген, составь немедля бумагу: и о химической лаборатории его, и о студентах. Прохвосты! Тауберт! Доротея!

Входит Тауберт и жена его Доротея.

Госпожа Цильх не у вас?

Доротея. Госпожа Цильх? Экономка Ломоносова? Она у нас не бывает, батюшка.

Шумахер. Будет. (*Стефангагену.)* Иди.

Стефангаген ушел.

Доротея садится по другую сторону камина, против отца, и вяжет чулок. Тауберт, поднявшись по лестнице для книг, достает какие-то манускрипты, просматривает и выписывает из них.

Тауберт. Вас, господин советник, рассердили эти «будущие студенты» Ломоносова?

Шумахер. Ничего. Я уже успокоился. *(Потирая ноги.)* А-а-а… ноги ноют…

Доротея. Непогода, батюшка. Климат в Петербурге сыр, а в здании Академии наук того сырее.

Шумахер. Страдаю Не столь от сырости, сколь от профессоров, сверх своей должности характер имеющих, вроде Ломоносова.

Доротея. Ах, батюшка, мне кажется, вы преувеличиваете злодеяния Ломоносова. Господин Ломоносов весел и добр…

Тауберт. И красноречив?

Доротея. Бесспорно.

Тауберт. Жена! Красноречие — суть искусство, которое управляет умами.

Доротея. И что же из того?

Тауберт. А то, что Ломоносов все свое красноречие теперь направил к тому, чтобы открыть университет в Москве. Зачем? Чтобы побольше обучить возмутителей и ими ниспровергнуть

монархию!

Шумахер. Ну, многих ему не обучить, а отдельные возмутители не разрушают монархию, а укрепляют ее, понеже борьба с ними плодотворна для остроты ума.

Тауберт. Позвольте усомниться в вашей мудрости.

Входит с бумагами архивариус Стефангаген.

Передает Шумахеру письмо.

Шумахер. От кого?

Стефангаген. От господина Теплова.

Шумахер *(читая письмо).* А-а…

Стефангаген начинает доклад на немецком языке.

Доротея. Господин архивариус, Иоганн Данилыч любит, чтоб в нашем доме говорили по-русски.

Шумахер *(показывая письмо Стефангагену).* Ты читал?

Стефангаген. Откуда же, господин советник? Оно запечатано.

Шумахер. Запечатанное как раз и есть интерес читать. Докладывай.

Стефангаген докладывает. Шумахер пишет.

Стефангаген. Их сиятельство, высокородная графиня Катерина Ивановна Разумовская, поручением их императорского величества посланы в Академию наук сделанный в подарок их императорскому величеству предивный андроид принять. И поелику вам, господин советник, сегодня недужится, позволю себе думать, что графиня Катерина Ивановна сюда, на квартиру вашу, прибудут.

Доротея. Батюшки! Сама Катерина Ивановна едет!

Шумахер. Письмо великому Эйлеру приготовили?

Стефангаген. Извольте прежде о студентах, кои просятся к Ломоносову, равно как и о строении так именуемой «ломоносовской химической лаборатории». Мнение ваше, господин советник, о сем предмете известно. Я уже составил решение канцелярии Академии наук. Прошу подписать. *(Подает перо.)*

Шумахер. А какое мое мнение?

Тауберт. Студентов гнать, лабораторию не строить.

Стефангаген. Так и написано тут.

Шумахер. В огонь! Разрешение на постройку химической лаборатории будет подписано.

Тауберт. Кем?

Шумахер. Мной.

Тауберт. А президент?

Шумахер. Президента я уговорю.

Тауберт. Что, сенат настаивает на сей постройке?

Императрица?

Шумахер. Нет, я. *(подает написанное им Стефангагену.)*

Тауберт *(разводит руками)*. Ну, Иоганн Данилыч, удивил! Теперь вам остается позволить всем желающим ни о студентам учиться у Ломоносова.

Шумахер. Я так и сделаю.

Тауберт. Нет! *(Стучит кулаком по бумагам.)* Да вы читали жизнеописания сих студентов? Питер Алексеев из мужиков Калужской провинции, кои бунт поднимали. Никифор Пиленко, запорожец, ездил туда тож, едва ли не оружие бунтовщикам ковать. Анкудин Баташ — татарин, и в церковь не ходит. Его любимец Николай Поповский — ритор и поэт, перевел стихами «Опыт о человеке», где проповедует богомерзкое учение Коперника и осмеивает догматы православной церкви!

Шумахер. И, однако, канцелярия Академии наук разрешает Ломоносову принять сих учеников к себе и учить!

Тауберт. Вы так приказываете?

Шумахер. Я.

Тауберт. И зачем тогда вы велели мне выписывать извлечения из латинских трактатов Ломоносова по физике и химии? Зачем?

Шумахер. Чтобы послать великому Эйлеру с письмом о Ломоносове. Ломоносов сообщил Эйлеру новый открытый им закон сохранения материи и энергии. Нам давно пора опровергнуть этот закон. Сколь ни невежественны русские придворные круги, но и они уважают имя величайшего математика. И, если Леонид Эйлер поддержит новый физический закон Ломоносова, — мне будет труднее с ним бороться. Жаль, конечно, что академики мои мало влиятельны для Эйлера, ибо они бездарны и тупы. Но зато они яростные сторонники бога и престола! Что же касается плохих книг, которые они пишут и печатают, то зачем людям хорошие книги, если, по мнению богословов, человек вообще плох?

Тауберт *(возмущенный)*. И все-таки…

Доротея. Иоганн!

Тауберт. Что Иоганн? Ты знаешь физику и химию, и тебе известны, может быть, свойства флогистона?

Доротея. Разумеется.

Тауберт. Читай трактат Ломоносова: «Нулус флогистоном нон эстс» — флогистона нет! Ученые Европы доказали, что флогистон, или по-русски «теплотвор», сия божественная, непостижимая сила управляет тяжестью, светом, воздухом, металлами, всем! Всей вселенной!

Ломоносов пишет — нет флогистона, а есть *различные,*

разнообразные атомы, из коих составляются молекулы или «корпускулы», а из сих *бездушных* молекул — все тела, весь мир! Я, ты, твой отец, вот это кресло, дрова, огонь — все лишь действие разнообразных атомов. А бог? Где, я спрашиваю, бог и его флогистон?.. Об этом ни слова! Ломоносов богохульствует, утверждая — *нет* флогистона!

Доротея. Богохульствует?! Не вернее ли сказать, что это гипотеза, как многие другие?

Тауберт. А подтверди опытами в своей лаборатории Ломоносов эту атомную гипотезу, что тогда?

Доротея. Тогда она не будет гипотезой, а будет научным фактом.

Тауберт. Доротея, ты — дура! Если атом будет фактом, значит, человек узнает всю сущность материи. Всю! А узнав *всю* сущность материи, человек сможет управлять ею. Всей материей! Он станет равен богу. Понимаешь, кому уподобляет себя Ломоносов? Страшно сказать — богу! Шарлатан! Иоганн Данилыч, вы создатель глубочайшего сочинения «О боге, мире и душе», за которое вами получена ученая степень, вы подпишете ему разрешение на постройку лаборатории?

Шумахер. Подпишу. *(Похлопывает по щеке Тауберта).* Тауберт! Ученик Шумахера! Скоро ты меня поймешь. *(Часы бьют один раз. Стефангагену.)* Почему мастеровые медлят с андроидом?

Стефангаген *(медля уходом).* Господин советник! Я тоже вложил все свои капиталы в товары для вывоза и в императорской награде за андроид я хотел бы иметь свою скромную долю…

Шумахер. О! И вас охватила сия горячка? Что же вы скупили? Кожи? Железо? Лес? Пеньку? А вдруг Фредерик Прусский побоится воевать с Россией? Вы тогда разоритесь, Стефангаген!

Стефангаген. Наш король с помощью Англии…

Шумахер. Стефангаген, об этом вам нужно поменьше думать, а того меньше говорить. Идите. Я о вас не забуду.

Стефангаген уходит.

Доротея, душенька, иди к себе.

Доротея собирается уходить.

Тауберт. Иоганн Данилович, как вы могли подписать разрешение на лабораторию и на студентов? Разве ним десять Ломоносовых надобно? Нам и один в тягость.

Шумахер. Поди, поторопи академиков. Доротея, кажется пришла госпожа Цильх? Проси ее сюда.

Тауберт. Экономка Ломоносова?

Шумахер. Да, да, экономка Ломоносова. Иоганн!

Тауберт уходит. Доротея впускает Цильх и уходит. Шумахер сидит у камина.

(Не оборачиваясь.) Садитесь, госпожа Цильх.

Елизавета Андреевна. Благодарю вас, господин советник.

Шумахер. О Марбурге, о Германии, не скучаете? Тяжело вам управлять хозяйством Ломоносова? Русские шумливы, когда выпьют. *(Пауза. Повернулся к ней.)* А в Академии, госпожа Цильх, ходят о вас странные слухи. Передают, что вы не экономка, а законная жена Ломоносова.

Елизавета Андреевна *(помолчав).* Да. Я его законная жена.

Шумахер *(скорбно и мрачно).* Давно?

Елизавета Андреевна. Несколько лет, господин советник.

Шумахер. Значит, вы стали его женой…

Елизавета Андреевна. В Германии.

Шумахер. Впервые узнаю, что в Марбурге есть православная церковь.

Елизавета Андреевна. Мы венчались в реформатской.

Шумахер. Разве Ломоносов отрекся от православия?

Елизавета Андреевна. Нет, он остался православным.

Шумахер. А разве православному венчаться в еретической церкви не значит отречься от православия? Взгляните на эти узаконения православной церкви. Они утверждают обратное.

Елизавета Андреевна. Мы думали, что академикам предоставляется некоторая свобода…

Шумахер. Ломоносов не был тогда академиком, а был простым студентом. Кроме того, свобода предоставляется академикам в области науки, а не в области религии. Государыня беспощадно карает всех, кто оскорбит православную церковь. Со скорбью сообщаю вам, что Ломоносову грозит кнут, клеймение, каторжные работы.

Елизавета Андреевна вскакивает, ломая руки.

Вы захватили из Марбурга свидетельство о венчании?

Елизавета Андреевна *(рыдая).* Нет!

Шумахер. Мне прислали его. *(Кротко улыбаясь.)* Дарю его вам, *госпожа Ломоносова.* Уничтожьте его.

Елизавета Андреевна. Уничтожить его?!

Шумахер. Да, я уничтожу его следы. Сегодня мы преподносим императрице чудо человеческого ума — человекоподобный автомат, андроид. И если государыня спросит: «каких милостей ждет Академия?», я отвечу: прощения Ломоносову.

Елизавета Андреевна *(радостно).* О боже!

Шумахер. Да трудится почтенный Ломоносов в мире и

тишине! И скажу вам тайно: мною подписан приказ о постройке ему химической лаборатории, равно как и позволение набирать туда студентов.

Елизавета Андреевна. Ах, господин советник! Вижу, вы добры и снисходительны к людским слабостям.

Шумахер. Когда, душенька, проживешь столь много, как я, поневоле будешь снисходителен.

Елизавета Андреевна *(горячо)*. Я так рада, что и дышать не могу… и слезы все текут и текут… Ведь это я упросила его скрывать нашу женитьбу! Я все ждала монарших милостей за труды его. И тогда, говорю, все объяснишь и тебе простят. А тут вдруг все разрешилось… как хорошо! *(Помолчав.)* Мне можно идти?

Шумахер. Конечно, госпожа Ломоносова.

Елизавета Андреевна. Но мне кажется, что вы еще что-то желаете сказать, господин советник?

Шумахер. Нет. Я сказал все. До свиданья, душенька.

Елизавета Андреевна *(опять помолчав)*. Почему, господин советник, вы пригласили меня? Разве нельзя было передать свидетельство самому Михайле Васильевичу?

Шумахер. Просто я желал познакомиться с женой Ломоносова.

Елизавета Андреевна. Не могу ли я, однако, быть вам чем-нибудь полезной, господин советник?

Они молча и пытливо смотрят друг на друга.

Шумахер. Пока нет. Правда, мне хотелось сказать вам…

Елизавета Андреевна *(подхватывая, быстро)*. А! Что же вы еще хотели сказать, господин советник?

Шумахер. Вы правы. Ломоносов нуждается в снисхождении…

Елизавета Андреевна (резко). В чьем? И моем или вашем?.. Нет, господин советник! Ломоносов не нуждается в вашем снисхождении. А о моем — не с нами мне толковать. ***(Кладет свидетельство обратно.)***

Шумахер. Что это значит?

Елизавета Андреевна. Это — любовь, господин советник. Я не верю вам. Вы не простой и не добрый. Вы ненавидите и Ломоносова и Россию. А я люблю и Ломоносова и Россию. И верю в них. *(Помолчав.)* Пускайте в ход это брачное свидетельство. Коли дыба и каторга, так дыба и каторга нам обоим. Прощайте.

Шумахер *(спокойно)*. Прощайте, душенька. Доротея, проводи госпожу Цильх.

Елизавета Андреевна уходит.

Стефангаген *(входит)*. Несут андроид, господин советник.

Несколько мастеровых с трудом вносят прикрытый холстиной

ящик из красного дерева. Они ставят его и уходят.

Тауберт *(входит)*. Григорий Николаевич!

Теплов *(входит, здоровается)*. Письмо Эйлеру готово?

Стефангаген *(докладывает)*. Господа академики!

Входят академики. На современный взгляд, фигуры их могут показаться преувеличенными и шаржированными. Мы привыкли видеть в академике солидного ученого, широко образованного, подлинно наставника и учителя. Для нас безразлична национальность его. Академики XVIII века в Петербурге были совершенно иные. Так как развитие отечественной науки тормозилось «учеными» вроде Шумахера, имевшими тогда в правящих кругах большое влияние, и русским к науке выйти было трудно, поэтому русских ученых в Академии было мало. Шумахер, дабы убедить правящие круги Петербурга в том, что он заботится о науке, приглашал в Академию подлинных иностранных ученых, как например Рихмана или Эйлера, но приглашал их единицы, а мнимоученых — сотни. Эти мнимоученые, послушные Шумахеру, делали все, что нужно было ему, занимаясь, кстати, и пополнением своих капиталов путем торговли и спекуляции. Мрачная роль в деле торможения отечественной науки принадлежит Г. Н. Теплову. После того, как Разумовский был назначен президентом, Теплов выхлопотал у императрицы устав Академии. Насколько устав Академии был составлен в интересах Теплова и Шумахера, видно хотя бы из того, что все ассигнования на Академию наук выдавались без точного указания статей расхода, что давало канцелярии Академии наук возможность распоряжаться деньгами по своему полному усмотрению. П. П. Пекарский в «Истории императорской Академии наук» говорит: «… Теплов с Шумахером, составляя указ, увлеклись одним помыслом, видимо преобладавшим у них в каждой введенной ими в уставе мере, — это получить для себя возможность безотчетно распоряжаться всем, что ни касалось Академии, а затем поставить как можно в большую зависимость от Канцелярии академиков». Этой полной зависимости Теплов и Шумахер добились. В течение 1745 года русские и иноземные академики подавали четыре раза жалобы в Сенат на самовластие и высокомерие Шумахера. После назначения Разумовского и Теплова, когда самовластие Шумахера не уменьшилось, а укрепилось, жалобы большинства иноземных академиков прекратились. Против Шумахера и Теплова продолжали бороться лишь Ломоносов, Рихман и несколько друзей их, подлинных ученых.

Надеюсь, что фигуры мнимоученых, вроде Уитворта, будут читателю теперь более понятны. Академики говорят по-французски, немецки, английски и чрезвычайно мало и чрезвычайно

плохо — по-русски. Зато слова русские, вроде «кожи», «зерно», «лес», «пшеница», «чугун», они выговаривают отлично!

Теплов, читая письмо Эйлеру, приветствует небрежно академиков.

Теплов. Здравствуйте, академик Рихман.

Уитворт. О, Шумахер! Прикажите подать нам грогу, мы замерзли.

Вносят грог.

Фон-Винцгейм. Здравствуйте, господин Теплов, здравствуйте, господин Шумахер! Господин Теплов, сэр Уитворт опять скупил запасы кожи и железа, которые я хотел купить!

Уитворт. Когда вы, наконец, отстанете от меня с вашими разговорами?

Теплов. Довольно о торговле!

Фон-Винцгейм. Уитворт! Но все-таки вы скупили все кожи.

Уитворт. Да, я скупил в Санкт-Петербурге все кожи, кроме вашей, но за нее я не дал бы и пенса. *(Смех.)*

Теплов. Довольно о купле и продаже, будем говорить о Ломоносове.

Входит Миллер

Здравствуйте, академик Миллер.

Миллер — знающий историк, но, к сожалению, он находится под полным влиянием Шумахера. Можно сказать, пожалуй, что его действия принесли не мало пользы Академии, но не мало и вреда. Передают анекдот о его споре с Ломоносовым. Миллер многими доводами доказывал Ломоносову, что новое грегорианское летосчисление вернее старого, которого придерживаются русские. «Еще в 1592 году искусные математики, — сказал Миллер, — нашли десять дней излишка в старом календаре, считая от Юлия Цезаря по наши дни!» — «Тем для нас лучше, — ответил, смеясь, Ломоносов, — ибо когда новое счисление верно, то последний суд будет у Вас ранее, нежели у нас, и когда дело дойдет до нас, то уже ад будет наполнен такими, как ты, Миллер, и нас поневоле поместят в рай».

Миллер. Здравствуйте, господа.

Французские, немецкие, английские приветствия несутся ему навстречу, и тем страннее звучат слова Шумахера, произнесенные по-русски.

Шумахер *(звонит).* Собрание российских академиков открываю, прошу занять места!

Уитворт. Подождите, любезный друг Шумахер. Из трехсот кораблей, побывавших за этот год в Санкт-Петербургском порту, моих пятьдесят семь. Мои корабли нуждаются в грузе, а я — в деньгах. Получу я сегодня от вас деньги?

Шумахер. Собрание российских академиков открыто.

Уитворт. Деньги за андроид!

Теплов. Прошу помолчать, сэр Уитворт!

Уитворт. Деньги за андроид, который мы делали на собственные средства!

Теплов. Вы не умеете вести себя с тактом!

Уитворт. Меня учат такту! А вот в извещении сказано, что господин академик Ломоносов в шесть часов начнет свои извинения, которых мы ждем от него много месяцев. В шесть! Сорок пять минут седьмого! Что это — такт? Может быть, мне из чувства такта принести вам мои извинения? Ха-ха-ха!

Шумахер. Сорок семь минут седьмого? Однако наш друг бесцеремонен! А я сегодня же должен послать наше письмо великому Эйлеру.

Теплов *(возвращая Шумахеру письмо)*. Прекрасно написано! Поставьте ваши подписи, господа академики!

Академики подписывают.

Рихман *(читая письмо)*. «Великий и мудрый Эйлер! Вы узрите из приложенного, как богохульствует Ломоносов, утверждая — нет флогистона! Мы просим вас, высокочтимый Эйлер, подтвердить всю богопротивность атомной теории Ломоносова, всю ее гнусность и безбожность, всю преступность его философии материализма!» Даже *преступность?*

Теплов. Да!

Рихман. И такое письмо приказывается нам подписать, не выслушав Ломоносова?

Шумахер. Что делать, академик Рихман! Ломоносов не пришел.

Ломоносов *(входит)*. Ан и пришел, хоть и написано в извещении «быть к семи».

Шумахер. К шести, а не к семи.

Ломоносов *(подает извещение)*. Читайте.

Шумахер. Писаря перепутали. Мы их накажем. Люди, кресло Ломоносову!

Кресло Ломоносову, однако, так и не подают. Академики, развалившись, покуривают трубки и разговаривают.

(Ломоносову.) Впрочем, сесть вам, голубчик, придется попозже. Вы долго увертывались от извинений, а потому церемония вашей мольбы должна происходить на ногах. Куда вы смотрите?

Ломоносов. На портрет Петра Великого. Мне кажется, он хмурится, глядя на вас, Шумахер. Почему мне одному велено быть в парадном костюме? Где президент? Почему нет русских академиков — Нартова, Крашенинникова? Где Тредьяковский?

Шумахер. Президент приказал вам покаяться перед теми особами, коих вы прямо оскорбили.

Ломоносов. Никогда ни прямо, ни обиняком я не оскорблял академика Рихмана, моего друга.

Шумахер. Подчиняйтесь приказу президента. Подчиняетесь?

Ломоносов. Подчиняюсь. Господа академики! Канцелярия Академии наук выхлопотала у Сената приказ — просить мне у вас прощения. Она доказала, что недавно мри императорской охоте я устроил шумство и натравил Некоторых из вас на себя, тем вызвав обнажение шпаг. Канцелярия доказала, что вы были агнцами, а я волком, по в персонах ваших я оскорбил всю Академию и даже котел уничтожить, о господи, знатнейших людей российской науки. Вот что доказала канцелярия Академии наук, и она всесильна!.. По приказу сему я прошу у вас прощения, господа академики. *(Шумахеру.)* Они молчат? Плохо стали понимать по-русски? На каких иностранных языках повторить мою просьбу? На латинском, немецком, греческом или английском, к коему, кажется, вы ныне весьма склонны, понеже англичане преимущественно ведут чрезвычайно живой торг с Россией?

Шумахер *(вздохнув)*. Молчат по другой причине. Скажу с глубоким прискорбием, дорогой Михайло Васильич, — церемония мольбы вашей начата вами неправильно. Щадя ваше чрезмерное самомнение, я не сделал церемонии широко публичной. Хотелось, как говорят по-русски, келейно, даже в отсутствии президента, тихо. Но все-таки церемония есть церемония. Начну с того, Михайло Васильевич, что вами сказан не тот текст. Говорить надо приблизительно так, как говорили вы перед академиками лет десять тому назад, а именно 27 генваря 1734 года. Позвольте напомнить? *(Читает.)* «Униженно прошу и *заклинаю* благосклонно — простить меня, сознающего *чудовищные* размеры своего *непростительного* проступка». Смирение, христианские слова!

Тауберт. И притом сказанные с тюремными цепями на руках.

Ломоносов. А сейчас хорошо бы ещё и колодку на шею?

Тауберт. Того лучше — петлю!

Шумахер машет на Тауберта, тот садится.

Стефангаген *(входит)*. Президент жалует в Академию.

Шумахер *(вскочив)*. Президент?!

Теплов *(жестом успокаивая всех)*. Сначала покончим с покаянием Ломоносова. Видно, господа, без осудительного слова не обойтись. Так принято во всех академиях Европы, кои построены так же, как и наша Санкт — Петербургская, — им велено защищать веру в бога и в крепость царствующего дома.

Продолжайте.

Шумахер. Кто скажет осудительное слово?

Теплов. Академик Миллер.

Миллер. Я — историк. Письмо же Эйлеру о физике. *(Но, увидев неудовольствие на лице Теплова, поспешно добавляет.)* Однако перед историей все науки одинаковы. Я скажу ему осудительное слово! Ломоносов всегда боролся против моей норманской теории происхождения Руси. Он отрицает, господа, что Русь произошла от варягов, от норманнов…

Фон-Винцгейм *(отстраняя Миллера).* Господа, позвольте же сказать астроному! Ломоносов хлопочет об астрономической экспедиции в Сибирь. Зачем? Там, вы знаете, астрономы смогут наблюдать прохождение планеты Венеры через диск солнца. Что же *он* предлагает *нам* наблюдать?.. О-о-о! Не окружена ли Планета Венера воздушною атмосферой? Боже! Он утверждает, что там возможна жизнь? Жизнь! Где в Библии сказано, что бог посетил планету Венеру и там посеял жизнь и создал человека? Где?

Уитворт *(отстраняя фон-Винцгейма).* Многочисленными своими трудами по географии я доказал, что из Ледовитого океана, забитого, так сказать, по горло льдами, в Тихий океан пройти нельзя! Ломоносов утверждает обратное. Значит, я напрасно писал свои книги и тратил ваши деньги, господа члены Академии?

Де-Рюшампи. Господа! В моих трудах неопровержимо доказано, что антихрист породит могучего оратора, который ослепит вас своими рассуждениями о пользе материализма, и я, ботаник…

Теплов. Господа академики! Нужно говорить преимущественно о физических трудах Ломоносова. Кто сим трудам его скажет осудительное слово?

Рихман. Я. *(Оживление).*

Ломоносов, стоя опустив голову, поднимает ее с удивлением.

Ломоносов. Егор Вильгельмыч, друг, ты?

Рихман *(спокойно).* Я осуждаю.

Тауберт (с *наслаждением, ко всем).* Рихман — осуждает! Лучшие друзья от него отказываются.

Шумахер. Осуждайте, академик Рихман, громче осуждайте!..

Рихман. Да, я осуждаю Ломоносова! *(Одобрительные аплодисменты.)* Но прежде всего, что есть Ломоносов? Философ, естествоиспытатель, поэт. Философ — он по-новому объясняет нам мир. Естествоиспытатель — он по-новому доказывает опытами и наблюдениями свое философское объяснение мира. Поэт — он воспевает красоту и совершенство, природу, храбрость

и величие русского человека.

Уитворт. Пока я не слышу осуждения.

Де-Рюшампи. Слушайте дальше. Он осудит Ломоносова как физик.

Рихман. Я — физик. Подобно другим физикам Европы я верил, что при накаливании металл увеличивается в весе, потому что туда-де входит флогистон. Ломоносов провел *неопровержимые* опыты, доказывающие, что увеличение веса металлов при нагревании есть результат соединения металла с воздухом. Тогда я, вместе с ним, сказал — никакого божественного флогистона не было и нет!

Уитворт. Есть флогистон!

Шумахер. Академик Рихман, я лишаю вас слова!

Рихман. Господин Теплов, разрешите мне окончить речь!

Теплов. Да, да!

Уитворт. Атеист!

Теплов. Тише! Говорите, говорите…

Рихман. Тысячелетие над нами грохочут громы и сверкают молнии. Откуда они? Откуда сие?

Теплов. От бога, академик Рихман.

Рихман. Многие ученые физики исповедуют эту догму. Мы же с Ломоносовым опытами хотим доказать, что причина грома и молнии есть…

Теплов. Академик Рихман! *(Стучит по столу.)*

Ломоносов. Ну, чего кричать? Рихман говорит правду. Сила электрического огня в молнии столько веков не была еще испытана!.. «Природа не все свои священнодействия сразу открывает», — говорит Сенека. Многое будущим векам, когда даже память о нас исчезнет, оставлено: многое после нас грядущим поколениям ученых откроется. Мы хотим рассеять мрак, покрывающий доселе эту тайну небесного круга.

Шумахер. Замолчи, Ломоносов!

Тауберт *(вскакивая).* Довольно, черт побери!

Фон-Винцгейм. Рихман, это — нечестно! Вы обещали обвинительное слово.

Рихман. Я его и говорю. Вы не дослушали меня, господа академики. Слушайте меня.

Теплов. Продолжайте!

Рихман. Я осуждаю Ломоносова! Я осуждаю Ломоносова за то, что он, первейший русский ученый, обнажив шпагу, не проколол всех своих противников! И я жалею, что меня не было с ним рядом!

Голоса: «Довольно! Прекратите!»

Вот о чем нужно писать Эйлеру! Пишите, что, осудив

Ломоносова за слабое шумство, кланяюсь ему низко, по-русски, в пояс. Кланяюсь за могучую любовь, коей он любит свой народ, русскую науку и Россию! *(Кланяется.)*

Шумахер звонит.

Уитворт. Скотина! Подлец, он нас предал!

Фон-Винцгейм. Пусть скажет Тауберт! Тауберта!

Де-Рюшампи. Гоните вон Ломоносова!

Тауберт. Академики! Ломоносов — Стенька Разин науки!

Стефангаген *(входит).* Господин президент, высокородный граф и гетман Украины просит явиться немедля к нему Теплова, Шумахера, Уитворта, Тауберта, фон-Винцгейма, Миллера, де-Рюшампи, Рихмана.

Рихман. Я не слышал имени академика Ломоносова!

Стефангаген. Перечислены все приглашенные президентом!

Академики поспешно уходят.

Шумахер. Что это значит?

Теплов. Идем и узнаем. *(Ушел.)*

Шумахер *(смотрит в окно).* Скороходы, гайдуки, вся дворня выбежала, а кто приехал — не могу разглядеть, окно запотело.

Доротея *(входит).* Графиня Разумовская, батюшка.

Шумахер. Встречай, встречай! Зажечь все люстры! Ах ты, боже мой!

Зажигают люстры.

Ломоносов. Прощай, Иоганн Данилыч!

Шумахер. Прощай, прощай, Михайло Васильевич.

Входит Нарышкина.

Нарышкина. Здравствуйте, советник. Ломоносов, останьтесь. Ваша дочь, советник? Мила!

Шумахер. Ах, ваше сиятельство, как я рад! Благородная, могучая госпожа, супруга президента у меня!

Нарышкина. Где же долгожданный андроид?

Шумахер. Необыкновенный андроид, ваше сиятельство! Извольте подойти поближе!

Он сдергивает чехол. Нажимает кнопку. Футляр раскидывается, образуя пьедестал.

Нарышкина, всплеснув руками, восхищенно смотрит на андроид — человекоподобный автомат, которыми так усиленно увлекались в XVIII столетии. Андроид — серебряный купидон, очень похожий на того мраморного, которого мы видели в парке Шувалова.

Нарышкина. Дивный андроид!..

Шумахер. Да, сочетание несравненной красоты снаружи с искуснейшим механизмом внутри.

Нарышкина. Il marche?

Шумахер. Ходит!
Нарышкина. Il parle?
Шумахер. Говорит!
Нарышкина. Il chante?
Шумахер. Поет!
Нарышкина. Читает те стихи о купидоне?..

Приятный перервался
В начале самом сон…

Шумахер. К великому горю, ваше сиятельство, стихи, вами присланные, оказались слишком длинными. Он может лишь говорить фразы: «Рад цветущему виду их императорского величества!» или — «Ура их императорскому величеству!» Сто сорок два движения, ваше сиятельство, не считая того, что андроид свищет соловьем, кукует, рычит львом…

Ломоносов. Не хватает лишь академического ослиного рева.

Шумахер *(гладя андроид).* Оболочка — девяносто процентов чистого серебра, ваше сиятельство, а волосы, лук и стрелы из червонного золота.

Ломоносов. Зато сердце железное.

Нарышкина. Вам андроид не нравится, Ломоносов? А вам, фрау?

Доротея. Мастерские, где делали этот андроид, рядом. Батюшка посылал меня туда часто с разными поручениями. Я видела, как там ковали это железное сердце для увеселения железных сердец.

Нарышкина. Ого! Ваша дочь, советник, никак, поклонница поэзии?

Доротея. Да, но музыку я люблю еще больше поэзии.

Нарышкина *(Доротее).* Вы мне, голубушка, не нужны. Занимайтесь музыкой.

Доротея ушла.

Терпеть не могу ученых немок. Господин Ломоносов! Государыня, выслушав представления Шувалова о ваших новых ученых трудах, повелели помочь вам. Посему президент и приехал в Академию. Церемония вашего покаяния отменяется.

Шумахер. А я и не дал состояться той церемонии, ваше сиятельство.

Нарышкина. Кроме того, Сенат разрешил вам построить химическую лабораторию и учеников в нее набрать, сколь вам нужно.

Ломоносов. Благодарю вас. Я счастлив.

Шумахер. Приказ о том мною подписан.

Нарышкина. Когда?

Шумахер. Да час назад, ваше сиятельство!

Нарышкина. Час назад? Лишь десять минут назад Сенат поставил печать на свое постановление!

Шумахер. Иные люди, из ревности к науке российской, ставят свою печать раньше сенатской, ваше сиятельство. Сей феномен называется — провиденьем.

Нарышкина. Президент любит провидцев. Он ожидает вас в своем кабинете, советник.

Шумахер *(испуганно).* Ваше сиятельство, прикажете завести андроид?

Нарышкина. Андроид, если понадобится, мне заведет господин Ломоносов.

Шумахер. Врачи запретили мне выходить, ваше сиятельство. Я нездоров…

Нарышкина *(важно).* Всякий выздоравливает, коли его требует президент Академии наук и гетман Украины.

Шумахер. Выздоравливаю… выздоровел, ваше сиятельство!

Нарышкина. Господин советник, а ключ от андроида?

Шумахер *(бросая ключ на стол).* Андроид очень, очень хорош. *(Ушел.)*

Ломоносов. Химическая лаборатория! Благодарю вас, Катерина Ивановна, за несказанно радостную весть для начала наук российских. Катерина Ивановна! А вы сами не встречали ль при Дворе Ивана Ивановича Шувалова?

Нарышкина. Да. Кажется, глаза его привыкли к возвышению, на коем он находится, и голова его не столь кружится…

Ломоносов. Значит, вы беседовали с ним?

Нарышкина. О, не однажды!

Ломоносов. Не говорил ли он вам о моем проекте открытия Московского университета?

Нарышкина. Шувалов что-то говорил, но что?.. Дай бог памяти… в общем, что-то благоприятное, но, право, не знаю что!.. Заведите-ка андроид. Послушаем его. Вам, ведь, он нравится, а?

Ломоносов *(пренебрежительно махнув рукой).* Э-э!.. Катерина Ивановна! Я не сомневаюсь, что андроид сей великолепнее андроидов Альберта Великого, Себастиана Парижского и прославленного механика Вокансона. *(Размахивая большим ключом от андроида).* И, однако, сей ключ — не ключ науки, а только ключ от куклы! Академии же Санкт-Петербургской надлежит простираться в более полезных и славных нашему отечеству упражнениях. Иноземные мракотворцы, кои господствуют ныне в Академии, гасят, а не разжигают огонь российских наук. Пора новую, *российскую,* Академию создавать. А

куклы пусть создают куклы.

Нарышкина. Господин Ломоносов! *(Строго.)* Перед вами не только жена президента, но и особа, родственная царствующему дому.

Ломоносов. Простите, ваше сиятельство, нижайшего и покорнейшего слугу, но — куклы. Разве вы не встречали куколвельмож, одетых в шелка, в бархат, повторяющих чужие мысли на чужом — французском — языке и презирающих свой, родной, русский язык? Русский язык! Еще Карл Пятый, император римский, говаривал, что испанским — с богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелем, итальянским — с женским полом говорить пристойно. Но если б император римский в русском языке был искусен, то нашел бы в нем — великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, краткость греческого и латинского!..

Нарышкина идет.

Уходите, ваше сиятельство?

Нарышкина. Ухожу.

Ломоносов. Советую вам, ваше сиятельство, побольше ходить.

Нарышкина. Почему?

Ломоносов. У вас царственная походка!

Нарышкина *(остановившись, задумчиво).* Куклы? *(Оживляясь.)* Куклы? Пора бы вам увидеть у этой куклы человеческие глаза и пора бы дотронуться с благодарностью до ее руки. Что, горячая? Я — горда. Это все знают. Но когда *истинный* человек гордится своими чувствами, он не должен бояться их высказать!.. Ах, жизнь человеческая! И не сказано ль в вашей пьесе, Ломоносов, «Тамира и Селим»:

Какая польза в том, что, рок свой проклиная,
Не браком буду брак, а пленом называть?
И на оковы столь несносные взирая,
За мужем следовать, а о тебе вздыхать?

Переехали мы в новый, гетманский дворец на Украину. Залы огромные, белые, радоваться бы. Но мне они напомнили лишь царскую охоту в имении Шувалова, снег на голове купидона и… ваш белый парик. А обратили ли вы внимание, что сего андроида приказала я сделать похожим на того купидона, возле коего вы свои высокие чувства высказывали? И не тогда ли вы сказали: любовь к женщине, к науке, к поэзии, к отечеству должна быть великой. И средины в любви нет?

Молчание.

Они смотрят друг на друга, оба размышляя об одном и том же. Откуда быть средине в том влечении, слабом со стороны Ломоносова и сильном со стороны Нарышкиной? И что такое средина? Она вышла без любви замуж в тот момент, когда, как ей казалось, зарождалась ее любовь к Ломоносову. «Не судьба», — подумала она и попыталась примириться со своим положением, тем более, что и сама не знала: зародилась ли любовь? Примирения не вышло. Она вернулась в Петербург, и прежнее чувство вспыхнуло с прежней силой. Она тянулась к встрече. Кстати, подвернулся и андроид. И вот они встретились… Что же? Жизнь ее разбита. А его жизнь стараются разбить. Ей ли помогать врагам его?.. И, если вдуматься, она ни помочь ему, ни особенно навредить не в состоянии. Она не меценат, она жалкая игрушка в борьбе двух влиятельных родов — Разумовских и Шуваловых. Шуваловы слегка благоволят к Ломоносову, Разумовские, старающиеся выбить союзников Шуваловых, тоже делают гид, что слегка благоволят к Ломоносову. А в конце концов для тех и других Ломоносов — вольнодумец. И она, благоволящая к нему, тоже вольнодумка… Что же может быть у нее с Ломоносовым, кроме легкого короткого разговора? Дружба? Но разве Двор или Разумовские допустят дружбу между внучатой сестрой императрицы и пиитом, занимающимся, кроме поэзии, физикой и химией?.. Значит, все или ничего? Все — это значит развод с Разумовским, развод Ломоносова с женой, да, она уже знает, что он женат… Это — в лучшем случае, если он не любит своей жены. Но ведь он нигде и никогда не говорил, что ее не любит?.. И как она осмелится сказать о любви, и как потребует развода? Сибирь — для нее. Тюрьма — для него. Нет, нет, забыть, чтобы и мыслей не было таких! В конце концов она слабая женщина, и единственно что она умеет делать: это хорошо стрелять. Но кому и зачем это нужно?.. Нет, для нее средины нет. И она покорно наклоняет голову, слыша ответ на свой вопрос.

Ломоносов. Средины нет. Таков *истинный* человек, гордящийся своими чувствами.

Шумахер *(вбегает, тяжело дыша).* А каков андроид? Полгода трудились, ваше сиятельство! И как еще трудились! Сто мастеровых, все почти академические мастерские. Андроид понравился? Еще бы! Чудо мы создали, бог мне защита!

Нарышкина. Поелику вы, господин советник, столь набожны, что бог вам во всем защита, след ли было вам делать это языческое чучело из железа, серебра и золота? Ваш «прекрасный андроид» — глупая и ненужная кукла.

Шумахер *(потрясенный).* Кукла? Работала сотня мастеровых… полгода… все мастерские Академии наук… и

кукла!

Нарышкина. Но разве подобает Российской академии наук заниматься такими делами? Ну, вот что. Жалея вас, я покупаю серебряную оболочку сего купидона, а начинку можете оставить себе.

Шумахер. Начинку? Искуснейший механизм… чудо науки, ваше сиятельство! Ломоносов подтверждает великую ценность андроида. Да?! Нет! Ага!..

Нарышкина. Сударь! Я приезжала по поручению государыни принимать андроид. Я его не принимаю. Карету!

Нарышкина быстро уходит. Шумахер садится к камину. Ломоносов берет плащ, направляется к дверям. Стук колес отъезжающей кареты.

Ломоносов. Знобит?

Шумахер *(оборачиваясь)*. Знобит! *(Сдерживая себя.)* Сырость.

Ломоносов. Прощай, Иоганн Данилович! *(Уходит.)*

Шумахер. Гасите люстры! Уберите андроид.

Стефангаген *(входит)*. Господин советник, понравился супруге президента андроид?

Тауберт *(входит)*. Карета ее помчалась с великой силой в императорский дворец.

Стефангаген. Что решила высокородная графиня?

Шумахер. Графиня не приняла андроид. Теперь один бог нам защита. *(Помолчав. Перебирая книги.)* Химия, оптика, металлургия, поэзия. Его книги!.. Ломоносов во всех науках и во многих языках почитает себя совершенным. Полигистор?! Нет, я докажу обратное!

Тауберт *(ухмыляясь)*. Разрешив этому азиату Ломоносову строить химическую лабораторию и набирать учеников?

Шумахер. Да! И дам ему сотни учеников! Ломоносов-то ведь, знаю, одной химии их учить не будет. А когда подойдет срок, туда приедет президент Разумовский… Немного надо разума, чтобы понять — профессор, желающий учить всем наукам, ни одной не научит. И тогда — за сие ученое шарлатанство Сенат отнимет у Ломоносова и лабораторию и учеников.

Стефангаген. Глубокий замысел, господин советник.

Тауберт. Гениально! Неимоверно раздутому ломоносовскому самомнению такой удар убийственнее яда.

Шумахер. Я великую прошибку сделал в своей политике, что допустил Ломоносова в профессора. Пора эту прошибку исправить! Молитесь о божьей помощи, друзья. Преступники сами не торопятся на виселицу. Их ведут силой и с молитвой. Что это?

Слышна музыка и пение.

Тауберт. Это поет Доротея.

Шумахер оглядывается и видит бюст Петра Великого. Что-то кажется ему странным в этом бледном лице. Он берет свечу, подходит ближе и освещает лицо Петра, на котором круглые, выпученные глаза отсвечивают красноватым пламенем.

Шумахер. Последнее время Ломоносов часто говорит, что Петр Великий смотрит на нас без расположения. Неправда! Ко мне взор его всегда был благосклонен… (*Вглядываясь, пятится.)* Настаиваю, он и сейчас благосклонен… и гнев его только чудится!

Тауберт и Стефангаген при звуках его дрожащего и испуганного голоса смолкают. Он почти кричит.

Чего испугались? Молитесь!

И под чтение молитвы и пение Доротеи Шумахер, поднеся свечу к самому лицу Петра Великого, с напряжением глядит в страшные и гневные глаза его.

Третье действие

Химическая лаборатория Ломоносова.

Отделение дома, по состоянию которого можно думать, что чья-то рука, любящая порядок, пытается придать этому помещению некий уют, нечто удобное для книжных занятий, но другая, мятежная рука, постоянно превращает этот кабинет не то в склад, не то в какую-то механическую мастерскую. Рукописи и книги перемешаны со слесарными инструментами и материалами. Некрашеные сосновые полки вдоль стен заставлены бутылями и колбами, среди которых всунут какой-нибудь манускрипт или свиток древней летописи. Медный глобус полузавален осколками руд с наклеенными на них ярлыками. Добавим, что каждый предмет — будь то модель летающего корабля или новая зрительная труба, — представлен в нескольких изменениях. Гений, придумывающий постоянно новое, нетерпелив и не может успокоиться на одном.

В комнате две двери. Одна широкая, скорее всего похожая на железные ворота с калиткой в них, ведет в большую комнату, где находятся плавильные и обжигательные печи и стоит «громовая машина», другая — поуже, ведет на крыльцо и в сад. Когда открывается калитка в большую комнату, оттуда доносится гудение пылающих печей, лязг мехов и открываемых печных дверок.

Над картой, раскинутой по столу, склонились Ломоносов, Нартов, Крашенинников и генерал Иконников, позади которого стоят его адъюнкты. Вокруг стола ходит, заложив руки за спину, Рихман, углубленный в свои думы. Поодаль стоят студенты, что отправляются на Урал.

Иконников *(диктуя адъютанту).* «…и тем ломоносовским студентам трудиться положенные им годы на тех заводах и весь Урал изучать…» *(Отрывается от карты и вдруг читает.)*

Стараться о добре, коль дозволяет мочь,
День в пользе провожать и без покоя ночь,
И слышать о себе недоброхотны речи, —
Не легче, как стоять против кровавой сечи.

Так, так, Михайло Васильевич! Всяк, кто ноне берется за труд ради отечества, так думает. И ученикам твоим также тяжко предстоит трудиться…

Рихман *(на ходу заглядывая в «большую» комнату).* А твоя, Михайло Васильич, «громовая машина», пожалуй, побольше моей

будет.

Ломоносов. Егор Вильгельмыч! Точь-в-точь такая же!

Рихман. Право, больше. А вот я ее возьму да и измеряю. *(Уходит.)*

Крашенинников *(глядя в карту)*. Стало быть, Федор Ростиславич, на Ягошихинские казенные заводы поедут учить плавить металл новым способом Ермола Шелех и Никита Укладник?

Иконников. Так, господин академик Крашенинников.

Ломоносов *(помощнику)*. Захар, железо пробной плавки под нумером шестьсот сорок два! *(Иконникову)* Федор Ростиславич!

Иконников *(опять чертя на карте)*. Ась, батюшка?

Ломоносов *(взяв от Захара образец)*. Железо из руды, что найдена близ уральского местечка Златоустова. Руда богатая. Много ее?

Иконников. Хватит надолго. *(Показывая руду.)* Каковы Златоустовские руды, господин академик Нартов?

Нартов. Руда отменная.

Крашенинников. И железо отменной чистоты.

Иконников. Доложу Бергколлегии: откроем еще в Златоустове завод! Но коли новый завод, так и плавить надо по новому вашему методу? Вот тебе и на! А кого ж туда послать, Михайло Васильевич? Всех расписали!

Ломоносов. Ермолу Шелеха и Никиту Укладника.

Иконников. Да мы их посылаем на Ягошихинские!

Ломоносов. Управятся.

Иконников. Столь вы на них уповаете?

Ломоносов. А вот я покажу, сколь уповаю! Шелех! Укладник!

Входят Укладник и Шелех.

Подайте-ка генералу ваши манускрипты и чертежи.

Шелех. В народе говорят: не смотри начало, смотри конец. А ведь тут совсем черновики, Михайло Васильевич!

Ломоносов. А забыл другую пословицу: против огня и камень треснет? Тащи! *(Строго и вместе с тем ласково.)* И ты, Петер Алексеев, свои манускрипты сюда тащи.

Иконников *(читая)*. «Пушечно-артиллерийское дело» — Петер Алексеев. Господину академику Нартову, знатоку пушечно-артиллерийского дела, думаю, будет приятно ознакомиться с этим манускриптом?

Нартов. Дай его сюда, сударь мой!

Ломоносов. Ты, Андрей Константинович, написал дивную книгу о Петре Великом. И, чаю, будь Петр жив, он хорошо бы отозвался о сих молодых людях. А, каково, Андрей Константинович?

Нартов *(впившись в манускрипт)*. Ах, обожди, сударь мой!

Ломоносов. Задело! Ермола, передай манускрипты Степану Петровичу.

Крашенинников *(читает)*. «Металлургия» — Ермола Шелех.

Ломоносов. Крашенинников разберется! Мы с ним вместе учились в Заиконоспасской славяно-греко-латинской академии. А потом я поехал доучиваться в Германию, а Крашенинников — на Камчатку. И еще неведомо, кто из нас большему научился.

Крашенинников. Что ты, Михайло Васильич!

Ломоносов. Право, так. Труд твой — «Описание земли Камчатки» будет славен вечно. Я рад, что в лаборатории моей вижу великого путешественника и натуралиста.

Крашенинников *(читает)*. «Горнорудное дело» — Никита Укладник.

Укладник. Да. Мой манускрипт.

Ломоносов *(Иконникову)*. Ну что, Федор Ростиславович?

Иконников *(читая)*. Удивительно! *(Берет другую рукопись.)* «Литье металла для пушек»?

Пиленко. Пиленко. Мой манускрипт.

Иконников *(читая)*. Великолепно!

Нартов *(читая манускрипты)*. Еще бы не великолепно! Петер Алексеев, инженер-литейщик, пушкарь-умелец, ты меня знаешь?

Ломоносов *(тихо)*. Петер, громче! Андрей Константинович глуховат!

Петер ***(громко).*** Кто не знает знаменитого пушкаря-литейщика, сподвижника Петра Великого?

Нартов. Что ж ты кричишь-то на меня? Чать, я не глухой! Цыган! Задача твоя небывалая, дай я тебя расцелую! *(Целует.)* Молодец.

Крашенинников. Михайло Васильевич! Шелех говорит, что каждый отъезжающий на Урал подал тебе свой манускрипт.

Ломоносов. Каждый. Ха-ха! Шумахер про них говорит: жди добра — от свиньи бобра! Ха-ха! За лесом видит, а под носом — нет. Ха-ха! Федор Ростиславич! А что означают эти их манускрипты? То, что практика на Урале не помешает развитию теорий.

Иконников. Еду не свищу, а наеду — не спущу? Ха-ха!

Крашенинников. Преследуемые недоброхотами, столь великие успехи наук в короткий срок достигли, а?

Иконников. Замечательно! Я начальник казенных военных заводов, мне бы хвалиться, а я вас упреждаю, — на Уральских заводах тяжко. Сна и хлеба мало. Люди округ темные. Книг нет. Сочинение Михайло Васильевича «Металлургия» до сей поры в ручных списках. А вы вот новые научные задачи беретесь там

решить?

Ученики *(вместе)*. Так точно, ваше превосходительство! Решим!

Иконников *(прослезившись)*. Сыны отечества, Михайло Васильич, верные сыны отечества! И воспитаны они вами, Михайло Васильич, хорошо.

Нартов. Михайло Васильич! Говорили тут о Петре Великом… Да простит меня покойный император, а кое в чем, пожалуй, ты будешь воином не менее его.

Иконников *(размахивая манускриптом)*. Утеха была б для многих, кабы ученые задачи сих студентов задать российским и иностранным академикам.

Крашенинников. А что ж? У вас, Федор Ростиславович, много близких людей в Сенате! Покажите эти дивные задачи. Пусть Сенат велит Академии пустить их на решение под тайными литерами?

Нартов. Ну что вы, Степан Петрович! Да разве нынче мыслимо такое? Вот если бы жив был Петр!

Иконников. А чем же не мыслимо? Михайло Васильич? А ученикам твоим куда как было б лестно узнать, что задачи их пущены к решению академиками. Сердца-то как разгорятся! «Ах, скажут, задуманные задачи академики хотят решить. Нет, я сам скорее и лучше их решу!» Так, что ли? Прощайте, Михайло Васильич. Желаю вам удачи в вашем сегодняшнем опыте! Прощайте, Андрей Константинович!

Нартов. Утомился я, поеду к себе, отдохну.

Иконников. Позвольте, я довезу вас, Андрей Константинович.

Нартов. У тебя кони горячие, молодые, тебе ехать далеко, а мне, государь мой, близко. Я на своих. Прощай, государь мой, Михайло Васильевич. *(Уходит.)*

Иконников. Михайло Васильевич… *(Обнимает.)* Степан Петрович, прощайте. *(Ломоносову.)* Сейчас и твоим инженерам-геологам и металлургам лошадей подадут.

Ломоносов. Ваше превосходительство! Да там жена, обед…

Иконников. Ни, ни! Ел ли, не ел ли, а за обед почту! Ха-ха!.. Еще в Сенат хочу успеть перед отъездом: потолковать насчет сих манускриптов! Ну, кто со мной на Урал, собирайтесь!

Все ушли.

За окнами голоса: «Спасибо, Михайло Васильевич!» — «Вам спасибо». — «Не забыли карты географические?» — «Всё взяли?» — «Прощайте, генерал!»

Ученики возвращаются.

Петер. Ну, ребята, пора и нам собираться! А друзья-то какие

у Михайло Васильевича? Андрей Константинович! Семен Петрович!

Шелех. Иконников тоже не из последних.

Укладник. Ермолушка, ты орден Андрея Первозванного у него разглядел?

Шелех. Взгляд-то повострее ордена будет.

Петер. Взгляд такой, что поставить с ним рядом некого! Азов брал!..

Конон Ракитин *(степенно).* До Азова он, семнадцати лет отроду, гренадером в Полтавском сражении бился: шведского генерала Шлиппенбаха собственноручно в плен взял. В нашей картине «Полтавская баталия» третий гренадер справа от Петра — Иконников!

Петер. Ну, братцы, раз такой герой нас везет, надо ехать хоть через край света!

Входит Поповский с книгами подмышкой.

Поповский, смотри, Иконников!

Поповский. Некогда.

Конон Ракитин *(вздыхая).* Эх, завидую я, ребятки, кто на Урал едет! Академик Крашенинников рассказывал — красиво там. Реки огромны, люди того огромней. Пишите письма мне, Петер, пиши!

Петер. Я вот невесте своей собирался писать. А невесту мою — в Калужской той злосчастной провинции, — барин Демидов себе на забаву потребовал. Она и повесилась. Ножом бы я этому барину письмо отписал! По горлу!.. *(Поповскому, что раскрыл было книгу.)* Ну, опять он со своей латынью! До Вергилия ли, Цицерона нам сейчас, Поповский?

Поповский. Куда вы направляетесь? В дальние странствия? Так вот, размышляя над речью Цицерона «В защиту поэта Ахия», Михайло Васильевич, быть может, думал и о вас, когда писал свои стихи?

Науки юношей питают,
Отраду старцам подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха,
И в дальних странствах не помеха,
Науки пользуют везде:
Среди народов — и в пустыне,
В градском саду и наедине,
В покои сладки и в труде!
А в вашем труде — особливо!

Ученики аплодируют. Поповский церемонно раскланивается и садится.

Шелех. Философ, Николай Никитыч, а ты б подметки-то подкинул: нога из сапога нам подмигивает. Язык у тебя хорош, а подметки никуда.

Поповский. Ничего. Язык мысли кормит, он же и до победы доводит. А от победы до крепких сапог один шаг!

Ученики смеются.

Возвращаются Ломоносов, Елизавета Андреевна и Рихман.

Рихман. А мне пора, Михайло Васильевич, к моей громовой машине.

Ломоносов. Обождите. Обедать будем. А тучу не прозеваем: у меня на крыше ученик сидит, сторожит. Гриша!

Уктусский *(сверху).* Туча еле-еле видна, Михайло Васильевич. И грому не слышно. Оно и лучше: доброе молчанье лучше худого ворчанья. *(Уктусский скрылся.)*

Ломоносов. Ну вот, видишь. Может и грозы-то не будет.

Рихман. В воздухе душно. Животные томятся. Будет гроза.

Ломоносов. Поповский!

Поповский. Бегу!

Ломоносов. Вот поэт! Сразу догадался. Куда же побежишь?

Поповский. Два штофа водки!

Ломоносов. Четыре.

Елизавета Андреевна. Спиваться, что ли?

Ломоносов. Поморов, земляков, жду. Ну, и ребят проводить надо.

Поповский и Елизавета Андреевна уходят.

(к ученикам). Все задачи свои составили?

Голоса. Все! Все составили! Все написали!

Петер. Один только Анкудин Баташ еще в своем подполе пишет побасеночки свои.

Ломоносов. Не нравится?

Петер. Работы его по коже нравятся, а побасенки — нет. Не до шуток нам, Михайло Васильевич! Шутки шутить — людям голову мутить. Вот что народ-то говорит! Что грозно, то — честно; что смешно, то — грешно.

Ломоносов. Верно. Сей слезы, радость пожнешь. А только вдруг, Петер, он радость эту издалека чует? Баташ — млад годами, зато стар бедами. Слушай, поле, что про грозу лес шумит. Эх, отроки мои, драгие воспитанники! Металлов милые искатели! Перелистывая ваши задачи, думаю: «А, впрямь, не пустить ли их в свет? Пометив тайными значками, какими-нибудь литерами?

Какова инвенция-то, а? Какова выдумка? И сие сотворить не для реванжа или отмщения академикам, а что б действительно работы вам облегчить». Ха-ха! Никита! Ермола! Ваша задача из первейших. Имена ваши на ней зачеркиваю. Под каким тайным знаком хотите задачу пустить? Какую выберешь литеру, Ермола?

Ермола Шелех и Никита Укладник из крестьян, но крестьянского, кроме того, что они подстрижены в скобку, у них сохранилось мало. Их роднит другое — дружба. Они выходят вперед почти одинаковым шагом, и глаза их сверкают одинаково фанатично.

Укладник. Чать, призрак и мечтание все это, Михайло Васильевич, — где нам состязаться с академиками?.. А все-таки очертание сего зажглось в душе. Перебираю буквы — аз, буки, веди…

Шелех. Возьмем же — «веди»! Сие слово — самосветочь. Ты знаешь, Михайло Васильевич, мы с тобой, по рождению, соседи: с реки Двины. Народ у нас там упорный, якоже реши старой веры держится.

Укладник. И торгу временному не поддавался, а, придя в ярость, муки за веру нес, аж до того, что сжигал себя в гнездах своих. Мы же…

Шелех. Мы пришли к новой вере, ломоносовской. В человека веруем! И, коли надо, все, что отечеству потребно, сделаем. Задачи наши о металле — металлу нальем во множестве.

Никита Укладник. А потому задачу, Михайло Васильич, помести под тайной литерой — «веди», веруем-де! — и добьемся!

Ломоносов. «В». *(Пишет.)* А под какой буквой писать твою задачу, Петер Алексеев?

Никифор Пиленко *(выходит).* Петеру Алексееву лучше бы поменьше говорить, Михайло Васильич. Мысли у него дерзкие, и держать он их в себе не любит. Я — украинец, Михайло Васильевич, наш народ не трус, да еще, вдобавок, я и у запорожцев побывал. Но и меня иногда от его слов мороз по коже дерет!

Ломоносов. Не от трусости сей морозец, а от справедливого негодования. Признаться, и меня сей морозец частенько прохватывает.

Пиленко. Да и наши-то близкие, Михаил Васильевич, все произволом покалечены. Отца Ермолы Шелеха барские конюха кнутами заполосовали до смерти. У Никиты брат на галерах зачах. Конон Ракитин из монастырских крестьян, так его семейные шестой год в монастырской тюрьме гниют. У Петера Алексеева невеста… Я украинец. Лет пять назад пошел я с запорожцами против турок, вернулся, а дом мой разграбили не

хуже турка. Кто? Да янычары того недруга украинского, что Украину в юзилище, в тюрьму превращает, а казаков — в колодников, янычары того гетмана Разумовского!

Укладник. Петер, а хорош у тебя юстицрат, советник-то твой, говорю, хорош? Тебя уговаривает молчать, а сам по чубу обухом бьет, ха-ха!

Ломоносов. Ничего, мы все, вроде Андрея Константиновича, туги на ухо. Продолжай.

Пиленко. Прости, коли сболтнул что опромешно, Михайло Васильевич. Скажу только, что кормчими у нас — отечество, наука и ты, Михайло Васильевич!..

Хочет поцеловать руку Ломоносова. Ломоносов встает, обнимает Пиленко. Все бросаются к Ломоносову, повисают на нем.

Ломоносов *(растроганный)*. Буде, буде… Какую ж литеру ты, Петер, своей задаче дашь?

Петер. Литера «твердо»: начальная буква слова «тысяча». *(С силой, весь дрожа)*. Тысячу бы мне пушек налить да из них всех врагов России да и вельмож перебить!

Пиленко. А-а-а, любо! *(Хохот.)*

Ломоносов *(после паузы)*. Ух, Петер, ух!..

Петер. Михайло Васильич, да вы ж о заветном спрашивали!

Входит Поповский.

Поповский. Готово, Михайло Васильич.

Ломоносов. Прыткий. Поповский! В случае академического конкурса ты под своими поэтическими переводами какую б тайную литеру начертал?

Поповский *(быстро)*. Литеру «К»!

Ломоносов. А что она означает?

Поповский *(потупясь)*. Ее зовут Ксения. *(Хохот.)*

Елизавета Андреевна *(входит)*. Михайло! Поморы.

Входят поморы. Они вносят гостинцы, среди которых большая бутыль с водой и клык мамонта. Крестятся, кланяются Ломоносову и его жене. Среди помор — Калинушка Судьин, востроглазый, белобрысый паренек.

Ломоносов. Здравствуйте, земляки!

Седой помор. Здравствуй, Михайло Васильевич! Кланяемся тебе новым путем. Посоветовал ты нам новый рейс, — мы его и прошли. За одну навигацию прошли мы от сибирской реки Оби, мимо Ямала, Новой Земли и Архангельска, прямо в Петербург, к тебе!

Ученики *(в восторге)*. Вот слава! Ай да поморы!

Ломоносов. И, подлинно, слава! *(Показывая ученикам по глобусу.)* За одну навигацию хотят они не токмо прийти из Сибири в Питер, а еще и успеть вернуться в Колу. Вернетесь,

шкипер Подволошнов?

Подволошнов. Летом не дойдем, зимой пойдем! Прошлый рейс, десятого сентября, пониже Лефотенских островов *(показывая на глобусе)* видели мы последний раз солнце и дале плыли на Колу в полутьме.

Ломоносов. Что доказали сии дивные русские люди? Они доказали, что Северное море и зимой для плаванья не опасно. Это — раз! А второе — предсказывают они, что пройдут наши корабли Ледовитым океаном в Тихий. А что они третье, ребятушки, доказывают? Ну?

Ученики. Михайло Васильич, не знаем. И догадаться нельзя!

Ломоносов. А третье — они доказывают, что когда выполните вы свои задачи на Урале, они заместо долгого сухопутного движения повезут ваши орудия, машины, железо, сталь, медь, кожи морем. И быстрей, и дешевле! Верно, штурман Подволошнов?

Подволошнов. Для того и рейс делали, Михайло Васильич.

Ломоносов. Люблю море и завидую тем, кто плавает в нем. И бурям, которые вы побеждаете, завидую.

Седой. Слыхали мы, что тебе и в Питере, Михайло Васильич, бурь видеть приходится не мало.

Подволошнов. Кланяемся тебе еще, Михайло Васильич, просфорой от соловецких угодников. А еще кланяемся водой в склянице. Воду эту, как ты желал, зачерпнули мы в самом Ледовитом океане и привезли тебе.

Ломоносов. Клементьев, возьми! Вода сия ценна весьма для опытов химических.

Горбоносый. А это ребятишкам забава, клык звериной, под названием «мамонт». Только в наших краях таких теперь живыми не встречаем. На Грумант-острове, то-бишь, по-нонешнему, на Шпицбергене, сказывают, мамонт еще ходит…

Юный помор. И там перемерли.

Дед на него шикает.

Ломоносов *(указывая на клык)*. В кунсткамеру! *(Обнимая, ведет седого помора к креслу.)* Садись, садись, Евграф Иваныч. В Белое море вместе когда-то ходили, учил ты меня, помнишь, мореходному делу?

Седой. Учил, учил! А теперь внука к тебе в ученье привез. Кланяюсь тебе внуком, Михайло Васильич, прими в науку и обучи!

Ломоносов. У меня ученье не легкое, Евграф Иваныч.

Седой. Знаю, знаю!

Ломоносов *(глядя на юного помора)*. Подойди, садись. Чей? По наружности, вроде Парфенов?

Седой. Угадал, Парфенов сынок, Михайло Васильич, Парфенов.

Ломоносов. А сам Парфен, небось, все с Аммосом Корниловым на Грумант-остров ходит? *(Напевая.)* «Грумант-остров от страшен, от страшен…»

Седой. Помнишь наши песни, Михайло Васильич?

Ломоносов. Когда тревожусь, помогает.

Юный помор. Батя велел вам кланяться, Михайло Васильич. «Я и сам бы приехал, говорит, хлопотать, да карапь покинуть не на кого». Прими, Михайло Васильич!

Седой *(гладя юношу по голове)*. Обуянный наукой парень-то. Хочу, кричит, учиться. Ломоносовым хочу быть! Ломоносовым… легко выговорить.

Ломоносов. Истинные науки, отрок, зело прекрасны. Не отвести глаз! Да в наши времена не каждому дано их выдержать.

Юный *(тоненьким, но настойчивым голоском)*. Выдержу.

Ломоносов. Голодать, холодать, в лохмотьях ходить…

Юный. Выдержу.

Ломоносов. И злым преследованиям подвергаться.

Юный. И подвергнусь. Выдержу.

Ломоносов. И долго, упорно многое неустанно изучать. Химию, физику, геологию, оптику, поэзию, минералогию… всё! И никаким трудом не гнушаться.

Юный. Чего гнушаться! Всё, что надо — пройду.

Ломоносов. Флогистон будешь отвергать. Корпускулярную философию возвышать.

Юный. Каркус… Чего не знаю, того не знаю: ни флогистона, ни карту…

Ломоносов *(улыбаясь)*. Я знаю. И ты узнаешь. Имя?

Юный. Калина, Парфенов сын, Судьин.

Ломоносов. Сколько лет?

Юный. Семнадцатый.

Седой. У нас, Михайло Васильевич, ноне урожаи плохи, парни-то слабо растут.

Юный. А я сам собой сильный!

Ломоносов *(преподавательским тоном)*. Отвечай, что есть истинная добродетель?

Юный *(тоном ученика, поспешно)*. Истинная добродетель — есть в пользу отечества и ближнему своему служить без корысти и лицемерия.

Ломоносов. А что есть приятный союз?

Юный. Нет крепче такого союза, который был бы приятнее соединения слов честных с честным делом.

Ломоносов. А что есть физика?

Юный. Физика есть рассуждение о вещах, их качестве, их переменах и действиях. Физика делится на…

Ломоносов *(прерывая)*. Постой, почему руки в краске?

Юный. К изучению кож стремление имею. Химией на них воздействовал…

Горбоносый *(ухмыляясь)*. Отцовские сапоги пожег и руки свои.

Подволошнов *(пренебрежительно)*. Не моряк! Кожи? Кожи — грязное дело.

Ломоносов. Для ученого грязного дела нет. Есть у меня отличнейший химик Анкудин Баташ. Кликните Баташа! Все время с кожами возится. Где ж ты, Баташ?

Баташ. А я здесь!

Из люка показывается Баташ — широколицый, смеющийся, с голой красной грудью, с синими по локти руками, поморы отшатнулись.

Ломоносов *(юному помору)*. Испугался?

Юный *(смеясь через силу)*. На черта похож!

Ломоносов. Оттого черт везде и проходит, что остер как игла. Этот Баташ пришел жаловаться Шумахеру, начальнику университетской канцелярии, и начал так: «Ваша милость! Меня обидели некоторые, сего университета, мерзавцы! А сказывают, что ты у них главный…»

Хохот.

Баташ. Петер не смеется? Напрасно. Один штурман в порту мне рассказывал. Приплыл некто из теплых стран в Питер и привез с собой обезьянку. Приплыл, а тут беда — разорение и доносы. Он с горя захворал великим чирием, и видел себе смерть. Тут подлый его помощник забрал все его пожитки и, поклонясь низко, оставил его с обезьяной. Обезьяна, приметя поступок вора, нашла за печью худую шляпенку, надела ее и, подошед к болящему, отдала такой же поклон, как и вор тот. Болящий, видя это, сильно захохотал. От сего прорвался чирей, и тем он выздоровел.

Хохот.

Петер *(сердито опираясь на стол, встает)*. Какая разница есть между тобою и шутом?

Баташ *(указывая на стол)*. Только стол.

Хохот.

Ломоносов *(поморам)*. Молодые, — забавляются. Баташ — язвительный, а, со всем тем, большой разум имеет. Баташ, ваши задачи пойдут скрытно всем ученым на разрешение. Где твоя?

Баташ *(подавая Ломоносову манускрипт)*. Русский язык хорошо понимаю. Пишу не очень разборчиво. Мой задач, Михал

Васильич, чтоб кожа такая, какой Аллах подметки не имеет.

Ломоносов *(берет Калину за подбородок).* Анкудин, вот тебе помощник. Покажи свои чаны. А глаза-то?! Глаза поморские — днем звезды видят! Лиза, жена, когда же обед?

Елизавета Андреевна. Готов, готов.

Ломоносов. Сейчас обедать будем, земляки.

Седой. На корабли нам пора, Михайло Васильич.

Ломоносов. Ничего. Обед у меня будет короткий, не утомим вас. Ученики торопятся на Урал, я — к своей громовой машине. Вот, смотрите, земляки, — это самый отличнейший наш академик, ученый Рихман. У него тоже такая же машина и он тоже будет молнию с неба ловить.

Седой. Молонью? С неба? Ах ты, господи боже мой! Наши поморы-то до чего дошли — молонью с неба тащат. Покажи машину, Михайло Васильич, покажи.

Рихман, Ломоносов, поморы уходят. Елизавета Андреевна вносит большую миску со щами, Поповский — штофы, Пиленко и Алексеев — блюда с хлебом.

Петер. Лизавета Андреевна! Берегите Михайлу Васильича. Опыт с молнией — опасен.

Пиленко. Думается, и торопит-то он нас к отъезду оттого, что боится, как бы кто из нас не пострадал при том его опыте.

Елизавета Андреевна. Да, да! Нужно беречь, нужно!..

Возвращаются Ломоносов, поморы и Рихман.

Рихман *(на ходу Ломоносову).* Мы с вами сегодня, Михайло Васильевич, громовые братья. Вместе одну и ту же молнию будем ловить! И, думая о великой силе молнии, я думаю вместе с тем о крошечных, нечувствительных частицах, то есть об атомах. Вы правы, говоря, что каждая из сих ничтожных частиц — целая планета, с доступным науке движением сил. И не вы ли, Михайло Васильевич, открыв силу молнии, откроете нам движение мировых сил в атоме?

Ломоносов. До тайны атома еще далеко, Егор Вильгельмыч!

Рихман. Русским?

Ломоносов. Ну, русским, вестимо, ближе всех.

Рихман. Глядя на сих великанов-поморов, я тоже так думаю.

Все садятся за стол. Рихман стоит.

Ломоносов. Егор Вильгельмыч, ты что же не садишься?

Рихман. Благодарю. Я не могу сесть. Спешу к своей машине. Михайло Васильич, помни: мы — громовые братья! *(Уходит.)*

Ломоносов. Беспокойный он нонче. *(В дверях кричит вслед Рихману.)* Егор Вильгельмыч! Во время грозы стой от соединительных прутов футов на десять. Иначе — опасно! На десять футов, не менее!

Голос Рихмана: «Понимаю! Буду стоять на десять футов, не менее!»

Ломоносов садится за стол.

Седой. Вижу, Михайло Васильич, работы у тебя хоть отбавляй.

Ломоносов. И лучше б работали, когда б злодеи не мешали. *(Кричит в дверь плавильной.)* Захар, оставь дежурного у плавильных печей, иди обедать!

Захар *(высовывая голову)*. Некогда! Прошлый раз я из-за лекции по астрономии чуть руду не пожег, а теперь из-за обеда? *(Скрылся.)*

Седой. Во имя отца, и сына, и святого духа да будет благословенна и пища и жизнь наша.

Все *(крестясь)*. Аминь. *(Садятся.)*

Едят молча, не спеша, из одной миски, — держа ложки над кусками хлеба. Из плавильного отделения доносится шум мехов и дыхание пламени. Поповский наполняет чарки.

Ломоносов *(Поповскому)*. Николай Никитич, а ты что ж не присядешь?

Поповский. Кто водку разливает да подает, тому на Руси садиться некогда. *(Меняет штофы.)*

Седой. Михайло Васильевич, пить много грех, а совсем не пить тоже бога гневить.

Поповский. Истина!

Ломоносов. Выпил бы, да не идет, Евграф Иваныч. Забота: ученики уезжают Россию обогащать да обворужать…

Подволошнов. Война, что ли?

Ломоносов. Война не война, да и до войны недалеко. Ты по себе, шкипер, знаешь, что искусный мореплаватель не токмо в бурю, но и в тишину бодрствует: укрепляет орудия, готовит паруса, мерит глубину моря и от потаенных водою камней блюдется.

Пиленко. Михайло Васильич! Учили вы нас ранее прочего идти не за своим счастьем, а за счастьем отечества. А коли, говорили вы, подвернется по дороге и немножко твоего счастья, слава богу! Прошу, Михайло Васильич, выпить за путь-дорогу нашу, кою свершаем мы по слову вашему.

Петер. Михайло Васильич, всю жизнь ради России отдадим!

Ломоносов. За Россию? *(Берет чарку и держит ее обеими руками.)* Россия? Видится мне, братья, Россия. Да не теперешняя, несчастная, горькая, с народом темным и нищим, хоть и гордым. Видится мне Русь лет за полтораста — двести. Вижу я отчизну нашу могущественнейшей, счастливейшей и грознейшей для врагов ее! Вижу я Россию по всей земле правду простирающей.

Российская тишина пределы превосходит
И льет избыток свой в окрестные страны.
Воюет воинство твое против войны,
Оружие твое Европе мир приводит!

За Россию, русские!

Все встают.

Уктусский *(показываясь в люке потолка).* Туча с норда над Адмиралтейством, низкая, черная, идет без грома!.. *(Ломоносов встал.)* И тройки для ребят подали. Что сказать?

Ломоносов. Скажи, что идут.

Студенты встают.

Постой, постой! Обед доедайте. Жить вам на Урале долго, лет пять или семь. На всякий случай лет на десять наедайтесь.

Ученики садятся.

Седой. Пора и нам на корабли.

Ученики встали.

Ломоносов. Встали? Ну, а теперь присядем и помолчим по русскому обычаю. *(Все садятся. Ломоносов, глядя в пол и как бы рассуждая сам с собою, тихо говорит.)* Молчу… И думаю: вот вернутся мои ученики и будет уже открыт Московский университет, самое горячее чаяние мое. И захочется мне тогда рассказать им побасенку…

Пиленко *(тихо).* А вы сейчас расскажите, Михайло Васильевич!

Шелех. Сейчас, сейчас!..

Ломоносов. Две птицы свили себе гнездо. Хозяйка села высиживать яйца. Хозяин полетел по хозяйству. Ну, вот — вечер, тепло, сидят они в гнезде, покушали и — разморило их, глаза аж смыкаются. Только хозяин всматривается: эко диво! Воронье кружится над гнездом, на яйца зарится. На лес взглянул: по стволам полымя к нему идет. В землю смотрит: с земли к стволу, к гнезду его, змея ползет…

Укладник. Кругом беда, выходит?

Ломоносов. Кругом. Ну, будит хозяин хозяйку. А та, баба известно, в слезы. Молиться начала. Хозяин ей и говорит: «Бог-то бог, да сам не будь плох. Меня старики кой-каким наукам научили. Погибнем, коли не науки, баба!» И крикнул он друзей-товарищей! Слетелось со всех гнезд много птиц. Заклевали сперва змею. Потом, — в зобах, что ли, — воды натащили, пожар потушили. А там и воронью стаю отогнали. И стали они жить-поживать, добро да славу наживать. Да-а… Ну, а отгадку этой притчи скажу, когда вернетесь.

Петер. А я и сейчас знаю.

Ломоносов. Сделай милость, скажи, Петер.

Петер. Просвещение — суть самая крепкая узда на тиранов!

Пиленко. Московский университет — суть мастерская, где оную узду тачать будут!

Укладник. И будем на Урале хоть сто лет, крикнешь: «Ребята, встать передо мной, как лист перед травой!» Встанем!..

Ломоносов. Ну, помолчали, можно и встать. *(Встает.)* Счастливой работы и счастливых путей, отроки мои! Прощайтесь!

Ученики *(Ломоносову и Елизавете Андреевне).* Спасибо за ласку!

— За заботы, Михайло Васильич!

— Елизавета Андреевна! Вечно будем помнить вашу ласку.

— Желаем удачи и счастья, Елизавета Андреевна!..

Седой *(юному помору).* Прощай, внучек. Михайлу Васильевича слушайся, да не балуй.

Юный. Прощай, дедушка! Голубей-то моих не забывайте кормить!

Ломоносов, жена его, поморы и ученики уходят. Юный помор, глазея на чудеса лабораторий, замешкался было…

Баташ *(юному).* Учиться хотел? Давай, начинай.

Юный. А где машины-то?

Баташ *(указывая на стол и на посуду).* Вот они! Мы за собой сами убираем. У нас лакеев нет.

Юный. Эка невидаль! Да я всю жизнь дома чашки мыл. Водку оставить?

Баташ. Чего?

Юный. Дед говорит, что пророк Елисей приказал убирать штофы только пустыми.

Баташ. Ух, ты, я вижу, остер.

Юный. На то и топор, что остер.

Входят Ломоносов, Елизавета Андреевна, Поповский.

Ломоносов. А туча велика. Будет славная гроза. Оставшихся учеников отпусти, Поповский. Пусть погуляют.

Поповский. Не до прогулок им…

Ломоносов. Что я сказал?

Поповский. Да я отпустил, отпустил.

Ломоносов. А сам во время опыта будь при громовой машине.

Поповский. Все желают…

Елизавета Андреевна. Все, Михаил…

Ломоносов. В театр и то не все попадают, а у меня — лаборатория. Нечего тут всем делать!

Поповский. Соседи…

Ломоносов. Что соседи? Какие соседи?

Поповский.

Лишь только дневный шум замолк,
Надел пастушье платье волк,
И взял пастуший посох в лапу,
Привесил к поясу рожок,
На уши вздел широку шляпу
И крался тихо сквозь лесок
На ужин для добычи, к стаду…

Ломоносов. Знаю! Какой смысл басни сей?

Елизавета Андреевна. Соседи наши — монахи Богоявленского монастыря — молебен о дожде служат и крестным ходом хотят идти…

Поповский. Чтоб к нам завернуть!

Ломоносов. Плюю на все монашеское коварство!

Захар *(входит).* С пробой на колыванские серебряные руды не опоздать бы, Михайло Васильич. *(Молчание).* Уехали?

Ломоносов. Далеко уже…

Захар. Да, чать, вернутся?

Ломоносов. Дай бог лет через пять. Ну, пойдем руды смотреть, да и к громовой машине пора.

Елизавета Андреевна *(робко).* Михаил…

Ломоносов *(сердито).* Ты чего, жена?..

Рожок.

Поповский *(смотрит в окно).* Президент! Разумовский!

Елизавета Андреевна. Карета Разумовских! Парадный кафтан, Михаил, парадный…

Ломоносов. Перед сатаной я лучше надену парадный кафтан, а не перед этим пригожим расточителем!

Входит Теплов. Елизавета Андреевна и Поповский уходят.

Теплов *(входя).* Господи, спаси, благослови и милосердствуй дому сему! Здравствуй, Коперник, богу соперник! *(В сторону крыльца).* Пожалуйте, ваше сиятельство.

Входят Разумовские.

Нарышкина. Здравствуйте, Михайло Васильевич! Какую тесную лабораторию вам выстроили.

Теплов. И из этой-то ничего, кроме хвастовства, не выходит.

Нарышкина. Покажите ему, Михайло Васильевич, что выходит!

Нарышкина внешне изменилась мало, разве что чуть пополнела. Но внутренние изменения в ней велики, что заметно с первого взгляда и человеку, который мало ее знает. Жизнь сильно

поломала ее, — и хочет сломать до конца! В ней уже мало задора, и колкие слова, которые иногда вырываются, она произносит как-то вяло, нехотя. Она начала явно побаиваться гетмана. И то сказать, гетману везет безостановочно! Он сказочно богат — и богатства эти растут изо дня в день. Двор к нему благоволит. Правда, с Академией не все ладно, но что ему Академия, когда он властвует над всей Украиной! Если жена его одета, сравнительно, скромно, то сам гетман разукрашен донельзя, точно чудотворная икона: атлас, шелк и бриллианты так и пышут на нем. Он весьма раздобрел и — не подобрел: наоборот — стал вспыльчивее: былая пылкость его духа теперь часто превращается в бессмысленный и тупой гнев. Привыкши к подобострастию и искательству, он разозлен уже тем, что Ломоносов встретил его с легким, почти небрежным, поклоном.

Разумовский *(повелительно).* Катя, не мешай! Ломоносов! О каких это твоих новых научных задачах говорил сейчас генерал Иконников в Сенате?

Ломоносов. Смею думать, ваше сиятельство, что все мои научные задачи — новы.

Разумовский. Где твои студенты? В Академию их не пускает, сам один…

Теплов. …по всем предметам наук лекции им читает!

Разумовский. А в лабораторию к нему придешь — студентов его нету!

Теплов. Слыхал я, он их куда-то на Урал отправляет?

Разумовский. И не заикайся! Академия не позволит.

Ломоносов. Сенат, ваше сиятельство, похоже, думает по-другому.

Разумовский. Так и есть! Он еще Сенат в мои дела втолкнул!

Теплов. Беглых мужиков, Михайло Васильевич, Сенат прикрывать не будет. А за тобой числится беглый Петрашка Алексеев, по прозванию Петер…

Ломоносов *(кланяясь Разумовскому).* Вашему сиятельству благоугодно взглянуть на мои труды? Понимаю, что ваше сиятельство прежде всего пожелает ознакомиться с подробным проектом моим о создании университета…

Разумовский. Опять?

Ломоносов. В древней столице нашей…

Разумовский. …В Киеве?

Ломоносов. Сначала в Москве, ваше сиятельство. Честь российского народа требует — показать способность и остроту его в науках.

Разумовский. Сотни лет жила Москва без университета и еще сотни проживет.

Ломоносов *(отбрасывая бумаги).* Кажется мне, ваше сиятельство, что если б просвещение России зависело от таких, как вы, то пришлось бы пожалеть о России.

Разумовский *(в гневе).* Ломоносов?!

Нарышкина. Ах, граф Кирилл! Сабля, часто и без толку извлекаемая из ножен, притупляется.

Разумовский. Это ты о чем, Катя?

Нарышкина. О вашем крике.

Разумовский *(кричит).* А-а! Мне не нужен Московский университет! А-а! Мне надоели рассуждения Ломоносова о просвещении! А-а! Мне надоело просвещение!..

Нарышкина. Граф Кирилл, стыдитесь.

Разумовский *(успокоившись).* Да и не в чин тебе, братец, этим делом, — Московским университетом, — заниматься: есть люди познатней. Твое дело оды писать к иллюминациям — вот польза для отечества. Чем пышнее иллюминации, тем, значит, радостней империя.

Теплов. Дикари в радости и те, голубчик, костры жгут.

Нарышкина. И жарят на них друг друга.

Разумовский. Катя, не дразни меня! Я и без того зол.

Теплов, всюду шаря, отвернул кран какого-то сосуда. Оттуда послышалось шипение и пошел какой-то газ. Теплов глотнул, зачихал, закашлял.

Теплов. Да что это за отрава?

Ломоносов. Вредный газ.

Теплов. Предупреждать надо.

Ломоносов. Здесь, ваше сиятельство, владения химии. Здесь исследуем свойства растворов. Перед нами открываются чудесные и удивительнейшие законы кристаллизации.

Разумовский. Законы чего?

Разумовский проходит мимо, не взглянув на то, что хотел продемонстрировать ему увлеченный Ломоносов.

Нарышкина. Гетман уважает только те законы, которые он сам подписывает.

Разумовский. Катя! *(Ломоносову.)* А это что?

Ломоносов. Эскиз мозаичного монумента Петру Великому: «Полтавская баталия».

Нарышкина. Вы — могучий художник, Михайло Васильевич!

Ломоносов. Мною, ваше сиятельство, сделано две с половиной тысячи опытов изготовления цветных стекол для усовершенствования мозаичного искусства, но все же до могучего расцвета его, кажется, далеко еще.

Теплов. И однакоже за монумент Петру Великому запросили сто сорок восемь тысяч рублей? Разорение государства!

Нарышкина. Михайло Васильевич! Я приехала, чтоб заказать свой мозаичный портрет. В каком наряде пожелали бы вы изобразить меня?

Разумовский. Ах, подожди, Катя! Никто доныне мозаичных монументов не делал, стало быть они и не нужны.

Ломоносов. Угодно вашему сиятельству ознакомиться с моими работами в области физики?

Разумовский *(шагая по комнате).* Я не люблю физику!

Ломоносов. В области оптики?

Разумовский. И оптику нет!

Ломоносов. Астрономии? *(Отрицательный жест Разумовского.)* Металлургии? Кристаллографии? Геологии?

Разумовский. Нет. Нет. Нет.

Теплов, попрежнему осматривая лабораторию, наткнулся на манускрипты учеников.

Теплов. Нашел, ваше сиятельство!

Разумовский. Что?

Теплов. Слушайте. «Как плавить русское железо, чтоб случилось его весьма много и чтоб было оно превыше аглицкого и шведского»! Слушайте еще. «Как орудия лить в большем, против прежнего, количестве»…

Разумовский *(выхватывает манускрипт).* «Как дубить кожи в пять и больше раз быстрее»… «Как делать…» Экий почерк неразборчивый! *(Перебирает быстро манускрипты.)* Ломоносов! Это новые научные задачи?

Ломоносов. Да.

Разумовский. Иконников говорил, что академики всей Европы не смогут решить их?

Ломоносов. Не смогут.

Разумовский. И много у тебя подобных, неразрешимых задач?

Ломоносов. Около двадцати.

Теплов. Ваше сиятельство…

Разумовский. Подожди, подожди, Григорий Николаевич! Ломоносов! А наши академики могут их решить?

Ломоносов. В ближайшее время…

Разумовский. Прекрасно! От имени Академии наук — я эти задачи задаю всем академикам. Ха-ха! Решите-ка. Решите — за каждую задачу сто червонцев, а не решите — молчать, поджать хвосты, не пикнуть! Понимаю я эти задачи! Шуваловы, через Иконникова, хотят меня поддеть: я — де мешаю Ломоносову и его друзьям-академикам работать в пользу науки! *(Тыча пальцем в манускрипты.)* Работайте же, жабьи души, выкидыши!..

Нарышкина. Граф Кирилл!

Разумовский. Что молчишь, Ломоносов?

Ломоносов. Ошеломлен стремительностью вашего мышления, ваше сиятельство.

Разумовский. Завтра же перебели и пришли мне эти задачи. Химическая лаборатория, Катя, и ни слова о химии!

Ломоносов. Вы не изволили меня слушать, ваше сиятельство.

Разумовский. Я?! Я только и делал, что слушал тебя. Задачи?! Ха-ха!..

Ломоносов. Григорий Николаевич, вы спросили у меня позволения рыться в моих трудах?

Теплов. Я имею право распоряжаться имуществом Академии наук.

Разумовский *(засиял).* Что это? А! Глиняные свистульки!

Ломоносов. Вздор. Студенты нажгли для забавы окрестным ребятишкам.

Разумовский. Катя! Недалеко от Лемешей, нашего хутора на Украине, бывали ярмарки. Мамо часто возили меня на них. Бывало, прошу: «мамо, купите свистульку». Они же, считая это пустяком, покупают пряник. *(Пробует свистульку.)* Великолепный звук! И сколько их! И какие разнообразные!.. Разрешите мне взять одну, господин Ломоносов? Нет, две?

Ломоносов. Да сколько хотите, ваше сиятельство.

Разумовский. Пять! *(Свистит.)* Почти октава. Божественно!

Теплов *(показывая модель).* Ваше сиятельство! Кощунство! Летательная машина!

Разумовский. Как летательная машина? Ломоносов!

Ломоносов. Чаю, вначале сии аэродромные машины будут поднимать вверх на воздух разные приборы, дабы узнавать течение ветров, температуру воздуха и влажность его. Дальше машины сии и человека носить будут.

Теплов. Летают только птицы да ангелы, Михайло Васильич. И нигде в священном писании не сказано, что человек может летать и его можно уподоблять птице, тем паче ангелу. Человек есть червь.

Разумовский. Аз есмь червь.

Ломоносов. Если это вам так нравится, ваше сиятельство…

Нарышкина смеется. Разумовский обижен.

Теплов. Ваше сиятельство! *(У дверей плавильного отделения.)* Громовая машина!

Разумовский. Где?

Теплов. Вот, в плавильной.

Разумовский. Сделал-таки? Сделал-таки?

Ломоносов. Сделал.

Разумовский. Хорош!

Теплов *(горячо, Ломоносову)*. Ну зачем ты ее сделал?

Разумовский. Тебе Шумахером было запрещено ее делать.

Теплов. В тебя святейший Синод пальцами тычет, на тебя духовенство донесения длиной с версту пишет. Не говоря уже об атеизме, вот соседи твои…

Ломоносов. Кто?

Теплов. Монахи Богоявленского монастыря жалуются, что через твою громовую машину их монастырь, н коем много деревянных строений, сгореть может. А там — мощи, кроме монашествующих! Вот к чему ведет твоя физика!

Ломоносов. Попам-суеверам не вижу нужды толковать о физике. Пусть довольствуются священным писанием!

Разумовский. Ломоносов, ты невыносим! Я уезжаю на Украину и за твои безбожные сумасбродства перед Сенатом и Синодом отвечать не хочу. Сейчас же уничтожь громовую машину и прекрати все свои писания об атоме. Атом?! Что, по-твоему, человек из частиц составлен?

Теплов. Человек создан по божьему подобию.

Разумовский. Слышишь? Ломоносов?

Ломоносов. Слышу.

Раскат грома.

Разумовский *(весь дрожа от гнева, вырывает из рук Ломоносова какой-то манускрипт, кидает его на пол и яростно кричит)*. Что-о?!

Ломоносов *(также громко и яростно)*. Гром, ваше сиятельство!

Разумовский. Едем, Катя, гром!

Нарышкина. До свидания, Михайло Васильевич!

Разумовский. Прошу в карету.

Разумовский, не попрощавшись, уходит. Остальные — за ним. Ломоносов, по уходе их, падает на стол и яростно бьет по нему кулаком.

Ломоносов. Высокомерные невежды! Палачи науки! Ненавижу!

Нарышкина *(вбегает)*. Веер забыла! Подарок государыни.

Ломоносов поднялся со стола и делает вид, что ничего не произошло, Нарышкина пристально смотрит на него.

Всегда завидую смелости.

Ломоносов. Для своего сана вы достаточно смели, Катерина Ивановна.

Нарышкина. Смел сокол, пока крылья не подрезали.

Нарышкина, вздохнув, уходит. В дверях она сталкивается с Елизаветой Андреевной, которая приседает перед ней.

Ломоносов *(жене)*. Что с тобой, Лиза?

Елизавета Андреевна. Испугалась…

Ломоносов. Чего?

Елизавета Андреевна. Вдруг Ломоносов от своей громовой машины отступит? Нет! Пусть отнимут лабораторию, учеников, Академии лишат, в ссылку отправя т, но ты, Михаил…

Ломоносов *(восхищенно).* Какая ты, Лизанька, славная!

Елизавета Андреевна *(бросаясь к нему).* Ты меня еще любишь?

Ломоносов. Люблю. Когда я тебя впервые в Марбурге увидел… светлая… чистая… Люблю, Лиза! *(Берет ее за подбородок.)* Эка, напущено слез-то сколько! *(Поддразнивая.)* А ведь баба-то хороша, Нарышкина-то?

Елизавета Андреевна. Михаил, стыдись!

Ломоносов. А теперь давай петь.

Елизавета Андреевна. Петь?

Ломоносов. Нашу, северную! *(Поет.)*

Грумант-остров от страшен. Ух, страшен! Ух, страшен!
Кругом льдами обвышен. Обвышен!

Ломоносов, схватив свистульку, притопывает, свистит и поет. Елизавета Андреевна, по мере того как Ломоносов поет и свистит громче, все веселеет и веселеет.

Елизавета Андреевна *(подхватывая песню, притопывает).* Обвышен! Обвышен!..

Оба:

И горами обнесен. Обнесен! Обнесен!
И зверями украшен. Украшен! Украшен!
А мы к Груманту плывем. Мы гребем. Ух, гребем!
Мы, ребятушки, плывем. Мы плывем. Мы плывем!..

Почти совсем темно. Сильный удар грома. По лестнице, из люка, сверху, скатывается перепуганный Гриша Уктусский.

Уктусский. Михайло Васильевич! Туча вплотную… низко… Петропавловской иглы не видно! Темно, будто ночь… страшно… Не надо ходить к громовой машине, Михайло Васильич, учитель, не надо!

Ломоносов. Гриша, стыдно. Какой же ты изыскатель электричества, коли тучи трепещешь?

Удар грома.

Пойдем! Запевай — «Грумант-остров»!..

Уходят.

Плавильное отделение химической лаборатории. Под сводами горят печи, куда воздух накачивается громадными мехами. Полумрак. Сбоку от печей, ближе к окнам в сад, — громовая машина. От нее протянуты толстые железные провода в окна.

Гроза усиливается. Вокруг померкло. Мгновение зловещей тишины, — сильнейший блеск молний, следующих одна за другой, раскаты грома… В дверях — Ломоносов с бумагой и пером в руке. За ним — Елизавета Андреевна, Поповский, Гриша Уктусский.

Ломоносов. Будто пожар пылает. Хорошо! Поповский, видишь?

Поповский. Все вижу.

Ломоносов *(передавая ему бумагу и перо)*. Пиши актус. Опыт начинаем.

Елизавета Андреевна. Михаил, ты устал. Отложи опыт!

Ломоносов. Кто это говорит?

Елизавета Андреевна. Я…

Ломоносов. А еще недавно, кажись, ты другое говорила?

Елизавета Андреевна. Но ведь и гроза по-иному шла! И… я тебя не отговариваю, Михаил. Я говорю только — будь осторожен.

Ломоносов. Осторожность — мать добродетели. А добродетелей у меня столько, что малая толика неосторожности мне вредна не будет. О-о! Электричество-то слабо идет в машину. Григорий, дай-ка клещи.

Елизавета Андреевна. Прибавить металлических прутов хочешь? Не опасно ли?

Ломоносов *(жене)*. Для чего я и брат мой громовый Рихман делаем опыт сей? Что есть молния? По утверждению мракобесов — это «флогистон», непостижимая сила, которую Илья пророк спускает из туч для нашего устрашения. Ан, нас не напугаешь! Мы не верим этому! Мы утверждаем, что никакого флогистона нет и что молния и гром суть электрический разряд, происходящий от столкновения двух туч, заряженных двумя разными родами электрической силы. Понятно тебе, Лизавета?

Елизавета Андреевна. Михаил, ты мне об этом много раз говорил!

Ломоносов. Много, да, видно, не убедительно. Что будет показывать моя громовая машина? Сближение туч. Чем будут сильнее тучи сближаться, тем ярче будут искры в моей машине. А когда совсем сблизятся, тогда…

Елизавета Андреевна. Тогда, Михаил?..

Ломоносов. Тогда будет доказано, что никакого «флогистона» нет, а есть великая *материя,* которую *всю* человек

покорить сумеет! Стоит это узнать, жена?

Елизавета Андреевна. Стоит.

Ломоносов. Поповский? Уктусский?

Поповский, Уктусский. Стоит!

Ломоносов *(жене)*. Вот для чего я и провода прибавляю. Ага! Наладил. Теперь вспышки почаще будут. *(Пробует подачу искр из громовой машины.)* Пиши, Поповский, в актус. «Электрический свет через свою громовую машину троякого рода я наблюдал. Первый — в искре с треском, часто с излучиною»… *(Стук в дверь.)* Открой, жена.

Входит мастер Захар, ведя за руку слугу Рихмана.

Захар. Михайло Васильич!

Ломоносов *(возясь у машины)*. Слышу, Захарушка.

Елизавета Андреевна. Беда с Рихманом!

Ломоносов. Что с ним, Себастьян? Что у Рихмана?

Елизавета Андреевна *(опускаясь на табурет, Поповскому, в ужасе)*. О боже! Николай Никитыч, уведите Михаила. Рихмана убило молнией!

Слуга Рихмана *(Ломоносову)*. Господин академик! Стоял мой барин от указателя электрического в отдалении не более фута…

Ломоносов. На десять футов стоять должно, на десять!

Слуга. Художник Соколов, который от Академии прислан был опыт зарисовывать, стоял на десять. Художник остался жив, а барина моего… *(Плачет.)*

Ломоносов. Рихман убит! Любимый, громовый брат мой! Погиб ты со славою, узнавая тайну молний. Успел он сделать записи опыта, Себастьян?

Слуга. Не успел, господин академик.

Поповский. Михайло Васильевич!

Ломоносов *(грозно)*. Ну?

Елизавета Андреевна. Прошу тебя, выслушай его, Михаил!

Ломоносов. Быстрее, ну!

Поповский. Я вас прежде не отговаривал, Михайло Васильевич…

Ломоносов. Понеже и не к чему это было!

Поповский. Но… смотрите, какие тучи! Я в жизни таких не видывал… Ради отечества!

Ломоносов. Ради отечества, науки, жены моей, ребенка моего, учеников, тебя, Поповский, тебя, Уктусский, тебя, Захар, — то, что в опыте своем не успел записать Рихман, мы запишем!.. А кому боязно — уходи!

Елизавета Андреевна. Да никто не уйдет, Михаил!

Ломоносов. Тогда, чтоб больше мне не мешать! Григорий!

Уктусский. Смотрю в небо, Михайло Васильич.

Ломоносов. Что в небе?

Уктусский. Тучи сходятся…

Со двора, сквозь окна, доносится глухое пение хора. Пение это быстро растет.

Ломоносов *(пишет)*. Это кто поет?

Поповский *(глядя в окно)*. Монахи у монастыря. *(Елизавете Андреевне)*. Монахи крестным ходом прямо к нам идут. Смотрите, через забор лезут…

Елизавета Андреевна. …с кольями, топорами! О-о!..

Звон разбитого стекла. Поповский отшатнулся от окна, схватившись за лицо.

Николай Никитич! Вас ранили?

Поповский. Щеку разрезало стеклом.

Ломоносов. Поповский, пиши.

Поповский садится за стол.

Что у тебя? Кровь?

Поповский. Пустяки. Оцарапался.

Пение монахов ближе. Звенят разбиваемые стекла лаборатории.

Ломоносов. Да что там звенит? Какие стекла?

Поповский. Уктусский, видно, ногами о склянницы малые задевает!

Ломоносов. Это он со страху перед грозой. Не робей, Гриша!

Уктусский. А я не робею, Михайло Васильевич!

Елизавета Андреевна. Ах, боже! За что терпим?!

Ломоносов. За то терпим, чтоб научились наукам россияне, чтоб поняли свое превосходство!..

В громовой машине — сильный треск, искры.

Что в небе?

Уктусский. Тучи сошлись плотно!

Блеск молний. Гром.

Ломоносов. Смотрите! Сейчас тучи сойдутся еще плотнее, — искр будет еще больше!

Молния. Гром. Сильнейший удар.

Ага! Пиши, Поповский!.. «облака, сообщая одно другому свою силу, столь долго между собой блещат и гремят, сколь долго электрическая сила в них действует»… Ха-ха, славно!..

Новые, еще более сильные удары молнии и грома, которые нестерпимо ярким блеском отражают себя в громовой машине.

Пиши, Поповский! «Молнии и атмосферное электричество происходят от движения волн воздуха, — и никакого флогистона ни в тучах, ни на земле, и *нигде нет!*» Доказано! Доказано, брат мой Рихман! Слава тебе, Рихман, слава науке русской!..

Четвертое действие

Берег Невы возле Академии наук, еще без гранитной набережной. Бревна, какие-то высокие ящики, куски дикого камня, которые обрубают для набережной два тесаря, — один из них бывший ловчий. Пристань с перилами. Неподалеку от нее — нос легкого корабля, над кранбалкой которого красуется серебряный купидон — андроид. От пристани, через грязь, к боковому входу темнокрасного здания Академии ведут деревянные мостки. За Невою виден шпиль Адмиралтейства. Мастеровые, дворовые и другие жители столицы стоят на пристани, любуясь Невой. Дорога к главному входу Академии преграждена цепью гвардейцев-измайловцев.

С реки доносится песня.

Жители столицы: Барок-то, плотов! Кораблей!..

— День и ночь идут. Товары везут… Сотни барж для Англии, Норвегии, Пруссии. Это на каких плотах поют-то?

— А вон на тех с железом!

— Красиво поют.

— Под красивую песню так и увезут за границу всю нашу Россию.

— Сколько плотов с хлебом-то прошло.

— А кожи-то, пеньки да смолы!

— Эвон лес, бревна, доски!

Продавец градоровальных портретов. Господа, господа, жители столицы! Продаем небылицы, знаменитые градоровальные лица! Три алтына! Президент Академии гетман Разумовский! Великий ученый Эйлер! Всем известный профессор и поэт Михайло Ломоносов, лекцию коего будете слушать сегодня. Три алтына! Покупайте, любезные жители столицы!

Ловчий. А ну, ты, с картинками, подь сюды!

Продавец. Вот Ломоносов, ты о нем слышал?

Ловчий. Слышал. Сколько?

Продавец. Три алтына.

2-й тесарь. Спятил! За три алтына нам камни неделю надо тесать! Грош!

Продавец. Три алтына! Бери, бери, складывайся, а бери, пока не расхватали другие.

Тесари разглядывают портреты.

Господа жители столицы, портрет безвременно сраженного молнией академика Рихмана, три алтына.

Мастеровой *(входит, гвардейцам)*. Ломоносов, сказывают, здесь пройдет? Пропусти ко входу!

Гвардейцы. Что с главного входа, что с бокового, пускать не велено! Осади-и!

Мастеровой. Люди добрые, не слыхали ли вы, Ломоносов в Академии наук нынче лекцию читает?

Жители. Будет! Здесь, будет!

Мастеровой. Не пришел еще?

Жители. Все его здесь ждем. Желаем приветствовать. Болен, говорят.

Мастеровой. Слышал. Слышал, болен. Злодеи! Какого богатыря замучили! Илью Муромца и Добрыню Никитича вместе. *(Слушая песню.)* Примечательно поют!

Гвардейцы. Проходи, люди! Проходи!

Жители. На лекцию Ломоносова пришли.

Сержант. Никого не велено пускать! Расходись! Измайловцы! Цепью оттеснить! А к парадному хлынут — и от парадного оттеснить. Осади! Осади!

Измайловцы вместе с сержантом оттесняют народ и уходят. Остались лишь тесари. С реки опять слышна песня, которая приближается.

Ловчий *(вздыхая)*. Ни лекции, ни Ломоносова. Одна только песня и уцелела.

2-й тесарь. Надо бы струмент сменить.

Ловчий. Пойди смени. А я на Ломоносова хочу взглянуть. Никак, идет он?

2-й тесарь уходит.

Медленно входит, тяжело ступая, Ломоносов, в плаще, опираясь на толстую резную палку. Он с трудом передвигает забинтованные под чулками ноги.

Изменился-то как! Страсть! Здравствуй, Михайло Васильич!

Ломоносов. Здравствуйте! *(Останавливается козле тесаря.)* Гранитную набережную? Дело. Пора быть Питеру каменну, широку, красиву. Набережная Академии наук! Крепка ли будет, тесарь?

Ловчий. Никаким штормам не свалить. Да ты меня не признал, что ли, Михайло Васильич?

Ломоносов. Лицо будто знакомое, а не припомню.

Ловчий. Ловчим я был на царской охоте, лет семь тому назад…

Ломоносов. А! Еще мы с тобой об Московском университете говорили. Открыли ведь его.

Ловчий. Слышал.

Ломоносов. А ты как же, братец, из ловчих в тесари-то затесался?

Ловчий. Ноги застудил на охоте. Ну, а руки остались,

струмент держат. Ты, сказывают, тоже где-то простудился.

Ломоносов. На заводе у себя, на стеклянном.

Ловчий *(стуча в камень)*. Та-ак…

Ломоносов *(присаживаясь)*. Та-ак, братец, та-ак…

Ловчий. А та барыня-то, что на охоте метко-преметко стреляла, — гетманша-то, — с Украины, сказывают, приехала? Корабль вот этот у англичанина купила. И во-он ее ладья на Неве сюда плывет!

Ломоносов *(посмеиваясь)*. И все-то ты, братец, знаешь.

Ловчий. Лакеи знакомые во дворцах, а лакейский язык — длиннай. Вчерась вот, сказывают, сама царица велела тому гетману к себе приехать. Проворовался он, что ли, там у себя на Украине… знать, поймали. Она его по-петровски выругала да по роже — хрясь!

Ломоносов. Пустое болтают.

Ловчий. Оно, конечно, народ любит поболтать. Говорят, вот тоже, будто студентов твоих, Михайло Васильич, послали на Урал работать там пять иль семь лет, а вернуться приказали через три с небольшим. Пустое тоже?

Ломоносов. Нет, это правда.

Ловчий. А они как, вернулись?

Ломоносов. Нет.

Ловчий. И не надо. Не с добра зовут.

Ломоносов. Я тоже думаю: не с добра,

Ловчий. А тебя, будто, за то, что студенты твои по хотят возвращаться, судить будут?

Ломоносов. И это ты знаешь?

Ловчий *(посмеиваясь)*. Ды-ть, как же, Михайло Васильич! Ты вот о добром для людей будто и в четырех стенах говоришь, ан, тебя весь Питер слышит! Да что — Питер? Вся Расея! Ты, Михайло Васильич, на суд тот иди. Они, злодеи-то твои, тебя без тебя судить собрались. Он-де болен, его-де и звать не надо!.. Иди!

Ломоносов. Я и пришел.

2-й тесарь *(входит)*. Пошабашили, Данилыч.

Ловчий. Пошабашили так пошабашили. Пойдем. Прощай, Михайло Васильич! Добьемся.

Ломоносов. Добьемся. Прощайте, добрые люди.

С корабля спускаются подвыпившие академики — Уитворт, де-Рюшампи, Миллер и за ними Теплов.

Теплов. Ну и обед же ты закатил, сэр Уитворт!

Миллер. Да, дышать даже тяжело…

Ломоносов. Дышать тяжело оттого, что сразу всю Россию проглотить хотите. Подавитесь!

Уитворт. Ба! Наш заклятый враг здесь.

Де-Рюшампи. Подыхает? Или уже подох?

Ломоносов. Хороните Ломоносова? Не рано ли?

Уитворт. Зачем хоронить, сэр? Вы столь отважны, что сами себя похороните, ха-ха! Любуетесь моим кораблем? О, это самый парусистый корабль Европы! И я его продал Разумовским, и мы поэтому сегодня, — как это по-русски? — «вспрыскивает»? — ха-ха!.. И миледи Разумовская украсила свой корабль сегодня серебряным купидоном. Что это означает, не знаете?

Де-Рюшампи. Миледи, говорят, уплывает за границу, лечиться…

Теплов. Это еще не решено, господа, не решено.

Миллер. Но, насколько я знаю, решено вашу химическую лабораторию, Ломоносов, передать Христиану фон-Сальхов? Немцу, немцу!

Ломоносов. Что — немцу?

Миллер. Передают лабораторию немцам, которых вы ненавидите!

Ломоносов. Ненавижу немцев? А мой друг — великий Эйлер? А мой друг — покойный Рихман? А то, что я учился в Германии? А то, что моя жена — немка? Нет, господин Миллер, умных немцев я люблю, а наглых невежд — и русских ненавижу!

Уитворт. Все русские — невежды!

Теплов. Ну, это ты хватил через край, сэр Уитворт.

Уитворт. Все. Если б не все, у вас была бы наука. А где русская наука? Ха-ха! Где она? Вот вы, господин Ломоносов, долго хлопотали об открытии университета в Москве. Его вам открыли. И что же? Университет есть, а студенты в него не записываются.

Миллер. Потому что плохи профессора.

Ломоносов. А плохи они потому, что посылают туда тех, кого посоветует Шумахер.

Миллер. Уж не по вашему ли совету посылать, Ломоносов?

Ломоносов. А почему бы и не по моему, академик Миллер?

Миллер. Да потому, что вы ничему научить не в состоянии.

Ломоносов. Эка!

Миллер. Нельзя одному преподавателю преподавать *все* науки. А вы учите и грамматике и тому, как делать телескопы!

Ломоносов. Да, и телескопы такой силы, посредством которых я вижу всю вашу душу, Миллер.

Миллер. Что это за телескоп, Ломоносов?

Ломоносов. Любовь к отечеству! *(С большим воодушевлением.)* Все науки?! Одна наука! Вот вы, академик Миллер, взялись за одну науку — русскую историю, — и так налгали на русских, что вас бы поганой метлой стоило выгнать из

России, кабы не ваши заслуги по собиранию русских летописей.

Миллер. Где и что я налгал?

Ломоносов. Вспомните диссертацию вашу — «О начале русского народа». Хорошо начало! На каждой странице вашей диссертации русских бьют, гонят, побеждают… Откуда вам верить в русские науки, когда вы и в Россию-то не верите? Ан, есть русские науки! Есть и будут! И ничем они не отличаются от иноземных наук, а если и будут отличаться, так своим превосходством!

Миллер. Следовательно, моя наука никак не блещет перед вами?

Ломоносов. Нет, почему же? При ярком солнце и насекомые блестят.

Миллер *(в ярости)*. Нет, господа, на Ломоносова даже моей природной кротости не хватает!

Уитворт. Я его сейчас усмирю и уничтожу. Де — Рюшампи! Сколько мы сегодня погрузили кораблей?

Де-Рюшампи. Двенадцать, сэр.

Уитворт. А вчера?

Де-Рюшампи. Четырнадцать, сэр!

Уитворт. Двадцать шесть кораблей за двое суток. Что я увожу? Невыделанные кожи, руду — железную, медную… Где ваша юфть, Ломоносов? Где ваше железо, сталь, медь? Почему вы его *сами* не плавите?

Ломоносов. На это я вам отвечу, сэр.

Уитворт. Когда?

Ломоносов. Скоро, сэр.

Уитворт. Но, однако, когда же? Ваши года преклонны, сэр.

Ломоносов. В преклонных годах собирают ту жатву, что посеешь в зрелые годы.

Теплов. Будет, будет спорить. (*Академикам.)* Идите-ка на конференцию. А я здесь малость передохну: обед был объемист.

Академики, кроме Ломоносова, уходят.

А ты их ловко, Михайло Васильич! Мошенники! Ты знаешь, сколько этот Уитворт с нас за корабль сорвал?

Ломоносов. Не знаю и не хочу знать.

Теплов. И напрасно. А зря ты на конференцию пришел, Михайло Васильич.

Ломоносов. Зря?

Теплов. Зря. Что это с тобой?

Ломоносов. Что? Вороны в глаза впиваются. Живому глаза клюют!

Теплов. Неужто ты так о Шумахере?

Ломоносов *(схватывая камень)*. Раздробил бы я ему голову

всенародно!

Теплов. За что?

Ломоносов. Он про моих студентов кричит: «беглые!»

Теплов. И впрямь беглые.

Ломоносов. Беглые?! А сколько они за эти несколько лет заводов настроили? Беглые?! А сколько они меди, железа, стали, орудий налили?.. Беглые! А сколько машин, кораблей? Сколько парусного полотна, кож?.. Вот вы все беглые от правды, это верно!

Теплов. Зря все кричишь.

Ломоносов. Нет, не зря! И выгнать вам моих студентов из Академии не позволю, ибо им пора быть профессорами…

Теплов *(насмешливо).* Вот как!

Ломоносов. …Вновь открытого Московского университета! Когда Москва узнает, какие в университете умные профессора, весь университет будет полон. Обо всем этом я написал на Урал генералу Иконникову!

Теплов. Тоже зря. Иконников в Петербурге.

Ломоносов. В Петербурге?

Теплов. Вызван высочайшим повелением. Не заступится Иконников за твоих студентов. Какой дурак пойдет против гетмана и президента, брата тайного мужа императрицы и вдобавок фельдмаршала? Смирись лучше!

Ломоносов. Не смирюсь. Я пришел сюда ради бури и ее воздвигну!

Теплов. Ой, смирись! Говорю, тебя жалеючи. Ибо сказано: «Иже бо в печали кто мужа призрит, то аки водою студеною напоит тя в дни зноя».

Барабан. Через сцену, к главному входу, пробегают измайловцы. Слышно, как подъехала карета. Голос Разумовского: «Здорово измайловцы!» Сотни голосов неразборчиво, но громко орут: «А-а-а… я — я-я… В-а-ва-во-во».

Спешу президента встречать. А встречу, — вернусь: никак, ладья графини подплывает сюда? Смирись! Люблю я тебя, человечище!

Теплов ушел. Голоса и шум у главного входа стихают. Сумерки совсем сгустились. В окнах Академии зажглись люстры. Песня, слышны всплески весел. На пристань поднимается Нарышкина.

Нарышкина. Михайло Васильич! Ах, как рада, что вас нашла. Я посылала к вам домой, чтоб упредить… вас нет… я поплыла скорее на ладье. Похудел. Бледен. Печален. Нога забинтована. Ножной болезнью, говорят, страдаете?

Ломоносов *(прикрывая плащом забинтованную ногу).* Ничего.

Нарышкина. Да и я не весела. *(Улыбаясь.)* Но, надеюсь, не

подурнела?

Ломоносов. Где подурнеть? Еще лучше стали,

Нарышкина. Это от накидки. Накидка из Парижа, бриллианты из Амстердама, хороши? Ха-ха! Проклятое бабье кокетство. Не осуждайте меня. Мы попрежнему друзья? Да присядьте же рядом! *(Ломоносов садится.)* Михайло Васильич! Вас здесь опозорят, засудят, убьют…

Ломоносов. И все же я отсюда не уйду.

Нарышкина. Уходить не нужно. Нужно уплыть.

Ломоносов. Куда?

Нарышкина. А куда глаза глядят! Красивая земля есть не только в России.

Ломоносов. Для меня нет краше земли, чем Россия.

Нарышкина. Вы можете взять на мой корабль жену, ребенка, свои книги… Я помогу вам во всем! И здесь и там. Мне тоже разрешено плыть за границу. Граф Кирилл в немилости двора. *(Смеясь.)* Он опасается, что если я останусь в милости, то тем увеличу немилость к нему. Впрочем, в милости ли я? Началась охота на лосей, а меня не пригласили!.. А графу Кириллу, вы слышали, приставили наблюдателя из генералитета, сиречь его лишили управления Украиной.

Ломоносов. Но у него осталась еще Академия наук.

Нарышкина. А если и здесь найдут беззакония?.. Что вы смеетесь? Вы ничего не понимаете! Шумахер, Теплов, Тауберт — вас же, вас тогда уличат в беззакониях!

Ломоносов. Какие же я совершал беззакония?

Нарышкина. Все, какие свершали они. *(Пауза).* Мне тяжело. Я одинока. *(Пауза).* Позвольте мне свершить доброе дело, доброе дело для России, и тогда я не буду чувствовать себя такой, никому не нужной куклой.

Ломоносов. Что же я должен вам позволить?

Нарышкина. Позвольте мне увезти вас, ради сохранения вашей жизни, жизни столпа русской поэзии и науки. Иначе вы погибнете.

Ломоносов. Вы предлагаете мне бежать из России? Накануне войны с Фредериком Прусским?

Нарышкина. Да! Какое несчастье для России! Фредерик Второй — великий полководец.

Ломоносов. Карл Двенадцатый тоже считался великим полководцем.

Нарышкина. Но Петр Великий умер.

Ломоносов. Петр Великий умер, но осталась великая Россия, а она бессмертна и непобедима. Вы меня почитаете истинным сыном России?

Нарышкина. Превыше всех сынов ее!

Ломоносов. И вы мне предлагаете бежать, ради сохранения моей жизни?

Нарышкина. Да.

Ломоносов. Нет. Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет, стоял за них смолоду — на старости не покину. Моя жизнь в учениках моих.

Нарышкина. Ваши ученики сегодня будут брошены в тюрьму.

Ломоносов. Тогда и мне… лучше сидеть с ними в тюрьме!

Нарышкина *(помолчав).* Простите. Да… Я заблудилась… Нева, огни в Академии и на Неве… и ни одного огонька в душе! Надо идти на конференцию…

Входит Теплов.

Теплов. Графиня Катерина Ивановна, прошу вас… Его сиятельство президент вас ждут, не начинают конференции.

Нарышкина. Прощайте, Михайло Васильевич. Эй, люди! Палашка!

Со стороны пристани появляются лакеи и горничная Нарышкиной, подбирают ее шлейф, и все, кроме Ломоносова, уходят к главному входу Академии. Стемнело. Фигура Ломоносова в темном плаще почти неразличима. Он медленно идет к боковому входу.

Ломоносов. Трудно и встать, а того труднее двигаться… в голове — шум, а ноги будто каменные…

Стефангаген *(раскрывает окно и, не видя Ломоносова, кричит).* Ломонософ! Ломонософ?! Вас двадцать раз приглашать? *(Повернувшись, кричит в здание).* Ломоносова нет, он ушел домой!

Ломоносов *(входя на крыльцо).* Ан, не ушел и не уйду!..

Поворот театрального круга

Белый зал кунсткамеры. Большой круглый стол и у него кресла академиков. На возвышении — позолоченные сиденья для президента и его супруги. Поодаль, за отдельным столом, писаря. Окружность зала замыкается стеною с арками, через которые виден и коридор и окна на Неву, прикрытые занавесями. В коридоре, у занавесей, стоят слуги.

Поздно. Конференция длится уже долго. Все места заняты. Возле Разумовского сидит Нарышкина с холодным и неподвижным лицом. Сам Разумовский беспокоен.

Если пышные украшения зала, ковер, слуги всячески внушают нам понятие о храмовой торжественности, то среди академиков

нет никакой торжественности. Они шумят, вскакивают, садятся, беседуют о своих делах, мешая даже Шумахеру, который привык к их поведению. Опираясь на стол, держит речь к конференции бледный и утомленный Ломоносов.

Ломоносов. Ваше сиятельство! Сенат приказал чинить суд студентам по всем параграфам неотменно и подробно. Пункт шестнадцатый спрашивает: «Что сии студенты знают?»

Шумахер. Ничего они не знают.

Крашенинников. Ломоносов знает, что они знают.

Тредьяковский. Не мешайте говорить Ломоносову!

Разумовский. Академик Тредьяковский! Ломоносов битых два часа воевал против диссертации академика Миллера об истории русского народа, рассказывал нам здесь об Урале и Тихом океане, о золоте и полярных сияниях, о трении паров в воздухе и электрической силе, о Цицероне и скандинавах, об эфире и Василии Великом… сколько часов ты будешь еще говорить?

Ломоносов. Ваше сиятельство! Я лишь начал говорить.

Миллер. Господин президент!

Разумовский. Что, господин академик Миллер?

Тредьяковский. Господин президент!

Разумовский. Что, господин академик Тредьяковский?

Миллер. От имени академиков прошу вас лишить Ломоносова слова.

Тредьяковский. От имени русских академиков и русских адъюнктов — на этих немцев нам начхать!.. — прошу вас продолжить слово Ломоносову.

Разумовский. Довольно! Мне давно пора ехать к государыне и конфирмировать сей акт Академии, признающий преступления учеников Ломоносова. Теплов! Читай акт. Подписывайте.

Ломоносов. Сей акт несправедлив, ваше сиятельство.

Разумовский. Я — президент и гетман и больше твоего знаю о справедливости.

Ломоносов. Знаете и, однако, не в состоянии отличить справедливость от беззакония.

Разумовский *(ошеломленный).* Что-о?!

Шумахер. Беззаконие?

Ломоносов. Академические студенты по вашему акту, господа академики, были отпущены на Урал сроком от пяти до семи лет. Теперь через три с лишком года вы их якобы вызвали к экзаменам.

Шумахер. Якобы?

Ломоносов. Да, *якобы,* ибо достоверно мне известно, что вы их сюда не звали, боясь, должно быть, что они покажут вам такие

знания, какими из вас не все обладают. И вы, господин советник, смеете еще им *за неявку* угрожать теперь галерами?

Теплов, Миллер, Де-Рюшампи. Невозможно! Гнать!.. Прочь его!

Крашенинников. Клевета! Студенты Ломоносова явились бы сюда по первому зову Академии!

Ломоносов. Но их не звала Академия! Клеветники сим прекрасным юношам грозят галерами и каторгой? Вас самих пора на каторгу!

Уитворт. Господин президент! Он кричит на нас, что мы клеветники, а сам что говорит?

Разумовский. Ломоносов, остановись! *(Нарышкиной.)* Я измучен! Что мне с ними делать?

Нарышкина. Но, граф Кирилл, вы же так любите научные споры. *(Ломоносову.)* Михайло Васильевич, говорят — спокойствие лучшее одеяние мудреца!

Ломоносов. Да, когда он статуя!.. Но можно ли пребывать статуей, когда уничтожение молодой русской науки совершается?

Разумовский. Эй, измайловцы!

Вошедшим трем гвардейцам-измайловцам.

Встать против Ломоносова! Сейчас Теплов прочтет акт, ты его подпишешь, а потом тебя уведут на гауптвахту.

Нарышкина. Больного, граф Кирилл?

Разумовский *(кричит).* Хоть мертвого! *(Теплову.)* А ты чего молчишь? Хапуга!.. Нахватал миллионы на Украине…

Теплов. *(тихо).* Зачем орать, ваше сиятельство? Орать надо, когда сам тонешь, а других надо топить тихо.

Разумовский. Оглашай акт!

Теплов *(вынимает бумагу из бисерного портфеля).* «Во исполнение его императорского величества указов и по определению правительствующего Сената за нумером тысяча девятьсот восемьдесят девять признали мы за благо в сей акт записать и нашими руками скрепить преступление академических студентов, кои, с Урала на экзамены званые, нагло в Санкт-Петербург не возвращаются…»

Ломоносов. Студенты не званы!

Шумахер. Врешь, званы!

Тауберт. Ломоносова самого надо на галеры!

Фон-Винцгейм. Да, клеймо на лбу его бы весьма украсило.

Тредьяковский. Господа академики! Вы обезумели!

Миллер. За издевательство — на галеры!

Уитворт. Впишите в акт: Ломоносова на галеры!

Тредьяковский. Замолчи, Уитворт, торгаш бесчестный!

Уитворт. А ты, Тредьяковский, не поэт, а скотина!

Тредьяковский бросает в Уитворта рукописью. Листы ее разлетаются по воздуху. Уитворт хватает со стола чернильницу, песочницу, бумагу и все это швыряет в Тредьяковского.

Нарышкина *(встает).* Граф Кирилл. Мне пора вам сказать, что…

Разумовский. Что женщина великолепна, когда она образована, но она отвратительна, когда она воображает себя ученой! Садитесь!

Нарышкина. И, однако, граф Кирилл, я хочу сказать…

Разумовский. В этом зале вы не скажете больше ни слова!

Стефангаген *(входит).* Ваше высокографское сиятельство!

Разумовский. Ну, что еще там?

Стефангаген. К вашей ясновельможности!

Адъютант Иконникова *(входит).* Член Военной Коллегии государства Российского, кавалер ордена Андрея Первозванного и других российских орденов кавалер, сего числа их императорским величеством жалованный золотой шпагой и табакеркой и назначенный инспектором российской армии в ранге министра, генерал-кригс-комиссар Иконников просит принять его.

Молчание.

Разумовский *(упавшим голосом).* Проси.

Стефангаген и адъютант уходят. Молчание. В тишине отчетливо слышны резкие шаги адъютанта и мягкая поступь Иконникова. Они входят, любезно раскланиваясь, Иконников подходит к Нарышкиной, целует у ней руку.

Иконников. Академия расцветает дивно, коль сады ее столь великолепные нимфы посещают, Катерина Ивановна. *(Не без небрежности, Разумовскому.)* Здравствуйте, господин президент!

Разумовский. Здравствуйте, господин министр! Что слышно с императорской охоты?

Иконников. Результаты ее еще неизвестны. Простите, ваше сиятельство, что я беспокою высокую Академию, но мне безотлагательно понадобилось вручить почтеннейшей конференции важнейшие бумаги относительно уральских учеников Ломоносова.

Ломоносов. Уж и приговор им вынесен, Федор Ростиславович.

Теплов. По определению Сената за нумером тысяча девятьсот восемьдесят девять.

Иконников. Вот оно что! Тогда, может быть, мне остаться, ваше сиятельство? Мне довелось быть свидетелем определения Сената за нумером две тысячи шестнадцать.

Теплов. Простите, господин министр, за нумером тысяча

девятьсот восемьдесят девять.

Иконников. Нет, именно за нумером две тысячи шестнадцать. В отмену определения за нумером тысяча девятьсот восемьдесят девять.

Шумахер *(хрипло)*. В отмену?

Иконников *(любезно)*. Один господь бог не отменяет своих решений, а в Сенате сидят люди.

Разумовский *(встает)*. Господа академики! Конференцию дальше поведет господин Теплов.

Иконников. Вы покидаете нас, господин президент?

Разумовский. Да.

Иконников. Сенат рекомендует вам не покидать конференции, господин президент.

Разумовский. Благодарю Сенат. **(***Садится.)*

Иконников. Прикажете мне остаться, ваше сиятельство?

Разумовский *(сквозь зубы)*. Как вам будет благоугодно.

Иконников. Останусь. Любопытно! Ведь сюда на конференцию прибыли те, кто проходил курс наук у Ломоносова и был вдохновляем его гением, благодаря чему большие научные задачи оказались решенными.

Шумахер. Вы изволите говорить, господин министр, о петербургских учениках Ломоносова?

Иконников. Да, и о тех, которые на Урале, тоже.

Шумахер. А разве они здесь?

Иконников. На лестнице. «Как лист перед травой»!..

Ломоносов. Приехали? О-о-ох… Радость великая!

Шумахер. Ваше высокопревосходительство! Говоря о научных задачах, вы имели в виду задачи, принятые господином президентом от господина Ломоносова несколько лет назад в памятный день смерти академика Рихмана?

Иконников. Да.

Шумахер. Академик Люкке! Мы предлагали вам решить задачу под литерою «В»?

Академик. «Как плавить русское железо, чтоб случилось его много и чтоб оно давало сталь превыше других сталей Европы?» Сия задача невыполнима. Работники в России плохи. Оборудование, машины, шахты, инструменты того хуже. Я отказался.

Шумахер. Академик Люкке — лучший в мире знаток металлов. Он отказался.

Иконников. И тем не менее задача эта решена.

Шумахер. Кем?

Иконников. Студентами Ермолом Шелехом и Никитой Укладником.

Шумахер. Мне горько это говорить, ваше высокопревосходительство, но вас втянули в преступление перед богом и престолом.

Иконников. Избави господи!

Шумахер. Научные задачи были посланы нами академикам российским и европейским. А что такое академики? Ученые, которые блюдут вершины наук во имя бога и престола. Ломоносов! Задачу под литерой «В» решили академики?

Ломоносов. Нет.

Шумахер. Профессора?

Ломоносов. Нет.

Шумахер. И того менее адъюнкты?

Ломоносов. Того менее.

Шумахер. Тогда решение сей научной задачи — насмешка над императорской Академией наук, где, дескать, такие олухи и дураки сидят, что ничего решить не могут. Насмешка и преступление!

Теплов. Преступление!

Ломоносов. Но тогда преступление и то, что Петр Великий взялся перестраивать Россию, не будучи ни академиком, ни профессором, ни даже адъюнктом.

Шумахер *(писарям)*. Запишите. Хула на покойного императора.

Иконников. Удивительно! Все это мне раньше и в голову не приходило. А к тому же эти ученики Ломоносова имели еще наглость привезти с собой образцы выполненных ими научных задач! *(Разумовскому.)* Как быть? С одной стороны, академики считают, что научные задачи не могут быть решены, с другой — Сенат в определении за нумером две тысячи шестнадцать приказывает протокол о решении тех задач составить?

Разумовский. Право, не знаю.

Иконников. А не пригласить ли сюда пришедших людей!

Разумовский *(Стефангагену)*. Пригласи.

Стефангаген *(входит)*. Господин президент и гетман! Господин министр и академики! Вами вызванные — идут!..

Сквозь арки видно длинное шествие. Начавшись в одном конце коридора, огибающего зал, оно постепенно наполняет весь коридор, замыкаясь в другом конце его. Академические студенты и помощники Ломоносова, мастеровые, матросы и солдаты несут чертежи, книги, макеты домен и заводов, модели кораблей, тюки кож, паруса, катят модель знаменитой шуваловской гаубицы, различные орудия и аппараты, машины, приборы, слитки металлов, все, что знаменует собой тот сдвиг в русской науке, технике и просвещении вообще, который был свершен благодаря

гению Ломоносова.

В каждом пролете арки стоят два-три ученика Ломоносова, объединенные одной задачей, которую они выполняли и выполнили. Вокруг каждого из них находятся те вещи, которые были сделаны с их помощью и их знаниями. Возле Ермолы Шелеха и Петера Алексеева — железо, сталь, макеты домн, печи для плавки стали. Возле Анкудина Баташа и Калины Судьина — тюки кож, узорных и простых, а особенно много юфти, монополистом которой на весь мир стала тогда Россия. Возле Никифора Пиленко и Никиты Укладника — парусное полотно, модели кораблей, изделия из леса и поташ, в котором тогда для крепости вываривались паруса и который поэтому представлял большую ценность. В следующей арке — медь с Троицких медных заводов, сосуды и разные медные украшения, о которых тогда писалось, что они такой редкой раскраски — цветов, «коих в Европе и поныне не видано»… и так далее.

Ломоносов *(растроганно переводит глаза от одной арки к другой. Протягивая к ученикам руки).* Отроки мои!..

Крашенинников. Новая российская Академия идет. Тредьяковский, смотрите! Образцы металлов, приборы, модели новых заводов, корабли, пушки…

Тредьяковский. И книги новые! Чаю, и поэты новые есть?

К Ломоносову подбегают его ученики. Он их обнимает, целует, гладит по головам. Иконников утирает слезы.

Ломоносов. Возмужали… выросли. Красавцы… умницы…

Шумахер *(бесстрастно).* Кто же, однако, будет вести экзамены?

Тауберт. Допрос? Я буду вести допрос!

Иконников *(в гневе).* Допрос?!. Я служу военным потребам России тридцать лет. А именно — в восемнадцати военных кампаниях, при генеральных баталиях, двенадцати акциях и шести осадах, где не мало ран принял. Студенты сии разверзли недра российской земли, добыли для отечества медь, железо, золото, строили заводы, лили пушки, создавали новые машины, оснащали корабли, снабжали оружием армию русскую… Службу сих студентов считаю равной своей. Что же, вы и меня будете допрашивать, Тауберт? *(Молчание).*

Крашенинников. Федор Ростиславич! Академики из чужестранцев не склонны расспрашивать сих изобретателей. Позвольте мне, русскому, спросить?

Иконников. Дельно, академик Крашенинников. Пусть же поведают, как добывали новое железо и сталь. Шелех! Укладник! Ждем.

Ермола. О том, как мы свою задачу выполняли…

Никита. …под литерою «веди», что значит — верую?..

Ермола *(отважась, бойко)*. Господа академики! Мы стремились дать единую систему металлургических дел, кою строили на особенностях каждой руды. Мы тщательно изучали, как протекает металлургический процесс. Более подробно технику новой плавки мы в чертежах покажем. Угодно почтеннейшей конференции задать мне вопросы о чем?

Тредьяковский, Крашенинников, Нартов. Слава!

Ломоносов. Но академики из иноземцев безмолвны!

Иконников *(в изумлении оглядывая академиков)*. Да-а, эта академическая крепость потверже Азова будет.

Разумовский. На них, господин министр, армии двигай, они и тогда внимания не обратят. Горды! А от меня требуют, чтоб я их один усмирил?..

Иконников. Есть здесь один огненный человек, Петер Алексеев!

Быстро выходит Петер Алексеев. За ним идет встревоженно Никифор Пиленко.

(Пиленко.) Запорожец, тебя спросим после. Я хочу, чтоб Петер Алексеев рассказал о своей особо трудной задаче под литерой «Т». Твердо. Исполнению той задачи сердце каждого русского должно порадоваться.

Пиленко. Федор Ростиславич! Петер говорит горячо, торопится. Позвольте мне за него объяснить.

Петер. Зачем тебе? Я выполнил, я и объясню.

Пиленко *(Петеру, тихо)*. Погубишь себя, Петер, если здесь бар начнешь ругать.

Петер *(так же тихо)*. Чать, удержусь. *(Выходит.)* Господа академики! Задача мне была такая: «Отлить орудие, чтоб где одна лошадь пройдет, там и оно могло быть провезено».

Иконников. Сиречь легкую, подвижную артиллерию, коей ни в одной стране досель не бывало! Продолжай!

Петер. Артиллерии сей нужна была такая хорошая бронза, коей тоже доселе в России не было. Пиленко, друг, ты выплавил ее?

Пиленко. Постарался.

Петер. Нужно было железо и сталь такой крепости, коей в России доселе не было! Шелех, Укладник, вы дали сей металл?

Укладник. Ты его получил!

Петер. Потребовались ученые пушкари-умельцы, их обучили и прислали. Хлопотали вы о пушкарях тех, Андрей Константинович, Михайло Васильевич?

Нартов. Еще бы.

Ломоносов. Пришлось.

Петер. Словом, орудия отлиты. Вес того орудия…

Иконников незаметно грозит ему пальцем.

…вес того орудия известен. Дал я ему разборный лафет, разрывной снаряд, и бьет оно…

Жест Иконникова. Петер опять поперхнулся.

…и как оно бить будет, это будет тоже известно.

Голоса из коридора: «Хвала пушкарям Ломоносова».

Иконников. Отлиты, государи мои, пушки, которые дают силу огня на пять верст. Впервые в истории войн, — не дай бог войны… впервые в истории войн российская пехота пойдет в бой вполне защищенная артиллерией. Вам это понятно, государи мои?

Крашенинников, Тредьяковский. Слава артиллерии русской!

Шумахер. Под огнем артиллерии мы смолкаем. Ежели Сенат признает научные сии задачи решенными, мне остается собрать мнения академиков под протоколом?

Иконников. Должно быть, так.

Шумахер. Господа академики! Кто подпишет протокол, что научные задачи под литерами решены и что награду решившим стоит выдать?

Тредьяковский. Я подпишу!

Крашенинников. И я!

Нартов. Дайте и мне перо, подпишу!

Голоса. Сподвижнику Петра хвала! Хвала академику Нартову!

Шумахер. Академик Люкке?

Люкке. Не подпишу.

Шумахер. Академик Миллер?

Миллер. Отказываюсь.

Шумахер. Академик де-Рюшампи?

Де-Рюшампи. Нет.

Шумахер. Академик Уитворт?

Уитворт. Не только знания учеников, но и знания самого их учителя Ломоносова под сомнением. Мы, например, не раз спрашивали мнение великого Эйлера о трудах его.

Шумахер. Великий Эйлер даже не ответил нам.

Иконников. Не ответил?.. Ну, а вот мы послали ученым людям Европы решение научных задач, образцы металлов и изделий, и нам подлинные иноземные ученые ответили. Адъютант!

Жестом велит раздать бумаги из портфеля. Адъютант разносит бумаги академикам. Они читают, оживленно обсуждая.

Люкке. Фурмей из Берлина! Кандамин из Лотарингии?

Де-Рюшампи. Фризи из Милана? Я знаю его! Хвалит!

Миллер. Виллагауэр? Считает превосходным?

Уитворт. Сам де-Марни признает? Удивительно!..

Шумахер. Однако великий Эйлер не ответил нам!

Иконников. Ни на одно ваше письмо? *(Показывая письмо.)* А это? *(Молчание).* Вы получали, сударь, ответы Эйлера, но прятали их. Читайте же вот этот последний ответ вслух!

Шумахер *(читает).* «Все труды господина Ломоносова в области физики и химии не только хороши, но и превосходны. Ломоносов обладает счастливым гением для редких открытий в области физики, химии, электричества…»

Иконников. Плохо слышно. Громче!

Шумахер. Тут по-латыни, а я плохо разбираюсь…

Иконников. Скажите, латынь забыл!.. Но вы забыли и про радость, с коей следует читать вам, советнику Российской академии наук, об успехах русской науки.

Шумахер *(громко).* «Желательно, чтобы все академии Европы были в состоянии производить великие открытия, которые совершил Ломоносов. Открытия его делают честь не только российской Академии наук, но и всей русской нации».

Аплодисменты.

Иконников. Ну, что ж вы теперь скажете, господа?

Тауберт. Да! Открытия Ломоносова! Мы согласны их обсуждать! Но перед нами «открытия» каких-то мальчишек! Может быть, они выплавили вместо одного пуда железа — полтора, а мы, академики, им рукоплещи? Академия не завод!

Ломоносов. «Вместо одного пуда полтора? Академия не завод!» молвил Тауберт. Прекрасно! Значит, вы забыли, что кое-кто из вас торгует? Вот, например, господин Уитворт приготовил к вывозу корабли с пенькой, лесом, зерном, железом…

Уитворт. Я скупаю преимущественно кожи! Миллионы кож, ха!

Ломоносов. Да, много вложено денег. Стало быть, вам интересно знать, сколько же благодаря трудам сих ученых юношей русские заготовили новых товаров? Вдруг много? Вдруг да старые товары упадут в цене? И тогда выйдет, что вы их напрасно заготовляли-с?

Тревожное молчание.

Де-Рюшампи *(изменившимся голосом).* Вряд ли русские могут заготовить товаров столько, чтоб это отразилось на ценах мирового рынка!

Ломоносов. Спросите у сих юношей, они ответят вам.

Де-Рюшампи *(после молчания).* Я, пожалуй, спрошу. У меня, видите ли, приготовлено несколько кораблей с железом.

Господин министр, интерес понятный?

Иконников. Еще бы! Но я не изобретатель. Шелех может ответить вам! Но как ему отвечать о том, во что вы не верите?

Де-Рюшампи. А во что я не верю?

Иконников. В открытия, которые сделал тот же Ермола Шелех.

Де-Рюшампи. Мне отрицать открытия, когда они отражаются на ценах мирового рынка?

Люкке. И, кроме того, видные ученые Европы подтверждают!

Иконников. А! И вы, академик Люкке, закупали железо?

Люкке *(вздохнув)*. Всеобщее увлечение! Архивариус! Перо! Протокол! Я подписываю. *(Пишет.)*

Иконников. И вы, фон-Винцгейм, хотите подписать?

Фон-Винцгейм. Что поделаешь? Русское железо пользуется в Европе большим спросом. Перо, я подписываю!

Тауберт *(свирепо, Люкке)*. Глупцы, предатели!

Люкке. А вы, Тауберт, контрабандист! Вы через Кенигсберг запрещенные к вывозу товары вывозили!

Ломоносов *(писарям)*. Вот сие записать.

Тауберт. Я тебе покажу записать!

Тауберт бросается на Ломоносова, хватает его за горло. Нарышкина вскрикнула, Разумовский смеется. Ломоносов без труда оттягивает руку Тауберта, сжимает ее и бросает его на пол.

Ломоносов. Буде баловаться-то, болван.

Иконников. Адъютант! Помогите Тауберту покинуть конференцию!

Тауберт. Как, мне, зятю Шумахера?

Иконников. Да, представьте, вам.

Тауберта уводят.

Уитворт (*взволнованно, Иконникову)*. Господин министр! Покажите мне ученого, необыкновенно быстро решившего важнейшую задачу: «улучшить качество кож в пять и более раз».

Иконников. А вы разве, сэр Уитворт, подписали протокол?

Уитворт. О, это пустяки! *(Подписывает.)*

Иконников. Калина Судьин!

Калина Судьин *(звонко)*. Здесь мы!

Из-под арки выходят Калина Судьин и Анкудин Баташ, одетые по-городскому и не без щегольства. Они несут куски кож.

Ломоносов. Подойди поближе, Калинушка.

Калина. Михайло Васильич! Я свой авантаж знаю. Им оттуда на меня импрессия лучше. *(Кланяясь Уитворту.)* Сэр?

Уитворт *(кланяясь, с недоумением)*. Сэр!

Калина. Сэр, эти кожи выделаны по моему способу. Юфть начал было со мной изучать Анкудин Баташ, но отошел.

Баташ. Я по узорной коже двинулся.

Уитворт *(тыча пальцем то в Калину, то в кожи)*. Этот? Эти? Такие кожи — этот… мальчишка?..

Калина. Химия, сэр. Химия суть подражательница естества, и она столь же пространна, как сама природа. Химия разрушает или растворяет — и паки оживляет, и превращает в новое творенье природы!..

Уитворт. Ах, сэр! Я объелся теорией. Скажите лучше скорее, сколько времени вы дубили этот сорт юфти?

Калина. Этот сорт юфти, сэр, прежде старики дубили от осьмнадцати месяцев до двух лет, сэр. А теперь, сэр, самое большое дубим мы ее, с помощью химии, в срок от пятнадцати дней до двух месяцев.

Уитворт. В двенадцать раз сократили срок дубления? Боже!.. И сколько же вы таких кож заготовили, сэр?

Калина вопросительно смотрит на Иконникова. Тот кивнул.

Калина. К концу нонешнего года, сэр, заготовили более мильона штук.

Уитворт. Более миллиона штук юфти? А цена им, цена, сэр?

Калина. Да как обещали, раз в пять дешевле прежних.

Уитворт. Мои скупленные кожи в пять раз дешевле?!

Люкке. Умоляю, сколько выплавлено железа?

Иконников. Шелех! Сколько вы там выплавили железа?.

Шелех *(посмотрев в бумаги)*. Три миллиона пудов.

Люкке, Уитворт, Де-Рюшампи. По цене?

Шелех. По цене втрое дешевле прежней.

Люкке. Я разорен!

Уитворт. Господа, мы все разорены… *(Калине)*. Поддержите меня, сэр… *(Студенты отводят его к креслу, и он повисает на нем.)*

Академики, толкая друг друга, бросаются подписывать протокол.

Миллер. Когда сопротивление бесполезно, то глупость *(указывая на Люкке)* волнуется, бессилие *(на де — Рюшампи)* — жалуется, низость *(на Шумахера)* — изворачивается и лишь одна мудрость *(на себя)* — покоряется. Я подписываю! *(Подписывает.)*

Нартов. Граф Кирилл Григорьевич, дай старику сказать.

Советник Нартов в старомодном темном кафтане, в бархатных сапогах, опираясь на палку, медленно идет к Ломоносову.

Разумовский *(Иконникову)*. Советник Нартов, изобретатель, учил Петра токарному искусству.

Иконников. Знаю Андрея Константиновича, знаю.

Нартов. Учил Петра Великого? Кого учить! Он сам учил всех,

и здорово учил. *(Указывая на академиков.)* Вот этих бы он поучил — дубиной. Зазнались, заелись… Ай-яй-яй… *(Студентам.)* Стоял я не раз с Петром и у токарного станка. Рука у него горячая, возьмет когда да поведет не так… а я его поправлю. Потом свои-то руки уберешь, и будто железо раскаленное держал. Вот это — рука! У Ломоносова такая ж. И дай бог вам такие руки! Прими поклон, Россия молодая.

Голоса. Слава Нартову. Слава Ломоносову!

Теплов *(подавая протокол Разумовскому).* Великий восторг всех обуял! И на вашем лице, ваше сиятельство, зрю то же самое. Извольте подписать. Награды и звания изобретателям я тоже обозначил. Металлурга Петера Алексеева я думал бы в профессоры: троих — Шелеха, Пиленко, Укладника — в адъюнкты, остальных же…

Крашенинников. Ваше сиятельство! Я много путешествовал и часто в путешествиях, когда я думал о дорогих сердцу местах, виделась мне Москва, и виделось мне открытое благодаря неустанным хлопотам Михаила Васильевича здание Московского университета!

Голоса. Создателю Московского университета слава!

Крашенинников. И виделось оно мне в веках лучшим и прекраснейшим зданием мира! Посему, ваше сиятельство, мы ходатайствовали, чтоб первый и любимый ученик Ломоносова, поэт и философ Николай Поповский был назначен профессором Московского университета.

Разумовский. Что, русские мы или не русские? *(Пишет.)* Всех в профессоры!

Ломоносов *(Разумовскому, указывая на учеников).* Молодые! И как их много! И какие они непобедимые! Ах, ваше сиятельство! Молодость есть величайшее чудо мира. А молодая наука, да еще наша, русская, разве это не чудо из чудес? *(С чуть приметной насмешкой.)* Как я рад, ваше сиятельство, что вы, самый молодой в мире президент Академии наук, находитесь теперь среди многочисленных молодых ученых!

Разумовский *(сухо, понимая насмешку).* Да. Я тоже рад, Ломоносов.

Академики. Виват! Виват! Виват Академии!

Входит Стефангаген.

Стефангаген. Ваше высокографское сиятельство!

Разумовский. Еще что там?

Стефангаген. Ваше сиятельство *(кланяясь Нарышкиной),* обращаюсь к их высокографскому сиятельству. Прибыл Нарцысушко, любимый арапчонок государыни!

Из коридора, подскакивая и размахивая письмом, бежит

арапчонок, разодетый в шелка, ленты и кружева. Он подбегает к Нарышкиной и подает ей письмо. Она разрывает конверт, читает, гладя арапчонка по голове, затем целует письмо. Все заулыбались. Взоры всех академиков сосредоточились на Нарышкиной.

Миллер. Какой торжественный день!

Люкке. Какое удивительное заседание Академии наук!

Нарышкина. Спасибо, Нарцысушко! Скажи: кланяется земно, благодарит государыню и будет непременно и тотчас.

Арапчонок убегает.

Разумовский *(слабым голосом).* Нас пригласили на послеохотничий ужин?

Нарышкина. Нас? Меня! *(Встает.)* Господа! Государыня с трех выстрелов убили трех лосей.

Крики: «Виват! Виктория!», Ломоносову, окруженному учениками.

Михаил Васильевич! Сегодня я видела истинную любовь к отечеству. Я вижу истинную любовь к истинному человеку сынов отечества, и я… Я остаюсь в России, за границу не поплыву.

Иконников. За границу никто не поплывет, Катерина Ивановна. *(К академикам.)* И корабли ваши, господа академики, тоже не уплывут за границу. Порты приказано закрыть.

Разумовский. А что случилось?

Иконников. Подлец король Фредерик Прусский напал на Россию. Уже дана инструкция: нонче, в пять утра, русским войскам двинуться к границам Пруссии. Война!

Разумовский. Война? *(Молча глядит на Иконникова, словно ожидая от него приказаний.)*

Иконников. Спокойствие, господа. Угодно вам, господин президент, огласить сей указ Сената? *(Передает бумагу Разумовскому.)*

Разумовский *(Теплову).* Читай.

Теплов. «Сенат предписывает: ввиду дряхлости и старости господина советника Шумахера, все дела Академии, с сего числа, подписывать графу Разумовскому, купно с советником и профессором Ломоносовым. Сенат уповает, что он, истинный сын Отечества, оный департамент в цветущее состояние приведет».

Академики аплодируют. Разумовский тоже.

Крашенинников. Профессор Московского университета, пиит Николай Поповский стихи свои огласит.

Поповский.

Московский здесь Парнас приветствует витию,
Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию,
Что в Риме Цицерон и что Виргилий был,

То он один в своем понятии вместил,
Открыл натуры храм богатым словом россов
Пример их остроты в науках — Ломоносов!

Все аплодируют.

Нарышкина. Прекрасные стихи, профессор! Граф Кирилл! Вы идете меня провожать?..

Разумовский. Иду, иду, Катерина Ивановна, сейчас! *(Поспешно, испуганно убежал за ней, забыв и попрощаться.)*

Ломоносов. Господа академики и новые молодые профессора! Конференцию продолжаем, садитесь! Господа, садитесь, господа!

Все садятся.

Вы почему не садитесь, академик Миллер?

Миллер *(ласково).* Мой друг, российский Ньютон!

Ломоносов. Называйте меня просто Ломоносовым.

Миллер. Ломоносов! Я увидел сегодня, как вы были правы. И я увидел сегодня, как я был неправ. Простите меня. Я не хотел оскорбить диссертацией своей Россию.

Ломоносов. Россию не оскорбишь диссертацией, даже самой плохой. Вы оскорбили только себя и свое дарование. Забудем это. *(Жмут друг другу руки.)*

Откуда-то издалека слышны приглушенные звуки барабана, постепенно разрастающиеся. К ним присоединяется музыка военного марша, солдатская песня. В окнах растут отблески солнца с реки.

Иконников. Великое воинство русское выступило супротив мерзавца и грабителя Фредерика Прусского!

Ломоносов. Выступило, чтобы наступить сему Фредерику, сей его войне, на горло.

Ученики прилипли к окнам. Академики разговаривают у арки.

Шелех. Гренадеры идут, преображенцы, пушки…

Пиленко. Петер, гляди, твои пушки везут! Ура-а!

Фон-Винцгейм *(тихо).* В этой проклятой России все и всегда неожиданно. Откуда в ней столько войска и столько вооружения?

Уитворт *(тихо).* С помощью Англии ваш король Фредерик, полагаю, возьмет все это войско и все это вооружение себе!

Фон-Винцгейм. О, прошу об этом бога!

Солнце поднялось. В окнах горит игла Адмиралтейства. Все ближе барабаны, музыка и песни. Слышно раскатистое «ура»!

Иконников. Мне пора. Позволь солдату Российской армии обнять и поздравить тебя. Оставайся, создавай новую русскую Академию, коей ты всегда был и будешь главой.

Ломоносов. Я сам — простой солдат отечества. Но всем своим простым сердцем чую высоту и правду будущей российской истории. И чую еще, что высоту и правду эту увидит все человечество!..

Взор Ломоносова, пытливый, полный надежды, устремлен вдаль. Солнце яркими утренними лучами освещает его лицо.

Подбегает Стефангаген. Он — угодлив, но угодлив сдержанно.

Стефангаген. Соблаговолите, господин советник, подписать указ о вступлении своем на пост вице-президента?

Ломоносов. Стефангаген! А я ведь немцев-то уважаю.

Стефангаген. Невозможно, господин советник! Король Фредерик идет походом на Россию.

Ломоносов. То-то, что — король Фредерик!

Стефангаген. И с королем — большое войско!

Ломоносов. Слепое, слепое! Многие думают о том войске, что немец никогда и не прозреет. А я верю: откроет слепые очи народ сей — и увидит правду! Великую правду, Стефангаген! Понял?.. Ну, где тебе понять! Давай, ин, указ: подпишу.

ВСТРЕЧИ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ

Прошлое видишь как скопление вод в пруду. Кажется, недвижны воды эти, и, однако, сколько в них хранится мощных и тайных сил! Подойдет свое время — и эти огромные силы, хлынувшие в турбины, дадут свет, а выпущенные на поля и луга, напитают соками жизни колосья и листья.

Но, прежде чем пустить вперед это могучее скопище вод, человек, хозяин жизни, долго и напряженно размышляет о том, чтобы силы эти действовали плодотворней и лучше.

Не менее напряженно и вдумчиво должен всматриваться в свое дело художник, желающий рассказать народу о знаменитых людях и событиях, которые он видел.

Мои воспоминания о встречах с Максимом Горьким печатались отрывками в течение долгого ряда лет в различных газетах и журналах. Ныне, собирая их воедино, учтя весьма ценные замечания читателей и своих собратьев по перу, я внимательно пересмотрел их и переработал. Менее всего

подверглась изменениям та часть воспоминаний, которая под названием «Сентиментальная трилогия» была напечатана еще при жизни Алексея Максимовича в сборнике, посвященном его шестидесятилетию. Я не считаю свои воспоминания совершенными, — да и как может один человек дать совершенный и исчерпывающий образ такого титана, каким был Максим Горький? Это лишь крошечная частица пьедестала памятника, непрерывно воздвигаемого нашим народом своему любимейшему певцу, другу и брату.

Минуло пятнадцать лет после смерти Горького. За эти годы советский народ поднял на огромную высоту культуру, науку и искусство, свершил гигантские подвиги, защитившие и защищающие человечество от капиталистического рабства и фашизма. И среди своих многочисленных и необычайных по красоте и размаху подвигов советский народ никогда не забывал Максима Горького, любил его всегда с исключительной нежностью, считая его жизнь не только образцом жизни поэта, писателя, общественного деятеля, но и образцом жизни одного из лучших людей нашей страны, человека с сердцем широким, как море, и твердым, как сталь.

Горький — жил и живет с нами!

Беспредельны наши земли, леса, моря и горы, теплое солнце и ветер. Бесчисленны села, города и заводы, встающие среди нив, лесов и гор, — все это непрерывно изменяется, растет. И ко всей этой поэзии творческой нашей жизни, к миру, который создаем мы в обширном мире, страстно привязан советский человек.

И среди многих даров, которыми одарила нашего человека земля, он обладает одним из лучших — метким, ярким, выразительным и необычайно волнующим языком.

Этим даром языка в исключительнейшей степени обладал Максим Горький. Из самых глубинных толщ народа он вынес грозное, могучее и вместе с тем доброе слово. Этим могучим словом он всколыхнул сердца всех правдивых и честных людей земли: от Москвы до Пекина, от Пекина до Калькутты, от Калькутты до Парижа и Лондона. Новая, социалистическая культура говорила его языком. Новая Россия и все народы, вставшие с нею на путь преобразования мира в духе коммунизма, нашли в Максиме Горьком поэтическое воплощение своих идеалов.

Стихи, романы, рассказы, пьесы, статьи и речи Максима Горького, его неустанная борьба за мир и культуру, против войны и фашизма — наша борьба, наше слово, наше творчество!.. В его бессмертном творении «Мать» впервые в мировой литературе показан новый тип человека, тип русского революционного

рабочего, большевика. Даже если бы М. Горький ничего не написал, кроме книги «Мать», его имя было бы столь же великим и знаменитым, сколь оно велико и знаменито ныне. Однако, кроме книги «Мать», Горький создал многие тома произведений, исключительных по художественной силе, правдивости, реализму и предвидению того, что сделает и делает русский человек, ставший советским человеком, человеком нового, невиданного в мире, общества вдохновенного труда, общества социализма!

Максим Горький смотрел на землю смелыми, широко открытыми глазами. Его глаза видели всю ложь капиталистического мира и видели всю правду, которую несет трудящимся земли наш советский народ, возглавляемый коммунистической партией. Это были глаза Ленина и Сталина, глаза нашего народа, уста его, его огненное слово, его творчество по переделке земли. Это были глаза истины и справедливости, — и поэтому Максим Горький — наш, всегда будет с нами и в нас!

В детстве

Мой отец, Вячеслав Алексеевич Иванов, прекрасный рассказчик, преисполненный какой-то мрачной веселостью, служил учителем церковноприходской школы в селе Волчиха, близ Алтая. Село было велико и по объему и по глухости.

Было это вскоре после окончания русско-японской войны. Через село проходили мрачные солдаты в топорщившихся шинелях цвета сгнившего сена и в лохматых папахах. По вечерам солдаты и мужики собирались беседовать в кузнице, быть может потому, что в кузне было много огня и оттого окружающая их ночь не была столь страшна.

Больше всех говорил мой отец. Его рассказы, наполовину взятые из книг, наполовину им придуманные, были странны и фантастичны. Странно и фантастично было и его лицо: необыкновенно смуглое, с черными пылающими глазами и тонкими, словно из проволоки, бровями. Отец, лихо подбоченясь и играя подковой с таким видом, точно ему ничего не стоит переломить ее, подробно повествовал, как он искал клады и как бился с разбойниками, которые всегда мешали ему в поисках этих кладов. Как теперь понимаю, рассказы отца были очень романтичны, хотя в те годы отец мой «романами» уже не увлекался и, более того, презирал их.

Второй учитель нашей школы, кажется украинец, был, не в пример отцу, чрезвычайно молчалив, глотал «романы», вздыхал по голубоглазой, со звенящим и стеклянно-ясным голосом поповне и еще по чему-то, чего никто не мог понять.

Однажды в зимний прозрачный вечер молчаливого второго учителя нашли повесившимся у косяка на полотенце. Чтоб влезть в петлю, учитель встал на стопку «романов».

И был о том разговор в кузне.

Насколько отец мой презирал «романы», настолько же он уважал газеты, а главное, верил им. Жалованья отец получал 25 рублей в месяц, семья была сам-пятый, и естественно, что газет он выписывать не мог. Читал ту, которую присылали бесплатно в школу, — монархическую. И верил, конечно, ей. А в газете в те дни печаталось много вздора о молодом писателе Максиме Горьком: караул, пришел в великую русскую литературу босяк, пьяница, разбойник!

— От него и наш учитель погиб, — сказал отец. — Он является главным составителем романов, Максим Горький! Японцы его, что ли, подослали?..

И кстати отец рассказал, как некогда храбрый рыцарь Дон-

Кихот, начитавшись романов, произвел многие опустошения на своей земле.

— Спасибо, что народ наш русский смирный, — вставил один из мужиков, прослушав про Дон-Кихота. — Заместо буйства самое большое повесится.

— Смирный? — раздалось из угла кузницы. — А ты сам-то смирный?

— Я? Нет. Я не смирный. Другие смирные.

— И другие не смирные.

К горну подошел солдат, высокий, холодный, угрюмый. Покашливая, он глубоко затягивался душистой махоркой и смотрел на всех зыбкими глазами. В кузнице стало вдруг тоскливо и тесно. Солдат сказал тихим и печальным голосом:

— И нету больше в Расее смирных людей. Все мы будем скоро, как Максим Горький: горькие и буйные. Учить надо друг друга этому буйству, а не смирности. — Поглядев на отца, он добавил: — А ты чему учишь? Глупости. По казенной табели живешь, учитель! На землю из рытвины смотришь. Стыд!

Он пошел к двери. Остановился и, плечом упираясь в притолоку, сказал:

— Грешная у тебя брехня про Максима Горького. Он — из страдальцев, из солдат, правду говорит, он голосом — семиструнный, а душой — семисаженный!.. Не читал ты его, учитель. А раз не читал, как смеешь учить? Прочти бы ты его, ты б над своим повесившимся товарищем не надсмехался… — И вдруг грозно прокричал: — Туда же, силач, дескать, подковы ломаю. Тьфу! Положи подкову, а то в морду дам!

Подкова, металлически всхлипнув, легла на сутулую наковальню. Солдат ушел. Отец молчал. Мне жалко было его, хотелось побежать вслед за солдатом, обругать его, бросить в него палкой, и в то же время я чувствовал, что в словах солдата много правды и что мне его не обругать и не бросить в него палкой. Идя из кузни вместе с отцом, я сказал:

— Должно, солдат-то видел этого Максима Горького. Не видевши, таким яростным не будешь.

— А ты не рассуждай, — сказал отец и стукнул меня по затылку.

В селе шла ярмарка. Отец выдавал мне на «разгульную» жизнь каждодневно пятак. Сияли голубой глазурью горшки среди соломы, желтой, хрустящей, наполненной морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были, как кусок неба. За балаганами, словно вздыбленные кони, стояли могучие и неудержимые сугробы. Я бродил преимущественно среди лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. За пятак

я мог купить, на выбор, книжку в девяносто шесть или сто двенадцать страниц, вроде: «Как львица воспитала царского сына» или «Чудесные похождения прапорщика».

И вот в одном лотке, на самом низу, я встретил (сколько помнится, издание «Донской речи») книжки, над названием которых стояло «Максим Горький». Максим Горький? Так вот он каков?! Отец мой был суров ко мне и часто несправедлив, хотя по-своему он очень любил меня. В рассказах его было мало правды, но чувствовалась удивительная плавность таланта, часто подменивающего правду, — и это прельщало. Я не верил его болтовне о Максиме Горьком. Но и солдату, так грубо обошедшемуся с моим отцом, я тоже не верил. Да и кто богатырь: солдат или Максим Горький?! И мне захотелось самому познакомиться с Максимом Горьким.

В книжке М. Горького было тридцать две страницы, а стоила она — три копейки штука. За шесть копеек я мог купить только шестьдесят четыре страницы. Во-первых, совершенно невыгодно, а во-вторых, у меня не хватало одной копейки… Короче говоря, я купил «Как львица воспитала царского сына».

Купив «Как львица…», я тотчас же раскаялся. Мне казалось, что всякому в Волчихе будет любопытно узнать правду о Максиме Горьком, написанную им самим, — и ясно, что до завтрашнего пятака книжки раскупят. Я побежал домой. Отец отказался выдать мне завтрашний пятак.

Я пожаловался приятелю своему Микешке. Микешка был великий игрок в бабки и знаменитый опустошитель огородов. Он презрительно дернул меня за длинный рукав тулупа:

— А это что? Зачем тебе дано? — спросил он гнусаво, подражая кузнецу. — Подпояшься потуже, и когда книжки выбирать, спускай их в рукава. Пойдем! Вместе выбирать будем.

Так — до сих пор стыдно — довелось мне быть книжным воришкой. Но что мне было делать? Великое несчастье, когда в детстве задаешь себе вопрос и на вопрос этот не найдено ответа.

Мы украли у лотошника все книжки М. Горького, украли, дав себе слово вернуть их по прочтении. Но нам не удалось вернуть их… Мы опускали книжку в рукав, затем поднимали руку к затылку, будто почесаться, — книжка и проскальзывала за пазуху.

Отойдя от лотошника и пощупав книжки, мы испугались. Мы побежали к Микешке, залезли на печь, выпросили лампу у бабки Прасковьи и, завесившись от мира шубенками, начали читать.

Печь раскалена, душно. Мы сидели голые. Бабка часто просыпалась и ворчала, требуя, чтоб мы не переводили керосин и тушили свет.

— Сейчас, сейчас, бабушка, дорогая, милая, сейчас, —

просили мы.

И мы читали всю ночь.

Я не могу сказать, чтоб рассказы так уж понравились и так уж были понятны нашей детской душе. Но на сердце они оставили томление удалой тоски и исступленной, кипучей, молодой и золотой страсти, которой и имени не подберешь. И затем было видно, что писал человек справедливый, требующий правды и стремящийся удалить тяжкое, угрюмое и протяжно-жалобное человеческое страдание. И еще одно: солдат был прав…

Когда я шел домой, мне мерещилось море, описанное М. Горьким, мерещилось впервые в жизни. Оно мне казалось молочно-белым, все в огромных, застывших валах. Книжки Горького лежали у меня за пазухой. Пьяные мужики, горланя и ломаясь, ехали с ярмарки. Заборы в снегах. А дальше, по сугробам, заячьи следы. И сугробы прекрасны, как море. И от всей этой красоты слезы застыли на глазах, и хотелось рассказать всем об этих слезах, о красоте, о снежном море, о холоде и тепле жизни.

Дома торопливо раздеваюсь, хочу что-то рассказать, опояска падает, а с нею украденные книжки. Отец искоса взглянул на меня, поднял книжки и бросил их в печь. Тогда я обругал его теми словами, которыми ругались возвращающиеся с ярмарки мужики. Отец избил меня жестоко.

Я вырвался на двор, залез под амбар, а строили их в тех местах на вкопанных в землю торчком бревнах таким образом, чтоб между землей и полом амбара оставалось пустое пространство в аршин и более. Мне было невыносимо холодно, я дрожал, плакал. Отец испуганно бегал возле дома, звал меня, а поднялась безбрежная и всесильная метель. Я прижимался к бревнам, грозил отцу кулаком и сам про себя бормотал: «Солдат-то был прав! Не вылезу, замерзну, сдохну. Плачьте, ревите — не вылезу! Загубили, потом скажете, сына!»

В 1916 году

В том году жил в Кургане, сибирском городке, неподалеку от Урала, Кондратий Худяков, живописец вывесок, поэт и мой приятель. Происходил он сам из староверов, не курил, не пил водки и вина, был упрям, тверд — прозрачнейший и красивый был человек. Он самоучкой дошел не только до искусства писать стихи, но и до рисования вывесок. Грамоте, кстати сказать, он выучился по вывескам и оттого ко мне, окончившему сельскую школу и один класс низшей сельскохозяйственной, относился так же, как я относился к людям, окончившим университет.

Обитал Кондратий в двух крошечных комнатушках. В одной комнатушке был маленький письменный стол с секретным отделением, им самим сколоченный. Секрет этот был ему нужен, видите ли, для того, что он все собирался уйти в «политику» и прятал бы тогда в секретном отделении прокламации и воззвания. Но на этом письменном столе писать ему не удавалось: за дощатой перегородкой величавыми и глубокими сибирскими голосами орало множество его детей, жена стряпала еду, соседки доканчивали беседу, о чем начали, идя на базар, — и мой Кондратий уходил писать стихи на сеновал, тем более что стихи ему ничего не давали, и жена, увидав его за письменным столом, надменно выпятив вперед равнодушный и жирный живот, бранилась со всей свободой законной жены. Бывало, придешь к нему, а сынишка его говорит: «Батя на сеновал мыслить отправился».

Я работал тогда в типографии газеты «Курганский вестник» метранпажем и наборщиком. Перед тем как остановиться в Кургане, мне довелось довольно долго странствовать по Сибири. Жил я и в поле, жил в ночлежных домах, в ярмарочных балаганах, в трущобах Омска, Екатеринбурга, Челябинска. Если спросить, какое мое главное тогда было чувство, то я назвал бы — удивление! Я удивлялся и удивлялся. Мне казалось, что только сила нашего удивления перед громадным и непонятным миром скажет о силе нашей души и нашего разума. Мне думалось, что удивляются и восхищаются камни, лошади и сороки, а тем более люди. Восторг в глубине своей сущности и есть удивление.

Мне довелось составить первоначальное и основное представление о творчестве Максима Горького не только по его книгам, по критике или разговорам о нем — я увидел и разглядел его по его героям. Эти бунтующие, страдающие, тоскующие люди, лежавшие рядом со мной на нарах ночлежек, на пристанях, вокзалах, под открытым небом, были именно теми людьми,

которых я одновременно видел и в книгах М. Горького. Эти люди — босяки, безработные, искалеченные дурманными и гнетущими условиями капитализма, не забывали удивляться и восхищаться красоте и теплоте мира.

Безработные, лежащие в ночлежках, разумеется, книг не читали. Но все они слышали о Максиме Горьком, об его огромной, бесстрашной и мудрой жизни. Они гордились Горьким. Для рабочих уральских рудников, по которым мне приходилось бродить, Горький был легендой — громадной, пламенной, воинствующей.

В Кургане я много читал. Книги встречались легкие, крылатые; встречались и болезненно-водянистые, гнетущие, глухие; встречались и кроткие, очарованные, отуманенные, таинственные. Но за каждой книгой, как сквозь ставень, я видел пробивающийся луч света, какую-то новую, идущую ко мне книгу М. Горького. Новая книга его окатывала меня восторгом, как теплая морская волна. Горький тогда для меня был один светлый и радостный восторг, бесконечное удивление перед человеком, победителем природы. Все достойно удивления, потому что все прекрасно, ибо все говорит о счастье, — вот что я читал в его книгах. Ничто не существует напрасно, и природа поддерживает и развивает жизнь только потому, что жизнь действительно достойна этого, что жизнь хороша сама по себе, что она заслуживает восторга, ветвистого и многолетнего, как дуб, и удивления, животворящего и светлого, как дождь!..

Однажды глубокой осенью гуляли мы с Кондратием за Тоболом по берегу. Я рассказал ему степную легенду об удивлении, любви и восторге. К. Худяков посоветовал мне то, чего мне хотелось:

— Напиши и пошли в газету.

Записано это было уже давно, и так как мне неудобно было посылать в «Курганский вестник», где я работал, то я послал свою легенду, навеянную, несомненно, творчеством Горького, в соседний городок Петропавловск, в газету «Приишимье».

На следующей неделе я получил сначала письмо редакции с просьбой продолжать сотрудничество в «Приишимье», а затем и номер газеты с моей легендой. Внизу, под «подвалом», жирным корпусом было напечатано «Всеволод Иванов». И удивление перед вселенной померкло перед тем удивлением и восторгом, которое я испытывал к самому себе. Боже мой, как хорошо написано! Боже мой, как красиво!

И в тот же вечер я написал рассказ «На Иртыше». Мне подумалось: «Зачем я буду посылать теперь свои рассказы в какое-то там „Приишимье“? Второй мой рассказ, написанный,

конечно, более опытной рукой, напечатает любой петроградский журнал!» Из петроградских журналов я выбрал «Летопись». И послал свой рассказ — сколько помнится, написанный на обороте корректурных гранок, карандашом, — М. Горькому, в «Летопись», в Петроград. Послал и молчаливо стал ждать славы. И удивительней всего, что это ожидание славы — в первый и последний раз — не обмануло меня.

Тогда типографские рабочие пили зверски. Жизненная дорога казалась мне прямоезжей, поэтому я торопился, и мне некогда было мутить голову водкой. Часто приятели мои, пропив свое жалованье, пропивали затем и мое. Но за сентябрьское жалованье 1916 года я держался крепко. Я чувствовал себя писателем и решил себя привести — внешне — в соответствующий тому вид. И не потому, что я считал, будто писатели должны ходить в таком костюме, а потому, что другого, лучшего, я придумать не мог: я приобрел себе сапоги с лаковыми голенищами, синие бархатные широченные штаны, которые носят у нас приискатели, и розовую шелковую рубаху.

Был октябрь. Я разбирал «Курганский вестник». Типография наша находилась в полуподвале. Шрифт холодный, липкий, пах керосином. Наборщики «звонили», уныло подсмеивались друг над другом. Похмелье. Денег нет, какая неутолимая и назойливая, как осенний дождь, скука!

Вдруг вошел почтальон и с порога крикнул в типографию: «Кто здесь Всеволод Иванов? Заказное письмо». Писем я ни от кого не получал, а тут на имя Всеволода Иванова, а не просто В. В. Иванову, наборщику. Штемпель из сбитых букв ожег мне сердце черным пламенем: «Петроград»?

Наборщики столпились вокруг меня. Я смотрел растерянно. Горький, сам Горький писал мне, в осторожных и нежных выражениях, что похоже на то, будто у меня есть талант, что рассказ «На Иртыше» ему понравился. Типография заволновалась, заговорила. Решили выпить, и так, чтоб «вдрызг»!..

Пошли к заведующему за авансом, а заведующий ушел обедать. Нетерпение было столь велико, что с меня сняли лаковые сапоги, отрезали у них голенища и послали учеников продать голенища на толкучке: «А остальное тебе вполне штиблеты заменит: выпусти штаны и ходи». Попозже пришел заведующий, который тоже прочел письмо М. Горького, тоже посмотрел на меня с удивлением и выдал аванс — три рубля. Типография перепилась, орала песни. Я ходил среди общего восторга, трезвый и в то же время пьянее всех, и бархатные штаны, как слава, широкими волнами плескались по моим ногам. Мне хотелось написать теперь такое огромное и радостное, такое

грозное и яркое, как битва, чтобы тот человек, сидящий на Кронверкском проспекте в Петрограде, прочел и сказал: «Боже мой, как хорошо написано! Боже мой, как красиво!»

И в течение двух недель я написал по крайней мере штук десять рассказов и всю эту огромную кипу отправил сразу Горькому.

А он мне ответил, что рассказы слабые, что мне надо работать и учиться. Письмо это отрезвило меня. Я понял, что дело не в нарядной и фосфорической славе, а в труде и в искусстве, и что путь к искусству — мучителен, тягуч, крут и сладостен. Я начал учиться.

Три письма М. Горького

1. ПЕРВОЕ, В ОКТЯБРЕ 1916 года

«Всеволод Вячеславович!

„На Иртыше“ — славная вещица, она будет напечатана во 2-м сборнике произведений писателей-пролетариев. Сборник выйдет в декабре.

Вам необходимо серьезно взяться за свое самообразование, необходимо учиться. Мне кажется — литературное дарование у Вас есть, значит — его нужно развивать. Всякая способность развивается работой, Вы это знаете.

Пишите больше и присылайте рукописи мне, я буду читать их, критиковать и, если окажется возможным, — печатать. Но — Вы обязательно должны заняться чтением, работой над языком и вообще — собою.

Берегите себя. Сейчас я очень занят и потому пишу кратко, в следующий раз напишу более подробно.

До свиданья, будьте здоровы!

А. Пешков

Адрес:

Кронверкский проспект, 23.

М. Горькому».

2. ВТОРОЕ, В ЯНВАРЕ 1917 года, ПОСЛЕ «КИПЫ» МОИХ РАССКАЗОВ

«Всеволоду Иванову.

Два Ваших рассказа будут напечатаны в „Сборнике произведений писателей-пролетариев“ и уже сданы в типографию.

„На буксире“ — не годится.

Вот что, сударь мой: Вы, несомненно, человек талантливый, Ваша способность к литературе — вне спора. Но, если Вы желаете не потерять себя, не растратиться по мелочам, без пользы, — Вы должны серьезно заняться самообразованием.

Вы плохо знаете грамоту, у Вас много орфографических ошибок. Язык у Вас яркий, но слов — мало, и Вы часто употребляете слова не литературные,

местные. Они хороши в диалогах, но не годятся в описаниях. Мыслей, образов у Вас тоже не хватает. Все это — „дело наживное“. Займитесь собой, советую Вам! Читайте, изучайте приемы писателей-стилистов: Чехова, Тургенева, Лескова. Особенно богат словами последний. Займитесь изучением грамматики, прочитайте „Теорию словесности“, — вообще обратите на себя серьезное внимание.

Когда выйдет „Луч“, я Вам вышлю его.

Могу выслать книг, если нужно Вам.

И вот еще что: в Ваших рассказах много удальства, но — это дешевое удальство, пустое. Молодыми и телята удалы, — понимаете? А Вы ищите за всем скотским — человечье, бодрое. Не все люди — „стервы“, далеко не все, хотя они и одичали за последнее время.

Знайте, что всем нам, знающим жизнь, кроме человека, верить не во что. Значит — надо верить в себя, надо знать, что Вы не только судья людям, но и кровный их друг. Не грубите очень-то.

Сердиться — можно, следует, но и миловать надо уметь!

Так-то. Не пишите много.

Поменьше, да — получше.

А. Пешков

Желаю всего доброго.

За карточку — спасибо!»

3. ТРЕТЬЕ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

«Всеволоду Иванову.

Очень рад!

Все эти годы я думал о Вас и почти каждого, приезжавшего из Сибири, спрашивал: не встречал ли он Вас, не слышал ли чего-нибудь о Вс. Иванове, не читал ли рассказов, подписанных этим именем? Никто и ничего не знал, не слышал, не читал. И порою я думал: „Должно быть, погиб Иванов. Жаль“. А вот Вы живы, да еще хотите ехать в Питер. Это — превосходно. Здесь Вам будет лучше, и Вы будете лучше.

Но — что я должен сделать для того, чтобы Вы перебрались сюда? Сообщите об этом, и я начну действовать. Спешите.

Провинциальная тоска хорошо знакома мне, я очень понимаю Вас.

Итак — перебирайтесь сюда скорей!

Жму руку.

А. Пешков

20. XII. 20

Ваше письмо получил только сегодня с четырьмя на нем наклейками. Прилагаю их. Мой адрес:

Кронверкский проспект, 23».

В Петрограде

В первом письме, полученном мною от Горького, было два слова: «Берегите себя». Не я берег себя, а меня сберегли эти слова! Право, без них я бы вряд ли выжил. Хоть я и происхожу родом из тех упорнейших и крепких казаков, что некогда шли с Ермаком в Сибирь, однако 1917–1920 годы в Сибири были столь грозны и тягостны, что падали и гибли люди во много раз сильней, упорней и крепче меня. Два письма, полученные мною от Горького незадолго до гражданской войны, как два крыла, поддерживали меня и унесли от смерти.

Поразительно и третье письмо, полученное мною уже после окончания гражданской войны в Западной Сибири. Там написано: «Все эти годы я думал о Вас и почти каждого, приехавшего из Сибири, спрашивал: не встречал ли он Вас, не слышал ли чего-нибудь о Вс. Иванове, не читал ли рассказов, подписанных этим именем». Горький в эти годы пережил колоссально много, он много писал, встречался с тысячами любопытнейших людей, — и, однако, он помнил и спрашивал о каком-то юноше, подающем весьма слабые надежды. Ведь рассказы, посланные мною Горькому в 1916–1917 годах, очень поверхностны, подражательны, и нужно обладать гигантской верой в человека нового общества, чтобы разглядеть в этих рассказах проблески какого-то дарования.

Короче говоря, получив третье письмо Горького, я покинул Омск и газету «Советская Сибирь», где работал метранпажем и корректором.

Горького в Петрограде не оказалось. Он уехал на время в Москву. В районном совете, где я предъявил свое командировочное удостоверение, имя Горького повторили с великим уважением — и дали мне комнату в квартире художника Маковского. Я голодал, а убранство квартиры было превосходное. Кругом меня висели картины в золотых рамах, спал я на мебели из розового дерева и топил «буржуйку» Британской энциклопедией.

С великим смущением и боязнью заходил я несколько раз на квартиру Горького. Мне отвечали, что он не приехал. Наконец, я догадался оставить записку. И однажды я получил извещение, что Горький вернулся.

Встретил высокий, сутулящийся человек, при виде меня не выразивший ни удивления, ни особого интереса. Без улыбки, тихой походкой он провел меня в свой кабинет, небольшую комнату, как в библиотеке заставленную сплошь полками с

книгами.

— Ну, рассказывайте. Славно в Сибири повоевали?

Я рассказывал. Рассказы эти были не легкие, не веселые и не короткие. Глаза Горького, внимательные, острые, смотрели строго. Время от времени он брал карандаш, стучал им легонько по столу и клал обратно.

Вдруг он прервал меня:

— А вы сегодня завтракали?

— Да, да, — поспешно солгал я.

— Пойдемте все-таки позавтракаем. У нас сегодня пирожки. Это в Петрограде нынче редкость.

Думаю, что и в квартире Горького пирожки были редкостью. Их внесли не без торжественности на широком блюде, явно предназначенном для большего их количества. Они были с морковью, на масле. Я осторожно взял один пирожок и, стараясь показать, что такие яства мне не в диковинку, медленно съел его. Мне казалось, что я великолепно замаскировал свой голод. Однако я не обманул Горького. Он ласково придвинул ко мне все блюдо и сказал:

— Кушайте. Напекут еще.

Все вокруг заулыбались, но по этим улыбкам я понял, что печь еще пирожки не из чего. Ах, лучше бы мне не пробовать их! Так ведь всегда в жизни: попробуешь, и остановиться невозможно. Я съел еще один, а за ним другой, третий… И чем я больше ел, тем больше слабел. Чтоб оторваться, я заговорил, начал что-то рассказывать — и незаметно для себя уснул.

Сон этот, повидимому, продолжался несколько минут. Когда я открыл глаза, в столовой никого, кроме Горького, не осталось. Он сидел против меня, смотрел на скатерть, и по лицу его текли крупные слезы.

Весь сгорая от стыда, не зная, что и сказать, я подал ему удостоверение, выданное газетой «Советская Сибирь», по которому я приехал из Омска. Там было написано очень выразительно: «Командируется в распоряжение М. Горького».

— Они думают — человеком легко распорядиться, — сказал Горький, переводя глаза с удостоверения на мои ботинки. Подошва у ботинок отскочила, и я примотал ее ржавой проволокой. — Надо вам ботинки поправить. Пищу также…

Он встал, прошелся по столовой.

— Без ботинок писать вам трудно. Голову — в холоде, ноги — в тепле… помните? А писать вам нужно. Всякий, кто много видел и испытал, обязан писать. Я рекомендую вам пойти в Дом ученых. Я вам сейчас цыдульку на сей предмет дам.

Заведующий Домом ученых, толстый, брюхастый Родэ, в

визитке и галстуке, поразительных для тех времен, прочел записку Горького и, глядя на меня, сказал:

— Вам действительно надо попытаться. Ну, мы вас откормим. Смотрите, какое у меня брюхо, несмотря на революцию!

Брюхо у него, верно, было удивительное. Оно мне не понравилось, не понравился мне и весь тон его разговора, я старался приходить в Дом ученых лишь тогда, когда мне приходилось совсем плохо.

О, этот Дом ученых! О, эти очереди за кониной! Ломовики, тяжело пыхтя, ввозят прекрасные буханки хлеба. Бочки с селедкой! Селедка пахнет несказанно обольстительно, у ней ржавый цвет металла, и это тоже обольстительно. Приказчики смертельно вежливы. Очереди. В очередях неслыханно вежливый разговор, и стоят сплошь профессорши! Как я благоговел перед профессоршами! Я стоял, подняв плечи и собрав локти, и мне совестно было брать ту пищу, которой питаются ученые, мудрецы, академики. Поленницы дров, громоздящиеся во дворе, согревают их конечности, горячее кофе наполняет их желудки. Какие величественные и прекрасные очереди, и как сияет великолепная Нева, а я иду из этой очереди по набережной — тоже почти ученый, — дотрагиваюсь до перил (из гранита, черт возьми, из гранита, воспетого Пушкиным!) и думаю: а ведь я дотрагиваюсь до петербургского гранита!

Несомненно, что я испытал весьма много. Но видеть и пережить многое — не значит, что это многое вы так вот сразу и сумеете вложить в рамки романа или рассказа. Умение писать находится к жизненным приключениям на таком же расстоянии, как умение строить дома к умению строить шалаш. Я этого не понимал. Резко вскинутый своим воображением кверху, я писал рассказ за рассказом на обороте географических карт, которые вырывал из Британской энциклопедии. Горький иногда звонил мне по телефону. «Едите, пишете?» — ласковым своим басом спрашивал он. «Ем и пишу», — отвечал я. Его заботу я принимал за желание поторопить меня в моих писаниях. А может быть, мне вообще хотелось писать, и я при любых обстоятельствах писал бы?

Написав рассказы, я отнес их Горькому. Он возбужденно потер руки:

— А завтра приходите поговорить о рассказах.

Утром я шел к нему встревоженный. Заросший самомнением в одиночестве свой комнаты, я стал приходить в себя, предчувствуя, что наболтал много несвязностей и несуразностей.

Я увидел сухое, слегка недоумевающее лицо и круг, как бы мысленно очерченный им около себя. Он неподвижно сидел в

этом кругу, и с упавшим сердцем я понял, что теперь, вот с этого дня, я не представляю для него интереса. Я оказался плохим писателем, человеком, не имеющим никакой цены, человеком, с которым надо быть только вежливым! У него была тугая улыбка и медленный голос, небрежный и пустой, как мне казалось. Я понимал его. Но все же мне было обидно.

Я молча, стараясь соблюдать неподвижность и тот круг движений, который он хранил, выслушал его:

— Рассказы ваши необработанны, небрежны. Напечатать их нельзя. — И, помолчав, добавил: — А человек вы способный. Так почему же это?

Я принял рассказы. Я шел через Троицкий мост в свою комнату на Литейном и злобно говорил самому себе: «Ну и не надо. Ну и сдохну!» Слезы были у меня на глазах. Я пришел, лег на диван из розового дерева и решил тихо умереть.

Мне теперь не пойти в Дом ученых к брюхастому Родэ. Не стоять в академических очередях и не есть хлеба великих мудрецов. Умереть?!

А затем пришла мысль: «Почему умирать? Какая в этом необходимость? Ведь он сказал: рассказы необработанны. Значит, надо работать, искать, трудиться». И мучительный, то мутный, то стеклянно-ясный труд возобновился. Я вскочил, вырвал десятка два карт из Британской энциклопедии и опять принялся за работу. Если я не могу изложить придуманное и испытанное в стройном рассказе, то почему бы мне не избрать более спокойное течение прозы, нечто среднее между воспоминанием и очерком, описав какой-нибудь совсем небольшой факт? Возьмем среду крестьян, наиболее знакомую мне, и случай, который, как я слышал, произошел где-то возле села Волчиха, неподалеку от Алтая… ведь там я жил, когда впервые услышал о М. Горьком, призывавшем всех нас к труду и бодрости духа!

Я писал, почти не отрываясь от стола, трое суток. Добрая хозяйка одолжила мне керосиновую коптилку. На четвертые сутки хлебные запасы мои кончились, но и рассказ тоже был окончен. Он назывался «Партизаны» и положил основание книге моей, позже названной «Партизанскими повестями». У меня не было сил, а главное — надежды на успех, и рассказ к Горькому отнес сын хозяйки: Маковские уважали искусство. В сопроводительном письме я просил Горького послать мне некоторое количество хлеба. Мне стыдно было просить у Горького хлеба, но, странное дело, еще стыдней почему-то было бы просить у Родэ.

К вечеру я получил следующее письмо:

«Как же это у Вас хлеба нет, друг мой? Вы должны аккуратно получать в Доме ученых. Там же Вам надо починить сапоги.

Как это сделать все?

И где вы?

Рад, что пишете!

А. Пешков».

«Где вы» относится, несомненно, не к месту моего пребывания, а к психологическому моему состоянию. В тот же вечер ласковый голос сказал мне в телефон:

— Отличный рассказ!

Утром мне принесли из Дома ученых сапоги. А через день, когда я уже бестрепетно пошел за провизией к Родэ, мне передали ордер: «Выдать пару сапог Всеволоду Иванову». А еще через неделю, когда я шел мимо мраморной лестницы в Доме ученых, меня сверху остановил голос Алексея Максимовича:

— У меня, Иванов, есть для вас в кабинете одна вещь. Обождите!

И он вынес мне пару сапог.

— У меня уже трое сапог, Алексей Максимович, — умиленный, сказал я. — Мне хватит надолго!

— Ничего, сгодятся, берите: отличные рассказы пишете.

Вскоре Горький уехал за границу. Но и оттуда он прислал мне две пары сапог. Одна пара была из какой-то редкостной прочной кожи, и я носил ее долго-долго и жалею, что износил: не потому, что у меня нет теперь сапог, а оттого, что сладостно и приятно было шагать по миру, ощущая на ногах этот подарок, полный тепла и какой-то неугасимой и трепетной нежности.

Письмо после прочтения «Партизан»

«Всеволод Вячеславович.

Рассказ — удался, хотя — местами — чуть-чуть длинноват.

Беру его с собой в Москву, откуда привезу Вам денег.

Работайте, дружище! Вы можете сделать очень хорошие вещи.

Не забывайте, что в Доме Уч. Вы всегда сможете получить все, что Вам нужно.

Поговорите с Родэ насчет сапог.

Жму руку.

А. Пешков

24. II. 21»

Весна в 1921 году

Весна сырая, длинная, кажется, никогда не уследить за ее концом. День и ночь падает дождь, унылый, как старинная тяжба. Выйдешь на улицу, и хоть обратно в дом: облака такие низкие и такие перепутанные, что, того и гляди, снесут у тебя шапку. Улица словно бежит под уклон. Хочется в Сибирь. Там весна короткая, яркая, будто условленное свидание, и солнце не светит, а приправляет сладким жизнь.

Но если вдуматься, — не весна, не Петроград томит, не Пролеткульт даже, где я теперь служу секретарем Литературной студии, а томит Кронверкский проспект.

Там, в узком кабинете с книжными полками из некрашеной сосны, живет Горький. Высокий, слегка сутулый, он с удивительной простотой и изяществом ходит среди книжных полок и к любой теме готов вынести вам книгу. Эта книга возвысит, воспоет то, о чем вы говорите, — а он наслаждается вашим взором, которым вы смотрите на книгу. Но ему мало наслаждения! Он требует, чтоб вы были участником того волшебства, того трудно объяснимого и пленительного дела, которое он скромно называет «литературой». И его требование очень страшно, боишься наврать, напутать, быть неискренним, что в литературе, вообще-то говоря, очень легко. «Согласимся говорить правду», — читаете вы в его первом взгляде, который он бросит на вас.

Пролеткультовцы относились ко мне хорошо, но и при тогдашнем моем слабом понимании петроградских людей и их способностей я чувствовал, что в литературе они разбираются плохо, суждения их поверхностны, критика их была не выше той критики, которую я слышал в Омске, в Сибири. А между тем, в Литературной студии им преподавали законы искусства лучшие литераторы и ученые Петрограда. В числе преподавателей значится даже Блок, но сейчас, говорили, он болен и потому лекций не посещал.

И выходило так, что каждый раз, окончив рассказ, я, не желая утруждать Горького, все же должен был нести рассказ к нему. По совести говоря, выходило, что я пишу рассказы для него одного. Конечно, ни разу я этого не оказал — и правильно сделал. Искренне это не прозвучало б, потому что в длинные и интимные объяснения я впасть постеснялся б, а лести он не переносил.

Месяца два-три назад я написал повесть «Партизаны». По тогдашним временам это был нелегкий труд — написать три печатных листа. «Партизаны» понравились Горькому, он увез их в

Москву, обещал напечатать и даже привезти денег. Но привез повесть обратно. Газеты могли печатать рассказы в половину листа, журнальчики — к тому же выходившие нерегулярно — больше листа не осиливали, а толстого журнала на всю огромную страну не было ни одного.

И теперь, когда я вхожу к нему, он, двумя пальцами трогая ус, смотрит шутливо-исподлобья и говорит:

— Сколько ни аукал, никто голоса не подает. Лежат ваши «Партизаны» нетленны! — И, смеясь, смотрит на рукопись, которую я обычно вынимаю из кармана. — Опять большой рассказ?

И видно, ему очень хочется, чтоб рассказ был большой, длинный, чтоб и по размерам рассказа было видно, что писатель верит в себя и отсутствие толстых журналов нисколько не угнетает его.

— Ничего! Соберем несколько рассказов, издадим отдельной книжкой.

Но и с «отдельной» книжкой получился конфуз. Горький направил меня с рассказом «Партизаны» и кое-какими другими в петроградское отделение Государственного издательства. Заведующий издательством, лохматый, шалый, тут же, на моих глазах, в полчаса перелистал мои рассказы и сказал:

— Не годятся.

— Да вы хоть внимательней прочтите, — сказал я.

— Прочел. Не годятся. — И так как лицо у меня стало достаточно злым, он закричал пронзительным тенором: — Я имею издательство, а не богадельню. Что мне ваш Горький?! Он прожектер и гуманист. А я классиков должен в народ пускать. У меня на его прожекты бумаги и желания нет!

Когда я рассказал об этом Горькому, он рассмеялся:

— Стоит на кочке и думает — на горе. Мы с вами, дорогой, придумаем такую кару. Лет через пять, наверное, вы станете достаточно известным, чтобы издатель пригласил вас к себе на обед. За ужином, чокаясь, напомните ему, как вы впервые с ним встретились. Впрочем, можно предсказать, что он, забыв о своем хамстве, сочтет вас пьяным.

Лет через шесть-семь, на обеде у издателя, чокаясь, я напомнил ему о нашей первой встрече. Издатель расхохотался и воскликнул:

— Восторженный юноша! Чего вы хотите? Кто же без страдания издает свою первую книгу! Я был как издатель, был на месте, а вы, страдая, были на месте писателя. Ха-ха-ха! И фантазер Горький тоже был на месте. Не будем путать места. Жизнь, как яблоня, корява, но плод ее сладок! Ваше здоровье, не

сжимайте так крепко бутылку, она лопнет…

… Горький вернулся из Москвы. Я жду его в столовой. Шаги его в соседней комнате что-то очень веселы, и я испытываю, неизвестно почему, минуты ликования. Он выходит. Глаза его сияют. Пожимая большой и сильной рукой мою руку, он весело рассматривает меня, а затем, не выпуская руки, ведет меня в кабинет.

На столе журнальчик в голубой обложке, «Красный командир», посвященный жизни петроградских командных курсов. Журнал пришел в его отсутствие. На обложке журнала — коричневая приклейка: портрет В. И. Ленина. Ленин, худой, с острым и кипучим взглядом запавших глаз, сидит, облокотившись о кресло. Фон простой: стена. Горький говорит:

— Отлично нарисовано! Художник, несомненно, рисовал с натуры. А вообще Ленина мало рисуют. Он не любит позировать, как не любит позировать вообще. Даже фотографию с него снять, и то трудно. Одному известному фотографу пришлось пуститься на подлог. Народ у нас простой, доверчивый. Подходит фотограф со своим громадным аппаратом к караулу и говорит: «Иду по согласованности с товарищем Лениным». Его и пропустили. Ленин сидит в кабинете, пишет. Фотограф устанавливает потихоньку аппарат, щелкает — раз, два. Вдруг Ленин поднимает голову: «Позвольте, а вы что здесь делаете?» — «Снимаю». — «Уходите отсюда немедленно». Ха-ха!

Он еще раз посмотрел на журнальчик:

— Отлично нарисовано.

Видно, что ему хочется оставить рисунок себе, но в журнальчике напечатан мой рассказ «Красный день», и он передает журнальчик мне:

— Берите, берите, мне пришлют еще. И не горюйте, что журнал тонкий. Перед тем как двинуться лавине, по склону скачут маленькие катышки снега. Владимир Ильич сказал, что скоро выйдет большой, толстый журнал «Красная новь». Мне предложено редактировать литературную часть оного. И я согласился.

Сделав несколько шагов по кабинету, Горький подошел к окну, посмотрел. Виден сад, окружавший Народный дом. Весенний ветер, ароматный, кудрявый, качал деревья, оглушенные ветром, подавленные хлынувшей на них силой, они, казалось, задыхались от ветра. Когда Горький повернул ко мне свое лицо, на нем было такое выражение, какого у него я еще никогда не видел.

Он сказал:

— Русские вообще говорят остро. Но на Волге говорят не

только остро, а жгуче. Например, свежий и сильный ветер называется витязным. И вот достаточно Владимиру Ильичу сказать вам две-три фразы, как вас охватывает этот сильный и свежий ветер. Ветер революции! Я не знаю, что чувствует птица, взмахивая крыльями, но когда я говорю с Владимиром Ильичем, я не только знаю это, но лечу и лечу против бури и знаю, что устою.

Ему тогда шел пятьдесят третий год — возраст почти такой же, в каком я пишу эти воспоминания, и мне странно думать, что двадцать пять лет назад Горький казался мне очень старым. Он был не только стар. Он был мудр. Люди тогда мнились мне чересчур суетливыми, болтливыми. А у него каждое слово взвешено, полно глубокого смысла. И мне казалось, что он не способен поддаться волнению, не способен громко, во весь голос, выразить свою страсть, быть молодым.

Но вот он заговорил о Владимире Ильиче, — и в словах Горького, во всей его фигуре вдруг вспыхнула молодость, и он был не только равен мне, но, пожалуй, — подумал я с крайним изумлением, — он превосходил меня молодой силой, фантазией, верой! Ленин для него был не только добрым, всеобъемлющим, гениальным, — он для него олицетворял борьбу. Каждое его слово накатывалось на Горького, как тяжелая океанская волна проносилась над головой, и Горький, откинув голову назад, дыша всей грудью, восклицал:

— Великолепно!

И видно было, что это действительно великолепно и что Горький думает о Ленине с удовольствием, с признательностью, с преклонением. Я слушал его — а рассказчик он, вы знаете это, был пленительный и пламенный — и я весь дрожал от восторга.

А его смех! Удивительный смех! Право, мне всегда кажется, что дует бешеная буря, корабль ныряет черт знает как глубоко, небо мертвое, лицо ваше в холодных брызгах, — и вдруг откуда-то чистосердечный и счастливый голос, вполне на вас надеющийся: «Крепче держись, ребята, ха-ха!»

Он рассмеялся, вытер слезы и сказал:

— В первом номере «Красной нови» предполагается статья Владимира Ильича о новой экономической политике. По поводу этого я рассказал ему свою недавнюю беседу с извозчиком. Владимир Ильич очень смеялся, а затем сказал: «Да, таких „пытливых“ извозчичьих вопросов нам еще будут задавать много. Придется еще поспорить о неверных исторических параллелях».

И Горький повторил мне свой рассказ о встрече с извозчиком:

— Итак, приехал я в Москву. Слякоть, небо серое. Вот, говорят, Петербург серый. Не верьте. Насчет слякоти Москва куда более горазда. Ну-те-с! Взял я извозчика. Извозчик — старый,

сгорбленный, того и гляди в могилу ляжет, но по глазам видно — жулик необыкновенный. Сидит он на козлах, скорчившись, подняв плечи, словно его всю жизнь за шиворот держали, лицо — холопье, но лошаденкой правит с некоторой элегантностью, выражая этим протест против существующего строя и подчеркивая, что на коня, мол, вся и надежда. Едем медленно. Верх поднят, но слякоть все равно разлита повсюду, трясет, и чувствуешь себя как голая кость в суповой миске. Дергает возница веревочными вожжами, кричит… Едем. Проехали Красные ворота. Извозчик вдруг ко мне оборачивается и спрашивает: «Барин, а барин! А что, была такая ипоха риформ?» — «Ну, как же, — отвечаю, — была такая эпоха реформ при Александре Втором». Путь, вижу, длинный, опять же нужно и человека просветить, я подробно и рассказываю ему об этой реформе, о крепостной зависимости) и перехожу к деятелям эпохи… Извозчик неподвижен, только локтями шевелит. Вдруг он оборачивается ко мне, раскрывает злые глаза и быстро так спрашивает: «Барин, а барин! А правда, что нонче опять объявится эта ипоха риформ?..»

И вдруг Алексей Максимович спросил меня:

— А вы что сейчас делаете? Много пишете?

Я рассказал ему тему «Бронепоезда», повести, над которой тогда работал. Он смотрел на меня внимательно, стараясь, видимо, думать о многих вещах, но в голову, должно быть, приходила только мысль о толстом журнале «Красная новь», и мне казалось, что он не понимает темы моего «Бронепоезда». Когда я передал ему содержание главы, где китаец, чтобы остановить поезд, лег на рельсы, он, вздохнув, сказал:

— Что-то неестественно. Почему из русских никто не лег? Неужели все струсили!

— Зачем — струсили? Просто русским казалось маловероятным, чтоб бронепоезд остановился по инструкции, обязательной для товаро-пассажирских поездов. И китаец, пожалуй, мало верил, что поезд при виде трупа, лежащего на рельсах, остановится, китайцу хотелось оказать честь партизанам, принявшим его как брата.

Горький помолчал и спросил:

— Неужели случай с китайцем придуман вами?

— Нет. Я вычитал его в одной военной дальневосточной газете. Вырезку, к сожалению, я не сохранил, но подробности героической смерти китайца Син Бин-у помню хорошо. Случай с ним, конечно, исключительный, но таких исключительных случаев во время войны с американо-японскими интервентами было и есть немало. Война-то ведь продолжается.

— Да, продолжается. Жадны господа империалисты. Целую

Сибирь желают проглотить! Однако, сколь ни привычна волчья пасть, но и в ней застревают кости. Подавятся!.. — Он, опять помолчав, сказал: — Пишите. Только…

Он внезапно встал, ушел в соседнюю комнату и вернулся, держа в руках несколько китайских изделий из слоновой кости и нефрита. Я видел их впервые. Изумительное искусство китайских резчиков поразило меня.

Горький сказал:

…только подражать им не следует. Подражать следует простоте, а эти вещи в большинстве чересчур вычурны. Фантазия для художника необходима, но ее надо держать в узде, особенно тем, у кого этой фантазии много. Избыток фантазии в искусстве приводит к безделушкам. И я опасаюсь, как бы избыток фантазии не повредил вам. Вам следует учиться простоте.

Он встал, взволнованно прошелся по комнате, взял какую-то книгу с полки, не раскрывая ее положил обратно и вернулся к столу.

Мне самому приходится постоянно учиться, и я знаю, какое это великое наслаждение. Поэтому-то я так настойчиво всем рекомендую ученье. Да и время теперь наступило такое, что учиться легко. Без преувеличения можно сказать: никогда такого хорошего времени не бывало.

Слово «учитесь» — «постоянно и непрерывно учитесь» — все время звучало и в его письмах, в его статьях и в его устных выступлениях как перед писателями, так и перед читателями. И он не только призывал, он *показывал,* что дает ученье, к чему оно ведет и каким путем следует идти к науке и знанию. Горький, сам постоянно учась строить новое общество и нового человека, постоянно учил других, как можно разумно, мужественно, не боясь никаких препятствий и трудностей, строить справедливую, прямую и великолепную жизнь!

Он обладал чудесным педагогическим даром, и на примере его жизни мы видим, что без этого дара не может существовать подлинный писатель. Некоторые его письма ко мне, да и ко многим моим современникам-писателям полны гиперболических похвал. И если я позволил себе привести эти похвалы, то лишь потому, что похвалы его всегда носили педагогический характер и не могут быть рассматриваемы как некий незыблемый эталон вашей гениальности. Мы тогда были молоды и нуждались в поощрении старшего товарища. Одними ведь окриками и упреками художника не воспитаешь. Горький прекрасно это понимал. Все его похвалы по нашему адресу побуждали только к одному: надо совершенствоваться, надо учиться, надо понимать, какая великая ответственность нести звание писателя, а

советского писателя в особенности.

Поразительный педагог и критик, он не боялся высказать вам самую высокую похвалу, но и на ошибки ваши он указывал без стеснения. Приведу пример из моей писательской жизни.

В этой книге напечатано письмо Горького о впечатлении, какое на него произвело чтение рукописи первой части моего автобиографического романа «Похождения факира». Дело давнего прошлого, и я могу об этом романе говорить спокойно, как бы со стороны. Первая часть «Похождений факира» была написана просто, без ненужных прикрас, без той вычурности, о которой выше говорил Горький. Действие романа было сосредоточено на небольшом количестве удачно подобранных типичных лиц и характеров. Благодаря этому тема — история провинциального юноши, воспитывающегося в глухих сибирских городках, в среде мещанской, плоской и пустой, — тема подчеркивалась, получалась выразительной. Первая часть «Похождений факира» Горькому понравилась.

Я напечатал затем вторую и третью части романа. В этих частях была утеряна и композиционная стройность, без которой не может обойтись ни одно художественное произведение, и была утеряна простота стиля. Роман оказался перегруженным деталями; внимание читателя рассеивалось на множестве второстепенных персонажей, не разъяснявших, а затемнявших тему романа; вводные рассказы придавали роману манерность и вычурность. Короче говоря, вторая и третья части романа «Похождения факира» оказались неудачными.

В письме о первом варианте моей пьесы «12 молодцев из табакерки» Горький написал:

«Вообще же — пьеса недоработана, и это не первый Ваш грешок, — „Факира“ Вы в конце написали тоже очень жидковато и наспех. Не похвально, хороший мой друг».

А когда мы встретились и разговор зашел о «Факире», Горький высказался еще более резко:

— Вторая и третья части «Факира» слабо сделаны, дорогой мой. Их следует переписать, чтоб они были так же просты и ясны, как первая часть.

Не ограничиваясь никогда туманными советами, а любя помогать делом, он добавил:

— Хотите, я вам отредактирую эту книгу?

К великому моему сожалению, обстоятельства сложились так, что Горький не смог осуществить своего намерения.

Из нескольких писем Горького 1922–1926 гг.

Горький уехал лечиться за границу. Я написал ему, что за границей, повидимому, скучно, а нам скучно без него. Полуиронически он ответил:

«Почему вы думаете, что за границей скучно? Отнюдь не скучно. Здесь работают, кто во что горазд, а я, в частности, никогда не скучаю и тоже работаю много. Живу, нигде не бывая, никого не видя, — кроме литераторов-иностранцев, — читаю разные книжки, пишу, харкаю кровью и, в общем, очень доволен».

Работал он, несмотря на болезнь, попрежнему много. В частности, он ревниво и пристально следил за тем, что мы, молодые писатели, делали. Относился он к нам и любовно и сурово. Обладая полнейшим и в сущности редчайшим даром понимать чувства народа целиком, всю его духовную жажду, вобрав в себя все лучи народного творчества, он бережно и строго смотрел на тех, кто работает для народа в области искусства. Отсюда в нем бесконечное уважение к языку литератора, забота о том, чтоб говорили правильно, точно, ясно. Писатели часто обижались, когда Горький, как им казалось, придирался к пустякам. Для него эта придирчивость не была пуризмом. Ему хотелось, чтобы искусство говорило простым, а вместе с тем мощным языком. Однажды он сказал мне;

— Искусство как мачта. Оно должно быть прямое, гибкое, чтобы могло и нести на себе всю тяжесть парусов, и гнуться, но не ломаться перед любой бурей.

При первой же встрече он спросил:

— Вы иностранные языки знаете?

Я оказал, что к языкам иностранным я туг, да и вообще в той жизни, которую я вел, один язык — и тот казался мне излишним. Он нежно улыбнулся своими переливчиво голубыми глазами и сказал:

— Нужно знать. Если есть малейшая возможность, учитесь.

— Можно разговаривать и глазами, — сказал я.

— Что вы, Игорь Северянин?

Он презирал искусственность и считал, что для молодого литератора искусственность — самое опасное занятие. Писали мы тогда много, жадно. Хотелось высказаться, утвердить себя. Художественного опыта, естественно, не хватало; к опыту и манере классиков мы относились скептически, каждый из нас хотел непременно найти свою манеру. Кроме того, нам казалось,

что новый общественный порядок требует и новейшей манеры выражения его в искусстве. Отсюда много азарта, много суетни, часто в сущности совершенно ненужной.

Передо мной лежит несколько писем Алексея Максимовича. В каждом из них тревога, почти отцовская. Не нужно думать, повторяю, что Горький питал ко мне какие-то исключительно нежные чувства, — с такой хорошей тревогой он следил за творчеством каждого советского писателя. Привожу три отрывка. К сожалению, первые два письма не датированы, но, повидимому, их можно отнести к 1922 или к 1923 году. Третье письмо имеет дату: 27 декабря 1924 года.

1

«Слежу за Вашей работой с восхищением, — талантливый Вы человек. Но — не следует ли Вам отнестись к себе более серьезно? Писательство — очень ответственное дело, а не только приятная или любимая работа. Вы пишете несколько торопливо и, порою, небрежно. Это может обратиться в привычку, и тогда Вы станете делать литературу Василия Немировича-Данченко. Простите за это указание. Не мое дело учить, я знаю. Но — очень уж много обещаете Вы, и хочется, чтоб хорошо дали. Рассуждаю как читатель, как человек, который любит литературу».

2

«Очень советую Вам: перестаньте писать большие вещи: они требуют организаторского таланта… и требуют большого спокойствия, точности, мастерства строить. Мастерство это вырабатывается на вещах малых».

3

«В марте думаете ехать за границу? Поезжайте сюда, здесь хорошо работается, а Вам пора отдохнуть, посмотреть на себя издали.

Вы — талантливый человек, но, мне кажется, Вы не достаточно серьезно относитесь к Вашему таланту и не

так любите его, как надо. Вы мне это замечание — простите; за Вами право не обращать на него внимание, но я обязан сказать Вам о том, что думаю: писать Вы стали небрежно, устало. Надо отдохнуть».

* * *

За границу я тогда так и не собрался. Предпочел искать самого себя там же, где искал прежде. Привожу еще два письма Горького. Кое-что я уже нашел и даже, как видно по письму, отказался от сделанного мною в недавнем прошлом. Письма привожу почти целиком: они написаны широко и говорят не только обо мне; в особенности великолепно и блистательно второе письмо.

1

«В. Иванову.

Получил Ваше письмо, дорогой Иванов; даты на письме-нет, по штемпелям не разобрал, когда оно послано; в нем — Ваша карточка, а кроме нее — еще более приятное мне — выражено Ваше сознание, что писать Вам следует лучше. Вы даже ругаете себя: „Все, что я раньше написал, — ерунда“. Это, разумеется, оказано чересчур сильно, Вы уже ухитрились написать кое-что очень серьезное, имеющее все признаки Вашей близости к подлинному искусству. Вы дали несомненные доказательства Вашей силы, как художника. Это я говорю не в утешение Вам, Вы человечище крепкий и утешать Вас не надо. Но Вы встали бы рядом с правдой, сказав: „Пишу я, В. Иванов, очень много лишнего и фактами, и словами, последними — особенно много. Это у меня оттого, что я много видал, богат впечатлениями, и они лезут на бумагу помимо моей воли“. Вот так — будет вернее. Этот Ваш недостаток особенно выражен в „Голубых песках“, книге хаотической и многословной, написанной „беглым шагом“. Так писать не надо, хотя бы только потому, что писать так — легко.

Позвольте дать вам хороший, практический совет: не пишите года два-три больших вещей, вышкольте себя на маленьких рассказах, влагая в них сложные и крупные темы. Верьте: это не совет писателя или учителя, — я

никого, никогда не учил писать как литератор, а всегда говорил и говорю с писателями только как внимательный читатель, любящий литературу всего больше. Вам надо себя сжать, укротить словоточивость. Вам легко сделать это, ибо Вы, как настоящий художник, мыслите образами, а образ тем более ярок и ощутителен, чем меньше затрачено на него слов. Почти все величайшие мастера живописи писали цельными красками.

Засим: нередко Вы заканчиваете страницы описательного и даже диалогического характера лирическими возгласами. Лирика Ваша — волчий вой или медвежье рычание, однако это хорошая лирика. Я ее не хаю, но — она неуместна там, куда вы ее суете. Дайте ей исток в нарочито лирическом рассказе, и Вы получите — не сомневаюсь — нечто очень оригинальное. Но — не надобно вливать мед в деготь быта, ныне лишенного лирики. Не верно, скажете Вы? Верно. Та лирика, которую мы иногда слышим, насквозь фальшива. Ни чистой лирики, ни — даже — пафоса, которому, казалось бы, и время и место, еще нет, все еще нет.

Далее: Вы злоупотребляете местными речениями, в этом сказывается неправильно понятое увлечение Ремизова и его школы, колдовством слова. Этот недостаток есть и у Никитина, он делает Вас непереводимым на языки Запада Европы. А переводить Вас — необходимо по целому ряду причин; одна из них: напряженный, как никогда! — интерес к русской литературе в Европе. Интерес этот — важен…

Каждый писатель есть звено, которое связует разноязычных и разнородных людей во единое человеческое, — это — не фантазия.

Вот сейчас я крикнул европейским литераторам клич: расскажите, что вы сделали, как жили за время войны и до сего дня? И отовсюду, с охотой, которой раньше не вызвать бы, мне шлют статьи о жизни Европы, Америки, и все требуют: расскажите, что делается у вас, в России?»

2

«Получил Ваше интереснейшее письмо, — очень благодарен. Хочется немножко поспорить.

Русь „чудится“ Вам „провинцией“, писатели — „провинциалами“. Не велик я „патриот“, а все-таки, мне кажется, что в словах Ваших звучит усталость, слышен недостаток правильной самооценки. Разумеется, я не склонен отрицать оснований усталости и права на нее, но думаю, что русский „провинциализм“ можно, не искажая правды, заменить понятием своеобразия. Очень оригинальный народ мы, Русь, и очень требовательный сравнительно с нашими соседями на Западе. За истекшую четверть века мы заработали — вернее, получили — право на усталость более основательное, чем люди Европы, но устали — меньше. Это — факт. Культурный „провинциализм“ и угнетающее мещанство духа цветет и зреет здесь более быстро и пышно, чем у нас. Как одно из доказательств этого прилагаю газетную вырезку. Не думайте что „vade mecum“ это написано иронически, нет, это совершенно точное и серьезное изложение канонов „нового“ верования. Так же серьезно, как скандал, устроенный Воронову. „Обезьяний процесс“, устроенный Брайаном, характерен не только для СШ Америки, не только как одна из частностей борьбы „низколобых“ с „высоколобыми“, это в равной мере характерно и для современной Европы. „Сэр Голаад“, автор гнусной и безграмотной книги о России, о русской литературе, — тоже Брайан. Книга его направлена против духовного засилия России и имеет шумный успех. Такие выпады становятся все более часты, а мотив их один: „Оставьте нас в покое! Мы хотим жить спокойно“. Конечно, понимаешь это условие покоя, когда тебе говорят, что в Нью-Йорке за год убито грабителями 12 тысяч человек, и когда ежедневно читаешь сообщения о росте преступности в столицах Европы. Да, но ведь не этим вызываются такие факты, как „Пощечина мертвецу“ — Ан. Франсу, как ненависть к Р. Роллану, скандал, устроенный Полю Маргерит. Нет, культурного провинциализма здесь больше и характер его более ожесточенный и животный, чем у нас, со всем нашим пьянством, хулиганством, чего здесь также не меньше, чем у нас.

„Писатели мы провинциальные“? Это и верно, и неверно. Я тоже долго думал, что как мастера дела мы, конечно, хуже европейцев. Но теперь начинаю сомневаться в этом. Французы дошли до Пруста, который писал о пустяках фразами по 30 строк без точек,

а теперь уже трудно отличить Дюамеля от Дю-Гара и Ж. Ромэна от Мак-Орлана. Все однотонно-одинаковы, все одинаково скучны. Новых тем — нет, крупных талантов — тоже нет. В Италии литература вообще отсутствует. Если вы почитаете англичан — Лоуренса, Кортрема, — Вас поразит их наивность и зависимость от Достоевского, Ницше, наконец — от Франса. Не чувствуются и немцы.

У нас я вижу целый ряд очень талантливых людей, хотя, пока еще, неумелых. Но у нас есть и удивительные мастера: Пришвин, С.-Ценский, Чапыгин. Нельзя требовать, чтоб каждое поколение давало Толстого или Пушкина. Но вот, например, у Вас есть все данные для того, чтобы стать крупнейшим писателем, и Вы, кажется, начинаете это понимать. Далеко должен пойти Леонов. Недостаточно ценится Федин… Затем: пишутся очень значительные книги, совершенно неожиданные, как, например, „Кюхля“ Тынянова, „Современники“ Форш. Расширяются темы, становясь разнообразнее.

Когда сообразишь, в каких условиях творится современная русская литература, как трудно всем вам живется, проникаешься чувством искреннего и глубокого почтения к вам. Я не закрываю глаза на ошибки, небрежности, торопливость и всякие иные грехи писательские, но, зная, как легко осудить человека, не занимаюсь этим делом. Иногда, впрочем, осуждаю, однако, „про себя“ и с великой горечью. Трудно все-таки не осудить Толстого и Щеголева.

Настроен я не оптимистически, это настроение, вообще, не свойственно мне. Но я думаю, что всем нам следует быть немножко стоиками, относиться к жизни более мужественно и фактам не покорствовать. А о людях судить не по дурному в них, а — по хорошему. Не тем человек значителен, что он дурен, а тем, что, вопреки всему, может и умеет быть хорошим.

Крепко жму Вашу руку, всего доброго.

Еще раз — спасибо за письмо.

А. Пешков

15. X. 26 Сорренто».

Хотелось бы описать впечатление от его писем. Но как это трудно! Помню ощущение смущенности. За его письмом всегда чувствуешь озабоченное и вопросительное его лицо, стремление тебе помочь. И чувствуешь, что это не только стремление тебе

помочь, но и ты, помогая самому себе, поможешь тем самым ему, этому неистовому и ненасытному творцу. Читаешь письмо — и на сердце словно разгорается веселый и жаркий костер, при свете которого вокруг такая красота, которую почти нельзя описать: ее можно лишь почувствовать.

В творчестве М. Горького часто встречается тип вопрошателя. Почему так? Зачем таков мир? Как бы устроить его по-другому? Вопросы эти были не бесплодны и не легки, и вопрошатели часто расплачивались за некоторые чересчур смело поставленные вопросы жизнью. Встречались, разумеется, жеманные и нелепые вопрошатели, «чудаки», но и у них даже свирепый и ярый пламень вопросов был выше обычного, — по Горькому, «мещанского», уровня, где особенно никаких вопросов не существовало и люди жили преимущественно растительной жизнью.

Думается, я казался ему одним из тех вопрошателей-художников, которые были весьма понятны и близки ему. Он знал, что подобные вопрошатели-художники, раз уж взялись за дело, ни на что иное не согласны, как только на пророческое дело. А он, сам будучи пророком слова, вечно алчущим, для которого талантливое слово было острее ножа, — любил выискивать людей, подобных себе.

Он был тот самый высокоразвитый в духовном смысле человек, который может жить необыкновенно честно и необыкновенно широко. Он так и жил. Он мог и умел оказывать людям всяческую помощь, не веря ни в какие, вне человека существующие верховные силы, надеясь на самого себя и других убеждая надеяться только на себя. В этом смысле он был сам себе совершеннейший закон, — ослепительный и палящий закон честнейшего человека! Однако он никогда не осмеливался оказать о самом себе, что он совершенен, и всегда говорил, что он никого не учит, а лишь осмеливается кое-что посоветовать.

Поэтому-то, повторяю еще раз, его мнения о писателях-современниках, разбросанные во множестве его писем, никак нельзя рассматривать как категорические приказания потомству: думать именно вот так об этом писателе. Он искал, искал жадно и в силу своего глубокого интереса и стремления найти пророка очень часто преувеличивал — и почти никогда не преуменьшал чье-либо творчество. Он чрезвычайно радовался тому, что люди творят.

Печатаю письмо его, видимо относящееся к началу 1927 года; даты на нем нет.

«Дорогой В. В. — книжки Ваши я своевременно

получил и отправил Вам благодарственное послание. Читаю Ваши рассказы в „Кр. Н.“… Вы стали писать лучше. Крепче, экономнее в словах, пластичнее. Местами — бунинское мастерство, но без его сухости и кокетства отточенностью фразы, часто-бездушной ради красивости. Вы должны написать какую-то очень большую вещь, — всесторонне большую.

Во Францию хотите ехать? А — к нам? Поглядеть бы на Вас. Визу мы Вам достанем. Осень здесь — отличная, только немножко жарковато.

Что делает Леонов? Слышу, что все собираются писать огромнейшие романы, это — знаменательно, значит, люди чувствуют себя в силе.

Восхищаюсь „Разиным“ Чапыгина, — замечательную книгу делает Алексей Павлович! Знакомы ли Вы с ним? Интересная фигура.

Много любопытного на Руси и очень хочется пощупать все это. Но — увяз я в романе и раньше, чем кончу его, не увижу Русь.

А здешняя, европейская жизнь не очень радует, да, вернее, и совсем не радует. Никого нет, писатель — бесцветен и бессилен. Характерно, что наибольший успех в Англии имел за последние годы Джозеф Конрад, поляк родом, во Франции нашумел Панайот Истрати, полугрек, полурумын, в Америке славен Берковичи — румынский еврей. А то есть еще Иосиповичи, автор очень интересного романа „Гоха дурак“.

В итальянских театрах с треском идет „Ревность“ Арцыбашева. Интерес к русскому искусству все возрастает, хотя западные профессионалы уже начинают говорить о засилии и даже преглупо ругаются, как разрешил себе это некий „Сэр Голанд“.

В прошлом году американский издатель спрашивал у меня адрес мистера Николая Лескова, а недавно я получил запрос оттуда же: что пишет теперь Леонид Андреев. Храню письма эти.

Спасибо за портрет. Когда вы облысеете, то станете похожим на Гиббона, историка. И за письмо — спасибо.

А. Пешков

P. S. — «Захочется же людям быть спокойнее» — надеетесь Вы. Я на это не надеюсь. Т. е… им-то уже хочется спокойно жить, но — история сего не дозволит. Разворотив, растормошив действительность так, как это

удалось сделать в России, не скоро приведешь ее в равновесие. Да оно и не требуется, равновесие-то, оно ведь вредная вещь для людей.

А. П.»

«Много любопытного на Руси»

М. Горький жил тогда в Италии.

Чем шире, глубже и выше разрасталось древо культуры, вызванное к жизни Октябрьской революцией, тем с большим восхищением и томлением наблюдал за ростом этого родного дерева Горький, тем больше грустное и сладкое томление охватывало его, тем сильней тянуло к милым русским местам, тем мертвящей, мрачней, мучительней было в Италии.

Горький работал необыкновенно много, но выдержать эту работу можно было только благодаря строгому режиму и особому благотворному климату, поддерживающему его здоровье. Передвижение для него было пагубно. Небольшая простуда, которую обыкновенный здоровый человек переносит с легкостью, для Горького могла оказаться гибельной. И казалось, что старая Русь, уходя, злобно сбросила на него все свои мучительнейшие и беспросветнейшие болезни.

В его сжатых, страстных статьях того времени, полных восторга перед тем, что делают народы Советского Союза, вы явственно разберете громадную и лихорадочную тоску по родине.

Иногда дни становились ему особо непереносимыми, и он приезжал на родину, совершая по ней длинные путешествия. Так, он объехал ее в 1928 и 1929 годах, в летние месяцы.

К Москве приближается поезд, который везет Горького.

Много людей едет в этих вагонах. Но все пассажиры, встречающие и провожающие их друзья и знакомые на станциях от Негорелого до Москвы смотрят лишь на один вагон, тот, в котором М. Горький. Поезд, длинный, звенящий, сверкающий окнами, дверными ручками, колесами, мчится с небывалой скоростью, словно стремясь показать своему любимому певцу, что вся страна также стремительно мчится вперед.

Мы едем встречать его на Белорусский вокзал, возле которого теперь высится превосходный памятник тому, кто стоял тогда здесь на невысокой деревянной трибуне, приветствуя новую, несказанно дорогую его сердцу страну и новых людей ее. Автомобиль медленно пробирается сквозь яркую, трепетную, но не шаткую толпу. Ласковая, очарованная, свежая толпа эта по мере приближения к Белорусскому вокзалу становится все плотней, гуще и словно ярче. Тротуары, окна, подъезды и даже крыши зданий — тех, что пониже, — заполнены людьми. То бархатисто-нежно, то буйно сверкают чьи-то глаза, мелькнет возбужденная и радостная улыбка, и тогда верится, что все то лучшее, что подмечал и воспевал в русском народе Горький,

теперь умноженное в миллионы раз, дрожит, переливается, поет на этих улицах, на привокзальной площади. И то, что ты сам принадлежишь к этой толпе, давит сердце, и неразборчиво бешеный шепот восторга шумит в ушах, и подламываются ноги.

День серый, каких в Москве много: тучки, не то пыль, не то дождик. Вокзал, каких в Москве тоже много. Но, боже мой, как чист и прибран этот вокзал! Двери распахнуты, и через вокзал протянута алая ковровая дорожка. Вдоль этой дорожки с веничком и ковшичком проходила уборщица, увидала окурок, охнула и даже побледнела от волнения.

В такой день воздуху на перроне быть бы удушливым и тяжким. Нанесено так много цветов и зелени, что пахнет остро и неодолимо садом, полем. Шляпы тогда носили реже, чем сейчас; и словно отдаваясь запаху цветов, фуражки мужчин сдвинуты на затылки, и только недвижно, строго, в шляпах, будто некие кавалергарды искусства, стоит Художественный театр.

Поезд ближе. Говорят, он уже миновал Кунцево. Все поворачиваются в сторону поезда, глядят на тусклые, сизоватые рельсы, и лица кажутся поблекшими, и, честное слово, видно, как трепещут сердца.

Пожилой, седой железнодорожник идет вдоль перрона, подвигая пассажиров: «Чуть подальше, граждане, чуть подальше, а то под вагон, не дай бог, попадете». Служит он на этой дороге уже, наверное, много лет, привык ко всему, и, однако, какое у него взволнованное лицо! Он доходит до конца толпы и говорит кому-то, чтобы поделиться причиной этого беспримерного для него волнения:

— Я в детстве думал: Максим Горький поезд изобрел, отсюда и пошло имя. Поезд для бедных, чтоб каждый мог уехать от плохой жизни куда-нибудь подальше.

— Да, был такой поезд…

— А как же! Бесплацкартный, дешевый, теплушки. Вот на нем-то я и имел возможность уехать от той беспросветной жизни. Позже уж узнал я, что Горький книги пишет, И пришлось мне тогда просидеть в тюрьме три недели за эти книги.

— Каким же это образом?

— А таким, что был случай. Лавочник мне сказал: «Врет ваш Максим Горький, как босяк». Я возмутился. Это, как если б я жил, а мне сказали, что я вру всей своей жизнью! Тут я ему возразил, — глупый был, не имел еще тогда другого способа спорить, — я ему в морду. Ну, меня к мировому, и дали мне, голубчику…

Рыхлый серебристый дымок показывается на путях. Гудит гудок. Не окончив рассказа, железнодорожник со всех ног

кидается в толпу. Он опять уговаривает собравшихся быть спокойнее — долго ли попасть под колеса…

Машинист паровоза осторожен. Медленно и восхищенно, как отец в комнату с покупками, входит убранный цветами и зеленью паровоз. В окнах вагонов умиленные лица пассажиров. Они машут руками, показывают, что вагон Горького дальше. Выходят поспешно из вагонов и, вместо того чтоб искать родных или торопиться к выходу, подхватив чемоданы и свертки, бегут вместе с нами к вагону Горького.

Сквозь немолчный, бурный, возвышенный, но не совсем стройный рев музыки слышим:

— Алексей Максимович!

— Алексей Максимович, родной!

И над толпой, словно застывшие крики радости, плывут, отчаянно колыхаясь, цветы. Доплывает их до Горького немного: теснота, цветы валятся под ноги. Горький берет растрепанный, но благородный букет цветов, неумело держит его.

Горький поднят на руки. Его несут по цветам. Он плачет. На мгновение оборачивается к радостно всхлипывающим музыкантам и недоуменно оглядывает их, видимо желая что-то сказать. Но его проносят мимо.

Пожать ему руку возле вагона мне не удалось. Тороплюсь к трибуне. Только взобрался, только подошел к нему, как сын его, Максим Алексеич — уже не помню для чего, — попросил меня взять и принести из машины какую-то зеленую папку. Я спускаюсь с трибуны.

Слышу позади себя возглас:

— Горький сейчас будет говорить!

— Са-а-ам?!.

И это «сам», возвышенное и радостное, хлынуло на меня красивой и крепкой волной, подхватило, понесло с легкостью, обжигая душу народным восторгом, понесло и отбросило к какому-то деревянному забору на край площади. Передо мной плотно, как стеной, стояли спины, гордые и грозные, и где уж там соваться и пробиваться…

Толпа дышала напряженно и веще. Я стоял, замкнутый в это дыхание. Оно мне казалось неизгладимым. Но все же чертовски хотелось послушать Горького и пожать ему руку именно здесь, на этой вокзальной площади, где его встретила громадная и чуткая Москва.

Пожилой, костлявый человек в шляпе, с бородкой, в золотых очках, шумно сморкаясь в платок, сказал мне, улыбаясь:

— Вот что значит быть интеллигентом. Мне нос расквасили, а ему нет, хотя он шел со мной рядом, — и он указал на рабочего в

замасленной толстовке, который закуривал, прислонившись от ветра к забору.

— Рабочий посмотрел на нас нежно-тоскливыми глазами и проговорил:

— Это хорошо, гражданин. А почему хорошо? Другому бы нос расквась, он сейчас: «Милиция!», а вам бы только кровь унять, да и думать о своем хорошем, гражданин профессор.

— Однако вы психолог. Откуда вам, например, известно, что я профессор? Я действительно профессор Пальмин.

— А откуда вам известно, что я слесарь? — спросил рабочий профессора, хотя профессор, повидимому, и не догадывался о профессии собеседника в толстовке. — Наука жизни сейчас на лице читается. Я так предполагаю, что Горький, Алексей Максимович, в науке жизни всех превзошел, даже профессоров. Оттого ее, науку жизни-то, и легко читать на лице: и у вас, и у меня…

— Да, да! — оживленно подхватил профессор. — Я эту науку жизни сегодня и в самом себе прочел. Быть может, лучше чем когда-либо. И именно через Горького, через отношение к нему народа и через его отношение к народу. В мире советской действительности Горький указывает нам пути свободного творчества. Для меня, например, свободным творчеством жизни является преобразование моей еще недавно мещанской действительности в вольную, свободную действительность, которую я теперь не мыслю вне советской власти, вне идеологии пролетариата. Раньше я думал, что вырос лишь для того, чтобы учить других. Теперь я понял, что и мне самому не мешает еще поучиться. И, главное, я знаю, чему, у кого и как мне учиться. Это действительно, дорогой мой, очень хорошее ощущение, и я вам благодарен за него!..

Рабочий вдруг застегнулся на все пуговицы, потушил папиросу и сказал:

— Ну, спасибо на добром слове!

Он прислонился к забору. Он глядел на небольшую трибуну, с которой что-то глухо говорил Горький. Слова его почти не доносились к нам, но чувствовалось в них что-то светло-радостное, поэтическое, пышное, что понятно без слов, что было понятно и в ученых, витиевато составленных фразах профессора, которые в иное время рабочий вряд ли бы понял. Чувствовалось не только нами, а всею площадью, что на сердце у Горького отрадная и несокрушимая вера в силы народа, в силу его творчества. Чувствовались его слезы. Ответно на эти слезы, как брызгами дождя, лицо рабочего, стоявшего возле нас, покрылось слезами.

Приглушенно гудел позади нас вокзал. Остановились трамваи. Чуть колыхался на фоне глянцевых колонн Триумфальной арки серебристый туман пыли, принесенный сюда сотнею тысяч ног. Бегут запоздавшие, толкаются в толпу, отскакивают, — в большинстве это молодежь, студенты или молодые рабочие. Молодежь лезет на трамваи, машет оттуда руками. Возле одного трамвая обоз ломовиков; темные и светлые кони, могучие, словно железные, везут огромные возы саженцев. Саженцы наполнены светом, отраженно льющимся из окон… Как это все прекрасно, и думаешь, что прекрасная жизнь и любовь к жизни соединила эту тысячную толпу в одном порыве так, что теперь не разъединишь, и хлынь теперь слава об этом любовном порыве, соединившем художника и народ, по всей нашей стране, хлынет и зальет ее навеки!

Знакомый художник, волнуясь, не видя меня, прошел мимо. В руке его карандаш, блокнот, он рисует толпу, Горького и горячо, хоть и негромко, говорит кому-то рядом:

— Как вы смеете говорить о каких-то там правилах, которых не соблюдает в искусстве Горький! Искусство всегда предшествовало правилам и потому может изменять их по своему произволу. Простота и правдивость изложения — самое лучшее украшение искусства и первое и главное его правило. Будьте свободны и порывисты — и все правила потащатся за вами.

Рабочий переводит глаза на художника, кивает головой. Видно, что, очарованный жгучей, звенящей, как струна, думой о будущем, разящем зло, он понимает все, что происходит вокруг. И оттого он кажется дюжее, выше ростом и как-то темней лицом. И еще думаешь, что если ему предстоит сделать выбор между легким и тяжелым трудом ради общества, между спокойствием и ненавистью к врагу, между невежеством и знанием, между ничтожеством и значением твоим в мире, — он никогда не задумается в выборе и выберет второе, хоть и трудное, но необходимое человечеству. И надо оказать, что значительную часть этих чувств, этой благородной страсти к творчеству, пробудил в нем Максим Горький. Но надо помнить и то, что великую душу понимает только великая душа великого народа.

Вечером рассказываю Горькому о встрече: как я его видел от деревянного забора. Он любит обобщения, но когда эти обобщения желают применить к нему, да еще с лестной стороны, он переходит к частностям.

Он спрашивает:

— Забора я не разглядел. Голубой? Не разглядел. Что же, и на забор вскарабкались?

С удивлением вдруг вспоминаю, что на заборе зрителей не

было.

— Не было.

Смеясь глазами, он говорит:

— Горький — Горьким, романтика — романтикой, а народ у нас практичный. Зачем ему лезть на забор, коли у того столбы подгнили? И зачем Горькому замечать такой забор, коли хлопочет он об издании журнала «Наши достижения»! Вглядись я в забор, придется хлопотать и о журнале «Наши недостатки».

Коробка сигарет докурена. Он ломает ее, складывает в широкую темную пепельницу, рвет и бросает туда еще какие-то бумажки — и поджигает этот крошечный костер. Любуясь безмолвными струйками огня, он говорит:

— Ну, а как вам понравились музыканты? Расплакались, и кто их знает, что они играли. Это мне непонятно. В России всегда такая великолепная музыка, такие оркестры… — Он рассказывает о русских оркестрах, крепостных музыкантах, о встречах с народными музыкантами, о раздольной и просторной, как степь, русской музыке и затем опять возвращается к музыкантам, которые встречали его на вокзале. — Удивительно плохо играли. Растрогались. Никогда не предполагал, что музыканты столь чувствительны к приезду какого-то там писателя. Музыканты, как правило, ничего, кроме музыки, не знают.

Кто-то замечает, что растроганность советских музыкантов — признак возросшей культуры: знают кое-что и кроме музыки, знают и любят.

Горький сквозь дымку, льющуюся из пепельницы, смотрит с удивлением на говорящего:

— В Италии этого б никогда не могло случиться. Там бы музыканты плакали оттого, что уж очень они хорошо играют, и господин Горький, которого несут — довольно неумело, добавим, — на руках, плачет оттого именно, что они хорошо играют. А играют итальянцы последнее время отвратительно!

Он бьет пальцем по столу чуть слышную, порывистую трель и говорит:

— Много любопытного на Руси… чрезвычайно много! Безбрежная страна и народ безбрежный: к другу сердоболен, к врагу грозен. Последнее время ко мне много пишут. Основная тема писем: восхищение страной и друг другом. И восхищение хорошее, слегка даже ворчливое. Этого никогда на Руси не бывало. Это, если хотите, признак стройности стана: выпрямилась матушка Русь, по-шла-а. Хорошо! И хорошо еще и то, что и не знают, чем бы им друг друга отблагодарить. Выбирают. И чувствую, что выберут что-то огромное, величественное, такое, что другому народу и не снилось.

Костерик в пепельнице потух. Он уминает пепел и говорит:

— У меня сегодня праздник, я растроган, я говорю, может быть, чересчур чувствительно. Извините. Но очень приятно, помимо всех праздников, жить на Руси и чувствовать себя гражданином нового ее строительства. Хороша Русь, и много в ней любопытного, жгучего, несокрушимого! Всесильная, иногда мучительная, но всегда заманчивая страна.

Помолчав, он говорит:

— Люблю, грешный, искусство, пылкие исторические события, горячую и могучую природу, и теперь, ежели б вы соединили в одно историю, искусство и природу Испании, Италии, Франции и еще Америки впридачу, и сказали б: вот тебе, господин Горький, бери, наслаждайся… я бы только головой мотнул. — Он, улыбаясь, отрицательно мотает головой. — И тут, по гордости своей, так как я теперь, изволите видеть, имею прозвище «великого», оглянулся бы на Русь. А она, матушка, стоит и тоже головой отрицательно мотает. Много любопытного на Руси, а всего любопытней человек, коему и поклонимся.

Разговор с каменотесом

Я возвращался из Мацесты в Сочи берегом моря. Солнце закатывалось. Голубые и черные лодки плыли обратно. Я шел по железнодорожной насыпи. Вдруг за кустом я услышал знакомые фразы. Читали «Войну и мир». Тонкий голосок после каждой фразы спрашивал: «Понятно? Продолжаю». И гортанный голос отвечал ласково: «Ну зачем спрашиваешь, джанымау? Такие события происходят, а мы не понимаем? Скорей».

Несколько каменотесов сидели вокруг девушки в синем. Позади всех слушал ее широколицый казах. Перед ним лежал халат, на нем — краюха хлеба и узкая бутылка вина.

— Э, еще кунак пришел! — закричал он, увидев меня. — Садись, кунак, садись, будешь слушать. Они в тетради пишут, а я тебе так расскажу. Какие события пишет!

Волосы у него черные, щетинистые и столь густы, что и шея покрыта ими до спины. Он сидел без рубахи. Мышцы его резко выступали при движениях. Он покачивался, хлопая себя по ляжкам, лицо его сияло.

— В Москве собирались, рассуждали, какие книжки писать. Джанымау дорогой! Пиши любые, но чтоб я радовался. Ты меня не узнаешь? Меня Шибахмет Искаков зовут. Не помнишь такого?

— Нет.

— В Павлодаре, лет двадцать назад, вертельщиком был, ведомости помогал печатать. Ты буквы выдергивал шилом днем, а спал на кухне! А утром меня будил рано: «Шибахмет, поедем на Иртыш за водой». Ха! Я надеваю штаны. А они от старости рассыпаются. А теперь посмотри, какие у меня штаны, рабочие! А какие я надеваю в праздники, у, джанымау! Тебя как называют?

Я узнал его. Шибахмет положил вино, хлеб и стаканчик в карман и пошел за мной. Он покачивался, тряс халатом, прислушиваясь к звону стаканчика. Он улыбался очень протяжно. Он, видимо, радовался и тому, что встретил сибиряка, и тому, что я изумился его памяти.

— А тебе бы пораньше прийти, когда я обедал. Отличный обед был! Я бы тебя угощать стал, а теперь, вечером, я пью вино и ем хлеб, чтоб ночью брюхо легкое было.

— Сколько же тебе лет, Шибахмет! Ты все еще неграмотный?

— А ты тоже небось, Сиволот, не буквы выдергиваешь? Трестом заведуешь, поди, а? У меня сын один, так тот профессор и говорит: «Я тебя больше знаю». А я ему: «Был бы ты дурак, если бы меньше меня знал!» Я тоже большой грамоты: я детей родил четырех, и все ученые. Я мог бы, Сиволот, большие тоже

должности занимать, но мне некогда! Большая должность скажет: «Сиди с портфелем в машине, Шибахмет, ты бедняк, ты управляй государством». А я говорю: вот я вам вырастил четырех, выучили вы их, они и пусть теперь управляют, а я хожу и туда и сюда и здесь и там радуюсь, мне пятьдесят лет!

— Ты по-казахски грамотный?

— И по-казахски и по-русски. Я много помню. Я помню, у тебя рубаха была сатинетовая, а пояс широкий кожаный, а я все думал: «Зачем у него такой широкий пояс, разве брюхо болит?»

Наслаждаясь своей памятью, он говорил о Павлодаре, о нашем хозяине-типографщике, о гражданской войне. Он разводил руками так, как будто в воздухе строил какие-то горбатые мосты. Изредка он потирал свою шею. Затем он схватил меня за плечи и сказал:

— Вот ты опоздал. А там что было!

И он вдруг начал читать на память, подражая голосу девушки:

— «Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо! Но все-таки лучше всех был угол в диванной, за фортепиано…»

Слово «фортепиано» он выговорил весьма тщательно, даже как бы щеголяя своим выговором. Вообще он читал очень хорошо.

— «Он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал устанавливать. „Не так, не так!“ — закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе. „Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну“, — подумал князь…»

Он спросил, качнув меня сильными руками:

— Верно рассказал? А ты мне — неграмотный! Помрет старый князь, как полагаешь? Места не находит. Он и туда и сюда постели ставит. Вот завтра будем читать дальше, приходи — узнаешь.

— Где ты побывал, Шибахмет?

— Много ездил, много помню. Головы ломал офицерам. Догоню. Они в нас из пулеметов, а мы на них с шашкой. По голове шашкой! Пустые головы, зря выросли.

Он показал на пароход:

— И на этих «уткане» качало меня. Брюхо терзает, но предполагаю: кончится же вода! Поднимет и так подбросит, так подбросит на волне, что с нее всю свою жизнь видишь. Душа ликует, Сиволот. Так я говорю? Так ликует, что ничем не разбавишь. Красивое море, Сиволот. Зачем шумит? Много людей

думало. Я тоже подумал… Чтобы любовались им, а? Играешь, старая баба, я тебе!

Он погрозил пальцем морю, рассмеялся, называя, как в юности, меня «Сиволот», продолжал:

— Я его люблю, Сиволот! Я и степь люблю. Коршун летит низко. Всего и дерево в степи, что телеграфный столб. Едешь, едешь, а все кажется — ползком. Обширная страна, а?

Он опять покачал меня за плечи, заглянул в глаза и глубоко вздохнул.

— Стою я возле моря. Льдины плывут. Оно такое сердитое, совсем стариковское, совсем седое и старое. Звери на нем седые, небо седое. Ох, а как, Сиволот, от льдин ветер подует, ой, как скучно!

— Да где это, Шибахмет?

В Хибинах камни рубил. Порубил, порубил, пошел к морю. Эти камни бросишь в землю — сам видал — хлеб уродится такой, что ладонью землю прикроешь — столько ее, — а зерна в этой ладони столько, что и ладонь твою засыплет и еще на лицо хватит. Вот какой целебный для земли камень! Рубил я эти камни, вдруг слышу: в Сочи дорогу строят через горы! Дорога широкая, самая красивая в нашей стране. Будут по ней людей возить в такие воды, что обмакнут тебя, полежишь там — и вылезешь здоровым. Ты видал эту дорогу?

— Видал.

— И пальмы видал? Сто тысяч людей провезет в год, всех обмакнет, вот какая дорога. Я много на ней топтался, много молотком стучал.

Вино переливалось в стакане. Он легонько ударил пальцем. Стакан слегка зазвенел. Он дал мне выпить, затем опять наполнил стакан и поставил его на камень. Вино горело темным багрянцем. Он щелкнул языком:

— Тоже красиво. Тоже здесь растет. Куда ни посмотришь, все красиво. Письма из дому отличные получаю, сыновья моей силе радуются. А верно! О камень ударю — сыплется. Этот удар тебе, этот тебе! Я и для тебя, Сиволот, ударю. Читал Робинзона Крузо, очень упорно человек жил, много страдал. Один! Самое страшное — один! Я бил много камня, выше себя набил щебня, все в его честь. Дон-Кихоту бил, приключения Финна бил. Максиму Горькому бил особо, три дня. Красиво думает о жизни. Оркестр мимо идет. Красная Армия, Ворошилов! Много им тоже камня бил. Я каждый день бью больше всех, а последний удар самому себе бью: молодец Шибахмет Искаков, ударник, очень веселый человек.

Он схватил стакан, выпил. Стакан он тщательно протер

коротеньким полотенцем и положил в карман бешмета.

— Вот тоже Магомет был. Вино запретил. До сорока лет я не пробовал, а потом думаю: если я в князей стреляю, то разве их закон при мне остается? Взял бутылку, семнадцать рублей заплатил. Ах, какой хитрый Магомет был, себе хотел побольше оставить. «Не пей, говорит, Шибахмет!» А я — то, дурак, отвечаю: «Слушаю, ваше величество». Да ты не горы смотри, Сиволот.

Он повернул меня за плечи к морю.

— Ты сюда смотри и долго смотри. Если я рядом с тобой тяжело дышу, ты не думай плохого, я не сплю, у меня так тело сделано, что от красоты начинает трястись.

Море было колыхающегося багряно-бархатного цвета. В средине уже поднималась белоснежная дорога. В небе цвета индиго качалась оранжевая луна. Воздух тепел. В горах медный тягучий гул, словно они перед сном ворочаются и никак не могут лечь. Мы стояли неподвижно. Шибахмет, видимо, мысленно проходил по широкой дороге, которую он недавно с такой любовью прорубил в горах. Он останавливался на каждом повороте, любовался на море, которое каждый раз было иное. «Какие замечательные люди строили дорогу, — думал он, — как они понимают красоту!»

Он наклонился к моему уху и тихо сказал:

— Моя власть получает от меня полное почтение, Сиволот. И она мне благодарна, что я ей таких детей подарил. Но вот мы читаем про войну и мир и думаем: красиво, все красиво! Но почему он, Толстой, об рабочих молчал? Или дальше есть?

— И дальше нету.

— Скрывать приходилось, Сиволот. Не было ничего красивого у мужиков и рабочих, а Толстой хитрый старик был, умный. Борода-то у него какая, видал? Мне с ним поговорить, я б ему правду сказал: красоты у тебя много, но у нас больше. Вот я и хочу сказать власти добавочно: заводы, города, машины переименовываете, а почему стоит Черное море? Это людей раньше пугали, чтоб они не стремились сюда. Черное, мол, так и страшно: у меня и без того жизнь черна! Вот ведь я при царе никуда не ездил, кроме Павлодара, да и там не камни бил, а крутил колесо. Перекрасить надо море!

Он шел рядом со мной, слегка помахивая халатом.

Лицо у него круглое, улыбающееся.

Он напевает вполголоса:

Качается море, качается
Вместе с пароходом и со мной!
От юрты к юрте на соловом иноходце

Качается младший мой сын.
Качается море, качается,
Качается тоже степь!
Над юртами, морем и степью
Качается флаг наш один,
Совсем красного цвета,
Как щеки моей невесты,
Когда ей было
Шестнадцать лет и четыре месяца
А мне восемнадцать!

В этом рассказе ничего не выдумано. Я жил в Сочи, в санатории Дома ученых и редактировал, по указаниям Горького, книгу воспоминаний о гражданской войне в Средней Азии. Книга позже вышла под названием «Война в песках». Тогда же я и встретился с Шибахметом. Мы с ним действительно работали вместе в Павлодаре.

Когда я привез Горькому отредактированную книгу, он еще раз удивил меня прозорливостью своей. Я ничего не писал ему о встрече с Шибахметом; Рассказ «Разговор с каменотесом» был просто напечатан в «Известиях». Принимая от меня рукопись «Войны в песках», Горький весело сказал:

— Великолепный вы напечатали «Разговор»! Я его вырезал и велел в рамочку, под стекло: чтобы каждый день видеть и всем показывать. Вот что говорит жизнь, ибо убежден — в этом рассказе нет ***ни слова*** выдумки. Правда?

И очень обрадовался, когда я подтвердил, что правда!

В италии, в гостях у Горького

В СССР шла могучая, шумная работа, какой не бывало здесь никогда. Страна многоценно, немолкнуще трудилась над первой пятилеткой.

А по всей остальной земле, из страны в страну, катилась гнетущая и жестокая волна экономического кризиса.

И в эти дни творческий коллектив, организованный А. Барбюсом, В. Кутюрье и Л. Муссинаком, решил открыть в Париже Революционный театр. Для открытия театра была намечена моя пьеса «Бронепоезд». Постановщик пьесы Л. Муссинак известил меня о дне премьеры и пригласил приехать в Париж. Не объясняя причин, он просил меня поторопиться.

Суета, неизбежная при длительном путешествии, задержала меня. Опытные в делах европейского искусства люди говорили мне, что французские театры «горят» и что театру, поставившему мою пьесу, грозит та же участь. Вседневные наблюдения над нашими театрами, которые были переполнены зрителями, мало давали материала для своенравной игры театральной судьбы за границей.

Когда, наконец, я приехал со своей женой, Тамарой Владимировной, в Париж, Леон Муссинак мог мне вручить лишь афиши, извещающие о постановке «Бронепоезда», небольшой авторский гонорар, показал макеты декораций и пустующее здание театра, где недавно еще играли мою пьесу. Кризис пожрал все силы и средства молодого театрального коллектива. Театр, несмотря на множество похвальных отзывов прессы, прогорел так же, как прогорели вместе с ним десятки других театров. В Париже остались лишь государственные театры, поддерживаемые правительственными субсидиями, да несколько варьете, которые поддерживали танцующие голые девушки.

Чтобы как-нибудь утешить и почтить своего автора, коллектив театра устроил в одном большом зале вечер, посвященный моему творчеству.

Не думаю, чтоб моя фигура была так уж значительна, привлекательна или интересна французам. Скорее всего их влекли имена А. Барбюса и В. Кутюрье. Но как бы там ни было, зал был переполнен. Вступительную речь о моей литературной работе говорил Вайян Кутюрье. Читали письмо А. Барбюса, который был болен и не мог прийти на вечер, а затем начались вопросы. И вот тут-то я понял, почему собралось в этот зал так много людей.

Спрашивали о пятилетке!

Спрашивали о том, почему в России нет безработицы, когда безработица свирепствует над всем миром? Почему в России для каждого трудящегося есть кров и пища, а в прекрасной и великой Франции нет рабочему ни пищи, ни крова?

Так оно и было. Когда я шел на этот вечер, в вестибюлях метро, где было пять — восемь градусов тепла, лежали и спали толпы безработных. Зима этого года была холодная и снежная, по парижским улицам мела метель, а топливо, как известно, для бедного человека в Париже вещь малодоступная, — да если еще вдобавок тебя выгнали из квартиры. Пустовали не только театры, но и кино, но и музеи. Как-то в воскресенье я пришел в Лувр. По воскресеньям вход туда бесплатный, и, однако, никого, ни души там не было. Я спросил: «Почему никого нет?!» Мне ответили: «Но ведь Лувр почти не топят, зачем туда идти? Искусство в нашей стране не греет». В тот же день мы пошли с женой в кино. Во французских кино можно входить в зал и во время сеанса. Капельдинерша, освещая нам дорогу электрическим фонариком, провела нас в темноте среди ряда кресел и усадила. Когда загорелся свет, мы увидали, что в обширном зале нас только двое. А показывали знаменитый фильм Ч. Чаплина «Золотая лихорадка».

В те дни в отель на Монпарнасе пришло ко мне письмо следующего содержания:

> «Дорогой дядя Всеволод и супруга его!
>
> В прекрасном письме вашем ни слова не сказано вами по вопросу: виза-то итальянская имеется у Вас или нет? На вопрос этот прошу ответить немедля, дабы визу эту сейчас же вам и вручить. Ибо очень хочется, чтобы Вы приехали, и — не одному мне хочется этого.
>
> „Любоваться природой, сидя в Париже на бульваре“ — вот это самое и называется бесплодной тратой времени. История определенно утверждает, что от времен Юлиана Апостата Париж славится производством барышень, а природа — настоящая, возбуждающая восхищение, — находится в Италии и при этом в обилии таком, что даже тошно. Отсюда следует: всяк земнородный и томимый жаждою насладиться роскошнейшей природой должен, не теряя времени на любострастное наблюдение за барышнями пар[ижских] бульваров, стремиться в Италию, где родились, жили и благополучно померли столь знаменитые люди, как, например, Торквато Тассо, Сильвестр Щедрин, князь Демидов Сан-Донато, М. Горький и потомство его, а

также многие другие.

Поэтому ожидаем вас ко дню Нового года и даже ранее. И будем пить вермут, кофе, чай и многие иные жидкости разных вкусов.

Все это пишется совершенно серьезно, чему прошу верить. Жду.

Желаю доброго здоровья и всяческих приятностей.

А. Пешков

14. XII. 32».

Спокойной и уверенной жизнерадостностью дохнуло от этого письма. И потянуло в Италию! Захотелось говорить об ожиданиях, о больших хотениях, о великом русском искусстве. Хотелось выйти в поле, гулять вместе… ни разу не гуляли в поле, разговор происходил за столом. Стол, разумеется, хорош, но куда лучше поле, где на прогулке твои мысли всегда бегут впереймы мыслям собеседника. И представилось уже смеющееся лицо Горького, когда, вернувшись с прогулки, он снимает запылившуюся широкополую свою шляпу, чуть встряхивает ее легким движением, плечи его покрыты дорожной пылью и в светлой итальянской пыли его лицо.

Париж был прекрасен. Но, однако, не пора ли покинуть его?

Особенно Париж был прекрасен ночью. Улицы пустели рано. Идешь один. Кружит снег, заметая глянцево-черные колеи автомобилей. Тишина такая, что, кажется, слышишь за стеною дома, в чьей-то квартире, как потикивает маятник часов. За громадными стеклами витрин, освещенными неизвестно зачем разноцветными яркими огнями, стоят неестественно правдоподобные манекены. Выше вздымаются влажно темные стены домов с черными глубокими провалами окон. Фонари мокры, светят угарно.

Прекрасен Париж, но сердце, глядя на него, колотилось усиленно, точно он не давал слова молвить. Много прошлого, много прошлого! И это прошлое, как вот эти манекены в окнах, иногда странно правдоподобно, точно ты занес в него ногу, желая вступить, вглядеться в него. Вчера, например, читал сообщение о современной советской литературе для «возвращенцев», молодых людей; большей частью это дети эмигрантов, желающих вернуться на родину. А позавчера в этом же зале, где выступаю я, читал лекцию Керенский. И перед моей лекцией вошел в комнату ко мне устроитель и сказал смущенно: «К вам на лекцию пришел Махно. Что же с ним делать?» Из любопытства я взглянул на Махно. Небольшой, с желтоватым лицом, весь точно из битой бумаги, из той, что идет на папье-маше. Чего, кажется,

французскому сыску следить за мной? И все же в коридоре отеля дежурит какая-то востроносая дама на каблуках чуть ли не в четверть метра. Она сопровождает нас всюду, а если остановишься и спросишь: «Да чего вам надо от меня?», говорит: «Помогите мне выехать в Россию! Я готова на любую работу!» Посмотришь на нее с ядовитой усмешкой, да и пойдешь дальше.

А днем Париж дерзкий, крикливый, лица у всех неприятно бледные, краснота в лице либо нарисованная, либо болезненная, и кажется, что люди здесь говорят загадками и намеками, с какой-то неприличной настойчивостью. Нет, слишком много прошлого, и слишком мало чувства! Разумеется, чужой город судить легче всего. Но ведь гений — это глубочайшее и самое богатое чувство! И мне думается, что гений во Франции в эти годы покинул Париж или во всяком случае затих, испуганно и растерянно прислушиваясь к реву того зверя, кто поднимал свою голову в Германии. Затих, замер, иначе он бы выразил себя в искусстве, вознегодовал бы на жизнь, потому что все истинные искусства стремятся показать, оценить жизнь, определить ее характер, идею и цену, так или иначе выразить ее.

В Сорренто мы попали часа за два, за три до встречи нового, 1933 года, попали иссера-бледные от волнения и усталости.

— Вы что же, пешком изволили идти? — спросил Алексей Максимович. — Почему такие утомленные?

Он, улыбаясь, слушал рассказ о наших забавных приключениях в дороге, свойственных всем неопытным путешественникам там, где все чересчур приспособлено к путешествиям и где только нужно уметь приказывать. Поверх улыбки, из-под рыжеватых выпуклых усов, скользил дым его неиссякаемой папиросы. Дым этот очень уснащал его лицо, делая его как бы парусным, ходким, словно некий старинный фрегат в бурю и в гром.

На фрегате сегодня праздник. Отдыхают постоянно работающие глаза, лазурь которых не выцвела, несмотря на старость. Он смотрит беззаботно, почти блаженно. Безмятежен и бездумен лоб. И эта жажда отдыха так велика, что забываешь утомительную дорогу, рожи итальянских полицейских, окаменевших от сонной и чадной злобы, офицеров, одетых так пестро, что наружу вываливаются все их несбыточные безумные завоевательные мечты.

Горький спрашивает, где и как мы устроились. Устроились мы в отеле, через улицу, там останавливаются все приезжающие к Горькому; он спрашивает, какую комнату мы заняли, уговорились ли с хозяйкой, чтоб нам по утрам подавали кофе. Расспрашивает чутко, как всегда, с чудесной заботливостью, вплоть до того, что

не рекомендует покупать в Сорренто писчей бумаги, а заказывать ее в Неаполе. Вглядывается в лица и, заметив, что усталость наша прошла, ведет показывать дом, где он живет.

Дом двухэтажный, каменный, о восьми или десяти комнатах, снаружи и внутри весьма скромен. Украшает этот дом Соррентийский залив — яркий, ясный, чарующий даже ночью. Хорош и сад, спускающийся от дома по склону горы к морю. Ночью с балкона этот сад кажется очень большим, он полон чутко-пугливой тишины; редкие деревья как-то сладко серебряны. Днем выпал снег, к вечеру он стаял, и из сада неотвязно несет чудесным запахом земли и созревших апельсинов; их золотые шары так и мерещатся в неподвижной листве, не то уцелевшей, не то никогда здесь не опадающей.

Дом арендовывается у некоего дюка Серра-Каприола, который вместе с тремя своими сыновьями живет в Неаполе. Старик Серра-Каприола не совсем в полном уме. Он недоволен современностью. Ну, тут нет ничего особенного: многие старики, даже самые, казалось бы, умные, бывают недовольны современностью. Серра-Каприола недоволен по-особому. Он жаловался Горькому, что жители Сорренто относятся к своему господину с меньшей почтительностью, чем к его предкам или чем раньше они относились к нему самому, когда он был молод. А когда он был молод и посещал Сорренто, делегация жителей дарила ему всегда головку сыра. Это был его любимый сыр. Его делали из женского молока.

Старик Серра-Каприола — щеголь. У него несколько шкафов костюмов. Больше одного раза в месяц он костюма не надевает. А когда он, тоскуя о любимом своем сыре, едет за чем-нибудь в Сорренто, он везет с собой несколько огромных чемоданов с одеждой, даже если едет сюда на час. Сыновьями он недоволен. Они ссорятся. Один — роялист, сочувствует королю; другой — фашист, а третий, самый младший, одобряет действия советских русских. Вот тут и разберись! Иногда в тоске, оставшись один, старик Серра-Каприола, разбежавшись по залу, подпрыгивает, хватается за люстру, которая подвешена низко, и, подобрав ноги, весело качается с нею, как маятник.

— Итальянцы вообще народ забавный. Нежно болтливы, пленительны, певучи, но жить здесь теперь из-за фашистов час от часу становится тяжелей. Прошусь на родину, сударь мой, прошусь. Тосклив здесь и тяжел для меня климат Италии.

И он опять возвращается к дюку Серра-Каприола, долепливает портрет его. Как-то, почувствовав себя дурно, дюк подписал завещание. Он распределил его по частям: кому что. А нужно сказать, что давно предок нынешнего дюка был послом

неаполитанского короля в Петербурге. Этот Серра-Каприола был любителем искусств и даже сам гравировал. Женился сей посланник на русской, на княжне Волконской. С княжной состоял в переписке А. С. Пушкин, и в семейном архиве Серра-Каприола сохранились письма Пушкина. И нужно случиться так, что письма А. С. Пушкина по завещанию должны перейти к тому сыну, который фашист. В те дни как раз Алексей Максимович вел переговоры со стариком, чтоб тот, за хорошие деньги, уступил письма Пушкина русским. Когда фашист узнал, что старик Серра-Каприола хотел продать русским письма Пушкина, он в ярости взвалил вообще весь семейный архив на тачку и повез топить в море. Чем русским, лучше — в море! Еле отбили. И с того дня письма исчезли. Спрятал, наверное. Подставных людей даже подсылали, — не желает и говорить, мерзавец!..

— Конечно, частность. Конечно, три-четыре пропавших письма Пушкина — горе, но с ним можно помириться. Беда в другом. Пропавшие, уничтоженные в дикой злобе письма Пушкина — знак общего культурного обеднения Италии. Развивается паразитизм, шпионство, подлость, бездельничество.

Алексей Максимович ведет нас в первый этаж дома, где в большой комнате устроена мастерская для художников. Живописью немного занимаются сын его Макс, невестка Надежда Алексеевна и художник И. Ракитский, друг Горького, постоянно живущий в его доме, мечтатель; несколько лет назад он совершил путешествие на корабле вокруг света и до сих пор не может опомниться от виденных чудес: глаза у него тяжелые, чадные, словно умчавшиеся куда-то. А кроме них, в доме сейчас гостит художник В. Яковлев, приехавший из России. Горький им восхищен, и, мне кажется, не столько искусством художника, сколько изумительным его трудолюбием. Очарованный быстротою кисти, настойчивостью, человек ночей не спит, а все пишет. Горький требует, чтоб показали нам все этюды, и художник послушно их показывает.

— Русь часто понимала свободу как свободу от труда. Но теперь, через большевиков, она поняла, что такое свободный труд. Прогресс поразительный. Чудеса творятся на Руси благодаря этому прогрессу.

На лице его можно прочесть, что такое жизнь, как не стремление к счастью и не борьба за него, а значит, и борьба за прогресс! Прогресс — это указка пути к счастью, пути ближайшего, самого удобного, самого доступного пути. Указка эта дана нами, русскими, дана большевиками, и это приятно сознавать, и приятно смотреть на наш труд, и приятно праздновать новый, 1933 год, хотя на Западе и повисли темные

тучи.

И он говорит:

— Но самый опасный и трудный барьер для прогресса — самодовольство, самонадеянность, ограниченность!

Выходим из мастерской. Снаружи, под аркой, возле своей будки, лежал лохматый и старый пес. Алексей Максимович, сбросив пепел, указал папироской на пса:

— Прошу обратить также ваше внимание на остатки итальянской степенности, запечатленной в этом псе. Италия запугана и загнана шпионами, степенность потеряна, и будет чрезвычайно жаль, когда эта собака сдохнет.

Он стоял у входа в дом. Фонарь освещал листья агавы, тяжелые, темно-синие железные ворота вблизи и итальянца в длинном пальто, который, зыбко-тягуче волоча ноги, прошел, оглянувшись на нас, мимо ворот.

Горький продолжал:

— А когда я бродил по нашим степям, там однажды волкодавы губернатора съели. Вместе с эполетами. Не верите? В том-то и дело, что именно с эполетами. Этого, видите ли, казакам так хотелось, потому что ничего более позорного для своего губернатора они придумать не могли. А украинец, он каждый — казак, и на выдумку, как и каждый казак, богат.

Мимо ворот прошел опять итальянец в длинном пальто и опять оглянулся. Горький закурил, кашлянул и, входя в дом, сказал:

— Меня всю жизнь сопровождает такое количество шпионов, что я к ним привык и даже иногда подкармливаю их. Дрожит на морозе, надо, думаю, обогреть, а то и нужного для тебя человека не пропустит. А я сегодня певцов жду. Макс, пропустит он певцов?

— Я его уже подкормил, — сказал Макс. — Пропустит.

Праздник и будни

Он был очень хорош в тот новогодний вечер: по-праздничному высокий, прямой, очень веселый. Ему было всегда отрадно смотреть на мир, но в тот вечер, быть может, мир казался ему еще более чарующим и обольстительным, чем всегда. На тот вечер он забыл, что над миром повисла угроза чудовищной войны, ворота в царство которой откроет в этот год Германия. Уже на улицах Берлина день и ночь торчат хари в хаки, в походных сапогах, гремя металлическими кружками, словно кандалами. Они собирают деньги на нацистов, на Гитлера, на войну, на убийства.

И щурился он как-то по-особому, по-эпически-олимпийскому. Повторяю, он очень любил и понимал праздники, и, когда встречал праздники или празднично умного человека, он весь внутренне поднимался на какую-то волну и так катился по миру, блестя пеною шумливых речей, воркующе глухим смехом и насквозь просвечивающими вас беспредельно синими глазами.

С громадным нетерпением ждал он прихода певцов и музыкантов, которые ходят по Сорренто накануне Нового года, как у нас в деревне ходят на рождество «славильщики», только поют здесь не церковное, а светское, да одеты певцы по-маскарадному, хотя и без масок.

Наконец, певцы пришли. Ввалились они в мастерскую с пляской, бледные, со жгучими глазами от волнения. Оказалось, что перед тем как попасть сюда, они подрались с какой-то другой группой певцов, которая тоже хотела попасть к Горькому первой. Был особенно примечателен один, с влажно-палевым лбом, серьезными движениями, с бубном и веткой лимона вместе с плодом в петлице. Пел он и бил в бубен свободно, ликующе-воодушевленно. Художники нацелились его рисовать. Особенно их удивило, что певец — сапожник.

— Ничего поразительного нет в том, что он сапожник, — сказал Горький. — У нас на Руси много хороших певцов из сапожников. Не острите, пожалуйста, что поют-де, как сапожники, а сапоги шьют, как певцы. Посмотрите лучше вот на этого, поменьше. Он трубочист. Недавно у нас трубы чистил, отличный мастер.

Песня окончилась. Запевала-сапожник, с лимоном в петлице пиджака, подошел с бокалом к Горькому.

— За песню, — сказал запевала, чокаясь.

Горький ответил растроганно:

— Пусть поет весь мир. Большое вам, синьор певец, спасибо.

И оба они прослезились, и, когда певец отошел, Горький сказал:

— Муссолини запретил им петь теперь на улицах. Раньше, бывало, Неаполем идешь — весь город поет. Голодный, босый, а поет! А теперь молчит. И вот еще: белье вешать сушить на улице нельзя. Белье, изволите видеть, портит для иностранцев-фашистов пейзаж. Суши и пой у себя в комнате. А комнат-то и нету. Рекомендую посмотреть, в какой тесноте живет итальянская беднота. Не говорю о том, что несколько семей в комнате, в конце концов это бывает, но ведь комнаты-то без окон.

Он указал на Макса:

— Вот попросите его, он покажет, как это бывают комнаты без окон. Да еще вдобавок тут же жаровня. Но итальянцы — народ в основном веселый; фашизм пройдет — запоют еще по-настоящему. Им бы только ухватиться за настоящее, а то они могут бог знает за что ухватиться…

Он рассмеялся:

— Как-то стою на балконе отеля «Континенталь» в Неаполе. Неподалеку, в соседнем отеле, должен жить приехавший в Неаполь король. Корабль королевский уже на рейде, и возле гостиницы — почетный караул. Рослые, в перьях, расцвеченные, не шелохнутся. Подплывает катер с королем. Король ступает на землю. А нужно добавить, что у неаполитанцев примета: если король вступает на неаполитанскую землю, надо схватиться — для отвращения несчастья — за ту часть тела, которая целиком названа у нас печатно только в словаре Даля, третье издание, под редакцией Бодуэна де Куртенэ. Король вступил. Почетный караул вытянул ружья в руках. Но перед тем как отдать честь королю, весь караул, как один, хватил себя рукой за то вышеуказанное место, которое напечатал целиком господин де Куртенэ!

Мы расхохотались.

Музыканты пели и танцевали долго — часов до трех ночи. Горький знал много неаполитанских песен и, встретив знакомую, очень радовался. Потихоньку, чтоб не помешать певцам, он как-то боком приближался к ним, нежно их рассматривая.

— А вы много песен знаете? — спросил он вдруг меня.

— Не пою и знаю мало.

Он даже отшатнулся:

— Это у вас убеждение или случайно?

— Скорее случайно. Семья наша была непевучая, приятели тоже мало пели, разве что по пьяному делу.

Он перебил меня:

— Это случайно. Писатель не может не петь, не знать песен. Писать — это не только размышлять, но и петь. А стихи вы

писали?

Я сказал, что писал, и очень плохие, и, к счастью для человечества, очень мало.

Он сказал не то шутя, не то серьезно:

— А я пишу стихи каждый день.

Словно опасаясь, что мы будем просить его читать стихи, он сказал, глядя на певца-трубочиста с чуть раскосыми, не по-итальянски, глазами:

— А вы в Париже восточный музей видели? Китайский отдел?

И точно это было вчера — видел он этот музей лет двадцать назад (удивительнейшая у него была память!), — он стал рассказывать, да еще как, точно переходил с нами от витрины к витрине. Он вспомнил Париж вообще, парижское освещение, тот серо-голубой свет, меланхолический, свойственный Парижу, вспомнил сторожа с мохнатой, как купальная простыня, бородкой, который, приняв Горького за анархиста, сопровождал его настойчиво из зала в зал.

Горький в этом рассказе шагал по векам китайской культуры легко, как по клеткам паркета. Времени для его памяти не существовало, и, должно быть, это ему было приятно сознавать. Но ярче и теплей всего он говорил о талантах:

— Китай — страна талантливая, но на европейскую культуру оказал он слабое влияние. Это потому, что талант все-таки там был сжат, сдавлен. Талант нужно лелеять.

И он стал рассказывать о талантливых людях прежней России, которых исковеркало, изломало, испортило лишь потому, что талант их не был взлелеян.

От прошлого он перешел к настоящему. Он потребовал, чтоб нам налили вина, чокнулся, и сказал:

— Россия всегда была родиной талантов, а теперь в силу новых сложившихся, и весьма благоприятно, для талантов условий оная Русь превратилась прямо в некий воспитательный дом талантов. Таланты взлелеивают, и я очень рад этому. Я убежден, что мы окажем на европейскую культуру огромнейшее, неслыханное влияние, и весьма в непродолжительном времени, что бы там фашисты ни делали! Окажем! И среди вот этих песен, которые нынче эти молодые люди нам пели, будут попадаться и наши. А песня с трудом путешествует. Роману или пьесе легче. Песня — домоседка. Много ли у нас в России чужих песен поют? Разве — Марсельезу. А наших во всем мире поголовно будут петь, — скажем, пять!

И он счастливо рассмеялся. Глаза его ровно и кристально сверкали. Он немного поднял руки, чтобы отлила прилившая кровь.

— Вы заметили, в России даже ландшафт стал уже иной? Плывешь по Волге и другие берега видишь?

Он повторил каким-то пылающим голосом:

— Другие! Нет межей, чересполосицы, заплат. Идет пшеница сплошь, на сотни километров пшеница, и принадлежит она не какому-то кулачку Сидор Петровичу, а всему русскому народу. Это и монументально и достойно нашего человека. Стоит он где-нибудь на косогоре, а плечи — косая сажень. Весьма монументально и весьма поучительно.

Праздник прошел, и не совру, что на другой день, а в крайнем случае на третий день Горький сказал мне:

— Вам нужно здесь поработать. Вы не обращайте внимания на то, что я говорил: итальянцы разучиваются работать. Во-первых, они не разучились, а только их фашисты отучивают, а во-вторых, все равно мы должны им пример подавать.

Работал он непрестанно и радовался, когда другие много работают. Он любил рассказы о хорошей, упорной работе, любил замыслы, любил и сам рассказывать о своих замыслах, а если б, например, вы попросили у него уступить вам один из его замыслов, он бы только погордился и полюбовался на вас.

— Здесь местность знаменитая и работой вся дышит, — продолжал он шутливо. — Здесь трудился Торкватто Тассо, Тургенев описывал Сорренто, а вон там, напротив, на Капри, жил некий Максим Горький со своими учениками и, как теперь о нем репортеры пишут, «псалмы пел и был весьма благочестив». Ханже всегда кажется, что назови другого ханжой, тому будет весьма лестно. Между тем как я до всего — пальцем…

Он рассмеялся:

— Подобно Новикову-Прибою, который живал у меня на Капри, Алексей Силыч подойдет к любому предмету, будь то диван, торт или рояль, — пальцем. Он хотел пощупать этот мир. — Алексей Максимович показал, как Новиков-Прибой дотрагивается до предметов, и продолжал: — Затем вынимает рукопись, и Иван Алексеевич Бунин, умница, талант, поднимает, однако, брови и все удивляется: как это матрос осмеливается рассказы писать, когда он в торт — пальцем!..

Он наклонился ко мне. Иссиня-голубые глаза его участливо играли:

— Вы о чем собираетесь здесь писать?

Я смотрел на него и думал: чем выше восходит человек к вершине своего умственного и духовного совершенства, чем шире развивает он свой разум и свои умственные горизонты, тем ясней он видит всю необъятность внешнего мира и трудную достижимость своей последней цели — абсолютного знания,

общей и единой безусловной истины. И тогда иной падает духом. Иной задумывается. Иной начинает с того дня видеть столько, сколько видит, не рискуя даже и думать отныне о строгой, требующей подвига жизни истине. Другой смущается, боясь натолкнуться на такое, что уведет его в сторону и о чем не имел понятия прежде. И только настоящий боец видит истину такой, какая она есть. Светит истиной человек, поднявшийся на вершину знаний!

И не Европа ошеломила меня и заставила молчать! В конце концов, что мне эта бесстрастная и бездонная опрятность отелей, это адское безразличие улицы к вашему существованию? Я смотрел на Алексея Максимовича со скрытым восхищением. И опять, как много лет назад, когда в типографии Кочешева я получил от него письмо, мне хотелось написать для него, а значит, и для всех, кто воплощает в себе настоящего человека-борца, написать огромное, нестерпимо жгучее, широкое и страстное. Все это едва ли можно здесь задумать, и писать вряд ли удастся… И хотя мне не хотелось огорчать его, все же я сказал, что писать подожду.

— Может быть, вам свое почитать, новое? Вам понравится или не понравится, — вы что-то сделаете. Написал я продолжение «Егора Булычова»: «Достигаев и другие». Хотите, прочту? А потом, когда вы напишете, прочтете. Вы меня будете бранить, а я вас. Сорренто и наполнится российским гулом!

Читал он, в особенности когда было мало слушателей, так, что леденящий, сухой трепет восторга наполнял все суставы. Он мало выделял интонациями отдельных персонажей, чуть менял голос, но в его медленном чтении, понурой голове с косматыми усами, в каждой фразе, которую он как бы подавал вам руками, во всем этом громадном движении мыслей, которые величаво лились на вас с этих страниц, чувствовалось орлиное паренье, чувствовался непокорный и кипящий подъем все вверх и вверх. Вы не успели оглянуться, как уже — на вершине, и сердце ваше при виде всей этой необъятной необозримости замирает, и вас охватывает такая чудесная зависть, такое бурное и бунтующее чувство счастья, что жизнь кажется молнией…

Окончив чтение, он снял черепаховые очки, посмотрел на нас исподлобья и сказал несколько сконфуженно:

— Что же молчите? Давайте браниться.

Ему не понравилось наше, наверное, плохо скрытое восхищение.

— Объясните.

Я объяснил, что сразу трудно разобраться в пьесе при таком отличном чтении. Он недовольно сказал:

— Вы искренне в этом убеждены?

И мы расхохотались. Напряженность прошла. Беседа потекла легко. Говорили об общем плане пьесы, о частностях, о недоговоренном, о постоянной досаде писателя на свою творческую беспомощность. И он вспомнил, что один критик, говоря о Сикстинской мадонне, сказал, что Рафаэль посадил на туловище младенца голову Зевса, — и не в таком ли положении находится писатель? Голова работает, как у Зевса, а начнет писать, — руки младенческие, всего выразить не могут.

— Всего — нет. Но много выражают. И на том громадное спасибо.

Он мечтательно сказал:

— Да, когда я читаю Толстого или Чехова, какое огромное спасибо я говорю им. И мне кажется, что эти творцы умели выражать все. Разве можно написать «Хаджи-Мурат» лучше?

— Нам кажется — нет. Толстому казалось — можно.

Он улыбнулся:

— Пойду перед сном почитаю. Хорошо пишут на Руси!

И он ушел работать.

Однажды утром, после завтрака, он вздумал прочесть письмо молодого человека из России. Письмо было хорошее, умное, очень приветливое, с несколькими золотыми деталями, которые так любят писатели. Горький своим глухим и гулким голосом повторял эти детали. Пишет человек, который и не думает быть писателем. Какие великолепные письма, какая чудесная молодежь выросла у нас! И он стал рассказывать о молодых ученых, о их работе, принес их книги, письма. Ему хотелось развернуть перед нами пышную и светозарную жизнь советского ученого, и мысли у него текли стройно, торжествующе.

Мы знали, что ему самому надо идти работать, что каждая минута его драгоценна, но нам так не хотелось прерывать его, так не хотелось уходить. Прошел час, другой. Мне показалось, что родные его смотрят на меня укоризненно, и я через силу встал.

Он посмотрел в окно:

— Вы что, гулять хотите?

— Вам работать нужно, Алексей Максимович.

— Молодежь отвлекла от работы. Взволновался. И работать уже сегодня не буду. Пойду гулять.

День был солнечный. С крыш падали большие и казалось, горячие капли. Упав на землю, они долго трепетали на ней, и солнце играло в них алмазным и царственным блеском.

Из дома повернули направо. Дорога медленно шла в гору. Мы выходили из пределов Сорренто. С моря дул легкий и нежный ветер, тоже весь лучистый, хрустальный На душе было легко, и

думалось, что, наконец-то, уйдем сейчас далеко в поле и будем долго, долго говорить о том, о чем дома почему-то не говорили.

Горький вдруг остановился, посмотрел вниз по склону, по которому поднимались пухлые агавы, и сказал смеющимся басом:

— Купчих напоминают, которые к обедне идут, где-нибудь в приволжском городе. Приземистые, плотненькие и все в зеленых мантильях. А между тем растение весьма полезное: из сока вино можно добывать, а из листьев нечто вроде пеньки…

Через минуту, вглядевшись в него, мы поняли, что не для того он остановился, чтоб сообщить нам популярные сведения о пользе агавы. Он устал, кашлял, ему трудно было идти, он должен был вернуться. Он отвернулся, шея его покраснела, и мучительно жаль было его.

Он сказал хрипло:

— Вы идите дальше, а я вернусь. — И добавил строго: — Пожалуйста, без разговоров! И без провожатых. Вернусь сам. Да и работать мне надо… я природу работой обманываю. Она смерти-то и говорит: нет, старик еще силен, ты его еще не трогай.

Чтоб не обижать его, не подчеркивать его слабости, мы пошли дальше.

Он медленно уходил от нас, сутулясь, не оглядываясь, опираясь на палку, и казалось, ему зябко и его беспокоит ветер с моря. Но чем ближе к дому, тем шаги его делались увереннее, — работа опять захватила его, и он спешил к письменному столу, за которым забывал все свои недуги, усталость, невзгоды. В воротах он поправил шляпу и вошел в дом прежним широкоплечим и высоким Горьким, который умелым и властным шагом подходит к столу, берет перо и говорит с миром тем огромным голосом, что похож на море, что легким своим ветром только что мешало ему дышать. Теперь ничто не мешало ему, потому что это был Зевс искусства, Зевс справедливости!

Вскоре мы уехали.

Когда мы покинули Сорренто, нам стало скучно, и тоска по родине охватила нас неудержимо. Говоря и утешая себя, что еще побываем здесь, еще увидим музеи и дворцы, мы провели несколько дней во Флоренции, в Риме и, не остановившись в Швейцарии, сразу проехали в Берлин, точно ожидая здесь соприкосновения с тем центром смерча, который крутился теперь по Европе. Так оно и случилось. Берлин был жесткий, злой, напряженный. Комната отеля походила на камеру тюрьмы. На перекрестках улиц фашисты уже не погрохатывали металлическими кружками, а, вооруженные, разъезжали в автомобилях.

Когда мы пришли на вокзал, чтобы сесть в московский поезд,

вокзал был пуст. Мало было пассажиров и в вагонах. Какой-то высокий немец, бледный, размахивая толстым зонтиком, прошел мимо нас. Он посмотрел на нас бешено-веселым взором и сказал прерывистым голосом:

— Горит рейхстаг.

По возвращении домой я написал Алексею Максимовичу «обширное» письмо, судя по его ответу (копий моих писем у меня не сохранилось). По ответу же его можно думать, что писал я глупости: какое-то расширение документального материала по истории литературы специально «для писателя» и какие-то словари тоже «для писателя» по всем вопросам техники, медицины и т. д. Горький совершенно справедливо пишет, что таких словарей издавать не следует:

> «…ибо этакие словари могут усилить „верхоглядство“ писателей наших. Об этом деле надобно хорошо подумать раньше, чем начинать его».

Мысли о фашистском перевороте в Германии, мысли о войне, когда, по словам народной песни, которые как-то он привел: «Постеля мертвым холодна, одеяличко заиндевело», не оставляют и не могут оставить его. И что стоят какие-то там «словари терминов» для писателей перед теми кровавыми событиями, которые развертываются сейчас в Европе и которые особенно отчетливо видны Горькому из Италии. Однако он считает необходимым, прежде чем перейти к событиям в Европе, поговорить об этих «словарях», извиниться, что настроен скептически.

А далее Алексей Максимович пишет:

> «Возможно, что я настроен более скептически, чем следует, это — объясняется некоторой ошеломленностью, вызываемой событиями в Германии и отношением к ним со стороны „культурного слоя Европы“. Человек я вообще — как будто — сдержанный, но дошел до того, что, по ночам, впадаю в бешенство. Останешься один, представишь себе происходящее историческое свинство и, ослепленный ярким цветением человеческой пошлости, подлости, глупости, начинаешь мечтать о том, как хорошо бы разбить вдребезги несколько морд, принадлежащих „творцам“ современной действительности. И — очень неласково начинаешь думать о пролетариях Европы.
>
> Утешают и успокаивают наши газеты. Сегодня прочитал в „Известиях“ передовицу „Слово и дело“, а

также речь Довгалевского в Женеве. Отлично! Очень умело и с крепчайшим достоинством говорит пролетариат Союза Советов. Из Лондона мне сообщают, что там „общественное мнение“ вовсе не „возмущено“ арестами англичан в Москве, а возмущены только сукины дети, „творящие“ мерзость».

Случай с индийскими часами

Удивительно и в то же время понятно, когда великий человек охватывает и знает хорошо все науки его времени и все науки прошлого. Но совсем умилительно и приятно, когда тот же великий человек, вдобавок к своим знаниям, знаком еще и с человеческим скромным рукомеслом, вроде сапожничества или столярного дела. Лев Толстой, Петр Первый или Леонардо да Винчи обаятельны еще и тем, что могли обработать почву, дерево, стачать сапоги или сшить платье.

К таким людям принадлежал и М. Горький. Он вас мог обрадовать такими знаниями и умением, которые, казалось бы, должны быть ужасно далеки от него. Он знал, как выделывается любая домашняя вещь, как обхаживается какой-либо припас. Он знал, например, как нарядить невесту на крестьянской свадьбе, и он мог обмыть и обчистить ребенка и тяжело больного, и многое умел и знал он. Однажды, в 1921 году, чернорабочие передвигали в его квартире тяжелый шкаф из одной комнаты в другую. Двигали неумело, плохо, кряхтели, ругались. Горький смотрел, смотрел, а затем подошел, плюнул на руки, да так повел плечом, что шкаф в одну минуту влетел в нужное место. Рабочие только руками развели.

И вот среди таких «мелочей жизни», свойственных большому уму и бывалому человеку, мелочей, без которых портрет большого человека — только схема, неизбежно идущая к забвению, была в нем и следующая «мелочь». Он был коллекционер. Но коллекционер странный. Он собирал книги, любил их, дорожил ими, но если вам нравилась какая-нибудь из этих, иногда чрезвычайно редких книг, он вам немедленно дарил.

Много лет подряд он собирался перечесть «Тристрам Шэнди» Стерна — книгу, крайне редко встречающуюся на нашем книжном рынке. Однажды мне посчастливилось, я купил книгу и с большим удовольствием принес и подарил ему. Горький любовно перелистал книгу, похвалил, экземпляр действительно попался хороший. Дней же пять спустя, когда я спросил, как ему понравился теперь «Тристрам», он пожал плечами и оказал со смехом:

— А знаете, кому-то она больше моего понравилась. С письменного стола утащили! — И добавил: — Люблю дарить книги, но того больше мне нравится, когда их у меня воруют. Значит, уж слишком велико желание, непреоборимо.

Он долго собирал коллекцию будд. Раз ему сказали, что такую коллекцию грешно держать дома и место ей в музее. Он

немедленно подарил коллекцию в Русский музей в Ленинграде. Картины художников висели у него на стенах недолго. Они уходили тоже в музеи.

Коллекционируя, он ценил не только великих мастеров или крупные вещи. Ему нравились и житейские редкости хорошей, тщательной работы, особенно восточные, и вкус он в таких случаях проявлял удивительный. Разумеется, эти перлы быта уходили от него очень скоро, но он не унывал и продолжал собирать.

Сейчас мне хочется рассказать одну забавную историю одного такого «перла быта», а именно: историю с индийскими часами.

Был у меня в Москве знакомый К-н, некогда, во времена символизма, меценат по части издания книг, а затем не то редактор каких-то художественных изданий, которые никогда не выходили в свет, не то комиссионер по части редкостей антикварных. Человек этот в былые времена «Яра» и «Стрельны» пожил в свое удовольствие, много видел и рассказывал о своей жизни картинно. Иногда он появлялся у меня, принося в продажу какую-нибудь диковину: то фарфорового слона с золотыми глазами, то зрительную трубку с разноцветными стеклами, отчего мир приобретал совершенно странный вид, то рисунок, подписанный каким-нибудь великим именем, о котором доподлинно известно было, что гений этот никогда не занимался живописью. Иногда я покупал у него эти антики, но чаще всего мы, угощаясь вином и чаем, слушали его рассказы о поэтах-символистах, которых он видел много и часто.

Как-то он принес мне часы. Это была старинная толстая луковица, заставлявшая вспоминать цветные широкие пояса пиратов, узорные кафтаны и острова с сокровищами, к которым, к островам то есть, я всегда питал склонность. Я раскрыл ход, увидал великое множество затейливо украшенных резьбой колесиков, винтиков, каких-то цепочек и вообще принадлежностей всяческих, которых хватило бы на целый завод. Я высказал убеждение, что часы мне эти лишни.

Антиквар сказал:

— Часы, конечно, дрянь! Но время сглаживает недостатки. Конечно, часы сейчас выделывают более удобные. Но скажите, какой вам интерес жить удобно? Надо жить интересно. Вот вы поедете за границу, пойдете к хорошему мастеру, он вам выбросит весь этот идиотский старинный ход и вставит современный механизм, сохранив только черепаховую оболочку часов. У вас будет великолепная «луковица», которую вам не раздавят при любой аварии!

Тут антиквар с силой ударил кулаком по часам, прямо в циферблат, прикрытый толстым граненым стеклом. Часы даже и не шелохнулись. Я понял, что часы не только нельзя раздавить, но что ими можно бить во что и как попало. Я купил эти часы за шестьдесят рублей, а когда лет через семь после того собрался ехать за границу, то вспомнил о них и решил поступить так, как советовал антиквар, уже покойный.

Однако оказалось, что в Берлине, Париже и Марселе мне встретились более любопытные занятия, чем бродить по часовщикам, и старинные черепаховые часы смиренно лежали на дне чемодана.

Поселившись в Сорренто и перебирая как-то свои вещи, я столкнулся с черепаховыми часами. За обедом, вспомнив о часах, я спросил у Макса, где мне найти в Неаполе хорошего часовщика, который может переделать мне часы.

— Часы не переделывают, а покупают умеючи, — сказал шутя Алексей Максимович, доставая из кармана свои черные плоские часы. — Вот-с, изволите посмотреть! Куплены едва ли не на первый гонорар за пятнадцать рублей и с того времени идут без починки. А какие это часы вы вздумали, дорогой мой, переделывать?

Я объяснил. Глаза у Алексея Максимовича загорелись. Любил он диковинки!

Вечером я принес часы. Алексей Максимович умелым движением, с ловкостью часовщика, приподняв бровь, словно вставляя под нее лупу, открыл крышку, всмотрелся и перевел на меня изумленный взгляд:

— Да вы, дорогой мой, видали ход?

— Видел.

— И что же?

— Вот этот самый ход-то и надо мне переменить.

— Потрудитесь еще раз взглянуть!

Я посмотрел и ничего, кроме множества колесиков и винтиков, не увидал. Пришлось попросить пояснения. Алексей Максимович повернул механизм часов к свету, чтобы я видел его с самой выгодной стороны, и сказал:

— Механизм здесь, дорогой мой, имеет двойное значение. Одновременно он и механизм и приложение к нему руки истинного художника. Это, так сказать, работа индийского Левши, какого-то неизвестного нам Леонардо да Винчи! Право, так! На каждом винтике — виньетка почти! Какие узоры! К таким часам человек должен относиться как к древней рукописи с раскрашенными заглавными буквами. А вы хотите выбросить этот драгоценный ход! Варвар вы, дорогой мой, варвар и сибиряк. Вам

с рогатиной на медведя ходить, а не редкости собирать!

Улыбаясь, он положил часы на стол и задумался.

И видно было, что он думает о судьбе этих часов, ищет их творца и дорогу, по которой они пришли в Россию. Кто сделал их? Где родились они? Хрустальное это стекло отражало ли воды Индийского океана, леса Мадагаскара и Цейлона, или сделано было где-нибудь в Кашмире и Пенджабе, где куют чудесное орнаментированное оружие? А затем? Кто: путешественник, купец, посланник или шпион — повез их в Россию, подарил или продал какому-нибудь петербургскому придворному, а оттуда попали они в Москву и, наконец, очутились на барахолке возле Сухаревой башни, где и купил их знакомый мой антиквар!

Такие мысли были близки и приятны мне. В те дни я обдумывал книгу, которая позже приняла название «Похождения факира». Я вспомнил юность, казахские степи, приуральские леса, сибирские городки, жизнь грубую, тяжелую, но в то же время отличающуюся сложностью и запутанностью драматических положений, из которых хотелось вырваться хоть к черту на рога! Хотелось свободы. Так натолкнулся я на Индию, на индийских факиров, которые, как думалось юноше, обладают неслыханной духовной свободой и волей. Вот я и устремился в Индию, вот и захотел быть факиром… И здесь, в Сорренто, опять, как в юности, мерещились мне жемчужно-иглистые, искрометные, глазастые Синд, Раджпутана, центральная Индия, Декан, желтогрудые рельефные фигуры богов, охоты на тигров и слонов в зыбко-тенистых и плакучих джунглях.

Горький опять взял часы.

А мне виделся Индийский океан, по которому не так давно плавал художник Ракитский, друг Горького, сидящий сейчас рядом за столом, большой знаток редкостей и сам большая редкость. Он тоже признал часы индийскими и в очертаниях орнамента нашел даже фигуру шестирукого Сивы, похожего на рельеф из Эллори… Тихо колышется парусник. Море недвижно и стократно синее того залива, который мы сейчас видим в окно и над которым возвышается сердитый, как индюк, Везувий. Вокруг вода, будущее бесконечное, сияющее. Когда-то подует ветер! Когда-то придем ко двору Великого Могола. И капитан корабля вынимал часы из-за шелкового пояса, смотрел на небо. Как тяжело на сердце в этот жаркий струистый штиль с повисшими, точно космы, парусами. Как тяжело, как душисто!

Алексей Максимович сказал, глядя на винтики:

— Сколько уменья, ума, искусства! Ведь из каждого винтика можно сейчас сделать брошку, и любая красавица будет носить ее с удовольствием. Не правда ли? Я вам, Всеволод Вячеславович,

так и советую поступить… если, разумеется, вы вздумаете выбрасывать механизм.

— После того, как я узнал, что он индийский, я и не подумаю его выбросить.

Глаза у Горького сверкнули:

— А брошки были б великолепные! А вот этот винтик на кольцо? Право, закажите брошки! Макс вам укажет превосходного ювелира! Итальянцы — отличные ювелиры.

— Нет, уж лучше я не буду портить.

И он мне вернул часы, как мне показалось, с легким сожалением.

Когда мы пришли в отель, жена с упреком сказала мне, что хотя я и рожден на Востоке, но самых элементарных обычаев вежливости Востока не знаю. Если на Востоке хвалят какую-либо вещь, вы должны немедля подарить ее человеку, который ее похвалил и которому она понравилась.

— Ну, почему ты не подарил эти часы? Зачем они тебе нужны?

— Вообще-то они мне, конечно, не нужны. Но я задумал книгу. Там будет нечто об Индии. И вдруг единственная вещь индийская, старинная у меня на руках, а я хотел выбросить из нее механизм. Естественно, что я вцепился в нее, и мне не хотелось отпускать. Поэтому не пришло в голову и подарить.

— Ну, а сейчас?

— Сейчас я одумался. Подарю. Еще неизвестно, напишу ли я задуманную книгу. Только примет ли Алексей Максимович теперь мой подарок.

— Не примет, если скажешь, что предполагаешь что-то об Индии. Собственно, зачем тебе писать об Индии?

На другой день к обеду я принес часы и положил их на стол, под салфетку Алексея Максимовича. Когда он сел и развернул салфетку, он увидал часы. Он не хотел их принимать, но я уверил его, что действительно выкину механизм и вставлю современный, а брошек для дам из механизма делать не буду, — возможно, дамы от Алексея Максимовича и примут такие брошки, но от меня они предпочтут получить современной парижской выделки.

Алексей Максимович, глядя на мою жену, вдруг сказал:

— Это вы его надоумили. — И он, смеясь, добавил: Если дама дарит, отказываться неприлично. Но тогда, Тамара Владимировна, разрешите вас отдарить.

И он вынес из кабинета великолепную старинную китайскую вазу из розового нефрита:

— Приобрел на гонорар от первого собрания сочинений. Следовательно, отказываться вам нельзя, как от книги с

автографом. Кроме того, получите от меня брошку: из механизма этих часов.

* * *

Едем домой.

В Риме на улице Лоренцо, когда мы, усталые, возвращались из Сан-Мария Маджиори, я остановился закурить возле большого часового магазина, принадлежащего, насколько помнится, некоему Пинчиана. На вывеске было написано, что фирма существует с XVI столетия. Тут я вспомнил, что одна из наших родственниц просила, если будет возможность, приобрести ей часики.

Иду вдоль прилавка. Магазин весь наполнен стуком часов, точно где-то поблизости шумит крупный дождь. Чувствую близость того несчастного времени, когда не знаешь, что выбрать, чем угодить. Оглядываюсь беспомощно и вдруг в конце комнаты на отдельном столике, и в хрустальном ящичке, в нише, вижу мои черепаховые индийские часы. Что за наваждение! Поспешно иду к столику. Они.

Сажусь. Разглядываю. Они.

Поспешно подходит сам владелец магазина, синьор Пинчиана, гладкий, точно блинами выкормленный. Спрашиваю: «Откуда у вас такие часы?» Итальянец говорит:

— Мой прадед торговал с Индией. Там он и приобрел часы. С того момента он пристрастился к часам вообще и основал эту фирму. Мы держим эти часы и как залог благосостояния нашей фирмы и, разумеется, как драгоценность.

«А, итальянское суеверие», — подумал я.

— Драгоценны, как память.

Итальянец, улавливая мою мысль, сказал:

— Нет, и как работа драгоценны.

Итальянец принес какой-то антикварный каталог, где была напечатана фотография часов, и сказал:

— Часы оцениваются от десяти до пятнадцати тысяч долларов. Это единственные по редкости часы в мире.

— Ну, положим, не единственные, — сказал я, вглядываясь в часы: оправа их как бы ссохлась, потрескалась, а хрусталь чуть треснул сбоку. Это был второй экземпляр — и мой, несомненно, лучше. — Есть еще экземпляр. И вашему экземпляру далеко до того.

— Мне крайне интересно знать, у кого имеется второй экземпляр. Нельзя ли посмотреть? Если нельзя, то не скажете ли

вы этому человеку, что часы — ужасающая редкость и что их надо беречь.

— Хорошо, я скажу.

И мы расстались.

Хотя я был очень рад и горд, что подарил замечательную вещь Алексею Максимовичу, а он угадал ее художественную ценность, меня смущало, что Алексей Максимович возьмет да вынет механизм, превратит его в брошки и раздарит. И останется тогда толстый итальянец Пинчиана единственным владетелем редкостных часов. Написать Алексею Максимовичу откровенно обо всем. Но Рим рядом! Поедет туда Макс, и вместе с историей часов узнает от синьора Пинчиана их цену. Допустим, что синьор Пинчиана хвастается и часы стоят не десять тысяч долларов. Но и тогда получается неудобно… Словом, как я ни крутился, как я ни пробовал найти какой-нибудь брод через бурные и затруднительные обстоятельства, ничего я не нашел, и пришлось мне махнуть рукой и плыть по течению реки времени.

Забыл я про индийские часы. Раза два вспомнил, когда стали бранить «Похождения факира» — за формализм, да однажды, когда получил трогательное по наивности письмо от какого-то студента, который спрашивал меня, зачем я стремился в Индию, когда это в культурном отношении отсталая колониальная страна.

— Где-то теперь эти индийские часы? — сказал я жене.

— Какие часы? Не помню, — ответила жена.

Прошло лет двенадцать. На Малой Никитской, в квартире Алексея Максимовича, вспоминая его, вспомнили мы и о Сорренто и нашем гощении там. Вспомнил я и про индийские часы и, смеясь, рассказывал о них. Один из близких к Алексею Максимовичу сказал, что, сколько он знает, среди вещей Алексея Максимовича таких часов нет. А что касается синьора Пинчиана, то магазин его известен в Риме, и не столько часами, сколько вздорной болтовней самого синьора. Дела у него в те годы шли плохо, и если б часы действительно стоили так много, он не замедлил бы продать их путешественникам-американцам, которые как раз в эти годы скупали в Италии всяческие редкости.

— Нету! Значит, обратил механизм в брошки и раздарил, — сказал я.

— И брошек таких он никому не дарил!

Прошло еще несколько месяцев. Мы опять увиделись, опять вспомнили Италию, крепкие февральские вечери, иней на апельсиновых деревьях, прикрытых от мороза рогожами, темный, словно бы мохнатый, ночью, как овчина, залив, вечера, шутки, игру в «подкидного дурака», чтение, возвращение из дома в отель

по узкой улице, желание Алексея Максимовича каждый раз проводить нас; вспоминали сад, рыбную ловлю, художников, делавших этюды, покойного фантаста Ракитского, вспомнили и дюка Серра-Каприола, и пропавшие письма Пушкина…

— А знаете, — сказал вдруг близкий. — Вы как-то, Всеволод Вячеславович, рассказывали нам об индийских часах. Они нашлись! Они лежали в спальне Алексея Максимовича, в тумбочке, возле кровати, и целехоньки. Никакого механизма он из них не вынимал. Хотите взглянуть?

И вот я увидел эти часы! Светлокоричневая, украшенная серебряными точками старенькая «луковица» лежала у меня в руке. Боже мой, сколько прошло времени, сколько событий, людей, прекрасных книг! Как мы состарились, как я, вернее, состарился и как эти часы стали другими. И не колышется уже Индийский океан, и уже не мерещится Синд, Раджпутана, Декан, желтогрудые фигуры богов, охота на тигров, и уже давно отложены в сторону «Похождения факира», и забыт наивный павлодарский мальчик, стремившийся в далекую Индию… Да и мне ли написано это письмо, и над ним ли плакал я…

> «Дорогой и замечательный „Сиволод“ -
>
> „Похождения факира“ прочитал жадно, точно ласкал любимую после долгой разлуки. Вот — не преувеличиваю! Какая прекрасная, глубокая искренность горит и звучит на каждой странице, и какая душевная бодрость, ясность. Именно так и должен наш писатель беседовать с читателем, и вот именно такие беседы о воспитательном значении „трудной жизни“, такое умение рассказать о ней, усмехаясь победительно, — нужно и высоко ценно для людей нашей страны.
>
> Обнимаю, крепко жму руку, милый мой товарищ!
>
> *А. Пешков*
>
> P. S. Кое-где слова надобно переставить, и есть неясные фразы. *А. П.»*

* * *

…Я держал в руках часы и думал. Неужели это они? Выцветшие, с тусклым стеклом! И я раскрыл их.

И вдруг сверкнул, струясь, бронзовый механизм, украшенный узорами. Лучи света упали на него, и все заиграло!

И вспомнились голубые глаза Горького, сверкнувшие, когда

он увидал этот механизм, эту старинную замечательную работу далеких людей.

Сверкнули глаза его! Сердце сжалось. И волны счастья охватили меня сейчас такие, как и тогда, когда я видел его. Да, много времени, событий, книг миновало и прошло мимо меня. Но какое счастье, какая радость, что среди этих событий, людей, дней мне удалось видеть его, чьи глаза и ум сверкают над нами и поныне сквозь все события, людей, сквозь все дни, освещая их своим творческим светом!..

«Что такое речь вообще?»

Горький обладал своеобразным даром юмора. Я говорю не о его книгах, а о мягком и простодушном юморе, который вдруг загорался в его словах при разговоре с вами. Обращался он с вами, как всегда, несколько насупившись, но именно в такие минуты можно было полностью понять счастье и веселье, наполнявшее Алексея Максимовича. В глазах его блистала безмятежная ласковость, собой он был тогда красив и величав; вы чувствовали все могучее обаяние настоящего художника слова.

1929 год. Горький вернулся из большой поездки по стране нашей. Вы видите: он опьянен просторами распаханных и засеянных полей, огромным размахом работ в совхозе «Гигант», большими новыми заводами, а особенно — новыми, необыкновенными людьми, множеством энергичных, смелых людей. Он весь погружен в острое чувство любви к родине, он весь в ее счастье, в се работе; грудь его жадно дышит этим счастьем, этим душистым и чистым воздухом родной страны…

Идет какое-то заседание у него в кабинете. Писатели среди других вопросов рассуждают о чьем-то юбилее. Заговорили о речах, которые надо произнести, и вдруг кто-то спросил: «Устно или письменно говорить речь?», и другой, воспользовавшись случаем, решив обобщить вопрос и получить теоретические указания от Горького, сказал: «И вообще, что же такое речь?»

Горький, бесшумно барабаня пальцами по столу, прокашлялся, глухие звуки его кашля постепенно затихали, переходя в какое-то мурлыканье, и он с веселой усмешкой сказал:

— Ну, право, невозможно… Честное слово, невозможно…

И, обращаясь к литератору, что, дескать, невозможно удержаться от рассказа, а не от слушания его вздорных вопросов, сказал:

— Я, видите ли, недавно удостоился слышать такую речь, после которой вполне понял искусство оратора и смысл речи вообще.

И тут он описал нам одну небольшую картинку, полную отличного пафоса нашей жизни, а вместе с тем не лишенную и юмора. Я не мог тогда записать текстуально рассказ, поэтому попробую передать его своими словами.

Жаркий, душный день где-то под Ростовом. Степь недвижно спит. Только поезд, окруженный облаками пыли, неистово мчится вперед. Встревоженно и растерянно погружаются в облака пыли встречные поля, травы по обеим сторонам насыпи. А поезд, забывшись, захваченный своим движением, неудержимо,

счастливо хохочет.

И вдруг с разбегу он останавливается возле какой-то станции, сбрасывает с себя плащ пыли — и выходит, чистый, сверкающий металлом, полированным деревом, краской. На станции — река народу, и среди этой реки, как серебряные лодочки, трубы оркестра. А над станцией, будто специально умытые для встречи, вытянувшись, руки по швам, стоят опрятные, высокие тополя в серо-зеленых шинелях — почетный караул.

Посредине перрона — наскоро сколоченная из новых сосновых досок трибуна, борта который обиты кумачом. Над трибуной, сладко потягиваясь от свежего воздуха, поднятого поездом, колышется большое знамя. Паровоз, а не вагон, где едет Горький, останавливается возле трибуны. Дело в том, что машинист паровоза и его помощник — люди образованные, поклонники Горького, и они не желают слушать издали речи ораторов. Кроме того, им приятно показать всем свою машину. Паровоз начищен так тщательно, так вымыт и, можно сказать, надушен, так намаслен, что в нем, как в зеркале, отражаются и тополя, и станция, и трибуна, и множество народа, собравшегося, казалось, сюда со всей степи. И над всем этим паровозным зеркалом сияет и блещет счастливое широкое лицо машиниста с черными усами. Красавец, покоритель сердец, умница — соловей…

Горький вместе с местными руководителями поднимается на трибуну. Аплодисменты. И затем — молчание. Один из руководителей обращается к Алексею Максимовичу и говорит волнующимся голосом:

— Сейчас начнем. Марию Васильевну ждем, работницу депо… У-у, большой оратор произойдет из нее. Вот услышите, как она будет вас приветствовать.

Вся толпа напряженно смотрит на депо, откуда бежит накрытая белым платочком высокая молодая женщина. Сразу видно, что это слава и надежда станции, а может быть, и всей окружающей степи с ее шахтами, полями, бахчами. Толпа выжидательно молчит. Марья Васильевна подходит к трибуне, беспокойно замирает, вытирает пот со лба не платком, который зажат в ее руке, а газетой, которая в другой руке ее.

Невидящим взором она взглянула на Горького, затем подошла к краю трибуны и уцепилась за борт ее, как цепляется человек в качку за борт корабля. Круглые руки ее алеют до самых плеч. Она обращает взволнованное лицо к народу. Народ заворочался, переступил с ноги на ногу, видно, что он страдает — как-то выступит его любимый оратор. А любимый оратор, зажав в руке газету, наклонился к народу, преодолев свое временное

бессилие, решительно начинает.

— Дорогие товарищи, собравшиеся со всей степи, шахт и со всей нашей станции! Мы сбираемся сюда, чтобы приветствовать здесь нашего родного гостя… — Видимо подбирая эпитет, не одобрив тот, который раньше выбрала, Марья Васильевна растерялась, забылась и вдруг выпалила: — дорогого гостя, Демьяна Бедного!

Толпа замерла от испуга. Видимо, что волнение и страх за своего оратора наполнили бледностью все лица. Толпа перевела дух, и только из задних рядов чей-то смелый и встревоженный голос прокричал:

— Тот толще!

И толпа подхватила:

— Толще!

— Гораздо толще!

— Куда там! Не-е похож!

Марья Васильевна испуганно обернулась к Горькому, грустно усмехнулась и сказала упавшим голосом:

— Господи, да куда же это я?! — И в младенчески чистых и больших глазах ее показались слезы. Да ведь я ж помнила, о ком говорю, Алексей Максимыч!

Горький сказал:

— Пустяки, Марья Васильевна! Просто, когда вы говорили, вы случайно бросили взгляд на газету. А там фельетон и подпись «Демьян Бедный». Ничего, со мной то же самое бывает, ничего…

Толпа между тем очнулась и как бы поднялась на ноги. Какая-то громадная, неумолимая сила всколыхнула ее. Толпа вплотную уперлась в трибуну. Председатель митинга звонил в колокольчик, который, видимо, держал на запас в кармане. Но толпа, не обращая внимания на председателя, кричала, хлопала:

— Ничего, Марья Васильевна, да мы ж знаем!

— Мы все знаем, хорошо-о!

В аплодисменты, крики, веселье ворвался оркестр, зашевелились трубы, дунули на всю степь марш — и толпа полезла на трибуну целоваться, обниматься, счастливая, веселая, привольная, как эта степь, и горячая, как это солнце. Она говорила вся, не отрывая глаз от лица Горького, говорила о счастье жизни, о воле, о великолепном советском труде…

А затем подошел машинист, и хотя у него график и он знает, куда и когда ехать, но он считает долгом вежливости спросить у Горького:

— Разрешите дальше следовать, Алексей Максимович? — И, закончив тем самым официальную часть, говорит уже от себя: — Теплый, выдающийся митинг был, слушал с удовольствием.

Жалко уезжать, но надо.

Покашляв, закурив и громко дунув, Алексей Максимович говорит:

— А вы — речи! Вступительные, разъясняющие, дорисовывающие! Писаные, устные. У оратора прежде всего должна быть любовь к делу, о котором он говорит. А из любви выйдет вдохновение и — речь. — И, возвращаясь к мысли о Марье Васильевне и случаю на станции где-то возле Ростова, Алексей Максимович добавил: — Уже не только книги наши знают, а даже — кто из нас толще, а кто и тоньше. Очень тонкий народ.

Немного, но сильно о романтизме

С юности мне нравилась патетически-возвышенная литература. Сначала я упивался необыкновенными приключениями, затем меня увлекли книги, где герой испытывает долгие, нестерпимые страдания, но выходит из них еще более крепким, еще более смелым и дерзким. Словом, как я узнал позже, во мне билась сильная романтическая жилка.

Однажды Алексей Максимович, дал мне краткий, но, по-моему, очень внушительный урок настоящего романтического отношения к жизни.

В Тессели, в Крыму, где жил Горький, после обеда Алексей Максимович, все гости его и домочадцы отправлялись на работы. Освобождали от колючего и цепкого кустарника запущенный парк или кололи щебень, дробя скалу. Скала была довольно высокая. Мы взбирались на ее вершину, откалывали ломами и кирками камень, а затем молотками разбивали его в мелкие куски.

Горький, вырывая кустарник или разбивая камни, работал не потому, что нуждался после обеда в так называемом моционе. Для этого ему достаточно было б и прогулки. Он работал потому, что, создавая в своих книгах людей труда, воспевая радость труда, ему после труда умственного хотелось потрудиться и физически. Он с наслаждением колол щебень, ловко и умело опуская молоток.

Иногда, запыхавшись, он, опершись на рукоятку молотка, смотрел со скалы на море, на деревья парка, и снисходительно-шутливая улыбка бродила по его губам, словно он собирался раздробить все эти скалы и расчистить все леса, лежащие направо и налево от него.

И вот раз во время такого перерыва в работе я спросил:

— А, собственно, для чего мы, Алексей Максимович, колем этот щебень?

Он потянулся, распрямляя плечи:

— Вон там, подальше к долине Ласпи, есть ухабистая дорога. Засыплют нашим щебнем. Хороший человек поедет, похвалит: спасибо, скажет, Всеволоду Иванову, что щебня наломал.

Во мне заработала моя романтическая жилки Что — щебень на дороге? Сегодня он лежит, а завтра его унесет осенний поток. То ли дело нечто монументальное, нечто дышащее в века, нечто выбитое из скалы М. Горьким… ну, источник, что ли… или…

И я сказал:

— А, по-моему, Алексей Максимович, скалу нужно колоть не сверху, а снизу.

— Не все ли равно, откуда колоть? Все каменотесы колют сверху.

— А здесь нужно снизу.

— Почему же все-таки?

— Внизу можно нечто монументальное создать.

— Например?

— Пещеру, например.

Горький улыбнулся и затем определил мой романтизм, сказав не много, но сильно:

— Вам, я вижу, скучно. Конечно, можно выбить пещеру, да сидеть в ней, да прохожим язык показывать. Вот, мол, вы идете по ухабистой дороге, а мы сидим в прохладе, лимонад пьем, о вечности думаем. Мы, мол, отшельники.

И, взяв молоток, он снова начал колоть щебень.

«Исполнители преступной воли капиталистов»

Перебираю письма Горького. Каждая строка точно отдаленный, но явственно слышимый плеск волн времени. Вот письмо его из Тессели, написанное 6 октября 1934 года:

> «Превосходная погода здесь: ясные, теплые дни, много солнца. Сижу, пописываю немножко, налаживаю здоровье. Получил письмо от Роллана, он был на заседании Лиги наций в день нашего „утверждения“ в ней, сообщает, что впечатление было сильное. Недавно его сестру ограбил некий юноша, часто бывавший у Роллана, очень симпатичный, по его словам. Грабил он, угрожая револьвером, и произвел — по неопытности — шум. Услыхав по телефону шумок, Роллан побежал на виллу сестры, — она живет рядом. Юноша начал палить в него из револьвера. Затем, на другой день, он зарезал ювелира и — был убит полицией, или сам застрелился в то время, когда его ловили. Роллан пишет об этом кратко и спокойно, а я — встревожен. Швейцарцы усиленно травят старика, всячески мешают ему жить и работать».

… И передо мною встают Горки, парк километрах в сорока от Москвы, широкий белый дом с колоннами. Он стоит на высоком берегу Москвы-реки, стоит так высоко и могуче, над деревьями, домами, церквами и водами, что, когда смотришь вниз и вдаль, от восторга холодеет под сердцем.

В длинной столовой, у скатерти, такой обширной, что она заполнила бы целый вагон, — писатели, критики, художники. А в кожаном кресле — Ромен Роллан, тот, которого Горький называет «Львом Толстым Франции» и «одним из лучших писателей Европы».

Роллан сидит глубоко в кресле. На нем серый костюм, на плечах — темно-серый плед, серые волосы — и весь он какой-то серо-гранитный. Говорит он медленно, тихим голосом, и голос словно выбивается из гранита, как тонкий и холодный ключ. И только когда вы приблизитесь к нему, увидите его светлые глаза, ваше сердце останавливается. Какие ясные, трогательные, радостные, творческие глаза, глаза Жана Кристофа, Кола Брюньона. Точно весенний ветер дунул на вашу душу, и на сердце у вас и немножко печально и очень много хорошего.

Говорили о советской литературе, о войне, которую фашизм готовит в Европе, о кострах книг, которые сжег и сожжет дальше еще фашизм, а затем опять разговор вернулся к советской литературе, надежде мира, утехе мира. Помню, Ромен Роллан сказал, что, по его мнению, в мире произошло самое главное: народы полюбили советскую литературу, привыкли к ней, находя в ней особое очарование, которое волнует и томит душу. В нашем понимании это означало, что передовая культура человечества не может существовать без советской культуры.

Девять часов вечера. Беседа с Ролланом окончена. Ом себя чувствует нездоровым и ложится рано. Поправив на плечах легкий темно-серый плед, поклонившись нам, он медленно уходит. И вместе с ним уходит что-то серо-гранитное, готическое, жизнерадостное и в то же время печальное.

Горький, проводив Роллана, возвращается.

— Старик устал, — говорит Алексей Максимович. — У него, как он чувствует, всеевропейская душа, и ему стыдно за теперешнюю Европу.

И хотя разница в годах между ними невелика, Алексей Максимович прав, называя, хотя и ласково, Роллана стариком: так Горький молод, так силен, так высок, так весел, так счастлив. Глубоко вздохнув и поглядев в окно, словно ему тесно в этой большой и светлой столовой, за этой огромной и белоснежной скатертью, он говорит:

— Ну что ж, давайте веселиться.

Он трогает соседа за рукав, заглядывает ему в глаза, точно прося о песне. А сосед его поет действительно дивно.

Предвкушая песню, Горький закуривает, придвигает к себе вместительную, как чаша, пепельницу. Пока шел разговор с Ромен Ролланом, пока французского писателя спрашивали, Алексей Максимович чертил что-то на бумаге, рвал ее, комкал и бросал в пепельницу. Теперь пепельница полна обрывков. Закурив, Горький бросает непотухшую спичку в пепельницу, и обрывки бумаги вспыхивают.

Коротенькое бумажное пламя напоминает, видимо, ему другие костры, которые зажгли «исполнители преступной воли капиталистов, вожди фашизма»…

Горький останавливается в раздумье, а затем начинает говорить.

Он говорит приблизительно так. Все мы читали, что древние египтяне вносили во время пира мумию, дабы напоминать живым о смерти и о долге живых. Вряд ли предание это достоверно. Древние египтяне, не в пример современным, которые с удовольствием держат у себя на горбу мумию британского льва,

древние обладали большим вкусом. Вряд ли бы они стали во время веселого пира вносить такую гадость, как мумия. Какими вы его благовониями и духами ни обливайте, но труп есть труп. Но как сравнение, хотя и банальное, мумия во время пира — это недурно. Фашизм пытается оживить и пронести среди нас мумию рабства, отвратительную мумию человеконенавистничества…

Быстро повернувшись к певцу взволнованным лицом, Горький сверкнул на него голубыми глазами и сказал:

— А вы все-таки должны петь.

Прослушав две песни, Горький вздохнул, подбородок его дрогнул, и он сказал, вставая:

— А я, извините, пойду немного поработаю.

И он ушел.

В одной из статей его есть замечательное изречение: «Хорошо делать — значит хорошо жить». Мне думается почему-то, что это изречение посетило его именно в тот вечер. Певец боролся с врагами человечества песней. Он хорошо жил. Горький боролся художественным словом. Он хорошо жил. Он будет жить вечно.

В два часа ночи я вышел на нижний балкон, спустился по лестнице и вышел в сад. Широкий и яркий квадрат света освещал мне дорогу. Я поднял глаза. Свет шел из кабинета Горького. Он еще работал.

Адрес мечты

Под Москвой много красивых мест. Но всех красивей мне кажутся Горки, где последние годы своей жизни жил Горький. Едешь холмами, между лесов, и вдруг из-за сосен встает перед тобой высокий белый дом, а за ним широченная луговина, среди которой затерялась Москва-река, и за луговиной темный бор и такое высокое синее небо, что все время хочется думать о чем-то огненно-живом, веселом, добром. И еще думаешь, что хорошее, доброе место для жилья выбрал русский народ для любимого своего писателя.

Дом, повторяю, большой, с большими белыми колоннами, и стоит он на высоком обрывистом берегу, так что кажется, что виден он и с другого конца России. Да так оно и есть. Виден он, и к этому дому едут и идут отовсюду, и целый день там меняются люди, разговоры, хотя мысль у этих людей одна и к этой мысли ведет их Горький: как сделать так, чтоб лучше жилось человеку на земле, чтоб занимал он на ней подходящее к его достоинству место. Разумеется, прокрадывались в этот дом и мерзавцы, фашистские прихвостни, надевшие личину друзей. И им удалось после долгой и тщательной подготовки убить М. Горького. Но умерло тело певца. Мысль его, душа его, песня высокая, заветная осталась вечной, святой, немеркнущей, как немеркнуща и светла слава России, родившей нам Горького.

Перед домом — цветники, где обитает, как говорят, до ста тысяч цветов, целая пленительная армия. Это тоже подарок России своему певцу. Горький очень любит цветы, и, когда ему есть время и он видит, что садовник поливает цветы из шланга, он выходит на террасу и молча смотрит. Благодушная улыбка светится на его лице. Крошечный фокстерьер вертится у ног, просится на руки. И тогда как то особенно нежно голубеет перед тобою небо и на сердце становится заметно теплей.

Пройдешь цветники — и перед тобой деревянная лестница, ступеней в сотню, не меньше. По бокам лестницы кусты, ели, сосны, а внизу — омут, глубокий, замолкший, и волна в нем словно волшебная, угадчивая, московская. Смотришь в этот омут, мечтаешь о далеком речном плавании, о плесах, о рыбных ловлях и свежем, росистом утре, когда поднимаешься еще до восхода солнца.

Внизу, в зале, шло заседание по изданию «Истории крестьянства». Историки вдруг после вступительного слова Горького, со свирепо вытаращенными глазами, горячо бросились навстречу будущей «Истории». Они ревниво толкали друг друга,

подсмеивались и в пылу азарта, казалось, готовы были уничтожить и задуманную «Историю», и этот стол, и все папки, лежащие на столе. Алексей Максимович, любивший споры, смотрел на историков с удовольствием, и по глазам его можно было видеть, что он верит — история получится, раз так горячо взялись.

А затем вдруг спор умолк, точно телега истории свернула на другую, мягкую дорогу. Все выговорились. Горький приподнялся на стуле, чтобы достать какую-то бумажку, и мы внезапно как-то поняли: да вот он, крестьянин, великолепную историю которого мы хотели рассказать получше и поталантливей, вот он, русский мужик, держащий в своих руках культуру и историю не только своего государства, но и культуру всего мира.

Горький любил и знал большую историю, где трудятся над культурой миллионы людей. Но знал он и маленькие истории, где трепетало два-три сердца; и ему нравилось разбавлять этими маленькими историями большую историю. И так как заседание окончилось, но мы не уходили, он опять вспомнил о русской удали, которая в проспектах «Истории крестьянства» занимала какое-то свое место. Он заговорил о русских бунтарях, искателях, от них перебросился к разбойникам, которые, по его мнению, имели в России иной колорит, чем в других странах. Тут кстати он рассказал несколько историй о зря затраченной русской силе, о ловкости, о жестокости, появившейся от тоски и замкнутости жизни. Рассказал он и о трех кузнецах, на которых где-то возле Мурома напала целая шайка разбойников.

— Разбойники были опытные, — сказал Алексей Максимович. — Но кузнецы не растерялись. Встали друг к другу спинами, молота в руки — и пошли молотобойничать. Крепкая битва была. Разбойники все полегли! А о кузнецах песню сочинили. Народ любит петь о ловкости и отваге. Хороша Русь, ловка!

И он повел плечом, как бы вспоминая движением этим всю известную ему народную ловкость и силу. Это было одно мгновение, но все мы почувствовали с восторгом, как еще много сохранилось в этом человеке силы и ловкости, как щедро одарил своего посланца во всечеловеческую культуру русский народ и как это хорошо, что еще много лет он будет трудиться, выдумывать, творить…

А было это, кажись, в 1935 году…

* * *

… Переполненный пышностью и праздничностью мыслей о русском народе, о его гении и о гении Алексея Максимовича, я прошел цветник, спустился с обрыва по лестнице и увидел Москву-реку, ее темно-синий с серебристым покровом омут. У причала недвижно стояли лодки. Захотелось плыть. Я сел в лодку.

Солнце стояло низко, но до вечера было далеко.

Белый дом под веселой зеленой крышей стал уходить влево. Я плыл, греб, плыл, а он уходил из виду медленно, точно нехотя. Да и мне не хотелось расставаться с этим белым домом под жгуче-зеленой крышей.

За поворотом реки я увидал вьющийся над рощей дымок. Что-то ласковое, уютное чувствовалось в этом дымке, чья-то нежная рука, видно, разводила этот костер. Горький любил костры. Мне захотелось подойти к этому костру, повидать людей и, может быть, рассказать о них Горькому.

Вытащив лодку на отмель, я пошел по дорожке через рощу. Деревья склонились надо мной. Пахло обомшелыми пнями, липой, землей, сырой и стесненной здесь.

Вскоре в просвете между деревьями я увидал голубую даль, а над нею светло-желтое вечереющее облако. На опушке как-то особенно зелены были листья деревьев и серьезно лежала коричневая рубчатая земля, покрытая их тенью. В этой тени на старых встрепанных коврах сидело у костра несколько цыган.

Поближе, на тускло-красном ковре, старая цыганки кормила хлебом с рук белую корову. Возле деревьев, нерешительно переминаясь, стояла вторая белая корова, а три желтых и несколько овец осторожно и тихо, точно накатом, приближались к старухе. Скот, повидимому, отстал от колхозного стада, и старуха, когда-то, быть может, тоже пасшая скот, мечтательно забавлялась с ним.

Возле самого костра на лилово-синем ковре сидели молодые мужчина и женщина. Они держались за руки и смотрели в глаза друг другу, смотрели так любовно и пылко, что от зависти морщины пошли по сердцу. Привалит же людям такое счастье. Молодость и любовь так пылали, что, казалось, затмевали огонь костра.

Мне хотелось поговорить с цыганами, и, сказав, что у меня нет спичек, я подсел к огню и стал раскуривать трубку. Старуха, потрепав корову по голове, приблизилась к костру. Она взяла у меня табаку, свернула папироску и только затянулась, как закашляла. Узкие глаза ее от кашля налились кровью.

— Конец! Не могу курить. Последнее лето живу…

— Зачем же последнее? — сказал я. — Надо лечиться.

— Э, голубь, все равно — лечись не лечись, раз тебе уж

дорога указана, уйдешь, — сказала она хрипло. — Будет. Накашлялась, начихалась в своей жизни.

И вдруг неожиданно, указывая рукой на видневшуюся вдали белую колоннаду и зеленую крышу над ней, старуха сказала:

— Вот бы мне куда, голубь. Вот бы там я исцелилась.

— Да там не санаторий, — проговорил я. — Там Максим Горький живет.

— То и говорю. Какой меня санаторий излечит, какой доктор, когда они всех цыган за конокрадов считают. Нет, меня только Максимушка Горький может исцелить.

— Чем же он тебя может исцелить, бабушка? — изумленно спросил я.

— Тем и исцелит, за чем к нему иду.

— За чем же ты идешь?

Старуха подумала: говорить ли. А затем сказала:

— Он один знает, один и скажет. За тем к нему и иду. Он будто большое колесо, с него смерть как вода скатывается. «Она» к нему, а он ее оттолкнет — и она прочь. Почему? Потому, что много ходил по земле, и не зря ходил. Мы, цыгане, тоже ходим. Только мы кашеварить любим и зря много останавливаемся, а его настоящая ходьба должна быть без остановки, а он, Максимушка, если и устал, заблудился, разжег костер погреться, а тут подошел служивый и скажи дорогу, — он кашу оставил и пошел дальше. Ищет. Его ни квашеным, ни соленым не остановишь. Сказано: горьким лечат, а сладким калечат. Да, голубь…

— Значит, он нашел?

Старуха, опять подумав, сказала:

— Нашел.

Что же он нашел, бабушка?

— А вечный корень. Во мхищах нашел, в топях, на самом дне. Настой тот корень на пол-литровке, пей по рюмке, выздоровеешь, будешь жить вечно. Он это нашел,

Молодой цыган вдруг опустил руку девушки, повернул к нам лицо, и мы чуть не ахнули: такое оно было счастливое и удивительное. Особенно неистощимо прекрасны были глаза. Старуха только что сказала о мхище, а глаза молодого цыгана, жадные, густые, напоминали мне «камень моховик», аметист с прожилками волокна, которое походит на мох. Искрометные, неизмеримые глазища. И так было понятно, что девушка осталась сидеть не шелохнувшись, не опустив руки на колена, а держа их в воздухе, ожидая, когда парень повернется опять к ней. И лицо у ней было тоже такое прекрасное и счастливое, что и вглядываться в него страшно.

Молодой цыган воскликнул необыкновенно горячо:

— Ты хотела, я тебя провожу к Горькому, бабка. Но насчет корня — вранье. Кабы Горький нашел такой корень, он бы пробился сквозь любую чащу и отдал бы тот корень нашему человеку. Я знаю, я его читал, как своего отца. Он весь издержался на нас, бабка, и нельзя думать, будто он что-то там скрывает. Мне тебя вести неловко, но я поведу. Идешь ты к нему потому, что у него сердце разубранное. Увидишь его своими глазами и поймешь: верно, разубранное, разукрашенное так, что краше всего. Вот оно и горит издали, как золотой корень — солнце.

Он резко повернулся к девушке, схватил ее вытянутые руки, и лицо его запылало пуще прежнего. Он воскликнул, глядя теперь не на нас, а на девушку:

— Так говорю, утенька, крохотка. Максим Горький каков в миру, таков и на пиру. Так, утенька.

— Так, селезень, — тихо, чуть слышно, счастливо смеясь, ответила девушка.

И тут мне представилась степь, вечер, старуха Изергиль, вспомнилась ее сказка, которую она забыла и за которой идет теперь к Горькому. Представился мне и молодой Горький, слушавший сказку старухи Изергиль, сказку о человеке, вырвавшем для счастья людей свое сердце и сам ставший этой сказкой…

И вспомнился мне еще один город, по которому однажды мы шли вместе с Горьким.

Город этот далеко от Москвы, за Средиземным морем. Город обширный и от шума и разноязычного говора кажется еще обширнее. Сделаешь три шага улицей и сразу понимаешь, что в этот город съехались люди со всего света и множество кораблей, стоящих в гавани и с непривычки к морю кажущихся похожими друг на друга, множество кораблей тоже говорит разноязычными шумами.

Чего только нет в этом городе, каких только чудес не увидишь! Есть здесь и обширные музеи с древними статуями и старинными картинами, как-то особенно гостеприимно и светло сияющими под итальянским солнцем. Есть здесь и гигантские аквариумы, где плавают чудные, то свирепые, то жеманные, то какие-то назойливо-нелепые морские рыбы. Здесь есть и дивные храмы, изукрашенные мрамором и золотом так, что тягостно смотреть. Есть здесь неподалеку вышедший из земли мертвый город Помпея, страшный, как лунатик.

Разные люди идут по набережным, и здесь, конечно, не в редкость высокий, сутулый человек в широкополой шляпе с легкими и мягкими движениями рук.

Но когда по набережной пошел высокий, сутулый, в черной широкополой шляпе, вся набережная остановилась, вздохнула и произнесла изумленно, в один голос, так, что мороз прохватил меня по коже:

— Горький! Горький!

И тогда мне показалось, что от людей струится слабый блеск, похожий на блеск зарницы. Этим заветным, мечтательным блеском была охвачена и беднота, живущая здесь, в богатом городе, одним луком да хлебом, и лукаво-мудрые, прибывшие издалека путешественники, и моряк, и крестьянин, и тоскливый солдат. Чувствовалось, что в этих людях кружится что-то вихревое, близкое, сродняющее нас, творческое.

— Горький, Горький! — неслось по неаполитанской толпе.

И слышать то слово на множестве языков — какое это приятное, кипучее и знойное чувство, и сколько в тебе гордости за родину, за Русь, родившую и воспитавшую его, и сколько гордости за Страну Советов, воздавшую ему должное, поднявшую его на крыльях славы туда, куда возносится редкий человек, а самое главное, полюбившую его так, как она любит Ленина и Сталина.

— Горький! Горький!

Это был адрес мечты человечества, той мечты, где все справедливо, где все слова напрямик, где счет несправедливостей, угнетавших человечество, подсчитан и предъявлен, где темные силы задавлены.

Вот поэтому не удивительно, что к Горькому однажды доставили письмо, написанное детской рукой из городи Надеждинска, что на Северном Урале. Я сам видел это письмо и убежден, что вряд ли бы такое письмо, написанное таким почерком и по такому невероятному адресу, дошло бы к какому-нибудь другому человеку подобной же профессии, как писательская профессия Горького.

Но письмо это, написанное милыми детскими каракулями, разбирали и донесли тоже мечтатели. Они нежно улыбались и понимали. Они сами были такими же отправителями. Они знали и уважали писателя, ученого, борца за счастье человечества.

М. Горький жил тогда в Италии, в Сорренто, на берегу Соррентийского залива.

Адрес же был такой:

«Горькому. Швейцария. Остров Кипр».

… И вот теперь, неподалеку от Москвы-реки, у костра, я вспомнил про это милое письмо, писанное трепетной детской рукой, и мне стало так хорошо и радостно, что я живу, слушаю

Горького. Боясь сидеть дальше, не желая мешать цыганам, боясь потерять это замечательное и ярко жадное ощущение счастья, я встал и пошел по лугу к своей лодке.

Небо совсем покраснело. Солнце склонилось. По ту сторону реки ударил первый, должно быть еще совсем молодой, соловей, ударил задорно, точно торопясь высказать свое счастье, которое охватило его целиком и жгло его.

Мастер времени

Непрерывно, два дня подряд, шел снег, цепкий, пышный. На холмах намело целые города; по лесу он шел серебристо-лазурными волнами, и в этих волнах стояли пузатые ели и тоненькие, как комар, березы.

Когда литераторы приехали в Горки к Алексею Максимовичу на совещание, по обеим сторонам дороги лежали высокие, искусанные лопатами груды великолепного снега. Небо над снегами стояло легкое, какое-то освобожденное, без единого облачка, и солнце играло в этом пушистом добре так смело, что глаза лихорадило.

Горький, так часто бывало, встретил гостей на крыльце. Он был в коротком пальто, в длинных валенках, и его лохматые брови и усы образовывали на лице веселые, замысловатые, золотисто-пепельные линии.

— Неужели в Сибири снега еще лучше? — спросил он ученого-сибиряка, гостившего в те дни в Горках. — Ведь это отличнейшие снега. Глядишь и не наглядишься.

Я хорошо знал ученого. Он не был болтлив. Но Сибирь, узнав, что он увидит Горького, столько «препоручила» ученому, что он вот уже неделю встревал в самую маленькую щель рассказа и спешил сообщить о том, что делает нового по тому или иному поводу Сибирь. Казалось бы, какая вековечная, непреоборимая стихия — снега. Но и тут сибирские ученые ищут новое, чтоб использовать для человека эти всегда гнетущие его силы природы. Он говорил о снегах на Байкале, о режиме байкальских льдов.

Горький слушал, как всегда, внимательно. Лицо Алексея Максимовича было взволнованное, по глазам было видно, что спал он плохо, но он был попрежнему бодр, приветлив, голос его звучал ласково, а движения, несмотря на болезнь, быстры.

Но сквозь внимательность, с которой он слушал собеседника, сквозь гостеприимство и заботу, чтоб множеству приехавших литераторов и ученых было удобно разместиться в этих комнатах, было уютно, тепло, светло, невольно чувствовалось еще что-то еле уловимое, какая-то громадная мысль о радости, которую Алексей Максимович жадно лелеял в себе. Все мы — одни больше, другие меньше — понемногу прониклись этим настроением подъема, и беседа, которая в обычное время текла бы медленно, теперь развивалась быстро, бойко, весело, так что на людей было приятно смотреть.

Приятно было и Горькому смотреть на писателей и ученых.

Он всегда считал, что литература — мост между сложнейшей современной наукой и народом. От науки он хотел ввести в литературу — точность, направленность к одной цели, активность, все возрастающую в своей силе, способность человека бороться против несознательно, а значит, и неразумно действующих сил природы, способность видоизменять природу, создавать иной, лучший порядок вещей, соответствующий высшим требованиям свободной человеческой воли. От литературы он хотел ввести в науку поэтичность, образность, идеальность, чистоту языка, чтобы передать народу то творческое напряженно человека, которое в нашей стране развивается и совершенствуется до пределов, которые предусмотреть пока невозможно.

Горький любил науку, ум, искусство. Но это не значит, что искусство говорить и писать мило, хлестко, ловко он считал умом. Он любил ум истинный и простой, тот, который для пошляков часто кажется выдохнувшимся и потерявшим прелесть новизны. Он постоянно повторял, что пошляки писали и о Пушкине, и о Толстом, и о Достоевском, что писатели эти «испытываются». Горький ненавидел умы, искажающие истины, заботящиеся о наружном блеске. Иногда он поддавался на блеск таких умов, обольщался ими, но это обольщение проходило быстро. Он желал, чтобы умные, ученые, талантливые люди говорили с народом словами простыми, дельными, меткими. В искусстве, как и в жизни, простота и честность — вот главные элементы счастья.

Я глядел на него, и мне почему-то казалось, что именно сегодня, больше чем всегда, он находится под обаянием откуда-то дохнувшей на него честности и простоты огромных, невиданных, колоссальных размеров. Все реплики Алексея Максимовича, все его предложения были в тот день четки, быстры, коротки и совершенно исчерпывающи. Он соединял свое наслаждение умом ораторов с самой простой пользой для народа. Он видел овраг там, где другие замечали только цветущий кустарник по бокам оврага, и замечал проезжую дорогу там, где другие видели только непроходимый овраг.

Тихо наклонившись к Максу, сыну Алексея Максимовича, я спросил шепотом:

— Что с Алексеем Максимовичем? Он горит, пылает.

Макс кивнул головой, видимо довольный, что Алексей Максимович «пылает», и, сознавая, что не «пылать» нельзя, сказал мне на ухо, улыбаясь всем лицом:

— Вчера он был у Сталина. И счастлив.

Между тем Горький, обращаясь к литератору, который

собирался в Сибирь, говорил, поглаживая янтарным мундштуком свои прокуренные широкие усы:

— Народ дает удивительные определения, которые надо записывать тут же, — определения, которые нам, литераторам, и никогда не придумать! Вот вы едете в Сибирь. Непременно побродите среди народа в тех местах, где живали Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович. Вы непременно натолкнетесь на необычайно новые, красивые и меткие выражения, которыми народ характеризует этих великолепных создателей нового общества. Красота слова есть типичность, отвечающая всем требованиям самого лучшего способа существования и вносимая в мир самим индивидом и для него самого, и для других, близких ему. Красота физическая рождается вместе с человеком и проходит, стареет. Красота духовная — ум, сердце — создается и развивается им самим, и она бессмертна. Например, один рабочий с Донбасса сказал мне о Сталине: «Мастер времени!» Рабочий очень коротко и ярко выразил большую мысль. Он сказал, что только большевики понимают ценность и душу настоящего времени, умеют направлять его на пользу народа, на пользу всех людей, умеют понимать сердце народа, потому что сердце народа и есть в сущности сердце этих мастеров времени!..

Алексей Максимович посмотрел нам в глаза растроганным взглядом и проговорил:

— Мастер и, добавим, хозяин времени — наш Иосиф Виссарионович!

— Всегда эти слова — Иосиф Виссарионович — он произносил так остро, горячо и в то же время без малейшей аффектации, что слушать эти слова в его произношении было не только приятно, но и очень красиво. Иногда, в минуту особой нежности, он говорил другое слово, звучавшее почти вдохновенно на его устах, — «хозяин». Глаза у него приобретали острый и сильный блеск. Он вынимал платок, вытирал глаза и затем улыбался, как бы и сам немножко недоумевая, что возможно так хорошо и вкусно произносить слово «хозяин», которому в иные дни он придавал совсем иное значение.

Горький всю жизнь ненавидел и презирал крупного и мелкого собственника, который сам себя называл «хозяином». Горький с удовольствием бичевал этого «хозяина», вывел его во множестве рассказов и романов.

И одновременно всю жизнь Горький мечтал о настоящем хозяине полей и фабрик русских — хозяине могучем, подлинном, умном, красивом и смелом во всех своих поступках, в борьбе за народное хозяйство и славу. В руках этого настоящего хозяина время приобретает крайне искусные и творческие формы —

формы, четко отлившиеся теперь в сталинские пятилетки.

И вот теперь Максим Горький вместе с другими миллионами творцов завоевал право назвать и увидеть подлинного хозяина труда — советского человека и среди этих миллионов новых людей, новых хозяев земли, — первого из первых хозяев вдохновения: великого революционера-ученого Сталина.

Конечно, ни Горький, ни рабочий с Донбасса, назвавший Сталина «мастером времени», не воспринимали понятия времени как нечто отвлеченное. Они понимали время как символ действия, изменения, развития, а значит жизни. Это время освобождения труда, пятилетки преобразования земли, пятилетки изумительных строительств, это, наконец, то время, которое надо употребить с толком, потому что передышка от войны, от нового наступления империалистов, тоже носит название — время.

Точно так же, не отвлеченно, воспринимаем мы, писатели социалистической страны, историю дружбы между великим писателем М. Горьким, Лениным и Сталиным.

Влияние теоретических работ Ленина и Сталина на развитие советской литературы огромно и плодотворно. Это собственно и есть подлинные корни социалистическою реализма. Кого из нас не может увлечь эта несравненная смелость и разработка темы, характеризующая труды Ленина и Сталина, эта быстрота и дальновидность действий, точность и ясность слога. Мысли их идут мощно и быстро, подобно горной реке, и как эта река разрушает и ломает горы, так и тут падают смытые горы невежества, заблуждений, фаталистического и пассивного отношении к жизни.

Огромна и плодотворна для советской литературы дружба Сталина и Горького. Это были дружба двух титанов, трудящихся над одним делом. Сущность этой дружбы заключалась в том, что оба они прекрасно понимали условия, в которых могут и должны развиваться литература и искусство. Литература — как лес. Лес растет медленно, и если уж вырастет, то вырастет такими кряжами, которые будут существовать столетия. И литература не трава, которую можно косить иногда даже два раза в лето. Мало того, поросль столь нежна, что ее легко растоптать, и вот почему Горький так нежно лелеял молодую литературу, быть может иногда даже и преувеличивая силу ее отдельных творцов, и вот почему Сталин говорил, что писателей должно быть у нас много, десятки тысяч, и, разумеется, писателей хороших.

И вот почему, если какой-либо из советских писателей назовет имя Горького и Ленина, Горького и Сталина и на мгновение сосредоточится, он видит перед собой мысленно эти лица с такой же ясностью, как видит своих близких и любимых

родных: отца, брата, деда…

Так думалось мне в тот день за длинным столом в зале в Горках.

И еще вспомнился мне 1928 год, узкий Машков переулок на Чистых прудах, где по приезде из-за границы остановился Горький.

Когда я подошел к подъезду дома, неподалеку от дверей стояла пожилая женщина в платочке, со сверточком в руке. Маленькая девочка жевала хлеб, запивая его водой из бутылки. Я уловил во взгляде женщины что-то странное, будто она смотрела на меня с некоторой завистью. Я хотел ее спросить, чего она ждет здесь, но постеснялся. Видно было, что стоит она здесь давно, что приехала издалека, а стоит прочно, крепко, и понятно, почему ее стесняются спросить. Она-то знает, зачем стоит.

Не видались мы с Горьким давно, и я, грешный, засиделся: часа четыре просидел. Каюсь, просидел бы и больше, кабы ему не понадобилось ехать куда-то на заседание.

Вышли. У подъезда автомобиль. Горький приглашает. Я отказался, — жил я не так далеко от Машкова переулка, да и хотелось к тому же пойти домой пешечком, медленно, обдумывая беседу, как всегда и укромную, и беспокойно большую, широкую.

Автомобиль покатился…

Тут только я заметил пожилую женщину в праздничном нарядном платочке. Она стояла подле меня, и, держась за ее руку, жадно глядела вслед Горькому маленькая девочка. Лица и у девочки и у бабушки ее были какие-то клубящиеся, точно когда откроешь ставни в избу, в летник весной, то заклубится перед тобой прошлогодняя пыль, и поползет в углы ночная мошкара, и хорошо делается на душе, — и нельзя не улыбнуться.

— К Горькому? — спросил я. — А куда ж вы девались? Он вас и не видал.

— А мы в подъезд, — сказала вся залившаяся теплой краской бабушка. — Мы стеснительны. Онемели. Вышли, когда он поехал.

— Надо б поговорить с ним вам, бабушка.

— Надо б, да и как скажешь? Народ ему все давно высказал, он записал. А я сказать стесняюсь… Повидать нам бы его, ну и повидали. Внучка больно хотела… я из Ярославля, ткачиха. Работала я сорок, почесть, лет и нонче ушла с производства по усталости. Ну, да ничего: наладили жизнь не до полдня, а на весь день, можно мне и отдохнуть…

Она взглянула на меня умными и веселыми глазами и, улыбаясь, спросила:

— Ты заметил, какая у него рубаха-то? Голубая!

— Он всегда, сколько я помню, голубые носит.

— Да ведь не в цвете дело, а в том, что матерьял-то такой мы недавно освоили. И послали к нему в подарок. Он и надел. Крепкий матерьял: якорь повесь — не оторвется. Ребята говорили, наш матерьял носит, а я не верила. Теперь смотрю — наш. И так ему к лицу, что я подумала: всегда, должно, он наш матерьял носил. И мой станок тоже ведь работал, хоть я прилегла теперь от усталости… Да вот внучка небось будет на нем ткать. А, Шура, будешь полотно ткать?

Девочка подумала, ответила тоненьким и прозрачным голоском:

— Не, бабушка, я полотно ткать не буду.

А что же ты будешь ткать? Без полотна-то людям тяжело, им — что же, голым ходить? Без полотна им не обойтись, девонька.

Девочка подумала, и по лицу ее видно было, что она пожалела людей, которые без ее работы ходили б голые. И она сказала с широким жестом:

— Я и полотно буду ткать… я и книги ткать буду, бабушка!

1928–1953